МАРИНА МНИШЕК

Вячеслав Козляков

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Марина Мнишек – одна из самых ярких фигур русской Смуты начала XVII века. Полька, ставшая женой двух самозванцев и первой венчанной на царство русской «императрицей», она сумела вызвать к себе жестокую ненависть своих подданных. Ее считали главной виновницей всех бед и несчастий, обрушившихся на Русское государство, воплощением зла, еретичкой и даже колдуньей. Автор книги, опираясь на документы из русских и польских архивов, попытался дать более взвешенный портрет Марины, взглянуть на нее не столько как на злодейку, сколько как на жертву трагических обстоятельств, а заодно задаться вопросом: что именно сумела привнести в русскую историю эта незаурядная женщина? Молодая гвардия, 2005. – 341[11] с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 935). ISBN 5-235-02790-6.

- Вячеслав Николаевич Козляков
  - Предисловие
  - Глава первая Марина, Марианна, Мария
  - Глава вторая Обручение, коронация, брак
  - Глава третья Московская катастрофа
  - Глава четвертая Посольство о сандомирском воеводе
  - Глава пятая Вторая присяга, или загадка одной картины
  - Глава шестая Тушинская царица
  - Глава седьмая «Всего лишила меня превратная фортуна…»
  - Глава восьмая «Маринкина башня»
  - Эпилог
  - Основные даты жизни Марины Мнишек
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55

- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99

- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143

- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187

- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231

- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275

- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319

- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363

- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407

- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451

- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495

- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519

Вячеслав Николаевич Козляков
Марина Мнишек

Предисловие

Она была полькой, но осталась в памяти русской царицей. Сохранился приписываемый ей «Дневник», но страниц этого «Дневника» никогда не касалась ее рука. Она имела нескольких мужей, но они на самом деле не были ее мужьями. Она жила в домах, в которых никогда не бывала. Ее смерть связывают с заточением в «Маринкиной башне» Коломенского кремля, но умерла она совсем в другом месте… «Девка-иноземка» из народных песен, обернувшаяся сорокой, она выступает в русских былинах подручницей Змея-Горыныча – а ведь ее небесной покровительницей была Святая Дева Мария! Всего девять дней пробывшая на русском престоле, она в течение девяти лет – с 1605 по 1614 год – находилась в самом центре своей эпохи.

Так кто же она – первая русская императрица или самозванка? Прав ли Пушкин, называвший ее «гордой полячкой», «надменной Мариной»? Или права та – внутренне споривша я с пушкинским гением – другая, мятежная тезка царицы, гордо отстаивавшая свое, цветаевское:

Димитрий! Марина! В мире
Согласнее нету ваших
Единой волною вскинутых,
Единой волною смытых
Судеб! Имен!

А. С. Пушкин, вслед за Н. М. Карамзиным, «гением его вдохновенный», открыл русской читающей публике образ Марины Мнишек. Пушкинского «Бориса Годунова» (1825) невозможно представить без сцен в Самборском замке:

«Он говорит с одной моей Мариной,
Мариною одною занят он…»

Внимательный к хронологии поэт остановился на времени воцарения Дмитрия Ивановича, и после знаменитого «безмолвия народа» в последних строках «Бориса Годунова» продолжения не последовало. Мы остались без художественного поводыря, без рассказа о свадьбе Марины Мнишек и ее дальнейшей судьбе в Московском государстве.

Восполнить пробел должны были историки. И они принялись

за работу, когда Н. Г. Устрялов, «соревновавшийся» с карамзинской славой на ниве русской истории, начал известную серию «Сказания современников о Димитрии Самозванце». В 1834 году дошла очередь до публикации четвертой части «Сказаний современников…», которую составили переводы «Дневника Марины Мнишек и Послов Польских» [1]. Авторитет петербургского издания, выпущенного в свет типографией Императорской Российской академии, закрепил за упомянутым «Дневником» авторство Марины Мнишек – что, однако, не имело отношения к действительности.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что эпоха Смуты начала XVII века привлекала многих и после Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина, а «Борис Годунов» в сознании современников был, может быть, даже менее знаменит, чем «Дмитрий Самозванец» Ф. В. Булгарина. Упоминания о Марине Мнишек появлялись на страницах исторических трудов о Смутном времени Д. П. Бутурлина, С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова. В польской историографии традицию изучения эпохи короля Сигизмунда III заложил Ю. Немцевич, опубликовавший немало документов, связанных с Мариной Мнишек и ее отцом, сандомирским воеводой Юрием Мнишком [2].

Первые биографические очерки, посвященные непосредственно Марине Мнишек, были написаны в России – М. Д. Хмыровым и Н. И. Костомаровым [3]. Они не жалели темных красок, описывая историю приехавшей из Польши авантюристки, ставшей женой двух самозванцев. В польской же литературе, напротив, облик дочери сандомирского воеводы готовы были романтизировать, связывая его с триумфом поляков – занятием Москвы [4]. Впрочем, автор наиболее полной научной биографии Марины Мнишек, польский профессор Александр Гиршберг, сумел преодолеть национальный романтизм и сделать выбор в пользу научной добросовестности [5]. Но в его книге, изданной в переводе на русский язык в 1908 году, Марина Мнишек остается в тени то своего не в меру алчного и честолюбивого отца, то рвущегося к власти первого самозваного Дмитрия, затем ничтожного Тушинского вора и наконец предводителя казаков Ивана Заруцкого. Самой сильной стороной исследования А. Гиршберга стало использование большого числа архивных материалов. Он разыскал полную копию упомянутого «Дневника Марины Мнишек» (автором которого считал Вацлава Диаментовского), письма Марины Мнишек разным лицам и многие другие документы, позволившие, выражаясь его словами, «осветить надлежащим образом… честолюбивые прихоти Мнишков». Книга А. Гиршберга «Марина Мнишек» – шире своего

названия. В ней дана широкая панорама истории польско-русских отношений в начале XVII века. В русской историографии того времени только исследование С. Ф. Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.» (1899) могло составить ему конкуренцию [6]. Однако Марина Мнишек лишь эпизодически появляется на страницах ставшего классическим платоновского труда о Смутном времени.

Заметной вехой в изучении биографии Марины Мнишек стала работа отца Павла Пирлинга, частично изданная на русском языке под названием «Димитрий Самозванец» в 1912 году. [7] По новым материалам, извлеченным из Ватиканского архива, отец Павел Пирлинг раскрыл тайное участие папского престола в деле царевича Дмитрия и Марины Мнишек. Ему удалось отойти от распространенных штампов в восприятии Марины и раскрыть многие сложности жизненного пути «московской царицы», воспитанной самборскими отцами-бернардинцами. Работа отца Павла Пирлинга представляет собой редкое сочетание тщательного документального исследования и блестящей беллетристики.

Взлет интереса к неоднозначной исторической фигуре Марины Мнишек, связанный с прекрасными исследованиями А. Гиршберга и отца Павла Пирлинга, проявился и во многих посвященных ей публикациях на страницах журналов «Русский архив», «Русская старина» и «Старые годы». Одна из таких публикаций посвящена легенде о «Маринкиной башне» коломенского кремля, якобы связанной с заточением там Марины Мнишек [8]. В Коломне проводились даже специальные археологические раскопки, чтобы найти материальные свидетельства, подтверждающие эту легенду [9].

Марина Мнишек стала героиней нескольких литературных произведений писателей и поэтов Серебряного века. Авторы их домысливали и договаривали то, что не могли сказать историки. Характерна книга Е. И. Булгаковой, в которой образ Марины Мнишек вполне способен вызвать симпатию [10]. Или стихи забытого ныне поэта Михаила Сандомирского (говорящая для этой темы фамилия!), избравшего Марину, в соответствии с символистским каноном, объектом поклонения, своей «Прекрасной Дамой» [11].

После Октябрьского переворота куртуазные опыты уже не могли быть востребованы и история Марины Мнишек оказалась в глубоком забвении. С одной стороны, историки уже «все сказали», но это были *прежние* историки. В СССР могли изучаться только история «царского режима», социально-экономические отношения и классовая борьба, а не биографии царей и цариц. Политические

события Смуты, в контексте которых еще было бы уместно вспомнить о Марине Мнишек, оказались заменены понятиями «крестьянская война» и «польско-шведская интервенция». Все, что не касалось «восстания Болотникова» (или «Первой крестьянской войны» в России, пользуясь терминологией советских историков), перестало быть интересным. Сюжеты же русско-польских отношений, даже таких давних, как-то слишком буквально связывались с текущими событиями предвоенной истории. Например, специальная работа Е. И. Дракохруст об иконографии Лжедмитрия I и Марины Мнишек рассматривалась исследовательницей «в свете наших представлений о польской интервенции начала XVII в.» [12].

Лишь в 1960-1980-е годы трудами Н. П. Долинина, А. А. Зимина, В. И. Корецкого, А. Л. Станиславского, Л. В. Черепнина, В. Д. Назарова, Р. Г. Скрынникова и Б. Н. Флори в отечественную науку были возвращены сюжеты, связанные с политической историей России начала XVII века. Но фигура Марины Мнишек в рамках советской историографии, почти забывшей искусство психологического портрета, могла восприниматься только периферийным зрением. И лишь в последние десять – пятнадцать лет появились исследования и монографии В. И. Ульяновского и И. О. Тюменцева, посвященные, соответственно, истории первого и второго Лжедмитриев [13]. Эти работы (а к ним можно добавить исследования А. В. Лаврентьева, Б. А. Успенского [14] и тех же В. Д. Назарова, Р. Г. Скрынникова и Б. Н. Флори), характеризующиеся основательным изучением не только русских, но и польских публикаций и архивов, позволяют говорить о новом этапе изучения Смуты.

И все же самой Мариной Мнишек по-прежнему интересуются мало. (Это относится и к современной польской историографии. Исключением является подробная статья о ней в «Польском биографическом словаре» [15], и то лишь потому, что магнатскому роду Мнишков и его представителям давно обеспечено место в любом лексиконе по истории Польши.) У этой исторической героини, названной современным писателем Леонидом Бородиным «царицей Смуты» [16], существует стойкое отрицательное обаяние, изменить которое вряд ли когда-нибудь удастся. Писать о ней трудно. Слишком много штампов приходится преодолевать, оставаясь на почве исторических фактов.

Самый распространенный образ Марины Мнишек – это роскошная фурия, обольстившая сначала самозваного царевича Дмитрия Ивановича и продолжившая в России «темное дело» приведения в католичество доверчивой «москвы» (так поляки

звали тогда всех русских). Примерно такую Марину, по виду предтечу Екатерины Великой (в варианте популярного исторического романиста), изобразил классик исторической живописи XIX века А. Шарлемань на известном полотне под названием «Марина Мнишек возбуждает калужан к мести за смерть Тушинского вора». Там матери с малыми детьми убегают от нестерпимого света факела, который держит в своих руках представленная с непокрытой головой и распущенными волосами царица, властным перстом указующая казакам рубить головы изменникам. Хочется сразу предупредить читателя: ничего похожего в попавшей к нему в руки книге не будет. В этом, может быть, слабость исторического исследования, но в этом и его сила: ведь факты значительно прочнее личных пристрастий. Хотя иногда даже факты не в силах разрушить устойчивые мифы.

В чем же тогда состоит смысл настоящей биографии Марины Мнишек? Где тот магический исследовательский ключ, обладая которым только и можно оправдать еще одно обращение к истории одной из самых ярких героинь первой русской Смуты? Думаю, что до сих пор мало задумывались над внутренней эволюцией Марины Мнишек, прошедшей свой путь от Самбора до коронации в Москве и далее, через Ярославль и Тушино, Калугу и Коломну, до крушения всех надежд и трагического конца. Как она переживала свои взлеты и падения? Как относилась к первому и второму самозванцам? Как повлияли на нее рождение «царевича» Ивана и его страшная казнь?

Стоит ли доверять всем отзывам, которые оставляли о Марине Мнишек современники? Лишь отец Павел Пирлинг задумался о несправедливо жестоком суде истории над ней, выступив в качестве адвоката, имеющего право приводить аргументы только в пользу своей подзащитной: «…Между Самбором и Астраханью лежит целая бездна. По этому страшному пути пришлось пройти молодой, одинокой женщине. Условия, среди которых она жила это время, были самыми ужасными. Неужели, испытав все это, Марина не может рассчитывать на снисхождение ввиду обстоятельств, смягчающих ее вину? Нет, справедливость требует, чтобы судьи считались с этими данными, по крайней мере до тех пор, пока не будет произведено дополнительное следствие» [17].

Отсюда отправимся в путь и проследим по имеющимся документам все вехи жизненного пути Марины Мнишек. Попытаемся рассмотреть действительный облик исторического героя под позднейшим напластованием мифологических трактовок и интерпретаций, часто основанных на малодостоверных или совсем недостоверных суждениях. Что

получится в итоге – судить читателю. Хотелось бы, чтобы эта книга дала материал для размышлений тем, кто не привык принимать все на веру и следовать стереотипам в восприятии исторических персонажей. Ведь уже само согласие на то, что в истории Марины Мнишек возможны какие-то «плюсы», требует определенного усилия, разрыва с традицией. Но не такова ли была сама эта «царица» в русской истории, олицетворявшая собой прямое вторжение в эту самую традицию? Что же привезла (или, точнее, привнесла) Марина Мнишек в Московское государство? В чем урок ее судьбы, кроме вечно зримого символа «Маринкиной башни» Коломенского кремля?

Глава первая Марина, Марианна, Мария

Ничто не готовило Марину Мнишек к судьбе будущей русской царицы. Она родилась около 1588/89 года (точная дата неизвестна) в семье сандомирского воеводы Юрия (Ежи) Мнишка (около 1548-1613) и дочери сандомирского хорунжего Ядвиги Тарло. Марина – в латинском варианте Марианна – четвертая дочь воеводы. Всего же в семье было пятеро сыновей и пять дочерей [18].

Первые годы жизни Марины-Марианны прошли в родовом замке Тарлов (доставшемся Юрию Мнишку в приданое) в Лашках Мурованных в Самборском повете. Для тех, кто привык к демоническому образу Марины Мнишек, может оказаться неожиданным то, что к моменту появления русского «царевича» в Речи Посполитой ей было всего пятнадцать лет. Понятно, что ожидать от нее в таком возрасте самостоятельных поступков не приходится. Она во всем была послушна воле родителей, и на страницах исторических документов нет ни единого намека на возможность самостоятельного выбора ею своей судьбы при встрече с самозванцем. Можно согласиться с мнением профессора Александра Гиршберга, который писал: «Главным фактором в этих событиях были тайные интриги Юрия Мнишка; роль же его дочери, Марины, скорее пассивна, нежели активна; она явилась почти жертвой честолюбивых стремлений отца и своей собственной безумной гордости» [19].

Управляя королевским доменом, воевода Юрий Мнишек был по сути наместником в Самборе и Львове. В его распоряжении находились королевские апартаменты в Самборском замке, строительству и украшению которого воевода посвящал много времени, тратя огромные средства. Он вел роскошную жизнь магната с многочисленными приемами, охотами и праздниками, участвовал в военных походах. Имя сандомирского воеводы Юрия Мнишка было вписано золотыми буквами в числе имен самых значительных благотворителей на специальной плите из красного мрамора в церкви Святого Андрея Львовского в Самборе. Древний самборский монастырь бернардинцев, основанный еще в XV веке, был заново отстроен им, в пользу монастыря постоянно шел доход с одного из имений сандомирского воеводы. В летописях ордена бернардинцев, по замечанию отца Павла Пирлинга, воеводе Юрию Мнишку «посвящено немало страниц, полных признательности: под покровом риторических похвал по его

адресу здесь слышится живое и искреннее чувство» [20].

Если братья Марины Мнишек уезжали из Самбора получать образование в университеты Франции и Италии, то дочери оставались дома и готовились к будущему замужеству. Сознание собственной исключительности, дополненное семейными преданиями о происхождении рода от лучших слуг императоров Священной Римской империи, диктовало детям сенатора Речи Посполитой необходимость посвятить себя высокой миссии.

О Марине в первые годы ее жизни мало что можно сказать, кроме самых общих сведений о том, что она умела читать и писать и в целом была вполне образованной и подготовленной к светской жизни по меркам Речи Посполитой. Характер ее воспитания определялся монахами-бернардинцами, духовную связь с которыми она сохраняла даже во время своего несчастливого путешествия в Московское государство. Скорее всего, воспитателем и учителем Марины Мнишек и других дочерей сандомирского воеводы был один из монахов, и именно в самборском монастыре бернардинцев она была у первого причастия (наиболее важное событие в жизни каждого ребенка, воспитанного в католичестве). Старшая сестра Марины Мнишек стала монахиней кармелитского монастыря, и это тоже много говорит об атмосфере благочестия, в которой были воспитаны дочери сандомирского воеводы.

Конечно, не каждая из сестер готова была уйти в монахини. Достаточно вспомнить яркий брак Урсулы Мнишек, вышедшей замуж за князя Константина Вишневецкого. Своих девочек воевода Юрий Мнишек готовил к светским балам, стремился баловать, но в то же время хотел уберечь до поры от влияний внешнего мира, цену которому он хорошо знал.

Но недаром говорят о том, куда может привести дорога, выложенная благими намерениями… Если бы к документам Смутного времени, как русским, так и польским, составить индекс упоминаний исторических лиц, то не приходится сомневаться, что имя сандомирского воеводы Юрия Мнишка будет встречаться в нем особенно часто. И виной всему история царевича Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек, которая никогда бы не состоялась без участия этого вельможи. Совершенно неожиданно щедрый благотворитель и защитник веры оказывается одновременно не брезгующим никакими моральными преградами честолюбцем и сребролюбцем. Как такое могло произойти и почему все эти отрицательные качества были перенесены впоследствии на совершенно непричастную к махинациям отца Марину Мнишек?

В отличие от других родов Речи Посполитой род Мнишков

был выезжим и позднее других вошел в состав польской знати. Предки Марины Мнишек происходили из Великих Кончиц в Чехии и служили германскому императору. С XV века род осел в Моравии. Дед Марины, Николай из Великих Кончиц (около 1484-1553), принадлежал к староморавскому роду и бежал в Польшу, опасаясь гнева императора Фердинанда. (Позднее возникла весьма лестная для Мнишков легенда об их происхождении от императора Карла Великого.) В 1520-1530-х годах Николай Мнишек из Великих Кончиц занимал должность маршалка двора коронного канцлера, а потом сделал карьеру при дворе короля Сигизмунда-Августа. В 1530 году Николай Мнишек стал королевским дворянином, в 1537-м – подкоморием короля Сигизмунда-Августа, а в 1543 году – буркграфом Краковского замка. От брака с Барбарой Каменецкой он имел пятерых детей, которые своими браками укрепили положение Мнишков среди знатных польских родов. Позднее, когда в 1606 году свадебный поезд Марины Мнишек отправится в Московское государство, в нем, помимо отца Марины Юрия, окажутся и другой сын Николая Мнишка и Барбары Каменецкой, ее дядя красноставский староста Ян Мнишек (около 1541-1612), а также новые польские родственники Мнишков – Тарло и Стадницкие.

Но еще раньше два брата Мнишков, Юрий (отец Марины) и Николай (около 1550-1597), успели «прославиться» в темной истории, положившей, по слухам, начало богатству и влиянию этого поколения рода Мнишков. Они были обвинены в сводничестве, поставке любовниц, знахарок и чародеев самому королю Сигизмунду-Августу. Особенно гремело имя молодых братьев Мнишков в авантюрной истории с похищением Барбары Гизанки из варшавского монастыря бернардинок. Доставленная ими красавица не только стала любовницей короля и родила ему дочь, но и вполне могла превратиться в новую польскую королеву. То, что король попал в зависимость от братьев Мнишков в таком деликатном деле, не укрылось от глаз шляхты. После внезапной смерти короля Сигизмунда-Августа братьев на сейме 1573 года обвинили в действиях, приведших чуть ли не к гибели короля, а также в том, что они ограбили казну и вывезли ценности из одного из королевских замков. Но до официального предъявления обвинений и начала судебного расследования дело все же не дошло. Сказанное в пылу полемики так и осталось недоказуемым. Во всяком случае, братьям удалось оправдаться, хотя расплата в виде удаления из Кракова от нового королевского двора все-таки последовала. Шлейф этой истории потом долго тянулся за Мнишками. Для современников Марины, помнивших историю с Барбарой Гизанкой, судьба дочери сандомирского

воеводы, отправленной отцом по сути в наложницы самозваного царя Московии, была поучительной и могла считаться карой за прежние грехи. В свою очередь семья Мнишков, как в начале XVII века, так и сто лет спустя, много трудилась над тем, чтобы обелить действия воеводы Юрия Мнишка в истории с царевичем и Мариной.

Скорее всего, судьба Марины Мнишек сложилась бы обычно, окончившись более или менее удачным замужеством, приумножившим родовые связи и богатства семьи Мнишков. Но соблазн брака с будущим московским царем оказался столь велик, что все участники драмы закрыли глаза на странные обстоятельства появления царевича Дмитрия Ивановича из небытия.

Первым в череде тех влиятельных лиц в Речи Посполитой, кто активно способствовал распространению легенды о чудесно спасшемся царевиче, был князь Адам Вишневецкий [21]. Его весьма заинтересовали речи беглого хлопчика из Московии, который «открыл» ему свое царское происхождение. А ведь уже случалось, что за эти намеки будущему московскому царю смеялись в глаза и выталкивали его в шею. Правда, когда он совершал паломничество по православным монастырям южной Руси как инок Григорий Отрепьев, все было в порядке. Спасаясь от разразившегося в Москве жестокого голода, дьякон Чудова монастыря Григорий Отрепьев и его спутники иноки Варлаам Яцкий и Мисаил Повадин переезжали из одного монастыря в другой. «Извет Варлаама» – челобитная одного из спутников Григория Отрепьева, поданная в сентябре 1606 года царю Василию Шуйскому, является одним из самых важных источников наших сведений о «царевиче Дмитрии». Долгое время историки, прежде всего те, кто вслед за Н. И. Костомаровым не склонен был доверять годуновской пропаганде, обосновывавшей тождество «царевича» с Григорием Отрепьевым, сомневались в ее деталях. С. М. Соловьев, напротив, считал челобитную Варлаама «важным, обстоятельным и живым источником относительно бегства Григория Отрепьева из Москвы» [22]. Впоследствии отец Павел Пирлинг обратил внимание на то, что показания Варлаама Яцкого совпадают с тем, что Лжедмитрий I говорил о себе в Речи Посполитой (это наблюдение подтвердил И. А. Голубцов) [23]. Детали пребывания «в Литве» Лжедмитрия I – Григория Отрепьева становятся известны, таким образом, из двух независимых источников.

Из Московского государства ушли три чернеца. Всех их связывало общее происхождение из рядовых детей боярских Галича, Коломны, Серпейска. Несмотря на «обычный» статус их

родителей, это все-таки не совсем простые люди, обязанные тянуть тягло и пахать землю, а те, кто в светской жизни имел статус служилых людей «по отечеству» и находился на более или менее комфортной середине социальной лестницы. Для таких детей боярских, в отличие от посадского человека или крестьянина, путь на социальный верх был возможен, но чрезвычайно труден. Нужно было прежде всего нести тяжести ежегодных военных походов в строю дворянской конницы, состоявшей из сотен таких же не выдающихся по происхождению детей боярских. Чтобы как-то преодолеть жесткий порядок, которому следовало большинство, использовались обходные пути. Одним из них был уход от верстания поместными и денежными окладами, после чего дворянский недоросль, достигнув пятнадцатилетнего возраста, ехал не на службу в полки, как его сверстники, а шел служить в боярский двор или в монастырь. Так поступил Григорий (в миру Юрий) Отрепьев, которого современники позднее узнали в объявившемся в Польше самозваном царевиче Дмитрии Ивановиче. «Юшка» (а молодых и неродовитых всегда звали уменьшительным именем) служил во дворах Михаила Никитича Романова и их свойственника князя Бориса Камбулатовича Черкасского. Поступление в холопы во двор к боярам Романовым было для него лишь эпизодом. В те времена это не считалось чем-то зазорным, скорее даже наоборот: «клиентские» связи с боярским родом могли сильно помочь в будущем. Маленький человек с «комплексом императора» где-то должен был подхватить саму мысль о возможности отождествления себя со спасенным царевичем. Двор Романовых, родственников первой жены Ивана Грозного, был подходящей средой для такого рода разговоров и мыслей. Не Романовы были заинтересованы в молодом Григории Отрепьеве, а он в них.

Последовавшие затем пострижение Отрепьева и уход в монастырь связывают с опалой на род Романовых осенью 1600 года. Якобы романовский холоп только постригом спасся от начавшихся преследований. Однако до таких, как он, никому, по большому счету, не было дела. Кроме того, подобная версия плохо соотносится с историей самозванца, как она приведена в «Новом летописце». По сведениям этого источника, Юшка «как бысть в возрасте, и даше ево к Москве на учение грамоте; грамота ж ему дася не от Бога, но дияволу сосуд учинися и бысть зело грамоте горазд и во младости пострижеся на Москве, не вем где» [24]. После этого Григорий год прожил в суздальском Спасо-Евфимьевом монастыре, потом еще в одной обители и затем вернулся в Москву, узнав, что его дед, Замятия Отрепьев, поступил в Чудов монастырь. Следовательно, никаких точных

сведений о «постриге» самозванца не существовало. По монастырям же он должен был скитаться несколько лет, а не год с небольшим (именно столько времени прошло от опалы Романовых до бегства Григория Отрепьева в Литву весной 1602 года). Потеряв покровительство Романовых, Григорий Отрепьев, как их вчерашний холоп, мог найти заступничество только у кого-то из своих родственников. Отсюда поворот в его биографии, связанный с появлением самозванца в Чудовом монастыре, где за него мог походатайствовать дед Замятия. Тем более что Григорий Отрепьев действительно выделялся своими способностями. Молва о его успехах в книжном письме распространилась в монастыре очень быстро. Отрепьев попал в келейники к самому патриарху Иову, «живяше» у которого, сочинял каноны святым. При своих посещениях царского дворца патриарх Иов иногда брал с собой молодого монастырского слугу. Так будущий «царь Дмитрий» впервые попал в кремлевские терема – правда, в своей чернецкой одежде. Ему же явно хотелось большего.

Когда «в Великий пост на другой неделе, в понедельник», то есть 23 февраля 1602 года, на «Варварском крестьце» (недалеко от двора Романовых!) молодой чернец Григорий окликнул Варлаама Яцкого, между ними состоялся знаменательный разговор. Григорий Отрепьев искал компаньона для задуманного им похода в Литву. Вся Москва была полна слухами о грядущем перемирии с Литвой, которое и было заключено 1 марта 1602 года на двадцать лет [25]. Событие это оказалось впоследствии поворотным в отношениях Московского государства и Речи Посполитой. Отрепьев одним из первых понял возможные выгоды, которые такое соглашение могло сулить ему лично. Правда, планировавшийся им уход в Литву продолжал оставаться незаконным, так как даже срок перемирия исчислялся только с «Успеньева дня» – 15 августа 1602 года, а пункт о вольном передвижении между подданными двух государств в нем отсутствовал. Поэтому Григорий придумал, каким образом можно, не привлекая особого внимания, добраться с товарищами до Литвы. Еще один из новоявленных богомольцев – чернец Мисаил Повадин – был его ровесником и находился в полном его подчинении. Будущий самозванец решил найти кого-то более старшего по возрасту и духовному званию, чем они с Мисаилом, чтобы представить все как паломническую поездку, где он выглядел бы не инициатором, а всего лишь одним из сопровождающих. С этой целью он и окликнул на улице чернеца Варлаама.

Вот как Варлаам Яцкий рассказывал о ставшей для него роковой встрече в своей челобитной: «И сзади меня пришел

чернец молод, сотворив молитву и поклонився мне и учал меня спрашивати: старец, которыя честныя обители? И сказал я ему, что постригся в немощи, а начало имею Рожества Пречистой Пафнотиева монастыря. И которой де чин имееши, крылошанин ли, и как имя? И яз ему сказал имя свое, Варлам. И учал я его роспрашивати: которой ты честныя обители, и которой чин имеешь, и как тобе имя? И он мне сказал, что жил в Чудове монастыре, а чин имею дияконский, а зовут меня Григорьем, а по прозвищу Отрепьев. И яз ему говорил: что тобе Замятия, да Смирной Отрепьевы? И он мне сказал, что Замятия ему дед, а Смирной дядя».

После знакомства между ними завязался разговор о паломничестве по монастырям в Литве. Неизвестно, обратил ли внимание Варлаам Яцкий на такую существенную деталь, как прямой вопрос Григория Отрепьева о службе на клиросе. У будущего самозванца ничего не могло быть случайным, и этот вопрос тоже приоткрывает часть его замысла. Григорий Отрепьев сам служил клирошанином, и ему нужен был компаньон, знавший дьяконский устав: так легче можно было путешествовать по монастырям.

Уже в первом разговоре чернец Григорий сообщил случайному собеседнику, что он и «Похвалу московским чудотворцам» составлял, и у патриарха Иова жил в келье (что действительно было правдой). «И патриарх де видя мое досужство и учал на царьскую думу в верх собою меня имати, – говорил Григорий Отрепьев, – и в славу де вшел в великую». Видимо, Отрепьев действительно умел убеждать людей и входить к ним в доверие. Почтенный старец уже на следующий день согласился идти с ним в Литву, в Киево-Печерский монастырь, а оттуда к святым местам: «Да он же мне говорил, да жив в Печерском монастыри пойдем до святаго града Иерусалима, до Воскресения Господня и до гроба Господня» [26].

И еще один штрих, характеризующий действия самозванца: при первой встрече с Варлаамом Яцким он так и не раскрыл ему, что еще раньше уговорил поехать в путешествие Мисаила Повадина, тоже чудовского клирошанина. Выручило то, что пришедший на другой день в условленное место в Иконном ряду Варлаам Яцкий узнал Мисаила по прежней службе у князя Ивана Ивановича Шуйского. Варлаам Яцкий одно время тоже принадлежал к братии Чудова монастыря (во всяком случае так позднее считал сам патриарх Иов), потому-то он столь легко согласился на отъезд из Москвы с двумя другими чудовскими иноками.

Общность происхождения из служилой среды, пребывание во

дворах Романовых, Черкасских и Шуйских, а затем в кремлевском Чудове монастыре сблизили Григория Отрепьева, Варлаама Яцкого и Мисаила Повадина. Но очевидно, что инициатором всего дела был чернец Григорий. Он же и верховодил в составившейся паломнической группе. Именно Григорий первым упомянут в записи на книге святого Василия Великого «О постничестве» (Острог, 1594), хранившейся в середине XIX века в Загоровском монастыре на Волыни. Запись эта опубликована А. Добротворским: «Лето от сотворение миру 7110-го (1602) года месяца августа в 14 день сию книгу Великого Василия дал намь Григорию з братею с Ворламом, да Мисаилом, Констянтин Констинович, нареченный во светом кресщеныи Василей, Божиею милостию пресветьлое княже Остроское, воевода Киевскии». Позднее рядом с именем Григория кто-то приписал слова: «царевичу московскому» [27]. Все это еще раз косвенно подтверждает достоверность «Извета Варлаама». По этой записи можно предположить, что состоялась какая-то личная встреча князя Константина Острожского с московскими паломниками, на которой он подарил им книгу, изданную в его типографии. Пришлые монахи сами составили запись. Уйдя по своей воле из Московского государства, они не имели никакой защиты в Речи Посполитой, их «паспортом» могла быть только монашеская ряса, а «прохожим листом» – эта книга. Отношения между двумя государствами продолжали оставаться не просто сложными или натянутыми, а враждебными даже по заключении перемирия, и выходцам из Московии нужна была защита от возможных преследований и обвинений в лазутчестве. Книга с записью о «даре» князя Острожского становилась своеобразной охранной грамотой.

Что же произошло с тремя монастырскими слугами после их отъезда из Москвы 24 февраля 1602 года и до того момента, как они оказались в землях киевского воеводы князя Константина Острожского? Почему Григорий Отрепьев отделился от своих спутников и продолжил путешествие по Литве самостоятельно? Как произошло «чудесное» превращение чернеца Григория в «царевича Дмитрия»? И когда наконец в этой истории возникают Мнишки?

Выйдя из Москвы на второй неделе Великого поста 1602 года, все трое доехали на нанятых подводах до Волхова, оттуда перебрались в Карачев и Новгород-Северский. В Спасо-Преображенском монастыре Новгорода-Северского их приняли и поставили служить «на крыл осе». В Благовещение 25 марта 1602 года Григорий Отрепьев «с попами служил обедню и за Пречистою ходил». Там же 4 апреля 1602 года они встретили

Пасху и «на третей недели после Велика дни в понедельник», то есть 19 апреля, наняв «вожа» (проводника), уже вчетвером пошли в Литву – «на Стародуб и Стародубский уезд». Через Лоев и Любеч пришли в Киев, где архимандрит Киево-Печерского монастыря Елисей Плетенецкий разрешил им пожить некоторое время. Там они пробыли не меньше трех недель, примерно до конца мая 1602 года, после чего двинулись в Острог к князю Константину Константиновичу Острожскому, где «летовали».

Впоследствии будущий «царевич» рассказывал о своих приключениях в Литве князю Адаму Вишневецкому. Однако рассказ его начинается со времени прихода самозванца в Острог летом 1602 года. Детали, сообщаемые в «Извете Варлаама», объясняют, почему Григорий Отрепьев умалчивал о пребывании в Киеве.

Все дело в том, что Григорий Отрепьев давно уже примеривался к роли московского «царевича». Даже монахи Чудова монастыря, по словам автора «Нового летописца», вспоминали, как они ему «плеваху и на смех претворяху» в ответ на его попытки объявить свое «царское» происхождение. А ведь самозванец был не так-то прост. Пытаясь объяснить психологические мотивы его поступков, нужно помнить о его долго подавлявшихся и не имевших выхода очевидных незаурядных способностях. Сын стрелецкого сотника, погибшего в пьяной драке в Москве, он уже этой «непочетной» гибелью своего отца был вычеркнут из ряда служилых людей, где статус, имения и честь передавались по наследству. Не стало ли это началом психологической драмы, продиктовавшей столь радикальный отказ сначала от традиций службы своей семьи, а потом и вовсе от родового имени?

В Чудовом монастыре чернец Григорий быстро сделал карьеру, в один год попав в келейники к патриарху, что не могло не вызывать зависти среди монастырской братии. Приблизившись к доброму патриарху Иову, Григорий Отрепьев уже мог свободно присмотреться к деталям царского церемониала, наслушаться рассказов о внутренней жизни дворца со времен Ивана Грозного, узнать тайны, обычно не попадавшие на страницы летописей. Монахи Чудова монастыря потом вспоминали, чем особенно интересовался дьякон Григорий: «Многих людей вопрошаше о убиении царевича Дмитрея и проведаша накрепко».

На первый взгляд безумием было в Кремле, где всегда имелось столько ушей и глаз доносчиков, всуе упоминать умершего царевича, давая такой прекрасный повод чудовской братии «остудить» патриарха от любви к безмерно заносчивому чернецу. Но здесь мы видим знаменитое упрямство самозванца,

верившего в свое царское происхождение и глубоко презиравшего тех, кто не мог дойти в своем понимании до действительно великой мысли о возможном спасении царевича. Но прежде ему пришлось научиться хорошо притворяться, скрывая свои настоящие замыслы. В Чудовом монастыре он шутя проговаривался о заветном: «Яко в смехотворие глаголаше старцом, яко “царь буду на Москве”». Реакция «плевавшихся» и «смеявшихся» монахов заставляла Григория Отрепьева лелеять мысль о будущем реванше и искать счастья в Литве.

Прощаясь в пасхальные дни 1602 года с гостеприимным Спасским новгород-северским монастырем, а заодно и с Московским государством, Григорий Отрепьев оставил «метку» о себе. По его отъезде архимандрит Варсонофий, келейником которого опять быстро стал чернец Григорий, обнаружил «памятцу», в которой гость сообщал, что он не кто иной, как спасшийся царевич Дмитрий Иванович, и в будущем пожалует монастырь, оказавший ему помощь: «Аз есмь царевич Дмитрей, сын царя Ивана, а как буду на престоле на Москве отца своего и я тебя пожалую за то, что ты меня покоил у себя в обители» [28]. Шуткой это назвать невозможно: самозванец, в отличие от окружающих, серьезно относился к разговорам о своем царском происхождении. А значит, это уже было нетерпеливое и очень опасное в его ситуации стремление объявить о себе как о царском сыне как можно скорее.

Едва появившись в Киеве в конце апреля – начале мая 1602 года, чернец Григорий Отрепьев повторяет попытку с объявлением себя московским «царевичем». Если бы это была только навязчивая идея сумасшедшего, то скорее всего Григорий Отрепьев продолжал бы повсюду требовать от окружающих соответствующих почестей по отношению к себе. Его же линия поведения была много изощреннее. Он уже додумался до инсценировки тяжелой болезни, чтобы царевича в нем увидели другие. В разрядных книгах времени царствования Бориса Годунова сообщается: «И умысля дьяволскою кознью розболелся до умертвия, и велел бит челом игумену Печерскому, чтоб ево поновил и вдуховне сказал: бутто он сын великого государя царя Ивана Васильевича, царевич Дмитрей Углетцкой, а ходит бутто выскусе не пострижен, избегаючи укрывался от царя Бориса; и он бы игумен после ево смерти про то всем объявил. И после того встал, сказал, бутто полехчело ему» [29]. Этому рассказу вторит в общих чертах «Извет Варлаама». Правда, имеются и некоторые различия. По версии спутника Григория Отрепьева, власти Киево-Печерского монастыря выгнали самозванца, а в разрядах написано, что игумен «учал ево чтит, чаял то правда, и ведомо

учинил королю и сенаторем». Конечно, детали лучше были известны Варлааму Яцкому. История с болезнью не подействовала на архимандрита Елисея Плетенецкого. Не случайно после трехнедельного пребывания в Киеве путешествующие московские монахи вынуждены были уехать в Острог к князю Константину Острожскому.

Первые недели пребывания в Речи Посполитой должны были показать самозванцу, насколько не просто будет ему доказать окружающим, что он и есть настоящий царевич Дмитрий Иванович. Настойчивость, проявленная Григорием Отрепьевым, лишь подтверждает, что он действовал последовательно, меньше всего преследуя цели банального обмана. Мысль об объявлении себя московским царевичем уже крепко сидела в его голове. И он показал, что умеет делать выводы из своих неудач. Следующим, кого Григорий Отрепьев попытался убедить в своем царственном происхождении, стал князь Константин Острожский. Но даже православный магнат в Речи Посполитой сначала был магнатом и только потом православным человеком. Надо было еще добиться приема у киевского воеводы. И Григорий начинает служить в подведомственных князю Острожскому монастырях, надеясь, как это было уже однажды с патриархом Иовом, обратить на себя внимание своей ученостью. Приведенная выше запись на острожском издании 1594 года вроде бы убеждает, что знакомство с киевским воеводой действительно состоялось. Сам князь Константин Острожский в письме к королю Сигизмунду III открещивался от сомнительной чести встречи с самозванцем в своих землях. А вот его сын, князь Януш Острожский, напротив, был осведомлен о существовании московского претендента, жившего в Дерманском монастыре его отца, а потом «приставшего к анабаптистам» [30].

Итак, Григорию Отрепьеву снова не удалось доказать свое царское происхождение. Более того, позднее в Кракове папский нунций Клавдий Рангони выяснил, что гайдуки князя Константина Острожского вытолкали бесцеремонного просителя за ворота замка. А это означало уже серьезное поражение. Самый первый замысел Григория Отрепьева – привлечь на свою сторону монастырские власти в Киеве и главного православного магната Речи Посполитой – провалился. Формально разрыв с прежними надеждами произошел тогда, когда самозванец скинул чернецкую одежду и дьяконскую камилавку. Он ведь сам сообщал игумену Киево-Печерского монастыря, что ходил «бутто в ыскусе, не пострижен», а следовательно, имел все основания, чтобы переодеться в светский костюм. Все это оказалось неожиданным для его спутников, продолжавших верить в легенду о

паломничестве к святым местам. Но в Речи Посполитой, в отличие от Московского государства, они уже никак не могли повлиять на вольнодумца. Власти Киево-Печерского монастыря только и сказали старцу Варлааму: «Здеся де земля в Литве волная, в коей кто вере хочет, в той и пребывает». Эта незнакомая ранее Григорию Отрепьеву религиозная терпимость и подсказала ему следующие шаги. Он понял, что в Речи Посполитой, где сосуществуют разные христианские традиции, ему, не отступая от задуманного, остается выбрать свою веру и в прямом, и в переносном смысле. Но еще важнее для него было найти «средний путь», примиривший бы православие с другими конфессиями, без чего, как стало понятно, поддержку в Литве найти будет трудно, если вообще возможно.

Следующим пунктом, куда уже самостоятельно, отделившись от своих спутников, пришел Григорий Отрепьев осенью 1602 года, стал арианский центр в Гоще на Волыни маршалка двора князя Острожского – Гавриила Гойского. По словам Н. И. Костомарова, «пребывание в этой школе свободомыслия» наложило на «царевича» «печать того религиозного индифферентизма, который не могли стереть с него даже иезуиты» [31]. Тесные контакты с арианами в Гоще будут потом использованы для обвинений Григория Отрепьева в ереси. Между тем сам он в это время изучал польский язык, латынь и совершенствовал свои познания в богословских вопросах, чему так благоприятствовала атмосфера основанной в Гоще школы. Очевидно, какие-то виды имелись у самозванца и на Гавриила Гойского, как одного из главных придворных князя Константина Острожского. Но их осуществлению мог помешать дотошный старец Варлаам, специально ездивший с челобитной из Дерманского монастыря в Острог, чтобы князь Константин Острожский вернул беглого дьякона из Гощи. Однако как князь, так и его люди опять сослались на законы веротерпимости в Речи Посполитой: «Здеся де земля, как кто хочет, да тот в той вере и пребывает». Вряд ли старец Варлаам придумал этот эпизод. Из его «Извета» выясняется, что князь Константин Острожский упомянул в подтверждение закона веротерпимости в Речи Посполитой о своем сыне, князе Януше Острожском, католике, также ездившем в Гощу к арианам. (Поэтому-то, кстати сказать, сын князя Острожского мог дать уже упоминавшуюся выше точную справку королю Сигизмунду III об отъезде «царевича» из Дерманского монастыря к «анабаптистам».)

Однако все, что удалось Григорию Отрепьеву в Гоще, не считая полученных знаний, – так это пережить холодную зиму 1602/03 года. Сразу «после Велика дни» (православная Пасха

приходилась в 1603 году на 24 апреля) он «пропал безвестно» для старца Варлаама.

Отрепьев не оставил надежд рассказать о своем «царском» происхождении. Теперь он обратился к представителю другого могущественного магнатского рода в православных землях Украины – князю Адаму Вишневецкому. И то, что не удалось сделать самозванцу в Киево-Печерском монастыре, произведет впечатление в Брагине на князя Адама Вишневецкого. Именно из Брагина, при поддержке князей Вишневецких, и начнет восходить звезда «московского царевича», которая очень скоро приведет его и в дом Мнишков. 19 января 1603 года родственник князя Адама – Константин – женился на Урсуле Мнишек, старшей сестре Марины. Это и предопределило будущую встречу царевича Дмитрия Ивановича с Мариной Мнишек.

Князь Адам Вишневецкий тоже был известен своей приверженностью православию. Но богатому и знатному брагинскому владельцу слишком вредила другая «известность» – любителя празднеств и гульбищ. Старец Варлаам не случайно называл его «бражником». У князей Вишневецких были свои счеты и с царем Борисом Годуновым. Уже после заключения перемирия 1 марта 1602 года им никак не удавалось решить пограничные споры с Московским государством. Камнем преткновения оказались принадлежавшие князьям Вишневецким Прилуцкое и Снетино городища в Северской земле. Посланник Постник Огарев, ездивший к королю Сигизмунду III в 1604 году, говорил, что князья Вишневецкие осваивали их «воровством» [32]. Следовательно, конкурент царя Бориса Годунова в правах на московский престол мог пригодиться Вишневецким в споре о городках в Северской земле.

Каким способом Григорий Отрепьев добился признания, в точности неизвестно. Существует несколько версий этого события, случившегося летом 1603 года. Самым правдоподобным выглядит рассказ о новой тяжкой болезни, в которой самозванец якобы открыл тайну своего царского происхождения исповедовавшему его священнику. Это очень напоминает спектакль, отрепетированный чернецом Григорием в Киево-Печерском монастыре. Все понимали, что в такой момент человек не должен врать; вполне естественно было увидеть у больного и царские «признаки» на теле, а также бывший при нем золотой крест с именем царевича Дмитрия. Отрепьев рассказал духовнику историю в духе античного мифа о том, как мальчиком его подменили в Угличе и вместо него погиб другой, как он воспитывался в семье совершенно чужих людей, как его воспитатель лишь перед смертью открыл ему тайну и посоветовал

скрываться от коварного Бориса Годунова в монастырях. На этот раз были учтены все прежние промахи. Как писал автор «Нового летописца», самозванец заготовил «писмо» с историей о своем царском происхождении и, положив его «под постелю», позвал священника, попросив вскрыть «писмо» только после его смерти. Через духовника, не имевшего права сообщать посторонним услышанное на исповеди, однако рассказавшего о необычных речах умирающего, история вышла наружу и дошла до владельца Брагина князя Адама Вишневецкого. Остальные детали окружающие могли домыслить сами, а самозванцу оставалось лишь не разубеждать их и подтверждать выгодную ему версию своими рассказами. Единственное, что могло вызвать сомнения: слишком уж хорошо все было просчитано, чтобы оказаться правдой.

Князю Адаму Вишневецкому поначалу показалось забавным, что у него в услужении оказался «московский царевич». Варлаам Яцкий в своей челобитной писал, что князь «тому Гришке поверил и учинил его на колесницах и на конех ездити и людно. Из Брачна (так в подлиннике. – *В. К.)* князь Адам поехал до Вишневца и того Гришку с собою взял, и по паном по родным его возил и сказывал его царевичем князем Дмитрием Ивановичем Углецким» [33]. Князь Адам Вишневецкий намеренно стремился к тому, чтобы о «царевиче» узнало как можно больше людей, но во всей истории, по крайней мере в начале ее, присутствовал больше элемент шутовства и ничто не напоминало далеко идущую интригу. Вряд ли самозванец был в восторге от того, что его возили в колесницах, как императора Рима, он должен был понимать двусмысленность такой игры и славы. Да и «слава» эта пока не выходила за пределы родственного и дружеского круга Вишневецких. Скоро князь Адам Вишневецкий отвез «сына тирана Ивана» из Брагина в Вишневецкий замок, куда его пригласил приехать двоюродный брат князь Константин Вишневецкий. По дороге в Вишневец самозванец получил небольшую компенсацию за свои прежние унижения. Через Острог и другие земли князя Острожского ехал уже не прежний чернец, а «московский царевич», которого больше не могли достать княжеские гайдуки.

В Вишневце, по сведениям Варлаама Яцкого, Гришка Отрепьев «летовал и зимовал». Князь Адам Вишневецкий многократно рассказывал, каким чудесным образом он нашел «государского сына». «Исповедь» Григория Отрепьева была записана в начале октября 1603 года. Узнали об истории «московского царевича» и Мнишки. Марине Мнишек о появлении царевича первой могла сообщить ее сестра Урсула, ставшая недавно хозяйкой Вишневецкого замка; впрочем, о переписке

между сестрами ничего не известно. В воображении юной панны Марины могли рисоваться какие угодно романтические картины, ведь она, как и другие, не знала реальную историю Григория Отрепьева. Сандомирского же воеводу Юрия Мнишка романтическая сторона дела вряд ли интересовала. Он быстро сообразил, что может использовать «московского царевича», находившегося под покровительством семьи его зятя, в своих интересах.

Молва о «сыне тирана Ивана» быстро распространялась и достигла самых высших сфер. Дело, начавшееся по частной инициативе князя Адама Вишневецкого чуть ли не как шутовское, становилось предметом высокой политики, удостоенным королевского внимания.

Однако, когда все стало очень серьезно, князь Адам Вишневецкий мало что мог предъявить – конечно, кроме того, что ему было известно со слов самого «царевича Дмитрия Ивановича». В письме канцлеру Яну Замойскому от 7 октября 1603 года он так оправдывался за то, что не сразу известил его о появлении «человека, который доверился мне, что он сын Ивана, этого тирана»: якобы убедили его двадцать человек москвичей, приехавших к тому «человеку» (показательно, что Отрепьев не назван царевичем) и подтвердивших его права на Московское царство. Канцлер Ян Замойский посоветовал в ответ отослать москвича к нему или к королю для разбирательства. Не позднее 1 ноября 1603 года король Сигизмунд III уже знал о человеке, называвшем себя «московским царевичем», и приказал доставить его в Краков и поставить в известность папского нунция Клавдия Рангони. 16 декабря 1603 года князь Адам Вишневецкий вынужден был еще раз отчитаться о чудесно спасшемся сыне «тирана» Ивана Грозного – теперь уже перед королем Сигизмундом III [34].

В то самое время, когда князь Адам вел переписку с королем, Григорий Отрепьев попытался осуществить собственный план и собрать казаков и татар для будущего похода в Московское государство. Донцов и запорожцев, узнавших о появлении «царевича Дмитрия Ивановича», интересовал любой поход, суливший хорошую добычу, но самозванец ничем, кроме своих речей и факта поддержки на свой страх и риск его кандидатуры Вишневецкими, не мог убедить казачью вольницу подняться в поход. Король Сигизмунд III быстро показал свое отношение к этому делу. Как только до него дошли слухи о том, что в имение Вишневецких в Дубне стекаются «своевольные люди», желающие «возвести того москвитянина на московское княжество», король запретил своим универсалом 12 декабря 1603 года продавать

оружие в Запорожскую Сечь.

У самозванца не осталось возможности для какого-то самостоятельного маневра. Его судьба решалась королем Сигизмундом III, а также представителем папского престола, канцлерами, гетманами и сенаторами Речи Посполитой, взвешивавшими возможные выгоды и реальные опасности, связанные с поддержкой похода в Московское государство. Выяснилось, что очень многие влиятельные в Речи Посполитой лица не поддерживали этой сомнительной авантюры. Если не считать князей Вишневецких и связанных с ними родственными узами Мнишков, то самозванец имел больше влиятельных противников, чем друзей. Главное, что ни Юрию Мнишку, ни кому бы то ни было другому, не исключая короля Сигизмунда III, не удалось убедить в серьезности дела московского «господарчика» коронного канцлера Яна Замойского. «Некоторые из наших панов-рад указывают нам, – писал король Сигизмунд III канцлеру Яну Замойскому 15 февраля 1604 года, – что этот важный случай послужит к добру, славе и увеличению Речи Посполитой, ибо, если бы этот Димитрий при нашей помощи был посажен на царство, много бы выгод произошло из этого обстоятельства: и Швеция в таком случае могла бы быть освобождена, и Инфлянты были бы успокоены, и силы сравнительно с каждым неприятелем могло бы много прибыть». «Человек, назвавшийся царевичем», интересовал короля Сигизмунда III лишь постольку, поскольку с его помощью можно было попытаться решить главный для короля династический спор со Швецией и отвоевать Ливонию. Но канцлер Ян Замойский не советовал королю кого-либо отправлять с войском, чтобы посадить этого московита на престол, и сам отказывался от такой сомнительной чести: «Остаток лет своих я хотел бы обратить на что-нибудь более основательное» [35]. Потом, когда дело дойдет уже до решения сейма о поддержке похода «Дмитрия Ивановича» на Москву, канцлер Замойский в своей речи 20 января 1605 года даст волю иронии по отношению к самозванцу: «Он говорит, что вместо него задушили кого-то другого, помилуй Бог! Это комедия Плавта или Теренция, что ли?» [36]

И все же театр одного актера, разыгранный Григорием Отрепьевым в декорациях Вишневецкого и Самборского замков, на многих произвел впечатление. Сандомирский воевода Юрий Мнишек и его дочь Марина увидели перед собой человека, уже полностью вошедшего в образ «московского царевича», и у них ни тогда, ни потом не возникало сомнений в том, что они имеют дело с настоящим потомком царского рода. Более того, именно Юрий Мнишек, вспомнивший хорошо ему известные тайные ходы

в королевские покои, сделал все для того, чтобы «Дмитрий Иванович» продемонстрировал свое искусство на главной сцене Вавельского замка в Кракове. 15 марта 1604 года «царевич» удостоился аудиенции у Сигизмунда III, а несколько дней спустя получил еще и поддержку папского престола в лице нунция Клавдия Рангони. С этого времени самозванец начал сбор войска для московского похода, а сандомирский воевода Юрий Мнишек стал главным организатором дела.

Путь из Самбора в Краков и обратно был для царевича Дмитрия дорогой компромиссов и обещаний, иногда совсем несбыточных. Практически никто не был его искренним сторонником, кроме, может быть, веселого князя Адама Вишневецкого. Искренне могла откликнуться на чувства Дмитрия Марина Мнишек, но и ее, шестнадцатилетнюю девочку, ослепляли яркие картины венчания с будущим царем, а не простым смертным. Ведь кто появился в Самборе? Обыкновенный молодой человек, неуверенно изъясняющийся по-польски, одетый в непривычный для него гусарский костюм – венгерку.

Но ведь было в нем что-то такое, что могло привлекать к нему людей?! Сохранилось немало портретов царевича Дмитрия, но, пожалуй, лишь один из них – современная акварель, разысканная биографом самозванца Филиппом Барбуром в Дармштадтской библиотеке в 1960-х годах, дает реальное представление о его облике. Да, коротко стриженные волосы, бритое лицо и «особая примета» в виде пресловутой бородавки на правой стороне носа, известные по современным гравюрам, присутствуют и здесь. В Речи Посполитой еще не успели забыть облик бывшего короля Стефана Батория, у которого была примерно такая же бородавка, и это дало основание кому-то даже посчитать Дмитрия его сыном! Но гораздо важнее, что в акварельном изображении осталось зафиксированным состояние напряженного ожидания, в котором пребывал самозванец. Чувствуется и какая-то скрытая сила в его огромных, не смотрящих на собеседника глазах. Пожалуй, печаль и серьезность определяют тональность дармштадтского портрета. И еще ум и воля. А красота? При желании можно увидеть и ее. В общем, достаточно для того, чтобы произвести впечатление не только на дочь сандомирского воеводы.

Известны нам и словесные портреты самозванца. По словам французского капитана Жака Маржерета, служившего позднее в Москве у царя Дмитрия начальником одного из отрядов его охраны, Дмитрию «было около 25 лет; бороды совсем не имел, был среднего роста, с сильными и жилистыми членами, смугл лицом; у него была бородавка около носа, под правым глазом;

был ловок, большого ума, был милосерден, вспыльчив, но отходчив, щедр; наконец, был государем, любившим честь и имевшим к ней уважение. Он был честолюбив, намеревался стать известным потомству». Или вот описание Станислава Немоевского, прибывшего в Москву в свите Марины Мнишек: Дмитрий «роста скорей был малого, чем среднего, с круглым и смуглым лицом, с угрюмым взглядом, с малыми глазами, русыми волосами, без усов и бороды; правда, он был молод, но все же – с бабьим лицом». И здесь же: «По природе Дмитрий был ласков, подвижен, вспыльчив, склонен к гневу, почему и казался со стороны жестоким; но затем, при малейшей уступке ему и покорности, – милостив. Он был полон заносчивости и спеси, щедр, но более на словах, чем на деле… В жизни умеренный, пьянства гнушался, но *in* re veneria (в отношении женского пола. – *В. К.*), говорят, менее воздержан… В обыкновенных делах обнаруживал верное от природы суждение и знание; от природы красноречивый, он охотно много говорил, легко выслушивал каждого. К военному делу имел большую любовь, и разговор о нем был самый любезный ему…» [37]

Но вся эта сложная гамма человеческих качеств до поры до времени должна была оставаться незамеченной. Перед лицом короля, отцов католической церкви, магнатов он был лишь претендентом на корону Московского царства. Все хотели так или иначе использовать самозванца в своих целях. Понимая это, Дмитрий должен был снова делать нелегкий выбор: подчиняться правилам игры или лишиться всякой поддержки. Теперь речь шла о более серьезных одолжениях, чем катание на колесницах у князя Адама. Самозванцу приходилось отвечать на вопросы о соединении православной и католической веры (воевода Юрий Мнишек был сторонником Брестской унии) или о будущих территориальных уступках Речи Посполитой в случае занятия им московского престола. И царевич решил пойти ва-банк, пожертвовав всем ради приближения своей цели. Цена его обещаний выяснится много позднее, когда царь Дмитрий Иванович не исполнит почти ничего из того, о чем договаривался в Речи Посполитой, кроме разве что женитьбы на Марине Мнишек.

Будущий триумф воцарения в Москве, постоянно манивший самозванца и тех, кто его окружал, нужно обязательно иметь в виду, разбирая побудительные мотивы действий семьи Мнишков с тех пор, как самозванец появился в королевском замке в Самборе в конце 1603-го – начале 1604 года. «Московский царевич» проводил время в беседах с давшим ему приют сандомирским воеводой Юрием Мнишком, красочно живописуя,

какими несметными богатствами он мог бы отблагодарить тех, кто поможет ему достигнуть престола предков. На помощь был привлечен духовник Мнишков, пробощ самборского костела бернардинцев Франтишек Помасский. Его подкупило то внимание, с каким «московский царевич» отнесся к католической вере. Что предлагал Марине Мнишек (и предлагал ли вообще) вчерашний беглый чернец из Московского государства, неизвестно; сцена у фонтана в Самборском замке, принадлежащая пушкинскому гению, не более чем поэтический вымысел. Но, конечно, А. С. Пушкин верно угадал, что Марине Мнишек нужен был муж-царь, а не мальчик-царевич. Другое дело, что трудно представить самозванца «ведомым», теряющим голову, подчиняющимся минутным страстям. В его голове одна заветная цель – московский престол, а все остальное оценивалось им лишь с точки зрения полезности для общего замысла. Кто скажет, чем больше увлекался тогда Григорий Отрепьев – необходимыми ему деньгами и связями Мнишков или увиденной им в доме сандомирского воеводы панной Мариной? Что сама Марина Мнишек думала о таком экзотическом повороте ее судьбы и участвовала ли она вообще в обсуждении договоренностей с царевичем? Не только в этом случае предполагавшееся родство было лучшим поручительством всей сделки. Первые объяснения с воеводой Юрием Мнишком по поводу «видов» на его дочь произошли еще до того, как царевич Дмитрий побывал на аудиенции у короля Сигизмунда III. Но решение дела о возможной свадьбе Марины Мнишек с наследником московского престола, чьи права нигде пока еще не были признаны, сандомирский воевода благоразумно отложил до возвращения из Кракова.

Воевода Юрий Мнишек и ксендз Франтишек Помасский сами провожали «царевича» из Самбора в Краков, где ему предстояло подтвердить свою историю перед королем Сигизмундом III. Самозванец, как известно, не подвел своего главного покровителя и сумел произвести впечатление не только на короля, но и на представителя папского престола в Кракове нунция Клавдия Рангони, намекнув на готовность перейти в католичество (этим можно было заинтересовать папу, что позволяло нунцию подумать о кардинальской шапке и пурпурной мантии).

Разговоры о переходе московского «царевича» в католичество начались еще в Самборском замке, где их вели бернардинцы ксендз Франтишек Помасский и отец Бенедикт Анзерин [38]. Монах-бернардинец Бенедикт Анзерин окажется связан самым тесным образом с Мариной Мнишек, он приедет в Москву на ее свадьбу и станет главным духовником всех поляков,

отправленных вместе с ней в ссылку. Отец Бенедикт имел возможность одновременно говорить как с Мариной Мнишек, так и с царевичем Дмитрием. Кто, как не он, мог деликатно объяснить возможные конфессиональные затруднения, возникавшие из идеи необычного брака, уже начавшей обсуждаться в Самборе. Главное условие, на которое следовало согласиться сыну московского царя, – принятие католичества, без которого брак был невозможен. Поэтому когда самозванец ехал из Самбора в Краков вместе с паном воеводой и ксендзом Помасским, ему было явно не до учтивых бесед. Он находился перед трудным выбором: чтобы быть царем в Московском государстве, надо остаться православным, а чтобы достигнуть царства, надо перейти в католичество. Соединить эти две противоположные задачи можно было только одним способом: сохраняя в тайне свой символ веры, пока не будет достигнута главная цель – царский трон.

Обласканный на приеме у короля Сигизмунда III в Кракове 15 марта 1603 года царевич Дмитрий попал в руки иезуитов и нунция Рангони, решительно взявшихся за дело обращения в католичество прозелита из московской царской фамилии. Зная последующую историю, не следует ли признать, что актер-дебютант в Кракове понемногу превращался в режиссера своей судьбы? Присоединение к католицизму устраивало всех, и оставалось договориться об условиях. Папский престол и иезуиты проявили учтивость, тактично позволив сохранить в тайне обряд перехода в католичество. Но именно это и надо было самозванцу. Теперь он получил возможность напрямую обратиться к самому папе римскому, хотя еще недавно в Ватикане просто посмеялись над ним, приняв его за какого-нибудь нового Лже-Себастиана португальского. Царевич Дмитрий Иванович стал католиком в Страстную субботу 17 апреля 1604 года. Известно, что в эти часы может твориться в душе христианина, переживающего завершение земной жизни Христа и его близкое Воскресение. Тяжелый час Страстей Христовых совпал с одной из «станций» на пути «царевича», шедшего своим путем. 24 апреля 1604 года он, уже как правоверный католик, пишет из Кракова о том, что «лобызает ноги» папы Климента VIII, и объясняет произошедшие с ним духовные метаморфозы: «Я избегнул рук лютейшего тирана (Годунова. – *В. К.)* и ушел от смерти, от которой еще в самом течении моего детства избавил меня Всемогущий Бог дивным и во истину необычным своим промыслом, направил в эту страну, подвластную его величеству королю польскому и сохранил доныне в безвестии и тайне. Но настало время, когда я должен был наконец открыться и предстать перед его величеством

королем. Когда явился я к нему и когда я прилежнее присмотрелся к цветущему состоянию католической веры по обряду Святой Римской церкви, я постепенно стал прилагать свое сердце к воспринятою и познанию ее и обрел, наконец, сокровище ценнейшее и царство много славнейшее и лучшее, чем то, которого я лишился великим нечестием тирана». Далее «нижайший слуга Дмитрий Иванович царевич России и наследник Московской монархии» отрекался от «греческой схизмы» и заявлял о своем воссоединении с римско-католической верой. Царевич делал тонкий намек на то, что в случае своего «восстановления» на «отчем царстве» будет стремиться к «воссоединению с церковью столь великого народа»: «Кто знает, на что благоволил Он присоединить меня к Своей церкви?» Однако Дмитрий упоминал о том, что его послание носит секретный характер, и просил «сохранить сие до времени в тайне» [39].

Жених царской крови, не ради ли самой Марины Мнишек сменивший веру своих предков, удостоенный чести переписки с папой римским и известный королю, – о чем еще могло мечтаться не знавшей высшего света, но стремившейся к яркой жизни молодой девушке? Не случайно вслед за этим первым краковским триумфом союзники – царевич Дмитрий Иванович и сандомирский воевода Юрий Мнишек – от слов перешли к делу. Все, о чем они раньше говорили друг другу намеками, теперь приняло форму документально оформленных договоренностей. 25 мая 1604 года царевич выдал запись воеводе Юрию Мнишку о том, что при достижении царского престола он гарантирует уплату ему одного миллиона польских злотых и обещает жениться на его дочери Марине Мнишек, сделав ее наследственной владетельницей Новгородской и Псковской земель. 12 июня царевич Дмитрий дополнительно обещал отдать во владение своим сторонникам в Речи Посполитой Северскую и Смоленскую земли. Юрий Мнишек и его потомки уравнивались в правах с потомками короля Сигизмунда III. Каждому роду – Мнишков и Вазов – доставалась половина этих земель, а заодно решался исторический спор между двумя государствами об их принадлежности.

Содержание договоренностей царевича Дмитрия Ивановича с воеводою Юрием Мнишком хорошо известно. Польские «листы», в том числе договор 25 мая 1604 года, были найдены «у розстриги в хоромех» при его свержении с трона и «чтены всем людем на Лобном месте» [40]. Тексты писем известны также благодаря первым публикациям (в том числе на языке оригинала) во втором томе «Собрания государственных грамот и договоров» в 1819

году. Иногда даже кажется невероятным, как могли уцелеть в веках документы, раскрывающие всю «тайную подноготную» действий самозванца. В записях отражен постыдный торг, где будущий царь Дмитрий Иванович действует как предатель интересов Московского государства. Сандомирский же воевода не жалеет ни средств, что еще полбеды, ни чести своей дочери, чтобы в будущем сорвать огромный денежный куш. Но задумаемся: не мешает ли использование черно-белой палитры правильной оценке всего замысла? Мы уже видели, что царевич Дмитрий умел отступать, давать обещания, соглашаться на невыгодные условия, откладывая их исполнение на будущее. Поэтому надо еще ответить на простой вопрос: а собирался ли самозванец выполнять то, что обещал?

Кажется, история уже дала свой ответ, проложив дорогу к власти этому фанатику цели, не жалевшему полцарства, чтобы сделать свою мечту былью, а потом низвергнув его в прах. Тогда, при царе Дмитрии Ивановиче, некому было предъявить к оплате векселя, выданные им в Речи Посполитой в мае-июне 1604 года. Но немаловажно и то, что они продолжали оставаться действительными еще сто с лишним лет! В начале XVIII века правнук Юрия Мнишка великий коронный маршалок Йозеф Вандалин Мнишек затеял тяжбу с Россией о компенсации за обещанные земли. Двадцать лет польские и русские дипломаты серьезно обсуждали этот вопрос, пока он не закрылся сам собою за смертью истца, так и не дождавшегося удовлетворения. Более того, оригиналы документов, относившихся к московской кампании царевича Дмитрия Ивановича, оказались потерянными для родового архива Мнишков и остались в России (сейчас это фонд 149 «Дела о самозванцах» в Российском государственном архиве древних актов) [41]. Далеко смотрел мудрый канцлер Ян Замойский, отвечая на обращение воеводы Юрия Мнишка о поддержке «царевича»: «Кость падает иногда недурно, но бросать ее, когда дело идет о важных предприятиях, не советуют».

Вернемся к тому первому документу от 25 мая 1604 года, в котором были подробно расписаны условия женитьбы «царевича» Дмитрия на Марине Мнишек. Он оформлен в виде записи, выданной будущим женихом, именовавшим себя следующим титулом: «Мы, Дмитрей Иванович, Божиею милостию царевич великой Руси, Углицкий, Дмитровский и иных, князь от колена предков своих, и всех государств московских государь и дедич». После общих рассуждений о «будущем состоянии жития нашего» царевич Дмитрий Иванович дает обещание жениться на Марине Мнишек, подтверждая его клятвами во имя Троицы: «Усмотрили есмя и улюбили себе, будучи в королевстве в Полском, в дому

честнем, великого роду, житья честного и побожного приятеля и товарыща, с которым бы мне, за помочью Божиею, в милости и любви непременяемой житие свое провадити, ясневелеможную [ее милость] панну Марину с Великих Кончиц Мнишковну… дочь ясневелеможного пана Юрья Мнишка с Великих Кончиц, воеводы Сендомирскаго, Львовскаго, Самборскаго, Меденицкаго и проч старосты, жуп [42] Руских жупника… которого мы испытавши честность, любовь и доброжелательство (для чего мы взяли его себе за отца); и о том мы убедительно его просили, для большаго утверждения взаимной нашей любви, чтобы вышереченную дочь свою панну Марину за нас выдал в замужство». В подлиннике сказано более изящно и даже поэтично, чем в переводе Карпа Армашенка, опубликованном в «Собрании государственных грамот и договоров». Царевич просил его милость пана воеводу, чтобы тот позволил «поменять» ее милости статус дочери на положение жены.

Самозванец трезво осознавал свое незавидное положение непризнанного наследника Московского царства. Следом за просьбой о женитьбе на Марине содержалось упоминание о том, что царевич пока не достиг своего «наследственного» владения, и раньше выполнения этого условия стороны и не собирались давать ход всему делу. «А что тепере мы есть не на государствах своих, и то тепере до часу, – писал царевич Дмитрий. – А как даст Бог буду на своих государствах жити, и ему б попомнити слово свое прямое, вместе с панною Мариною, за присягою; а яз помню свою присягу, и нам бы то прямо обема здержати, и любовь бы была меж нас, а на том мы писаньем своим укрепляемся». Действительно, присягали и договаривались о принятых на себя «кондициях» обе стороны. Царевич и сандомирский воевода вместе придумали такую последовательность действий: во-первых, как только царевич достигает престола, он будет обязан выплатить воеводе миллион злотых «подъемных», «как его милости самому для ускорения подъема и заплаты долгов, так и для препровождения к нам ея [милости] панны Марины, будущей жены нашей». Дополнительно выдавались драгоценности из московской казны и столовое серебро. Во-вторых, следующим шагом будет отсылка посольства к королю Сигизмунду III для того, чтобы он одобрил брак будущего московского государя и Марины Мнишек, «чтоб то наше дело, которое ныне промеж нас, было ему ведомо и позволил бы то нам зделати без убытка». В-третьих, в обеспечение прав, а по сути в «приданое» от жениха к невесте (!), московский царевич обещал два государства – Великий Новгород и Псков «со всеми людьми». По заключении брака Марине Мнишек должны были выдать из царской

канцелярии «привилей» с подписью и печатью царя Дмитрия Ивановича. Высокие договаривающиеся в Самборе стороны предусмотрели даже такую гипотетическую возможность, как отсутствие потомства у будущей царской четы. В этом случае права Марины Мнишек на Новгород и Псков все равно должны были остаться незыблемыми. Марина могла оставаться в своей вере и основывать там католические монастыри и церкви. Царевич Дмитрий подтверждал, что готов вести все Московское государство к церковному единству с римско-католической верой. Правда, были основания сомневаться, что план этот будет встречен с одобрением в Московском государстве, поэтому будущему царю Дмитрию Ивановичу давался на выполнение обещаний по достижении им престола один год. В противном случае, говорилось в записи, «ино будет вольно пану отцу и панне Марине со мною розвестися».

Запись была подтверждена присягой в присутствии капелланов, запечатана гербовой печатью с именем «царевича Дмитра Ивановича» и подписана им по-польски и по-русски. Если польская подпись «Дмитр царевич рукою своею» выведена уверенно, то на русском языке красивым скорописным почерком было написано только слово «Царевич». Имя «Дмитрий» далось автору документа с каким-то труднообъяснимым усилием, он так привык в Речи Посполитой к имени «Дмитр», а может, к латинскому «Demetrius», что по-русски стал писать свое имя сначала в виде лигатуры «Де» (двух рядом стоящих букв, в начертании которых используется общий элемент), потом поправил его, чтобы это выглядело похоже на «Димитрий» [43].

С 25 мая 1604 года Марина Мнишек могла считаться помолвленной. Но об этом мало кто знал, кроме тех, кто участвовал в составлении записи. В положении дочери сандомирского воеводы не произошло никаких изменений; все, что ей было обещано, требовало еще исполнения известных условий. Панну Марину, возможно, ждала блестящая будущность, но могло быть и так, что у всего дела не оказалось бы никакого продолжения. Слишком много «если» должно было исчезнуть в ближайшее время. Если, во-первых, случится «чудо» и царевич укрепится на своем наследном престоле – и это в то время, когда во главе Московского государства находился такой сильный правитель, как Борис Годунов, имевший к тому же своего единокровного наследника. Если, во-вторых, король согласится одобрить будущий брак. Если, в-третьих, царевич Дмитрий Иванович, сев на царский трон, не забудет своих обещаний… Значит, ни на что, кроме действия Божьего промысла, Марине Мнишек надеяться не приходилось. Да и кто поручится, что она

была полностью посвящена во все детали тогдашних планов своего отца, сандомирского воеводы Юрия Мнишка? Ни он, ни тем более Марина Мнишек не были заинтересованы в огласке договора о возможной женитьбе, ибо в случае неудачного исхода дела репутация невесты серьезно бы пострадала.

Даже в самом Самборе, кроме искренне заблуждавшихся сторонников самозванца, стали появляться те, кто свидетельствовал против него, и с этим тоже нельзя было не считаться. Одним из самых опасных обличителей самозваного царевича был старец Варлаам Яцкий. Уже говорилось о его неугомонном характере, поэтому совсем неудивительно, что в своем правдоискательстве он добрался и до королевского замка, намереваясь обличить обманувшего его чернеца Григория. Однако уже шла большая политическая игра, и испортить ее старцу Варлааму не удалось. Король и паны-рада, выслушав извет, «не поверили» его рассказу и, более того, выдали старца тому, против кого он собирался свидетельствовать. Варлаама отослали в Самбор к воеводе Юрию Мнишку. Старец еще легко отделался, потому что вместе с ним обвинили в покушении на «московского царевича» брянчанина сына боярского Якова Пыхачева, якобы действовавшего по приказу Бориса Годунова. Сандомирский воевода Юрий Мнишек приказал казнить Якова Пыхачева (и даже сообщил о своем «доблестном» поступке в Рим!), а старец оказался в тюрьме Самборского замка. От расправы его не спасло даже иноческое платье, которое «рострига Гришка» с него «снял», повелев «бита и мучить». Только стечение обстоятельств – временные неудачи самозванца в Московском государстве – позволило впоследствии Варлааму Яцкому выйти на свободу. Самозванец порой проявлял необъяснимое снисхождение к своим врагам, граничившее в его положении с безрассудностью.

В истории с заключением старца Варлаама в Самборском замке интересна еще одна деталь, непосредственно связанная с Мариной Мнишек. Именно она вместе с матерью даровала жизнь старцу, освободив его от оков и выпустив из тюрьмы в то время, когда сандомирский воевода Юрий Мнишек уже несколько месяцев воевал вместе с царевичем где-то на просторах Московского государства. «И пана Юрья панья да дочи Марина меня выкинули и свободу мне дали» [44], – писал хорошо помнивший имена своих спасительниц старец Варлаам в изветной челобитной, поданной в Москве царю Василию Шуйскому. Милосердие – симпатичный «штрих» в портрете любого человека. Марине Мнишек, как увидим, еще придется пользоваться своим влиянием для спасения жизни других людей.

Лето 1604 года было посвящено сбору войска для похода за московской короной. Имея обязательства, подписанные «царевичем Дмитрием Ивановичем», сандомирский воевода Юрий Мнишек снова получал кредит, недавно едва не потерянный им навсегда. У всех свежа была в памяти история 1602 года, когда терпение короля Сигизмунда III лопнуло и он готов был принудительно взыскать с сандомирского воеводы недоплаченные им доходы с самборской экономии. Для короля интереснее было получать причитавшиеся ему «пенёндзы» (деньги), а не отчеты о все новых и новых затейливых украшениях своего дворца в Самборе, в котором ему так и не пришлось побывать. Вернувшееся, благодаря царевичу Дмитрию, расположение короля Сигизмунда III позволяло привлечь к готовящемуся делу как сочувствующих, так и тех, кто рассчитывал на получение своих барышей. Слова королевского одобрения «царику» можно было конвертировать в займы для уплаты денег войску, направлявшемуся в Московское государство под неафишировавшимся патронажем польской короны.

15 (25) августа 1604 года, «на Успение Пречистыя Богородицы», как заметил попавший тогда в Самбор старец Варлаам, произошло выступление набранного войска в поход. Для православной казачьей части войска царевича Дмитрия Ивановича знаменательным было то, что всему делу предшествовал двухнедельный Успенский пост. Дата начала похода, совпавшая с одним из двунадесятых праздников, сразу оставалась в памяти и позволяла надеяться на небесное заступничество. Войско двинулось сначала на Сокольники, откуда царевич Дмитрий Иванович ездил во Львов. Там состоялась новая религиозная демонстрация намерений: 29 августа царевич побывал в львовском кафедральном костеле иезуитов. Этот знак адресовался сомневающимся польским сторонникам. Но одновременно «отступнические» действия самозванца встревожили православный епископат Львова, известивший обо всем царя Бориса Годунова и патриарха Иова в Москве [45].

Воевода Юрий Мнишек опять попытался заручиться поддержкой канцлера Яна Замойского. 28 августа 1604 года он сообщил канцлеру три главные причины, по которым отправился в путь с «царевичем московским»: 1) «я хотел оказать ему – при отъезде его из моего дома – сердечное мое расположение к нему»; 2) «я, при его опасном положении, хотел подать ему помощь в его трудном положении»; 3) «я вместе с другими – изъявлением ему своего благорасположения – хотел снискать народу польскому и нашему отечеству славу добросердечия» [46]. Но из договоров, заключенных Юрием Мнишком с самозванцем, известно, что

«добросердечие» и собственные корыстные интересы находились у сандомирского воеводы где-то рядом. Не доверял этой риторике и многоопытный Замойский.

Ход дальнейших событий известен. Остается напомнить его основные вехи. В сентябре 1604 года в Глинянах состоялся генеральный смотр набранного войска, на котором были выбраны гетман – сандомирский воевода Юрий Мнишек и полковники – Адам Жулицкий и Адам Дворжицкий, а также выработаны походные правила. Отсюда войско, разделившись на роты, двинулось через Фастов и Васильков к Киеву, где собралось 17 октября. Теперь не только в Остроге, но и в Киеве бывший чернец, принятый как московский царевич, мог насладиться переменой своего положения. Но владения князей Острожских оставались недружественными для самозванца, поэтому, пробыв в Киеве всего три дня, войско царевича Дмитрия двинулось дальше и 23-25 октября с большими трудностями переправилось через Днепр «на перевозе под Вышгородом» [47]. Участник похода ротмистр Станислав Борша вспоминал, каким беззаботным показалось ему время, когда наемные отряды двинулись после переправы к границе Московского государства: «Переправившись через Днепр, мы шли через веселые леса и поля, через богатые луга; много было там вкусных ягод, понемногу мы добывали себе и продовольствие» [48]. Кто бы знал, что ждало впереди не только участников этого веселого перехода, но и тех, кто мысленно следил за передвижениями царевича Дмитрия Ивановича в королевских замках в Самборе и на Вавеле.

С. Ф. Платонов в «Очерках по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.» писал: «Разумеется, не военные силы и не личная доблесть Самозванца доставили ему победу» [49]. Действительно, как бы хорошо ни были продуманы планы военных действий, с помощью одного того войска, которое собралось в поход на Москву, можно было только нанести небольшие «уколы» в Северской земле. Но именно на юге Московского государства, как оказалось, более всего готовы были принять царевича Дмитрия. Ему даже не пришлось вступать в серьезные сражения. Сразу же, только по одному слуху о воскресшем сыне Ивана Грозного, на сторону самозванца стали переходить целые города, а в его лагерь съезжались все недовольные правлением Бориса Годунова. Напомним о трех голодных годах, случившихся перед тем в Московском государстве. Пережитый голод лучше всего агитировал в пользу присяги новому претенденту на царский престол.

Летопись побед царевича Дмитрия Ивановича до середины ноября 1604 года похожа на сказку. У сандомирского воеводы

Юрия Мнишка и других польских сторонников самозванца были все основания ликовать. Случилось так, как и говорил царевич: стоило только ему объявиться в своем государстве, и на его сторону перешли первые же города Моравск и Чернигов. Черниговская казна поступила в распоряжение самозванца вовремя, так как наемное войско, даже еще не побывав в серьезных сражениях, уже жаловалось на плохое обеспечение. Ротмистр Станислав Борша записал о стоянии лагерем под Черниговом: «Тут рыцарство просило у царя денег, жалуясь на свою нужду в одежде и продовольствии».

Первым серьезным испытанием стали бои за Новгород-Северский. Самозванец возвращался в те места, через которые проходил когда-то в чернецкой одежде. Разрядные книги сообщали, что «под Новым городком стоял вор с литовскими людми в Спаском монастыре и к городу приступал многижда» [50]. А это означает, что царевич сдержал слово, данное в «писании», оставленном в новгород-северском монастыре в 1602 году. Гарнизон Новгорода-Северского сел «в осаду» в середине ноября 1604 года и благодаря мужеству защитников и воеводы Петра Федоровича Басманова продержался несколько недель до подхода главной годуновской рати во главе с боярином князем Федором Ивановичем Мстиславским. 21 декабря 1604 года состоялось большое сражение. Царевич Дмитрий мог праздновать победу, но цена ее оказалась слишком велика. Под Новгородом-Северским армия самозванца оставила три братские могилы с телами 600 русских наемников; тогда же погибло до 20 польских шляхтичей и 100 человек пахоликов (слуг). Сам «царевич Дмитрий Иванович», объезжая поле брани и видя «такое множество убитых его людей… сильно сожалел и плакал». Это была первая большая кровь. Последняя ли? Задержка самозванца в Северской земле и крупное сражение, которое он должен был принять, спутали все его планы. В случае успеха царевич Дмитрий мог быстро пройти во главе своей армии по направлению к Калуге и Туле, в то время как поддерживавшие его казаки, двигавшиеся по «Крымской дороге», обеспечивали ему надежный тыл в городах от «Поля». События же пошли по-другому.

Первые серьезные бои показали, что набранное в Речи Посполитой войско не отличалось удалью, если только она не была хорошо оплачена. Участник боев под Новгородом-Северским, ротмистр Станислав Борша, оставшийся, в отличие от многих первых офицеров, с царевичем до конца, писал: «После этого первого сражения наше рыцарство грустило, что пришлось терпеть великую нужду ему самому и его прислуге; некоторых же из них, надобно думать, приводил к этому страх – то есть они

боялись, что их ожидает еще большая беда. Они стали требовать у царя денег и объявили: “Если не дашь денег, то сейчас идем назад в Польшу”». В первые же дни нового, 1605 года стали разыгрываться отвратительные сцены, свидетельствовавшие о начинавшемся распаде армии, набранной самозванцем в Речи Посполитой. Шляхтичи одной роты интриговали и хотели тайно, чтобы остальные не узнали, получить деньги, обещая остаться и удерживать другие роты. Царевич бездумно согласился, но утаить раздачу денег среди наемников было невозможно, это спровоцировало настоящий бунт. Мародеры вырвали у самозванца его главный трофей в битве под Новгородом-Северским – золотое знамя рати боярина князя Федора Ивановича Мстиславского. Со знамени ободрали соболью ферязь, выкупленную было представителями годуновского войска. Самозванцу кричали: «Ей-ей, ты будешь на коле!» – а он не по-царски отвечал обидчику тычком в зубы.

В этот драматический момент сандомирский воевода Юрий Мнишек принял решение вернуться домой 4 января 1605 года. Как можно заметить, очень часто отец Марины пользовался известным приемом «дипломатической» болезни. Так случилось и на этот раз: он сослался на свое «нездоровье», подкрепив это решение неотложными делами, связанными с необходимостью участия в работе сейма. Формально Мнишек уверял самозваного царевича, что идет за подмогой. Впоследствии дипломаты Речи Посполитой объясняли его уход тем, что воевода исполнял волю короля Сигизмунда III, запретившего ему под воздействием обращений из Москвы далее поддерживать самозванца. Вслед за гетманом, по словам ротмистра Станислава Борши, ушла «и большая часть рыцарства». Напрасно царевич Дмитрий падал ниц и пластался перед уходящими ротами «крыжем», как распятый. Тем, кто смог пережить новгород-северское сражение, казалось безумием дальше оставаться рядом с самонадеянным царевичем. Он, конечно, мог ссылаться на поддержку, оказанную ему Путивлем, другими городами и волостями, присылавшими своих людей с челобитными. Но тогда даже не существовало карт, чтобы флажками отметить на них те немногие места, где находились сторонники царевича. Не было ясно, сможет ли он контролировать хотя бы часть Северской земли, уже оказавшейся под его властью.

Особенно после нового большого сражения с войском боярина князя Федора Ивановича Мстиславского. 21 января 1605 года под Добрыничами в Комарицкой волости войска самозванца были разбиты. И какой безумный оракул мог тогда предсказать, что до вступления царевича Дмитрия Ивановича в Москву

остается ровно пять месяцев?!

В конце января – начале февраля 1605 года, то есть в те самые дни, когда самозванец бежал из-под Добрынич, в Варшаве собрался сейм Речи Посполитой. Все, что король Сигизмунд III мог сообщить о действиях «московского государика» своим сенаторам и шляхте, – это то, что на сторону Дмитрия перешел Чернигов, а сам так называемый «царевич» под Новгородом-Северским встретил «войско великого князя». Даже не зная о крупном поражении самозванца, участники варшавского сейма не одобрили действий тех сенаторов, которые поддержали его поход. Литовский канцлер Лев Сапега прямо порицал сандомирского воеводу Юрия Мнишка, говорил о том, что письменно обращался к нему, чтобы тот «возвратился назад». Сейм не принял предложений короля относительно московских дел, а король не согласился на пункт о «московском государике», предложенный сеймом: «Всеми силами и со всем усердием… принимать меры, чтобы утишить волнение, произведенное появлением московского государика, и чтобы ни королевство, ни великое княжество Литовское не понесли какого-либо вреда от московского государя, а с теми, которые бы осмелились нарушать какие бы то ни было наши договоры с другими государствами, поступать как с изменниками» [51]. Так, по итогам сейма 1605 года, сандомирский воевода Юрий Мнишек и его семья чуть не оказались вне закона за свою поддержку «московского царика». Надежды на хорошие для Мнишков новости из Московского государства были призрачными. Обитателям Самборского замка оставалось отпустить русских пленных и поскорее предать забвению все происшедшее…

Но когда на царевиче Дмитрии Ивановиче уже готовы были поставить крест в Речи Посполитой, в Московском государстве его звезда только начала восходить. Решающей оказалась поддержка, оказанная самозванцу запорожскими и донскими казаками. Царевич был прав, когда с самого своего появления в Самборе в конце 1603 года непрестанно обращался с призывами к казачеству. Вот кто на долгие годы стал главной политической силой. В отличие от наемного шляхетского войска, державшегося одним регулярным жалованьем, казаки были не лишены поэзии и романтики войны. Все, что им недоплачивали, они, не брезгуя ничем, могли взять сами. Имущество, а иногда и сама жизнь отнимались у других во имя высокой цели поддержки прав на престол царевича, пострадавшего от преследователя казаков Бориса Годунова. И это вдруг перестали называть убийством и грабежом.

Царевич Дмитрий и его войско спровоцировали вихрь Смуты,

пронесшийся сначала по Северской земле, а потом по всему Московскому государству. Главной жертвой событий стал царь Борис Годунов, со скоропостижной смертью которого разрушилось все, что он выстраивал десятилетиями. Но пока Борис был на троне, он не имел права не справиться с вызовом, брошенным ему самозванцем. Потерпев поражение под Добрыничами, царевич Дмитрий Иванович казалось бы не должен был уже оправиться. Он спрятался в преданном ему с самого начала движения Путивле, под охраной стен одной из немногих каменных крепостей Московского государства. Там царевича никто не преследовал и не тревожил, и это стало огромной ошибкой царя Бориса Годунова. А царевич, оказавшись в Путивле – опять в знаменательные для него дни Великого поста, – повел себя как настоящий наследник православного государства, выказав особенное почтение принесенной из Курска «Коренной» чудотворной иконе Божьей Матери. С этой иконой он позднее вступит в Москву [52].

Вспоминал ли он тогда о невесте Марине Мнишек, оставленной в Речи Посполитой, об обещаниях, данных ксендзам и отцам-иезуитам? Однозначно можно сказать, что он о них не забыл. Начиная с марта 1605 года из Путивля в Рим шли донесения отцов-иезуитов Николая Чижевского и Андрея Лавицкого. Сам царевич Дмитрий писал нунцию Клавдию Рангони 4 и 14 апреля и 13 мая 1605 года [53]. В этих письмах сообщались любые благоприятные детали, чтобы показать, что дело московского царевича еще не пропало. В них содержался рассказ о призыве казаков на службу, перечислены семь городов, перешедших на сторону самозванца, – Воронеж, Оскол, Белгород, Валуйки, Борисов (Царев-Борисов), Елец и Ливны. Царевич Дмитрий Иванович гордо сообщал о переименовании Царева-Борисова в Царьгород. Знал ли нунций Рангони о том, что так называли Константинополь в Московском государстве? Если знал, то он мог расшифровать послание таким образом, что царевич Дмитрий не забыл обещаний о крестовом походе против турок.

Царь Борис Годунов тем временем отпустил одну часть своего войска из-под Новгорода-Северского и Добрыничей по домам, а другую послал воевать мятежную Комарицкую волость и наводить порядок в городах Северской земли. В феврале 1605 года годуновское войско стало собираться под Кромами, где засел с донскими казаками атаман Андрей Корела. Кромы стояли на пути из Москвы в Путивль, и туда была направлена из Севска рать боярина князя Федора Ивановича Мстиславского. Но сидевшие в осаде казаки, окопавшиеся в землянках, оказались лучшими воинами, чем стоявшие в открытом зимнем поле дворянские

сотни. Зимою тогда благоразумно старались не воевать из-за трудностей, связанных с обеспечением войска зимней одеждой и продовольствием. Царю Борису Годунову пришлось пренебречь этим правилом, но натуру служилых людей трудно было переделать. Они начали разъезжаться из войска, явно не желая воевать, что чрезвычайно приободрило самозванца в Путивле.

Дорога между Москвой и Кромами весной 1605 года была наезженной. Поэтому в полках под Кромами быстро узнали о внезапной смерти царя Бориса Годунова, последовавшей 13 апреля. Пока в полках правительственной армии готовились присягнуть новому царю Федору Борисовичу Годунову, царевич Дмитрий тоже получил чрезвычайно обрадовавшую его весть. Он как будто предвидел, что произойдет в ближайшее время. Фортуна опять повернулась к нему лицом, как и при его вступлении в Московское государство. Войско под Кромами перешло на сторону Дмитрия Ивановича. Даже герой недавних сражений под Новгородом-Северским воевода Петр Федорович Басманов предпочел присягнуть «сыну Грозного», а не сыну Годунова, и увлек за собой сомневающихся. Со стен Путивльской крепости царевич увидел приближавшуюся депутацию от бывшей годуновской рати во главе с князем Иваном Васильевичем Голицыным. Приняв раскаявшихся в своей поддержке царя Бориса Годунова воевод, самозванец «простил» их и стал готовиться к походу на Москву. Он снова стал энергичен и уверен в своем скором воцарении.

Не стал царевич поминать и двусмысленного поведения почти отказавшегося от него сандомирского воеводы Юрия Мнишка. В Самбор немедленно был послан человек, чтобы известить о благоприятных событиях под Кромами. В письме из Путивля Юрию Мнишку 1 (11) мая 1605 года Дмитрий Иванович собственноручно приписал о сообщениях перебежчиков, что в Москве «сам простой народ не дает промолвить ни малейшего слова о том, чтобы выбрать себе государем Борисова сына». Воспрянувший духом будущий «отец» самозванца сообщил о приезде посланца царевича королю Сигизмунду III. В Кракове заждались уплаты долгов Юрием Мнишком, поэтому сразу вызвали воеводу ко двору вместе с гонцом. 24-25 мая 1605 года царевич Дмитрий Иванович послал воеводе Юрию Мнишку, его старшему сыну саноцкому старосте Станиславу Мнишку с женой Софией Головчинской приглашения на свою будущую коронацию в Москве [54]. Марины Мнишек нет пока среди его адресатов, но она не могла не знать о том, какую перемену означало для нее близкое воцарение Дмитрия Ивановича.

В окружении начавшего образовываться кружка из русской

знати царевич прибыл из Путивля под Кромы, где войско приняло его как будущего самодержца, и двинулся сначала на Тулу, а потом к Москве. Уже в Туле к самозванцу стали стекаться служилые люди московских чинов. Здесь он показал характер, приняв депутацию донских казаков во главе со Смагой Чертенским «преже московских боляр» [55]. На следующей остановке в Серпухове к царевичу Дмитрию Ивановичу приехали главные члены Боярской думы. Впереди оставалась только Москва, и по-прежнему было неясно, как она воспримет весть о приходе нового государя. Тут кстати оказались действия Гаврилы Григорьевича Пушкина и Наума Михайловича Плещеева, пришедших в Москву с «прелестными грамотами» самозванца 1 июня 1605 года. Грамоты были прочитаны на Лобном месте. Выяснилось, что царевич Дмитрий не держал ни на кого «гнева и опалы» за присягу царю Борису. Более того, обещал пожаловать все чины Московского государства: боярам – «честь и повышение», дворянам и приказным людям – «царскую милость», а гостям и торговым людям – «в пошлинах и в податях… льготу и облегчение». Всем же были обещаны «тишина и покой» и «благоденственное житие» [56]. После этого чернь бросилась вымещать зло на Годуновых, и случился еще один из череды русских бунтов. Еще прежде прихода «царевича» Дмитрия Ивановича в Москву были умерщвлены (по официальной версии – отравились) жена царя Бориса Годунова Мария и их сын царь Федор Борисович, которому суждено было пробыть на престоле только два месяца. Дочь Ксению Годунову пощадили, но заставили принять постриг. Во всем этом позднее обвинят Лжедмитрия I. На самом деле ему и не надо было давать никакого приказа, годуновская семья скорее стала жертвой немедленно объявившихся ретивых сторонников царевича Дмитрия. Боярин Богдан Бельский, например, клялся на Лобном месте московскому люду: «Яз за царя Иванову милость ублюл царевича Дмитрея, за то и терпел от царя Бориса». Не у одного Богдана Вельского были свои счеты с Годуновыми. Впоследствии возникли и дошли даже до сандомирского воеводы Юрия Мнишка слухи о том, что царь Дмитрий Иванович часто виделся с Ксенией Годуновой. Будущему тестю мерещилось что-то постыдное [57]. Но самозванец в уже упомянутых «прелестных» письмах обещал никому не мстить, и ему важно было подтвердить то, что он не был прямым виновником смерти матери и брата царевны. Впрочем, разубедить тех, кто считал, что все происходит «по его велению», было невозможно.

20 июня 1605 года царевич Дмитрий снова вступил в Кремль – уже не как чернец Чудова монастыря, но как владетель всего

государства. Он выполнил главное условие самборского договора, заключенного год назад. Порукой исполнения следующих пунктов должна была стать польско-литовская охрана царевича, размещенная на Посольском дворе. За трудные месяцы своего похода он знал, что может положиться на свою гвардию, а все остальное теперь зависело только от воли самодержавного правителя Московского государства. Пришло время и Марине Мнишек подумать о том, как поменять свой статус дочери сандомирского воеводы на положение наследственной владелицы Новгорода и Пскова. Скоро ей предстояло принять для себя новое имя самой Мадонны, став московской царицей Марией Юрьевной.

Глава вторая Обручение, коронация, брак

«Царь Дмитрий Иванович» взошел на московский престол. Больше того, его признала «мать» – царица-инокиня Марфа Нагая, последняя жена царя Ивана Грозного и настоящая мать подлинного царевича Дмитрия. После этого у очевидцев чудесного превращения вчерашнего чернеца в царя и самодержца должны были отпасть всякие сомнения в истинности его истории.

Оправдались и все расчеты сандомирского воеводы Юрия Мнишка. Теперь он мог начинать приготовления к свадьбе своей дочери. Однако для разрешения возникших конфессиональных коллизий потребовалась переписка с папским престолом.

Захватывающее зрелище венчания Марины Мнишек со специально прибывшим в Краков представителем русского царя должно было привлечь многих. Тем более что в те же самые дни ожидался въезд в столицу Речи Посполитой новой жены короля Сигизмунда III эрцгерцогини Констанции Австрийской из дома Габсбургов. Одновременно происходившие брачные торжества погружали Краков в атмосферу безудержного веселья, помогая семейству Мнишков лучше познакомить соотечественников со своим царственным зятем. В отличие от времени появления царевича в Польше, его поддержка становилась не только их личным, но государственным делом. Она открывала новую эру в отношениях Польской короны и Великого княжества Литовского с Московским государством. Невероятный характер перемен, происходивших в судьбе подданной короля Сигизмунда III, был подчеркнут еще и тем, что Марина Мнишек после обручения становилась фигурой, в отношении которой следовало соблюдать дипломатический протокол. Но обо всем по порядку.

Как мы помним, в соответствии с договором от 25 мая 1603 года предстоящее бракосочетание сохранялось в тайне до тех пор, пока царевич не завоюет свой престол. С достижением царского трона в начале июня 1605 года царь Дмитрий Иванович должен был начать выполнять обещания, данные в Речи Посполитой.

Первым делом были взяты деньги из казны и отправлены будущему тестю (хотя и не вся обещанная сумма сразу). Дело же со свадьбой с Мариной Мнишек виделось уже не таким легким, как в Самборском замке в майские дни 1604 года. Вокруг обручения и коронации Марины Мнишек и царя Дмитрия Ивановича началась большая игра, в которой Марина была пока что, выражаясь терминологией шахматных любителей, всего лишь

пешкой – но пешкой, стремящейся стать «королевой».

Сначала сам Юрий Мнишек в грамоте от 21 июля 1605 года обратился к Боярской думе, объясняя свою роль и помощь «в дохоженье государьства» царем Дмитрием Ивановичем, а также делая намеки на будущее «розмноженье прав ваших». В грамоте, отправленной из столичного города Кракова в столичный город Москву, сандомирский воевода выражал надежду, что за первые его «труды и зычливость» (доброжелательность) «милость и вдячность (благодарность. – *В. К.*) вашую познавати буду». Конечно, умному было достаточно, чтобы объяснить особую роль воеводы Юрия Мнишка в возведении на престол царя Дмитрия Ивановича. Но поскольку о будущей свадьбе царя с Мариной Мнишек ничего не говорилось, воевода мог только напугать московских бояр, не привыкших к прямым, без посредничества царя, контактам с равными им по статусу членами иноземных дворов. Письмо Юрия Мнишка означало, что он претендует на какую-то роль при царском дворе и в дальнейшем, а это нарушало привычные местнические счеты, ограждавшие правящие кланы от выскочек и властолюбцев, которым всегда можно было указать место по их «породе». Впрочем, бояре в ответной грамоте, посланной с гонцом Петром Чубаровым в сентябре 1605 года, отвечали, что они воеводу похваляют и «дякуют» (благодарят) [58].

Какие-то «консультации», как сказали бы сегодня, царь Дмитрий Иванович в Москве все-таки вел, ибо необычное дело свадьбы русского царя с польской «воеводенкой» надо было вписать в рамки необходимого протокола. Позднее, правда, бояре жаловались, что новый царь забрал к себе в покои государственную печать и в его «канцрерии» стали распоряжаться не думные дьяки, а польские секретари. По-польски написано письмо царя Дмитрия Ивановича от 8 августа 1605 года, в котором он официально уведомлял о своей коронации в Москве (она состоялась 21 июля) [59] и скором отправлении в Речь Посполитую посла Афанасия Власьева. Этим документом по сути подтверждалось намерение царя Дмитрия Ивановича следовать договоренностям о женитьбе на Марине Мнишек [60]. Отдельного послания, датированного 13 сентября 1605 года, был удостоен и будущий шурин царя Станислав Мнишек. В это время между Москвой и Самбором сновали те самые польские секретари Станислав Слонский и Ян Бучинский, на которых жаловались московские бояре. Они вели переговоры о свадебной церемонии и привозили воеводе Юрию Мнишку необходимые средства для организации самого торжества в Кракове.

Из своей московской столицы с воеводой Юрием Мнишком

обменивался «листами» не вчерашний «царевич», искавший помощи, а совсем другой человек. Увенчанный «шапкой Мономаха», он шел уже дальше, мечтая об императорской короне. Сандомирский воевода был не против стать отцом императора и императрицы, но в этом надо было еще убедить короля Сигизмунда III, которого только раздражали претензии московского государя Дмитрия Ивановича на непризнанный в Речи Посполитой царский титул, не говоря уже о титуле императорском. Дмитрий Иванович прямо сетовал воеводе Юрию Мнишку на то, что в Польской короне не считаются с его императорским титулом и все делают по своим порядкам. Однако приходилось идти на компромиссы. Когда к обручению в Кракове была изготовлена медаль с изображением самозванца, то в ней намеренно (как выяснил недавно А. В. Лаврентьев) запутали употребление в титулатуре слов «царь» или «цесарь», оставив простор для прочтения кириллической аббревиатуры [61]. Но самое главное в том, что жених Марины Мнишек был изображен на медалях без короны и без царских регалий. Вместо этого на памятной медали присутствует профильное изображение человека в гусарской одежде то ли со скипетром, то ли с гетманской булавой в руках. Точно так же Дмитрий Иванович изображен на известных гравированных портретах, публиковавшихся в панегириках по случаю его обручения с Мариной Мнишек в Кракове.

Едва ли можно перечесть все детали, которые следовало предусмотреть и обсудить. Но было и главное, без чего вся церемония не могла состояться или иметь законной силы. Об этом дают представление два наказа, выданные секретарю царя Дмитрия Ивановича Яну Бучинскому, отправленному в ноябре 1605 года к воеводе Юрию Мнишку. *«In perator»* – так, коверкая латынь, подписался первый русский император Дмитрий Иванович – прежде всего распорядился передать от своего имени следующее: «1-е. Чтоб воевода у ксенжа у легата Папина промыслил и побил челом о волном позволенье, чтоб ее милость панна Марина причастилась на обедне от Патриарха нашего; потому что без того коронована не будет» [62]. Это был самый принципиальный пункт. Остановимся на нем подробнее и разберемся, чего требовал царь Дмитрий Иванович. Сопоставление текста, написанного по-польски, и перевода, опубликованного в «Собрании грамот и государственных договоров», показывает, что речь шла о таинстве причастия от московского патриарха именно при венчании («slubie»), как и в других статьях наказа. Следовательно, причастие от православного патриарха, которое могло трактоваться

подданными царя Дмитрия Ивановича как переход его жены в другую веру, ставилось теперь главным условием коронации.

Все это решительно расходилось с тайным самборским договором о сохранении Мариной Мнишек католической веры. Через папского нунция в Кракове Клавдия Рангони был сделан запрос новому папе Павлу V, поручившему рассмотрение вопроса суду инквизиции. Долго ожидавшийся вердикт, вынесенный в Риме, был неутешителен ни для царя Дмитрия Ивановича, ни для сандомирского воеводы Юрия Мнишка, всячески оттягивавшего поездку дочери в Московское государство до получения разрешения от папы [63]. Тестю и зятю, поссорившимся из-за этого промедления, оставалось искать выход самостоятельно и снова действовать на свой страх и риск. Царь Дмитрий Иванович легко смирился с отсутствием становящегося для него все менее и менее существенным положительного папского вердикта о причастии и соблюдении постов Мариной Мнишек. Для будущей же императрицы главным испытанием веры окажется венчание в Успенском соборе. Но в этом обряде, как показал Б. А. Успенский, московский царь изобретет хитроумную комбинацию, устроившую и православных, и католиков [64].

Посмотрим на другие пункты инструкции, отправленной с Яном Бучинским в ноябре 1605 года. Что заботит *in perator'a*? Из восьми пунктов три касались вопросов вероисповедания. Кроме причастия от патриарха, в них говорилось о соблюдении поста в среду, а не в субботу, и возможности посещать православные храмы. Остальные же пункты были посвящены регламентации поведения Марины Мнишек после обручения, для утверждения высокого статуса самого «цесаря» Дмитрия Ивановича. Он требовал, чтобы сандомирский воевода Юрий Мнишек известил его об обручении и прислал перстень не с обычным слугою, но с «честным», то есть знатным, человеком. Марину Мнишек, подобно королевне, предлагалось называть «наяснейшая панна». Все обязаны были воздавать ей подобающие почести, а сама она должна быть «предостережена» в соблюдении церемоний. Какие-то пункты инструкции должны были, видимо, предвосхитить соблюдение Мариной Мнишек норм поведения русской царицы: «волосов бы не наряжала», «чтоб нихто ее не водил, толко пан староста Саноцкой, да Бучинской, или которой иной со племяни», «после обрученья не ела ни с кем, толко особно» или с ближайшими родственниками, «и служили бы у ней крайчие» [65]. Отдельные распоряжения касались церемониала встречи Марины Мнишек в Московском государстве.

На самом деле у царя Дмитрия Ивановича не было полной уверенности в том, что Марину Мнишек привезут в Москву.

Весьма показательно, что его секретарь Ян Бучинский на аудиенции у короля Сигизмунда III поставил выплату жалованья польским «жолнерам и рыцарству» за участие в московском походе в зависимость от приезда «панны Марины». Передавая дословно свою речь у короля, Ян Бучинский писал из Речи Посполитой к царю Дмитрию Ивановичу: «А слышал яз то не одинова из ваших уст, что и те обогатятца, которые письмо твое имеют, хотя ныне и в Польше, только б вам панну пустили, и нечто будет того для ваша царская милость не все иным заплатил, что панны не выпустят».

Это не тщетная предосторожность. Перед нами незаметный, но важный штрих для характеристики самозванца, умевшего добиваться своих целей. Хотя его предостережения всего лишь подкрепляли прямые дипломатические шаги, предпринятые им во исполнение самборского договора. Достигнув престола, что было необходимым и достаточным условием для заключения брака, он отправил в Речь Посполитую посла Афанасия Власьева – просить у короля Сигизмунда III разрешения на брак с его подданной. Но и на этот раз это была не явная, а тайная миссия посла, приехавшего в Краков в начале ноября 1605 года. Поручение о Марине Мнишек посол Афанасий Власьев исполнял «in secretis», что также выдавало неуверенность царя Дмитрия Ивановича в том, что все дело осуществится, как это было задумано им с отцом невесты в Самборе в мае 1604 года. Посол Афанасий Власьев, обращаясь к королю, передавал ему слова царя Дмитрия Ивановича, что тот, достигнув престола «при твоем, брата нашего, благосклонном содействии и по наследственному праву прародителей наших», испросил «благословения у матери нашей великой государыни… вступить в законный брак». Дальше содержалась не столь уж неожиданная для короля, посвященного в перипетии поддержки «московского царевича» семьей Мнишков, просьба: «…а взять бы нам великому государю супругу в ваших славных государствах дочь сендомирскаго воеводы Юрия Мнишка, потому что, когда мы находились в ваших славных государствах, то воевода Сендомирский показал к нашему цесарскому величеству великую службу и радение и служил нам» [66].

Думается, что Сигизмунд III понял бы и более рыцарственное объяснение причин женитьбы царя Дмитрия Ивановича на Марине Мнишек, чем простая благодарность. Этот брак был частью договора между бывшим «московским государикомъ» и сандомирским воеводой. Теперь от короля требовалось разрешить «сендомирскому воеводе и его дочери ехать к нашему цесарскому величеству» в Москву. Кроме того, посол приглашал и самого

короля приехать в Московское государство на свадьбу «нашего цесарского величества». Известно, что король Сигизмунд III не просто милостиво согласился на брак, но и пообещал быть в Кракове на обручении (свадьбе) Марины Мнишек с представителем того, кого он еще недавно знал как московского «царика».

22 ноября 1605 года (по григорианскому календарю, принятому в Речи Посполитой) состоялось «венчание московской царицы» (*«*slub carowey Moskiewskiey») Марины Мнишек через посла царя Дмитрия Ивановича. (Заключение брака *per* procura, то есть через особое доверенное лицо, допускается в католической церкви, хотя и не признается православными.) Достижение договора о краковской помолвке – результат переговоров царских гонцов с воеводой Юрием Мнишком, состоявшихся в конце лета – начале осени 1605 года. Несмотря на приглашение прибыть на коронацию, посланное сандомирскому воеводе Юрию Мнишку и его сыну саноцкому старосте Станиславу Мнишку, никто из них не помышлял о московской поездке, пока не будет выполнено условие женитьбы на Марине Мнишек. Но и царь Дмитрий Иванович стремился к тому, чтобы скорее обрести супругу. Поэтому посол Афанасий Власьев, отправленный в Речь Посполитую, уже имел в наказе не только поручение просить у короля разрешение на брак царя с Мариной Мнишек, но и инструкции по участию в церемонии краковской помолвки, а также вез подарки для невесты. В глазах русских Марина Мнишек становилась женой царя только после совершения обряда православным патриархом, но для тех, кто был посвящен в тайну принятия католичества царем Дмитрием Ивановичем, предполагавшаяся церемония приравнивалась к полноценному браку.

22 ноября 1605 года в Кракове наступил звездный час семьи Мнишков. Это был настоящий триумф! Поэты Ян Жабчиц, Ян Юрковский, ксендз Станислав Гроховский наперебой славили Гименея и счастливый поворот фортуны, благодаря которому «два великих народа, польский и московский», соединялись в лице «царя» Дмитрия Ивановича и Марины, «царицы Московской». Они были настоящими героями дня, все кругом только и говорили, что о предстоящей свадьбе, на которую были приглашены король Сигизмунд III, королевич Владислав, шведская принцесса Анна, папский нунций Клавдий Рангони, послы и посланники, сенаторы Польской короны и Великого княжества Литовского. Марину Мнишек славили наряду с другими самыми значительными «славянскими дочерьми». Ян Юрковский писал, что «московская царица» «украшена

добродетелями, как звездами небо» [67].

Церемонию венчания должен был проводить краковский кардинал Бернард Мацеевский, двоюродный брат воеводы Юрия Мнишка, давно принимавший участие во всех перипетиях с историей «царевича». Само место, где происходило действо – в сердце Кракова, на площади Рынка, в доме ксендза Фирлея (свойственника Мнишков), – тоже подчеркивало значимость события. Оно имело бы еще больший резонанс, если бы Марина Мнишек венчалась в находившемся неподалеку главном краковском костеле, но тогда было бы трудно избежать конфессиональных и протокольных затруднений с русским послом. А так церемония обручения Марины Мнишек, привезенной накануне в Краков, получалась одновременно и домашним, и государственным событием. Участие в ней короля Сигизмунда III со своим двором, высших церковных иерархов Речи Посполитой и иностранных дипломатов создавало исторический прецедент, но все же не такой громкий, как если бы король пригласил Мнишков в Вавельский замок, а не они его в свой «дворец», устроенный специально для обручения из двух соседних владений Фирлея и Монтелупи на главной Рыночной площади (дом этот, номер 9, конечно, значительно перестроенный, и сейчас можно увидеть в Кракове).

Прекрасно украшенная «каплица» с алтарем находилась в доме Фирлея. Первыми туда прибыли кардинал Бернард Мацеевский и нунций Клавдий Рангони. Стали дожидаться приезда невесты Марины Мнишек. В это время московский посол Афанасий Власьев со своею немалой свитой в 200 человек находился в доме Монтелупи. Король Сигизмунд III вместе со своим двором проехал прямо в дом Фирлея и расположился в зале, где должна была состояться свадьба. Он сидел, а рядом с ним стоял королевич Владислав. Сестра короля шведская принцесса Анна со своими фрейлинами ушла в это время к невесте. Тогда к королевской руке допустили посла Афанасия Власьева и других членов посольства. Пока гости собирались и занимали свои места, кардинал Бернард Мацеевский облачился в свое драгоценное одеяние и начал обряд [68].

Марина Мнишек прошествовала к алтарю. Как было написано в современном описании церемонии венчания, «царица венчалась в белом алтабасовом, усаженном жемчугом и драгоценными камнями платье». Кроме «дорогого платья», она была украшена «короной, от которой по волосам немало было жемчугу и драгоценных камней». Головной убор невесты отличался особым изыском. Один из приглашенных, Нери Джиральди, сообщал в Италию тосканскому герцогу: «Княжна Мнишек была убрана

драгоценными камнями, каких я смело могу сказать, что нигде не видал; но более всего отличались жемчужные нитки, вплетенные в распущенные косы княжны… составлявшие также корону на макушке ее красивой головки» [69]. Сохранившиеся портреты Марины Мнишек подтверждают, что она любила украшать волосы жемчугом, а в этой церемонии жемчужная корона содержала еще очевидный намек на ее царскую будущность.

В сопровождении двух сенаторов (один из них – малогощский каштелян Николай Олесницкий – позднее возглавит посольство для участия в свадебных торжествах Марины Мнишек и царя Дмитрия Ивановича в Москве) дочь сандомирского воеводы подошла к алтарю. Рядом с ней встала свидетельница – королевна Анна. Первому дали возможность обратиться к собравшимся гостям послу Афанасию Власьеву, провозгласившему, что он «прибыл для этого дела по воле своего государя». Посол «просил у сендомирского воеводы его дочери и родительского благословения». После этого начался турнир красноречия и учтивости. Вперед, представляя короля, выступил канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега. Происходившее он охарактеризовал как действие Провидения, «символ единения двух народов». Он расточал похвалы великому князю Дмитрию, делал намеки о его будущем великом предназначении (в полной противоположности тому, что канцлер говорил на сейме в начале того же 1605 года). Но о ком он, не кривя душой, мог высказаться в патриотическом восторге, так это о Марине Мнишек. «Как бы ни велика была честь носить корону, – сказал канцлер Лев Сапега, – польская женщина вполне достойна ее: сколько государынь Польша дала уже Европе».

Следующий оратор «указывал также на славный дом девицы, на ее воспитание, богатство добродетелей», хвалил царя Дмитрия Ивановича, помнившего расположение, оказанное ему сандомирским воеводою Юрием Мнишком. Но апофеозом стала ученая и возвышенная речь кардинала Бернарда Мацеевского. Она заслуживает того, чтобы привести ее подробное изложение. Сначала кардинал Мацеевский «сказал удивительную речь об этом таинстве, указывая в нем действие Промысла; затем он приступил к восхвалению Димитрия – великого царя и государя великой России (он дал ему титул, какой у него был написан на бумаге, по которой он говорил)». Так едва ли не первый и единственный раз в присутствии короля Сигизмунда III полуофициально был признан царский титул Дмитрия Ивановича со стороны церковных властей Речи Посполитой. Кардинал «хвалил настоящее его намерение и показывал, что оно послужит благом и для самого царя, и для тамошних жителей, царских

подданных». Дальше следовал самый важный момент речи, заставлявший католическую церковь оказывать такую явную поддержку московскому царю, давшему определенные обещания содействовать единству двух государств и церквей: «Бог так часто наказывал их разномыслием, что они то замышляли искать себе государя за морем или в соседних странах, то сажали на престол своих великих государей незаконных наследников (явный намек на Бориса Годунова. – В. К.). Теперь Божиею милостию и устроением они нашли себе надлежащего государя в государствах его величества, нашего милостивого государя». Да, ненавистный «Годун», продолжавший линию «тирана Ивана», был мертв, а брак московского государя Дмитрия Ивановича открывал такие великолепные внешнеполитические перспективы, что ради них можно было забыть о невероятных обстоятельствах появления «царевича» на русском престоле. Напоминая о милостях, оказанных королем Сигизмундом III царевичу Дмитрию, кардинал подчеркивал, что нынешний русский царь «открыл благочестивому государю свои намерения прежде всех государей». И наконец теперь, «желая еще больше доказать свою благодарность, берет через тебя, господин посол, супругу себе (слова, положенные в чине венчания) в этих государствах, берет свободную шляхтенку, дочь благородного сенатора из благородного рода».

Самборские грезы Марины Мнишек становились реальностью. Она была в центре всеобщего внимания. Покорная дочь своего отца, Марина увеличивала славу рода Мнишков и всего Польского королевства, ее имя вставало в один ряд с именами других жен монархов. Все это вытекало из речи кардинала Бернарда Мацеевского, приблизившегося к кульминации: «В этом славном королевстве, где все свободны, не раз случалось, что князья, короли, славные монархи, даже короли этого королевства брали себе жен из свободных шляхетских домов. Бог ниспосылает теперь подобное благо и царю Димитрию и всем его подданным, – его величество царь завязывает с его величеством, милостивым государем нашим, дружбу, а с этим королевством и с его чинами – свободными людьми – родство. При этом святом супружеском союзе его царское величество, великий государь, сумеет за эту расположенность воздать со своей стороны его величеству королю благорасположенностью, а королевству – любовью».

Вслед за этим запели «Veni Creator» [70], и наступил нелегкий момент для присутствующего, но не участвующего в католической мессе человека, когда все в едином религиозном порыве встают на колени. Над склонившей головы паствой

кардинала Бернарда Мацеевского возвышались только фигуры московского посла Афанасия Власьева и протестантки – шведской принцессы Анны. Дальше начался обряд, и кардинал обратился к Марине Мнишек с традиционными, но по-особенному звучавшими для нее словами Священного Писания: «Слыши дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди народ твой». Обратившись к послу Афанасию Власьеву, кардинал привел для него изысканную ветхозаветную параллель о посылке Авраамом своего слуги на поиски Ревекки: «Как Авраам посылал своего подскарбия в чужую страну за женой для своего сына…»

«Подскарбий» Афанасий едва не подвел кардинала Бернарда Мацеевского, воспарившего от осознания ответственности за происходящее к высотам богословской учености. Во время венчания произошел показательный казус: «Когда кардинал, в числе других вопросов, спрашивал посла: “Не обещался ли великий царь кому другому?” – он отвечал: “Разве я знаю; царь ничего не поручил мне на этот счет”, и уже после напоминаний стоявших подле него при этом торжестве он сказал: “Если бы он дал обещание другой девице, то не посылал бы меня сюда”. Но Афанасий Власьев восставал против того, что кардинал говорил по латыни, – на это он не соглашался. Когда кардинал сказал: “Господин посол, говорите за мной, как требует наша католическая церковь и ваша: ‘Я…’ ”, то посол говорил за кардиналом и хорошо произносил слова. Впрочем, он не вдруг стал говорить. Он говорил: “Я буду говорить с девицей Мариной, а не с вами, ксендз кардинал”» [71].

Сказалось то, что в самой церемонии стороны видели разный смысл. Московский посол, имея в виду будущую свадьбу Марины Мнишек в Москве, пытался снизить кардинальский пафос к вящей славе настоящей коронации в Успенском соборе в Кремле. Ведь он же сказал с самого начала, для чего прибыл. Зачем было еще раз об этом его спрашивать? То, что легко прочитывалось москвичами, было недоуменно воспринято всеми, кто следил за строгим следованием церемониалу. Шутки и попытки пререкания посла Афанасия Власьева с кардиналом Бернардом Мацеевским присутствующая публика, воспитанная в европейской учтивости и почитании князей церкви, восприняла как простоту нравов, граничащую с глупостью, если не с попыткой сорвать саму свадьбу.

Между тем Афанасий Власьев оставался прежде всего московским дипломатом на всех этапах церемонии обручения. Он стремился главным образом к тому, чтобы не создавать нежелательных прецедентов или не нарушить этикет отношения подданного к новой русской царице. Еще раз он проявил свой

самостоятельный нрав во время обмена кольцами: «Когда пришлось давать перстни, то посол вынул из маленького ящика алмазный перстень с большой и острой верхушкой, величиной с большую вишню, и дал его кардиналу, а кардинал надел его невесте на палец, а от невесты посол взял перстень не на палец и не на обнаженную руку, но прямо в вышеупомянутый ящик». Московский посол и позднее не только не смел прикоснуться к царице Марине Мнишек, но даже сесть с ней за один стол. Хозяевам пришлось проявить настойчивость, чтобы сломить его упрямство. Сначала спор возник из-за отказа Афанасия Власьева дать свою руку от имени царя. Он не хотел «прикасаться к руке невесты своею голою рукою», когда нужно было епитрахилью связать руки жениха и невесты. Афанасий Власьев был столь предусмотрителен, что приказал выкупить за 100 червонцев даже коврик, на котором во время церемонии стояла Марина Мнишек, чтобы тот не остался у служителей кардинала. Шествие из алтаря, где происходило венчание, в столовую залу на пир прошло спокойно. Его возглавила сама царица Марина Мнишек, за которой следовала ее свидетельница – королевна Анна, а за нею – посол. Началась раздача подарков от имени царя, которые принимала бабка царицы Марины Мнишек, потому что мать невесты пани Ядвига была в тот момент больна и не видела триумфа своей дочери. «По поднесении подарков стали садиться к столу», но и тут посол заставил себя упрашивать сандомирского воеводу, убедившего его сесть рядом с царицей, «сказав, что это нужно сделать».

Светское воспитание, как оно понималось в самом начале XVII века в Европе, еще не стало добродетелью дипломата Московского государства. Зато русские цари и их дипломаты умели делать подарки. Посол Афанасий Власьев не оставил никого из наблюдателей равнодушными, когда сразу после церемонии обручения один за другим через парадную залу прошествовало «около сорока человек москвитян», несших подарки царя Дмитрия Ивановича и его «матери» Марии (Марфы) Федоровны. Первым был образ Троицы в золоте и драгоценных камнях, что имело свой смысл, так как именно Троицей клялся московский царевич в Самборе, что возьмет в жены Марину Мнишек. Кроме того, исполнялся традиционный русский обряд родительского благословения новобрачных иконой. Царь Дмитрий Иванович, напротив, прислал затейливые светские украшения. Перед его женой Мариной Мнишек проплывали Нептун и богиня Диана, сидящая на золотом олене; удивительные часы в шкатулке, украшенные изображениями трубачей, барабанщиков и других фигур; крылатые звери с золотом и

драгоценными камнями; «серебряный пеликан, достающий свое сердце для птенцов» и «павлин с золотыми искрами». Нери Джиральди, также видевший шествие с подарками, описал поразившее его «большое бюро, произведение немецкого или фламандского мастера, из черного дерева, с серебряными вызолоченными фигурами и несколькими каменьями, внутри него были колеса со звоном, а наверху – слон с часами, вставленными в его корпус, и разными вокруг него предметами звериной ловли, что все приходило в движение посредством внутреннего механизма». Присутствовавшие на церемонии восхищались огромными бриллиантами, рубинами, золотыми кубками и серебряными сосудами, соболями, «лучше которых, как говорят, оттуда не вывозили». Царица Марина должна была оценить то, что ее избранник запомнил ее любовь к жемчугу и прислал «несколько жемчужин в форме больших мускатных орехов», большое число низаного жемчуга, а также парчу и бархат. Щедрость царя стала прелюдией к пиру, атмосфера которого казалась окружающим «непринужденной», а сам праздничный обед – исполненным великолепия.

Сотни глаз следили за тем, как вели себя Марина Мнишек и московский посол за свадебным столом. Рассаживались со всевозможными церемониями, чтобы не нанести ущерб этикету и никого не обидеть: «В правом углу стола посажена была царица, и, когда она садилась, король приподнялся и поднял шапку; на другом углу, слева, села королевна. Одновременно с царицей сели: посол, подле царицы, пониже, а королевич подле королевны, немного ниже, напротив посла. Когда посол садился, король не двигался» [72]. Иерархия участников церемонии учитывалась и тогда, когда стали подносить воду и полотенце для умывания рук (московский посол благоразумно уклонился, видимо, не зная, как будет истолковано умывание им рук той же водой и обтирание рук тем же полотенцем, какое использовала царица Марина Мнишек). За столом произносилось много тостов; сам король Сигизмунд III «пил за здоровье государыни, сняв шапку и немного приподнявшись со стула». Действительно, главной героиней, после короля, была царица Марина, а не отсутствовавший на церемонии царь Дмитрий Иванович. В конце концов воеводе Юрию Мнишку пришлось даже напомнить дочери, что и она должна провозгласить тост за здоровье царя. Очевидец свадебной церемонии отметил: «Когда царица обратилась к послу и пила за здоровье царя (это она сделала по приказанию отца, перед которым, когда он подошел к ней, она не встала, привстала только немного, когда он отходил от нее), то посол встал со стула и, стоя подле него сбоку, выпил за здоровье королевича из

другого бокала (из того, из которого пила царица, не хотел пить)». Посла Афанасия Власьева не могли заставить есть за столом, потому что он отговаривался следованием московским обычаям: «Холопу не следует есть с государями». Пил он также «мало и осторожно», несмотря на то, что веселившийся король четырежды пил за здоровье его государя. Впрочем, вина в королевской чаше в этот момент было совсем немного, ему скорее хотелось подзадорить посла или посмотреть, как посол каждый раз «вставал со стула и, как слуга, бил челом».

Впереди были танцы. После обеда придворный маршалок короля и оба гетмана Речи Посполитой распоряжались, чтобы для этого очистили место. И снова «король с царицей открыли танцы», в которых Сигизмунду III и Марине Мнишек «прислуживали» главные вельможи, в том числе канцлер Лев Сапега, а также торжествующий отец – сандомирский воевода Юрий Мнишек. Следующим, по знаку короля, должен был танцевать с царицей Мариной Мнишек московский посол Афанасий Власьев. Но он по-прежнему боялся дотронуться рукой до своей новой повелительницы: посол «из уважения к ней не согласился и говорил, что не достоин того, чтобы прикасаться к царице». Марина забыла о своем неучтивом кавалере и начала веселиться сама. Она продолжала танцевать и не стеснялась радоваться так, как могла радоваться молодая шляхтенка на королевском балу, где ей по праву принадлежала роль «королевы» и где на нее все обращали внимание. Ближе всего в этот вечер «московской царице» казалась королевна Анна, которая с церемонии обручения взяла на себя обязанности матери Марины Мнишек да и вполне подходила на эту роль. Царица Марина танцевала и с нею, и с королевичем (во время последнего танца из других присутствующих девиц только какая-то Осветимская решилась танцевать в паре с хелминским каштеляном). «Королевна и царица, возвращаясь от танцев на свои места, низко кланялись королю (царица кланялась ниже, чем королевна), а затем, придя на свои места, кланялись одна другой, садились в одно место». Конечно, если бы было возможно, эти танцы продолжались бы бесконечно. Ничего более яркого не происходило (да, наверное, и не произойдет) в жизни Марины Мнишек. И как же сурово распорядится ею судьба за то, что она, подданная польского короля, будет со временем считать себя его ровней!

Но все это будет потом, через несколько лет, а пока торжество движется положенным ему кругом от зенита к закату. В дело снова вступил сандомирский воевода Юрий Мнишек, он еще раз проявил родительскую волю и решил поблагодарить короля

Сигизмунда III. Воевода обратился к дочери: «Марина, поди сюда, пади к ногам его величества, нашего милостивого государя, моего и твоего благодетеля, и благодари его за столь великие благодеяния и прочее…» Юрий Мнишек заставил дочь забыть, что она уже московская царица, и они оба «бросились к ногам его величества». Король оценил пылкий жест, но, в отличие от воеводы Юрия Мнишка, не забыл этикет: он встал, когда к нему подошла Марина Мнишек, потом поднял ее от своих ног, снял свою шляпу и снова надел ее, чтобы сказать речь.

Что нового мог он сказать ей в этот момент? Король Сигизмунд III еще раз поздравлял Марину Мнишек со вступлением в брак, с приобретением нового звания. Король внушал ей, «чтобы она своего мужа (так он выразился), чудесно данного ей Богом, вела к соседской любви и дружбе для блага этого королевства». Марину Мнишек, следовательно, ждала высокая миссия, значение которой король попытался объяснить ей: «Если тамошние люди (подлинные слова короля) прежде сохраняли с коронными землями согласие и доброе соседство, когда не были связаны с королевством никаким кровным союзом, то при этом союзе любовь и доброе соседство должны быть еще больше». В королевских словах Марина Мнишек должна была найти опору мыслям о деятельной любви к своему оставляемому отечеству и семье, благословившей ее на такой подвиг: «…Чтобы она не забывала, что воспитана в королевстве, что здесь Бог возвеличил ее настоящим достоинством, что здесь ее родители и близкие и дальние родственники, что она должна заботиться о сохранении доброго соседства между этими государствами и вести своего супруга, чтобы он своим дружелюбием, добрым соседством и готовностью оказывать услуги вознаграждал все то, что с любовью сделано ему нами, этим королевством и твоим отцом…» Король Сигизмунд III нашел самые проникновенные слова, говоря Марине Мнишек о необходимости помнить о страхе Божьем и чтить своих родителей, он убеждал ее, что «своему потомству, если Бог даст ей его, чего король желал ей», она должна была «внушать любовь к польским обычаям и вести его к хорошей дружбе с польским народом». Заключительная часть речи подействовала на Марину Мнишек особенно сильно. Когда король, сняв шляпу, перекрестил дочь сандомирского воеводы, будущая царица «заплакала и опять с отцом упала к ногам его величества».

Московский посол Афанасий Власьев вынужден был все это терпеливо сносить. Он попытался было возмутиться падениями царицы Марины к ногам короля Сигизмунда III еще во время танцев, но ему быстро объяснили, что, пока они находятся в

Польском королевстве, Марина остается подданной короля. Зато «посол внимательно слушал, когда король говорил к царице». А что еще ему оставалось? Никакие его усилия оберегать государеву честь во время всей церемонии были просто не приняты, над ним то смеялись, то раздражались его поведением, короче, лицо, представлявшее московского царя, всего лишь терпели. У кого и был праздник в этот день, так это у хорошо повеселившегося и вдоволь натанцевавшегося короля, у Мнишков и их родственников, поразивших воображение всего Кракова небывалым действом.

В самом конце Марину Мнишек проводили к ее больной матери. Здесь, в женских покоях дворца, она выслушала еще «прекрасные наставления» королевны Анны. Когда король уехал, стали прощаться с послом (он просто «вышел в другую комнату», когда царицу увели для встречи с матерью). До порога дома Афанасия Власьева провожал воевода Юрий Мнишек, а дальше он поручил отвезти его до посольской квартиры своим друзьям. В знак особого почтения Афанасию Власьеву дали королевскую карету и сопровождение из королевских секретарей. Сам он, как показалось очевидцу, был «доволен внимательностью к нему», но ему пришлось закрыть глаза на следствия невоздержанности в застолье некоторых его спутников. Они «напились» и неприятно поразили соседей за столом тем, что «ели очень грязно, хватали кушанья руками из блюд». В свою очередь у потерявших бдительность дворян из русского посольства обнаружились свои поводы предъявлять претензии, «потому что наши негодяи, – писал один из присутствовавших на свадьбе Марины Мнишек поляков, – поотрезывали у них ножи, покрали у них лисьи шапки и две, кажется, шапочки, усаженные жемчугом, но посол приказал своим молчать» [73]. Видно, каждый в этот день веселился как мог, а послу предстояло выступить миротворцем и успокаивать своих спутников, ставших жертвами досадного воровства на пиру у сандомирского воеводы.

На следующий день, 23 ноября, посол Афанасий Власьев участвовал еще в одной церемонии, но теперь предусмотренной привычными дипломатическими порядками. Он был «в ответе» после первых приемов у короля Сигизмунда III 14 и 18 ноября. На Вавеле как будто уже не помнили о вчерашних тостах и веселье, равно как и о «московской царице». Начались обычные прения по поводу пропуска царского титула, а на самый главный вопрос в тогдашних отношениях Московского государства и Речи Посполитой – о союзе против турок – было обещано всего лишь «вести дальнейшие переговоры». Все это означало не слишком большое доверие короля, несмотря на только что прошедшую

церемонию свадьбы Марины Мнишек.

Через день после свадебных торжеств, 24 ноября, Афанасий Власьев снова приехал в дом к сандомирскому воеводе Юрию Мнишку. Автор «Дневника Марины Мнишек» (видимо, это был шляхтич Авраам Рожнятовский, с этого времени фиксировавший ее историю) записывал, что «посол посетил дочь воеводы как царицу и государыню свою» [74]. Особенно радоваться этому посещению должны были ближайшие родственники Марины, которым были вручены подарки от царя Дмитрия Ивановича. Московский царь особенно почтил своего шурина саноцкого старосту Станислава Мнишка, прислав ему «саблю и меч, оправленные в золото и украшенные каменьями», а кроме того золотой кубок и дорогой нож. (Все-таки Борису Годунову удалось утвердить особую роль шурина при русском царском дворе.) Брату Марины Мнишек достались также дорогие собольи меха, «три черно-бурых лисицы» и «кречеты с золотым колокольчиком» (может, в воспоминание о прежних охотах в окрестностях Самбора?). «Достаточно соболей и жемчугов» было отдано матери и бабке «царицы».

Десять дней провела Марина Мнишек в Кракове. Еще раз ей суждено было стать предметом общего внимания, когда несколько дней спустя состоялась церемония награждения кардинала Бернарда Мацеевского кардинальской шляпой, или талером. Родственник Мнишков, недавно проводивший обряд бракосочетания Марины, был назначен чрезвычайным папским легатом (посланником). В приходской церкви нунций Клавдий Рангони (тоже один из главных сторонников московского царя Дмитрия Ивановича в Речи Посполитой) отслужил молебен и, по свидетельству отца Каспара Савицкого, «обнародовал отпущение грехов для всех верующих и молящихся о благосостоянии дочери воеводы Сандомирского». Присутствующая в этот момент в церкви Марина Мнишек, которую уже называли «великой княгиней Московской», воспринималась окружающими «точно королева». Кстати, и сама она, судя по записи в книге почетных гостей краковского Ягеллонского университета, уже подписывалась как «Марина, царица Московская». Для нее было специально освобождено место в церкви, и там, где она стояла, устроен балдахин. Все сенаторы Речи Посполитой, даже ее отец сандомирский воевода Юрий Мнишек, сидели «в некотором отдалении» от нее. Перед самой Мариной, как записал отец Каспар Савицкий, «на разостланном на земле ковре стояли знатные дамы и девицы, а несколько далее разные придворные, старосты и другие сановники». Ощущение всеобщего внимания было новым для Марины Мнишек. Но она быстро справилась с

чувствами и вполне соответствовала своему царскому сану. Все это не могло не вызвать интереса окружающих. Вот только реакция на демонстративное представление жены царя Дмитрия была противоречивой: «Многие от столь пышного великолепия (которое, однако, некоторые не без основания почитали необходимым) ожидали важных последствий» [75].

На проводы Марины Мнишек 3 декабря 1605 года опять собралось немало краковской публики, заинтригованной всей этой историей. Множество людей, по свидетельству очевидца, «заполнили все вокруг такою плотною толпою, что едва можно было разглядеть отдельного человека» [76]. Марину Мнишек увозили в Прондик Белый (Промник – в латинской форме) – пригородное имение краковских кардиналов, в том числе Бернарда Мацеевского. Там она пробудет до двадцатых чисел января следующего, 1606 года. Официальная причина ее отъезда была названа Нери Джиральди в письме к тосканскому герцогу: «Дабы не находиться при свадьбе короля по причине порядка первенства шествий на этих церемониалах» [77]. На самом деле эти два месяца были нужны ее отцу воеводе Юрию Мнишку, чтобы завершить приготовления к поездке в Московское государство.

Свадьба короля Сигизмунда III, женившегося вторым браком на эрцгерцогине Констанции Австрийской, не могла не интересовать Марину Мнишек. Но ее новый статус накладывал известные ограничения. В отличие от московского посла, вернувшегося после проводов царицы в Краков, у Марины Мнишек не было полноценного права представлять Московское государство. Да и сам царь Дмитрий Иванович требовал через своего секретаря Яна Бучинского, чтобы после обручения царица придерживалась определенных правил. Это никак нельзя было совместить с участием в свадебных торжествах короля. В любом случае русская «царица» оказалась нежелательной персоной на королевской свадьбе, и второго триумфа судьба ей не подарила. Можно предположить также, что в головах гостей стали бы возникать неуместные сравнения Марины Мнишек и Констанции Австрийской. И кто знает, кому принадлежало бы первенство в таком споре? Одним словом, Марине пришлось довольствоваться рассказами своего отца, бывшего среди гостей на свадьбе у Сигизмунда III и наблюдавшего торжественный въезд королевской невесты в Краков.

Посол Афанасий Власьев представлял московского царя и на этом празднестве. Изображение русского посольства попало даже на так называемый «Стокгольмский свиток» – картину художника Б. Гебхарда, хранящуюся в Королевском замке в Варшаве. А. В.

Лаврентьев, недавно опубликовавший фрагмент свитка с посольством Афанасия Власьева, справедливо заметил: «Посланник был вторично востребован, но уже не в качестве “заместителя жениха”, а официального представителя огромной державы». Все это давало Сигизмунду III «редкую возможность наглядно продемонстрировать многочисленным, в том числе и зарубежным, гостям степень своего влияния на московский трон» [78]. По окончании свадебных торжеств Афанасий Власьев покинул гостеприимный Краков 18 декабря 1605 года. Пришел черед выполнить самую ответственную часть его миссии: привезти царицу Марину Мнишек в Москву.

Царь Дмитрий Иванович быстро получил через «дворянина Липницкого» известие о состоявшемся обручении и, дождавшись подтверждения от посла, отправил новые подарки своей царице, а также треть всех денег, обещанных ранее воеводе Юрию Мнишку (отдельно деньги для подъема в дорогу были даны брату Марины – Станиславу Мнишку). В грамоте сандомирскому воеводе, отосланной 22 декабря 1605 года, «пресветлейший и непобедимейший монарх», император Дмитрий Иванович выражал свою «радость» и «удовольствие» по поводу совершившегося обручения. Он называл Марину Мнишек «наияснейшей императрицей», женой и приглашал своего тестя с гостями на церемонию в Москву, «дабы милость ваша… к нам поспешили с любезными и благоприятными гостьми, несмотря ни на какие расходы». Отправляя обратно курьера Липницкого, «Дмитрий друг и сын» (так по латыни подписано письмо) также написал письмо королю и известил об этом сандомирского воеводу [79].

Даже получив известие о состоявшемся венчании, царь Дмитрий Иванович не успокоился и торопил сандомирского воеводу с выездом из Кракова, чтобы довершить все дело свадьбы церемонией в Успенском соборе в Москве. В этот момент и начались знаменитые трения между тестем и зятем. Воевода Юрий Мнишек отговаривался тем, что не может получить денег и расплатиться с долгами купцам и самому королю, живет «с великим иждивением, с бесславием того недостатка, до которого теперь дошел, с подозрением людским, с потерею времени и, наконец, по причине такого огорчения, с ущербом своего здоровья». Он так «нуждался», что даже забыл поблагодарить своего благодетеля за подарки, переданные московским послом, и только в Рождество, 25 декабря 1605 года, исправил свою оплошность.

Вскоре, 3 января 1606 года, сандомирский воевода был утешен, он получил 300 тысяч злотых, еще 50 тысяч полагалось

его сыну Станиславу Мнишку. Прибыли и новые подарки для Марины Мнишек, один дороже другого. Среди них украшение с образами Иисуса и Марии и их золотыми инициалами, «усыпанное алмазами». В свите Марины Мнишек сделали перечень присланным подаркам и скрупулезно подсчитали число алмазов; «с обеих сторон» их оказалось 96. Еще больше – «136 штук бриллиантов» насчитали на цепи из червонного золота. Царь Дмитрий Иванович не скупился и слал золото целыми слитками. Ему хотелось не просто поразить воображение Марины Мнишек, но скрасить ей тяготы предстоящего долгого путешествия. Присланные драгоценности и утварь должны были напоминать Марине о ее избраннике, которого она не видела уже почти полтора года (огромный срок в жизни молодой девушки). Поэтому среди подарков были «четки жемчужные» (на этот раз был отобран ровный жемчуг, «наподобие большого гороха») и украшенные жемчугом же «браслет с алмазами» и «золотой ларчик». Царь посылал своей жене бриллиантовый перстень и еще утварь, сделанную из золота. Каждый раз в дороге, останавливаясь для обеда, Марина Мнишек и ее отец могли использовать «таз и рукомойник золотые с искусными изображениями», любоваться на столе золотыми блюдами и тарелками, гиацинтовыми бокалом и солонкой [80].

Когда эти подарки царя Дмитрия Ивановича уже были на пути в Речь Посполитую, ему пришел ответный «рождественский подарок» – письмо сандомирского воеводы, полное не только процитированных жалоб на свое отчаянное положение, но и содержащее упрек в компрометирующем поведении московского самодержца! Подозрение воеводы вызвала несчастная дочь Бориса Годунова – Ксения, в которой он усмотрел чуть ли не соперницу своей дочери Марине. Сандомирский воевода просил царя Дмитрия Ивановича не давать повода для слухов, распространявшихся в Московском государстве и Речи Посполитой его недоброжелателями о том, что Ксения Годунова взята во дворец и является якобы наложницей царя. «И поелику известная царевна, Борисова дочь, близко вас находится, – писал Юрий Мнишек, – то благоволите, ваше царское величество, вняв совету благоразумных с сей стороны людей, от себя ее отдалить». Оговорка о том, что «люди самую малейшую в государях погрешность обыкновенно примечают и подозрение наводят», лишь усугубляла обвинительный подтекст предложения тестя (он верил в государеву «неосторожность» – точное слово, употребленное сандомирским воеводой). Разочаровало царя Дмитрия Ивановича и то, что Мнишек отказывался поддерживать сторону зятя в его прениях о титуле с польским королем. Юрий

Мнишек отговаривался тем, что не мог, ради миссии дочери, рисковать отношениями с королем Сигизмундом III: *«Я* отдал дочь свою в замужство вашему царскому величеству и надеюсь через сие получить не только для своего дому, но и для всего отечества большую славу; какое для меня будет огорчение прийти в немилость у его величества короля, надеющегося верной от вашего царского величества дружбы!» [81]

За царя Дмитрия Ивановича в этой получившейся заочной переписке ответил его секретарь Ян Бучинский, не без вызова напомнивший 27 декабря 1605 года сандомирскому воеводе о том, что действия Речи Посполитой могут толкнуть московского царя в объятия ее заклятого врага шведского короля Карла: «Титулы же одному токмо обыкновению подлежат, и я опасаюсь, дабы в пользе всего христианства и отечества урон не воспоследовал; понеже не гоняясь за титулами, всею Москвою давно бы Карл завладел» [82]. Молодой, недоучившийся секретарь самозванца поучал сенатора Речи Посполитой! Но на стороне Яна Бучинского была особая доверенность московского царя, возложившего на него ведение самых деликатных дел. Поэтому Ян Бучинский платил патрону своей преданностью и без сомнений называл Дмитрия Ивановича цесарем, а Марину Мнишек «ее цесарской милостью». Он уверял, что не проходит и часа (и так до самого позднего вечера), чтобы «цесарь» Дмитрий Иванович не вспоминал про пана воеводу и его дочь – «цесареву». Он ручался в том, что их ожидают с радостью, и просил их выехать как можно скорее, несмотря ни на какие расходы. Да и сам царь Дмитрий Иванович, *amicus* et filius («друг и сын»), писал о том же 8 января 1606 года, попутно извещая о посылке своих послов к королю.

14 января 1606 года гонец Иван Безобразов привез царские грамоты королю Сигизмунду III и сандомирскому воеводе Юрию Мнишку. Никто и не знал тогда, что у скромного гонца была тайная миссия от бояр Голицыных и Шуйских. Марина Мнишек еще не приехала в Москву, а стрелы боярских интриг уже долетели до Кракова. Известие об этом сохранилось лишь в записках гетмана Станислава Жолкевского «О Московской войне». По его сведениям, гонец передал в Кракове литовскому канцлеру Льву Сапеге «поручение, данное ему от Шуйских и Голицыных… что они думают, каким бы образом свергнуть его (самозванца), желая уж лучше вести дело так, чтобы в этом государстве царствовал королевич Владислав» [83]. Неизвестно, посвятил ли король в это дело сандомирского воеводу или решил не тревожить семью Мнишков, занятую предотъездной суетой. Во всяком случае для Сигизмунда III было выгоднее, чтобы воевода –

напомним, его должник – получил неограниченный кредит в Московском государстве.

Но имя королевича Владислава – как возможного претендента на московский престол – прозвучало. В первый, но, как мы увидим, не последний раз. Сведения, полученные от гонца Ивана Безобразова, позволили королю лучше оценить те опасности, которые могли подстерегать его подданных, путешествующих в свите Марины Мнишек в Московское государство, и не откликаться на формальное приглашение, сделанное ему царем Дмитрием Ивановичем. Вместо себя представлять Речь Посполитую король пошлет малогощского каштеляна Николая Олесницкого (женатого на Малгожате Тарло, сестре матери Марины Мнишек) и велижского старосту Александра Госевского (врага «москвы», посвященного в тайну миссии Ивана Безобразова). Московский гонец получил нейтральный ответ короля, из которого трудно было определить, что же на самом деле думал Сигизмунд III о неожиданно открывшемся плане новой унии государств, но уже не при посредничестве сомнительного «царика» и его подданной Марины Мнишек, а с помощью передачи престола в Московском государстве королевичу Владиславу. Король Сигизмунд III тайно передал гонцу Ивану Безобразову: «Что ж касается до королевича Владислава, то король не является властолюбцем и желал бы сына своего склонить к такой же умеренности». Видно было, что король Сигизмунд III не доверял никому и решил посмотреть, как будут развиваться события.

15 января 1606 года посол Афанасий Власьев, поджидавший приезда царицы Марины Мнишек в Слониме, встретился с посланцем воеводы Юрия Мнишка и узнал, что в очередной раз их отъезд отложен: «что вы, по своему договору, з дочерью своею, с великою государынею нашею цесаревою из двора не выехали». Сандомирский воевода в своем «листе» писал, что выедет 8 января, но потом не сдержал и это обещание. Посла обижало и то, что ему не сообщали, по какой точно дороге поедет царица. В результате он написал ответную грамоту, полную укоров за промедление: «И яз, вычетчи ваш лист, не токмо что серцем и душею скорблю и плачю о том, что все делаетца не по тому, как вы со мною договорились и как к цесарскому величеству, по вашему договору, писано; и великому государю нашему, его цесарскому величеству, в том великая кручина, и чаю, надо мною за то велит опалу свою и казнь учинити, что вы долго замешкались и к его цесарскому величеству с великою государынею нашею цесаревою не едете и прямые ведомости цесарскому величеству от вас нет, как великая государыня наша

цесарева на рубеж и к Москве будет». Посол Афанасий Власьев торопил приезд царицы Марины Мнишек, требовал отставить «всякие причины и вымолки», чтобы «цесарева» ехала прямой дорогой, никуда не заезжала и не жалела лошадей. Такая спешка была вызвана желанием поспеть с приездом в Москву «кончее за неделю до масленицы» [84], до которой оставалось еще пять с половиной недель. Власьев понимал, что ему надо успеть исполнить свою миссию до начала Великого поста, во время которого невозможны были никакие брачные и коронационные торжества в Москве. Но, видимо, понимал это и сандомирский воевода Юрий Мнишек, оттягивавший отъезд в надежде все-таки получить от папского престола давно запрошенное разрешение на исполнение Мариной Мнишек некоторых православных обрядов.

Кроме затруднений с отъездом царицы Марины Мнишек ничто не омрачало отношений царя Дмитрия Ивановича со своими родственниками. Но и эту неприятную миссию – торопить их с поездкой в Москву – царь поручал своим слугам. А те обозначали для семьи Мнишков степень «кручины» их новообретенного сына и зятя. Посол Афанасий Власьев переслал в Москву «шлюбный перстень», полученный от Марины Мнишек при обручении (об этом его зачем-то спрашивал воевода Юрий Мнишек), а также «парсону» – очевидно, портрет царицы. Все это были уже весомые признаки того, что дело идет к коронации Марины в Москве. Поэтому 23 января, едва только получив заверение воеводы Юрия Мнишка о непременном выезде из Кракова 8 января (на самом деле этот срок сдвинулся позже еще на две недели), царь Дмитрий Иванович написал благосклонное письмо тестю и уведомил его об отправке бояр для встречи их на границе. В царской грамоте, написанной по-польски, Марина Мнишек называлась уже женою: «Уведомившись о благополучном выезде к нам пресветлейшей цесаревы, супруги нашей, не только мы чрез то великую радость получили, Господа Бога прося, дабы в том путешествии ее благословил; но также послали ясневельможных бояр наших: Михайла Александровича Нагово, наместника Велико-Пермского и Костромскаго, князя Василья Михайловича Мосальского, дворецкого нашего, великого губернатора Северской земли и наместника Нижнего Новгорода, дабы на границах государств наших государыню цесареву, именем нашим, поздравили и приняли, а потом с надлежащим почтением в престольный град наш препроводили»[27]. Выбор бояр для встречи царицы Марины Мнишек не случаен. Один из них – «родственник» матери царя Дмитрия Ивановича, а другой – его ближайший сторонник, названный «губернатором Северской земли» – той самой, которую предполагалось передать в

совместное владение королю Сигизмунду III и воеводе Юрию Мнишку. Для большего почтения сенатора Речи Посполитой Юрия Мнишка, его друзей и родственников боярам даны были наместнические титулы, с которыми обычно они отправляли дипломатические поручения.

Однако боярам Михаилу Нагому и князю Василию Мосальскому еще долго пришлось дожидаться приезда Мнишков в Московское государство. Царица Марина вместе со своим «двором» выехала из Пронdика 26 января. Путь ее лежал сначала в родной Самбор. В это время сандомирский воевода Юрий Мнишек завершал свои дела в Кракове, где 28 января получил от секретаря царя Дмитрия Ивановича Яна Бучинского очередной вклад в 6 тысяч золотых дублонов [85]. Ян Бучинский добился наконец официального королевского согласия на проводы Марины Мнишек в Москву. В «ответе» из королевской канцелярии на просьбу царя Дмитрия Ивановича, выданном Яну Бучинскому в январе 1606 года, говорилось: «О том, что государь его милость великий хочет у короля его милости, чтоб поволил пану воеводе сендомирскому дочь свою девицу Марину в жену государю его милости, и велел бы отпровадить ее до государя его милости; и король его милость, с любви и милости своей братцкие к великому государю его милости не токмо что поволил, но еще сам собою и с королевичем Владиславом, сыном своим любимым, и с королевною шведцкою, сестрою своею радость ей милости панны воеводенки сендомирской украсить [изволил]» [86]. В публикацию этого ответа в «Собрании государственных грамот и договоров» вкралась неточность, из-за которой всю фразу можно понять как желание короля вместе с королевичем украсить своим присутствием в будущем свадьбу («радость») царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек в Москве. Однако в польском тексте прямо упоминается акт венчания Марины Мнишек, состоявшийся в ноябре 1605 года, на котором и присутствовал Сигизмунд. Для сандомирского воеводы, которому в «ответе» из королевской канцелярии обещалась полнейшая поддержка («о чем толко ласки королевской ищет, или о чем побьет челом, то все получит»), настала пора действовать, и он поспешил вслед за дочерью в Самбор.

1 февраля, на праздник Сретения, Юрий Мнишек вместе с Мариной Мнишек были у обедни в Дембовицах. Отец Каспар Савицкий в своем дневнике оставил свидетельство о самостоятельном, если не сказать своенравном, поведении русской царицы (он, впрочем, очень корректно с точки зрения Речи Посполитой называет ее без царского титула лишь «великой княгиней Московской»). Марина Мнишек, в отличие от своего

отца, не пошла на исповедь к отцу-иезуиту Каспару Савицкому, а «предпочла исповедоваться у священника светского, что случилось совершенно вопреки общему ожиданию». Потом выяснилось, что в этом жесте не было ничего обидного для специально назначенного в Москву представителя иезуитов. Просто самой Марине Мнишек хотелось сохранить прежние доверительные отношения с отцами-бернардинцами. Их она, как писал сам отец Савицкий, «преимущественно желала иметь в своей свите». Видимо, ей было нелегко сразу переменить свою жизнь и она пыталась держаться за то, что связывало ее с таким близким и дорогим прошлым. «С самого детства, вместе со всем своим семейством, – замечал отец Каспар Савицкий, – она привыкла в делах духовных обращаться к бернардинцам. Некоторые из них были назначены, чтобы присоединиться в путешествие» [87].

К 10-11 февраля царица Марина Мнишек и ее отец вернулись в Самбор, и опять начались долгие сборы и проводы, так сильно беспокоившие царя Дмитрия Ивановича. Он слал одну грамоту за другой. К сандомирскому воеводе, по записям «Дневника Марины Мнишек», приезжали «пан Дембицкий, Склиньский, пан Горский», не считая обычных московских гонцов, привозивших письма. Наконец в дело вступил сам посол Афанасий Власьев, вернувшийся с дороги, из Слонима в Самбор, чтобы лично сопроводить царицу Марину Мнишек в Москву. Он передал «приказание царя и его великие сетования по поводу задержки» [88]. Но даже послу еще пришлось подождать дней десять, прежде чем 2 марта 1606 года наконец-то произошло то событие, которого уже заждался царь Дмитрий Иванович. «Воевода с царицей» пустились в «московскую дорогу». Конечно, они были недовольны распутицей, тем, что некоторым из «близких панов», собравшихся в Москву вместе с Мнишками, пришлось нагонять их уже по дороге. Их путь лежал из Самбора в Люблин, где они пробыли с 8 по 14 марта, потом в Слоним, куда они приехали на Страстной неделе 24 марта и где отпраздновали католическую Пасху 26 марта, после чего двинулись дальше к Несвижу, где 30-31 марта были гостями виленского воеводы Николая Кшиштофа Радзивилла-Сиротки [89].

В Люблине царица Марина Мнишек с отцом получили письмо царя Дмитрия Ивановича, написанное еще 28 февраля 1606 года. «Пресветлейший и непобедимейший монарх» звал своих родственников, желая, чтобы они «по требованию нашему, а обещанию своему, в сей мясоед к нам прибыть могли». Но царь Дмитрий Иванович уже не надеялся, что осуществится первоначальный план приезда Марины Мнишек до начала

Великого поста. Он предупреждал об опасностях дальнейшего промедления: «ибо потом умедля, опасный к нам приезд ваш будет; и ежели Смоленск прежде Пасхи миновать изволите, то легко усмотрите». Поэтому он соглашался с воеводой Юрием Мнишком, предлагавшим, в качестве компромисса, побыть где-то недалеко от Москвы во время православного Великого поста. Для этих целей царь Дмитрий Иванович распорядился приготовить «для государыни цесаревой и приятелей» двор в Борисове (рядом с Можайском), всего в восемнадцати милях от Москвы (в одной польской миле считали пять верст). Кроме того, «Дмитрий, друг и сын», извещал тестя, что отправил ему деньги для отдачи королю (об ожидании уплаты этого долга сам король Сигизмунд III писал царю Дмитрию Ивановичу), а также еще «несколько десятков тысяч» на проезд [90]. «Пять тысяч червонных злотых» были тогда же, 28 февраля 1606 года, посланы с секретарем Яном Бучинским для отдачи «наияснейшей панне» Марине. Царский секретарь, выехавший из Москвы, получил наказ оказывать «всевозможные услуги» Марине Мнишек, «сохраняя честь величества нашего во всем и наблюдая, дабы везде по наказу нашему, как на месте пребывания, так и в пути поступаемо было». Царь Дмитрий Иванович опять поручил неприятные дела другим, заставив своего секретаря в известной мере «надавить» на воеводу Юрия Мнишка и напомнить ему, «дабы поспешал и не дожидался, пока путь испортится; ибо ежели застигнет его распутица на дороге, то никак не удобно будет ему от Смоленска сюда приехать». Одновременно Дмитрий отправил еще письмо своему шурину саноцкому старосте Станиславу Мнишку, приезда которого ожидал прежде остальных («потому что нас не столько беспокоить будет медление господина воеводы, когда вас будем иметь у себя»). Станислава Мнишка царь также просил поторопить отца, чтобы тот успел приехать по зимнему пути, желая предотвратить возможные препятствия, «в рассуждении вод и других беспокойств для государыни цесаревы» [91].

Но в самый день выезда Марины Мнишек из Самбора 2 марта 1606 года царь Дмитрий Иванович, так и не имевший в Москве никаких сведений о походе Мнишков (кроме постоянных известий о переносе его сроков), не выдержал.

Он пишет воеводе Юрию Мнишку, наверное, наиболее резкое письмо за все время, которое они знали друг друга. Дмитрию стало очевидно, что воевода сможет прибыть только «едва после праздника Пасхи, спустя несколько недель». Раздосадованный, он дал волю своим чувствам и не стал скрывать самых тяжелых мыслей: «Сие приводит нас иногда к таковым мыслям, которые не были бы вам приятны, ежели бы мы не имели в виду вступление

на наш престол и любовь пресветлейшей государыни, обрученной супруги нашей». Косвенно он дает понять, что устанавливает срок, позднее которого воеводе Юрию Мнишку вообще не имело смысла приезжать. Если бы он прибыл «по прошествии Троицына дни», что вполне могло случиться «для весьма трудных переездов и разлития вод, которые нескоро спадают», то «сумневаемся, дабы милость ваша нас в Москве застал; ибо мы с Божиею помощию скоро, по прошествии Пасхи, путь восприять намерены в лагерь, и там чрез все лето пребывать имеем». Угроза не была пустой: и царь, и воевода хорошо знали, что предстоит выполнить еще одно обязательство перед польским королем и папским престолом – относительно совместной войны против турок. Царь Дмитрий Иванович намекал, что не может отложить этого дела, иначе вина ляжет на самого воеводу Юрия Мнишка. Кроме того, «друг и сын», обычно не скупившийся на средства для поездки Мнишков и их свиты в Московское государство, стал почему-то ссылаться на невозможность боярам, которых он уже давно послал для встречи Марины Мнишек на границу, дальше доставать пропитание из-за великого голода. «Ежели они назад возвратятся, – писал царь Дмитрий Иванович, прекрасно знавший, что без его приказа они скорее действительно умрут с голода, чем покинут свою службу, – то великий стыд принуждены иметь будем» [92].

Тем временем Марина Мнишек, о которой так заботился ее супруг, отдыхала в Люблине после первых дней путешествия. Там она с отцом посетила иезуитскую коллегию, где им был устроен торжественный прием. Молодые клирики упражнялись в сочинении латинских речей и стихов, чем совершенно тронули «высоких лиц». Им повезло больше, чем монахам, ехавшим в свите Марины Мнишек. Чтобы «изъявить свою признательность» люблинским иезуитам, Марина потребовала к себе одного из них и, как записал отец Каспар Савицкий, «исповедовалась у него в том же храме, вслед за чем причастилась Св. Тайн» [93]. Следующая часть путешествия Мнишков от Слонима до Люблина, совпавшая с последними неделями поста (19 марта в Бресте отпраздновали Вербное воскресенье), должна была еще более наполнить смыслом дорожные размышления Марины на пути в Москву.

Но все же это была далеко не паломническая поездка. Мнишкам, находившимся под постоянным давлением посла Афанасия Власьева и царских гонцов, приходилось спешить – хотя бы для вида. Позднее воевода Юрий Мнишек жаловался на «господина Афанасия», «понуждающего нас перелететь к вам, не смотря, что сие и для женского пола несносно, и для меня, в рассуждении немалой моей болезни, тягостно» [94]. Как мы уже

видели, Марина Мнишек умела проявлять твердость в церковных делах. Поэтому окончание Страстной недели и праздник Пасхи ее свита провела в молитвах в Слониме, а не на дороге в Москву. Попутно использовали это время для пополнения запасов, что делалось «по листам от пана канцлера литовского», то есть по приказанию Льва Сапеги [95].

Во время этого путешествия сандомирский воевода и получил отчаянное царское письмо, полное упреков (грамоты из Москвы от царя Дмитрия Ивановича достигали Мнишков примерно через десять дней). Царский тесть уже мог отчитаться о начатом походе в Московское государство, однако тон, который позволил себе его зять, не мог быть воспринят им иначе как оскорбительный. Все было так серьезно, что теперь уже сандомирский воевода писал о своем желании возвратиться назад! Царь Дмитрий Иванович это тонко почувствовал и уже 18 марта 1606 года отправил сандомирскому воеводе новое письмо, в котором не было и намека на то, что он не сможет дождаться приезда в Москву Марины. Царь писал в своей грамоте: «Опечалило нас письмо ваше, в коем вы сомневаетесь о нашей к вам благосклонности, и по-видимому имеете намерение возвратиться с дороги, не препроводя к нам светлейшей дщери вашей; мы, поелику сие было бы к вечному нашему безславию и удивлению целого света, желаем дабы вы сего не делали». «Дмитрий друг и сын» признавался в том, что писал через Денбицкого и Склинского «с некоторою досадою», но оправдывался, что всему причиной его пылкая любовь к Марине. И делал он это так обаятельно и искренне, что сандомирскому воеводе ничего не оставалось, как забыть свои обиды, читая такие, например, строки: «Однако Бог тому свидетель, любезнейший мой родитель, что сие происходило не от злого сердца, но от одной скуки и по любви к вашей дочери и дому вашему». Получив известие о выезде, писал царь, он стал совершенно счастлив и забыл все огорчения; теперь он посылает с этим письмом своего комнатного служителя Сигизмунда Казановского, который должен был подтвердить, что воеводу Юрия Мнишка ожидает самый щедрый прием: «И вам ничего иного не остается теперь ожидать от нас, как токмо признательной благодарности, радости, почитания, и награждения за прежние и теперешние издержки и труды ваши» [96].

Казановский отдал эту грамоту воеводе Юрию Мнишку на пути к владениям виленского воеводы 28 марта 1606 года, поэтому царица Марина Мнишек могла спокойно насладиться гостеприимством Николая Кшиштофа Радзивилла-Сиротки. О торжественной встрече, устроенной им в Несвиже 30-31 марта,

написали и автор «Дневника Марины Мнишек», и отец Каспар Савицкий, ведший свой собственный дневник. К сожалению, монах-иезуит не мог интересоваться подробностями светских балов, он лишь бесстрастно зафиксировал то, с какими почестями провожала Марину Мнишек литовская магнатерия: «30 марта достигли города Несвижа, где воевода виленский принял в своем замке княгиню и воеводу сандомирского и два дня угощал их с большою роскошью, оказывая им всевозможное почтение» [97]. Это бесспорно свидетельствует о том, что и великий канцлер литовский Лев Сапега (по листам которого снабжался свадебный поезд Мнишков), и виленский воевода Николай Кшиштоф Радзивилл-Сиротка вполне сочувственно отнеслись ко всему делу, вероятно рассчитывая на дивиденды от поддержки Марины Мнишек. Оставляя в стороне политический план несвижского пира, можно еще вспомнить, что он стал последним торжеством в жизни Марины на ее родине. Дальше начиналась жизнь в той стране, царицей которой она так хотела стать и даже стала, но не больше, чем на несколько дней.

Было еще одно предзнаменование, которое могло бы остановить Марину Мнишек, если бы люди умели правильно прочитывать те знаки, которые потом воспринимаются не иначе как жест судьбы. 14-15 апреля, во время переправы через Днепр под Оршей, течением то и дело сносило наведенные мосты, так что люди два дня перебирались через реку. Но ведь переправа более чем двух тысяч человек (и почти такого же числа лошадей) была и в самом деле сравнима с небольшим военным предприятием. Поэтому ободряемые новыми письмами царя Дмитрия Ивановича, продолжавшего извиняться за свои упреки и славшего новые деньги на корм (на этот раз 35 тысяч злотых), участники свадебного поезда беспечно шли к московской границе, еще не зная, что ждет многих из них через какой-то месяц. 18 апреля 1606 года свадебный поезд переехал границу на реке И вате. Это «речка с наведенным мостом, – записывал автор «Дневника Марины Мнишек». – На границе никто не встретил поезда, только четыре москаля, людей знатных, которые послу Афанасию вручили грамоты и приветствовали царицу и пана воеводу» [98].

Приходилось привыкать к чужой стране, и давалось это не без труда. Отец Каспар Савицкий прочел целую проповедь, чтобы предостеречь соотечественников от неосторожного поведения, которое могло бы посеять недоразумения или, не дай бог, вражду с жителями Московского государства. Воевода Юрий Мнишек пошел еще дальше и, не надеясь укротить буйный нрав своих спутников одними увещеваниями, издал в дороге целый свод

постановлений, чтобы также урегулировать возникавшие споры. Увы, бумажные правила ничего не могли поделать с жизнью. Можно представить себе жадный интерес, который обе стороны испытывали друг к другу, когда был снят запрет на свободное общение подданных Речи Посполитой и Русского государства. Не случайно встречавшие поезд Марины Мнишек четыре «боярина» с таким изумлением глядели на Каспара Савицкого, наверное, первого увиденного ими монаха-иезуита. Ему казалось, что «бояре» буквально вытаращили глаза от удивления и замучили его вопросами о том, какой он веры, какого сана и много ли еще в свите Марины Мнишек священников и монахов. Искренность и простодушие, если не умеешь ответить тем же, очень скоро кажутся назойливостью и скукой. Так и произошло с отцом Каспаром Савицким, который в конце концов прекратил беседу, не блиставшую привычным ему светским лоском и учтивостью.

Поезд Марины Мнишек вызывал неподдельное удивление у всех, кто видел его на пути от «литовского рубежа» до Смоленска, куда поляки и литовцы прибыли 21 апреля 1606 года. Уже говорилось о том, что в Московское государство приехало свыше двух тысяч человек. Но что это были за люди и как они выглядели?

До границы главным должен был считаться двор самого сандомирского воеводы Юрия Мнишка, в который вместе с рядовыми жолнерами и пехотой входило 445 человек. Двор царицы Марины Мнишек уступал ему и насчитывал 251 человек. В составе свадебного поезда выделялись еще дворы князя Константина Вишневецкого и коронного маршалка Адама Вольского, сравнимые по численности с двором Юрия Мнишка. Остальные знатные шляхтичи, в основном из числа родственников и свойственников Мнишков – Ян и Станислав Мнишки, Сигизмунд Тарло, Мартин (гофмейстер двора Марины Мнишек) и Юрий Стадницкие, Станислав Немоевский, – имели более скромную свиту. Необычный вид путешествующих шляхтичей в гусарских мундирах и сопровождавших их пеших слуг подчеркивался присутствием в поезде ксендза Франтишка Помасского, отца Каспара Савицкого и других священников. Но рядом – как обычно, под охраной посольского каравана – ехали восточные купцы с товарами. Довершали яркую картину музыканты, пугавшие встречных звуками своих труб и барабанов.

Со времени пересечения границы Московского государства поезду сандомирского воеводы Юрия Мнишка пришлось немного перестроиться. Первенствующая роль перешла к царице Марине Мнишек. Отныне все присутствовавшие в ее свите должны были понять, что именно она является центром всеобщего внимания.

В первый день в Московском государстве было отчего-то тревожно, поэтому, страшась непонятных «засад», отправили вперед несколько колясок и повозок. Царица и сопровождавшие ее женщины ехали в самом конце процессии, охраняемые гусарами и пехотой. Между тем следы приготовлений к встрече царицы были заметны. Автор «Дневника Марины Мнишек» записывал, что «на каждом ручье были приготовлены хорошие мосты, и так до самой Москвы». В селах, по русскому обычаю, проезжавших встречали священники с хлебом и солью «в знак расположения, прося о милости».

Первый ночлег в Красном, на дороге от границы к Смоленску, не понравился гостям («бедновато для первого раза»). Пришлось сандомирскому воеводе Юрию Мнишку вмешаться, чтобы увеличили содержание. Кроме того, на путешественников обрушилось весеннее ненастье, и если Марине Мнишек приготовили новую избу и давали отдельные оброки на весь двор, то всем остальным приходилось искать кров и пищу самостоятельно, а то и вовсе раскидывать палатки, утопая в грязи «почти по самые щиколотки». В следующий ночлег перед Смоленском ситуация повторилась. Только царица ни в чем не нуждалась, для нее опять приготовили новые «светелки», а остальные расставляли палатки.

Через день после того, как Марина приехала в Московское государство, состоялась первая торжественная встреча. Теперь Мнишков и всю свиту приветствовали не какие-то четыре рядовых пристава, как на границе, а двое давно ожидавших приезда царицы бояр и царских посланников – Михаил Александрович Нагой и князь Василий Михайлович Мосальский. Их сопровождала тысячная охрана, в которую также входили члены Государева двора. Все знатные москвичи пришли в избу, где остановилась царица Марина Мнишек, отдали ей царские грамоты и говорили речи, кланяясь до земли. Отдельно были отданы грамоты царя Дмитрия Ивановича воеводе Юрию Мнишку. Для царицы Марины были приготовлены 54 белые лошади. Кроме того, еще с зимы ее дожидались великолепные сани, украшенные царским гербом. Теперь, правда, они сделались совершенно ненужными.

Только с этого момента стала возрождаться надежда на повторение краковского великолепия, едва было не иссякнувшая в связи с не очень впечатляющим первым приемом свиты Мнишков при пересечении ими границы. Можно представить, с какой радостью царица с сопровождающими ее дамами пересела в присланные ей «три кареты с окнами, внутри обиты соболями, шоры бархатные». Нарядные дамы, сидевшие в комфортных

каретах, теперь уже с интересом должны были рассматривать в открытые окна просторы нового отечества царицы Марины Мнишек.

Весь царицын поезд двинулся в путь под двойной охраной польских гусар и московских служилых людей. По двенадцати лучшим белым лошадям в одной упряжке издали можно было легко определить, где среди этих нескольких тысяч людей находилась карета новой московской царицы.

21 апреля царицын поезд остановился в Смоленске. Марине Мнишек предстояло еще одно испытание – встреча с ее новыми подданными, на этот раз в городе, о возвращении которого под руку Речи Посполитой мечтало не одно поколение польской шляхты. И вот теперь мечта, кажется, сбывалась. Со временем Смоленск было обещано возвратить королю Сигизмунду III. Пока же народ просто высыпал навстречу столь неожиданным гостям. Казалось, весь город встречал царицу, расположившись на стенах потрясающей своими размерами Смоленской крепости. Один из сопровождавших Марину Мнишек дворян записал позднее в своем дневнике, что «народу было до нескольких десятков тысяч, которые челом били и соболей дарили». Навстречу Марине вышло смоленское духовенство с образами Пресвятой Богородицы, «которые подавали ее величеству целовать». Кроме того, угощали хлебом и солью, к чему поляки уже начинали привыкать. Бояре, посланные царем Дмитрием Ивановичем, устроили обед для воеводы Юрия Мнишка и его близких. Царица же в это время «во дворе своем обедала».

Смоленский пир плохо повлиял на воеводу Юрия Мнишка. Он заболел, и из-за этого пришлось задержаться в Смоленске на некоторое время. Между тем свита воеводы с трудом управлялась в непривычных для нее московских избах. Пару раз едва не устроили пожар, причем один раз загорелось на кухне в доме, где останавливалась сама Марина. Но гораздо более неприятное происшествие случилось со слугой автора «Дневника Марины Мнишек». Некий пахолик запалил порох, «которым себе выжег глаза и лицо». Только потом (и не одному автору «Дневника Марины Мнишек») стало понятно: «И то, видно, было первое худое предзнаменование дальнейших наших неудач…» [99]

Недомогание пана воеводы не сказалось на обычном распорядке дня. В воскресенье 23 апреля отслужили католическую мессу. Немало смолян собралось посмотреть на невиданное зрелище. Люди толпились, ломая ограждения, и долго удивлялись звучавшей музыке.

Дорога от Смоленска до Москвы выглядела уже лучше, она была выровнена и замощена, однако даже при этом поезду

царицы Марины Мнишек не удалось избежать несчастных приключений во время переправ через разлившиеся реки. Снова форсируя Днепр, потеряли нескольких слуг, утонувших в холодной весенней воде. Один из «товарищей» в роте саноцкого старосты так активно расчищал себе дорогу саблей, что отсек палец на руке своему приятелю. Все эти трагические случайности не могли не повлиять на настроение людей, остававшихся в свите Марины Мнишек. Дорога перестала казаться легкой и веселой, поляки с опаской переправлялись через многочисленные реки. К тому же начались задоры с «москвой». Инициаторами ссор выступали гости, слишком рано почувствовавшие себя хозяевами страны, которой они еще не могли узнать по-настоящему. «Так как наши сурово с “москвой” обходились, – замечал автор «Дневника Марины Мнишек», – назначили судей и записали правила. Но тех правил не исполняли…» [100]

Тем временем подготовка к встрече царицы в Москве была в самом разгаре. Царь Дмитрий Иванович не оставлял своим вниманием Мнишков, находившихся на дороге в Москву, и держал их в курсе всех приготовлений. Не доезжая Дорогобужа, царица и сандомирский воевода встретились с кравчим князем Борисом Михайловичем Лыковым, одним из самых заметных представителей аристократической молодежи, окружавшей царя. В привезенных им грамотах «царь радовался счастливому въезду пана воеводы и царицы, супруги своей, в государство свое, а также передал, что по надобности приказано обеспечить им любые удобства и что он сам с радостью ожидает их приезда». Посол Афанасий Власьев, покинувший Мнишков в Смоленске, успел доехать до Москвы и вернуться с новыми инструкциями царя Дмитрия Ивановича. Через него «царь просил, чтобы пан воевода, по меньшей мере, на ста лошадях приехал в Москву для того, чтобы устно обговорить приготовления к свадьбе и другие церемонии». Власьев, провинившийся в своем усердном стремлении заставить едва не «перелететь» царицу Марину Мнишек в Московское государство, привез новые «очень богатые подарки» от своего самодержца и немного смягчил отношение к себе. «Бриллиантовая корона и повязка на шляпу», очевидно, должны были направить мысли Марины Мнишек к будущей коронации. Не забыл супруг и о пристрастиях своей избранницы, послав ей «четыре нитки крупного восточного жемчуга, несколько десятков более мелких». В довершение пара золотых часов, «одни в баране, другие в верблюде», должна была помочь царице сосчитать часы и минуты, остававшиеся до встречи с царем Дмитрием Ивановичем.

28 апреля 1606 года царица Марина Мнишек и воевода были

уже в Вязьме, где им пришлось познакомиться с православной Пасхой и принять участие в некоторых, связанных с ней обычаях. Станислав Немоевский записал, что «ее величество царица, приноравливаясь к обычаю земли, бояр, которые ее сопровождали, одарила парою крашеных яиц и вышитым платком от своей руки». Много должно было удивлять поляков. Из тюрем было выпущено немало узников, а «лучших» служилых людей «одарили очень красивым куском полотна». Но еще более поразило то, что несмотря даже на самое большое церковное торжество сопровождавшая их «москва» продолжала торопиться «и не хотела дать себе отдыха», чтобы как можно скорее исполнить царское поручение. В Вязьме воевода Юрий Мнишек, по предложению царя Дмитрия Ивановича, оставил дочь одну и вместе со своим зятем князем Константином Вишневецким и сыном Станиславом Мнишком поехал в Москву [101].

4 мая состоялся торжественный въезд в столицу сандомирского воеводы. Юрию Мнишку первому довелось испытать чувство триумфа, ожидавшее вскоре и его дочь (а заодно и привыкать к новому календарю, в соответствии с которым воевода вернулся на десять дней назад – в 25 апреля). Царь Дмитрий Иванович послал лошадей тестю и ехавшим с ним знатным родственникам. Из лошадей царской конюшни особенно выделялась одна, с богато украшенным золотым седлом, на которую сел сам «пан воевода». На подъезде к Москве Мнишка ждало несколько сюрпризов, приготовленных царем. Сначала он увидал ехавшего навстречу в гусарской одежде всадника, возглавлявшего значительный отряд из «самых знатных бояр и дворян московских», которых было «до полутора тысяч». Всадником, встречавшим польских друзей царя, был боярин Петр Федорович Басманов. Его гусарский костюм сразу должен был расположить гостей к ближайшему слуге царя. Дальше через реку Москву был наведен «диковинный мост», сделанный «изобретательно, без опор, только на одних канатах». Дальнейшая дорога в Кремль пролегала сквозь строй «всадников, довольно прилично одетых», стоявших в два ряда. Среди них встречались и «товарищи» из роты пана Матвея Домарацкого, которые давно служили царю. Да и сам царь Дмитрий Иванович, как оказалось, тайно был среди них.

В день приезда сандомирскому воеводе сначала дали отдохнуть и в знак расположения и приязни прислали богатые кушанья и напитки с царского стола. Еще один из близких к царю людей, князь Иван Хворостинин, приезжал «навестить пана воеводу и изъявить радость по случаю его приезда в государства его московские» [102].

5 мая 1606 года царица Марина Мнишек достигла Вязем и остановилась там на несколько дней. Это было символично, потому что селение Вяземы (ныне Большие Вяземы) было подмосковной резиденцией «правителя» Бориса Годунова, устроившего там свой дворец. В нем-то и должна была ожидать известий из Москвы Марина Мнишек, пока ее отец и брат окончательно обговаривали все церемониальные детали. Воевода Юрий Мнишек тем временем наслаждался великолепным царским приемом, достойным посла иностранной державы. Его торжественно проводили в Кремль, в царских палатах сандомирского воеводу встречал царь Дмитрий Иванович, сидевший «на троне в одеянии, украшенном жемчугом и драгоценными камнями, в высокой короне, со скипетром в правой руке». При этом присутствовали патриарх и весь Освященный собор, вся Боярская дума и все знатные дворяне. Воевода был допущен к царской руке и говорил речь. Его слова так растрогали царя Дмитрия Ивановича, что он, по словам одного шляхтича, присутствовавшего в воеводской свите, «плакал, как бобр» (эквивалент русского выражения – «лить слезы ручьем»). Самозваный царь не случайно дал волю своим чувствам. Сбывалась его мечта о женитьбе на польской шляхтенке. Сам факт торжественного кремлевского приема, когда воевода Юрий Мнишек целовал царскую руку и подходил под благословение московского патриарха, снимал многие подозрения и заставлял недоброжелателей спрятать свое недовольство. Но, как очень скоро окажется, ненадолго.

С этого времени царь Дмитрий Иванович погружается в какое-то экстатическое состояние веселья и свободы, причина которого очевидна – его подлинные чувства к Марине Мнишек. Он внимателен к своим гостям и изобретателен в развлечениях. Пиры, один богаче другого, сменяются представлениями и музыкой. Вот царь «угощает» гостей неизвестным им экзотическим «блюдом», принимая лапландцев, очень кстати прибывших на оленях со своими северными дарами. Вот гости наблюдают за раздачей «маслин» царским стольникам (не спутаны ли здесь маслины со сливами?). Все вместе слушают музыкантов, привезенных уже ставшим любимым шурином царя саноцким старостой Станиславом Мнишком. Станислав Мнишек и князь Константин Вишневецкий устраивают шуточные танцы перед царем. В конце вечера музыкантов щедро награждают, раздарив две тысячи злотых. Царь Дмитрий Иванович тоже много шутит, переодевается то в гусарское платье, то в московское. Гусарский костюм, как известно, он полюбил еще в Речи Посполитой, зато теперь в Москве царь имел возможность

поразить всех роскошью своего парчового жупана и бархатной делии (плаща, подбитого мехом), «унизанной жемчугом и всякими украшениями». Как только веселые застолья стали приедаться (а во время одного из них воевода Юрий Мнишек даже почувствовал недомогание), решили поехать на охоту. И опять героем дня был царь, на глазах у своего тестя собственноручно убивший медведя. Точное описание этой охоты тоже сохранилось: «Там среди других зверей выпустили также медведя, которого, когда никто не смел первым с ним биться, сам царь, бросившись, убил с одного удара рогатиной, так что даже рукоятка сломалась. И саблею отсек ему голову. “Москва” радостно закричала, увидев это. Все обедали там же в шатрах» [103].

За всем этим непреходящим весельем могло даже показаться, что царь забыл о своей главной цели – приготовлениях к свадьбе с Мариной Мнишек. Но это, конечно, было не так. Даже проводя все дни в пирах, он несколько раз успел съездить к своей «матери» в кремлевский Вознесенский монастырь. Именно там должна была остановиться царица Марина по приезде в Москву. Инокине Марфе Нагой предстояло приготовить свою «дочь» к совершению таинства брака и научить ее обычаям царицыного двора. В Вяземы отсылались подарки – «8 очень богатых ожерелий, а также 8 кусков лучшей парчи». Туда же пригнали целый табун ногайских лошадей – бахматов, розданных Мариной Мнишек своим дворянам и слугам. Наконец, даже шатры, в которых царь пировал с воеводой Юрием Мнишком, отдыхая от охотничьих утех, остались на том же месте, потому что они потом пригодились царице, ночевавшей в них после выезда из Вязем. По слухам, записанным Станиславом Немоевским, царь Дмитрий Иванович лично приезжал «ночью, incognito», приветствовать свою царицу.

12 мая (2 мая по юлианскому календарю, принятому в Московском государстве) столица, подготовленная визитом сандомирского воеводы, встречала его дочь Марину Мнишек. Все было продумано до мельчайших деталей. Челядь с возами, которые могли бы испортить своим видом торжественность процессии, отправили вперед в Москву. Все готовились к приезду будущей царицы, а между тем буквально на час ее опередили послы короля Сигизмунда III Николай Олесницкий и Александр Госевский [104]. Не их ли дожидались все это время, чтобы добиться желанного тождества двух церемоний – в Кракове, где участвовал посол Афанасий Власьев, и Москве, где Речь Посполитую должны были представлять приехавшие послы? Но в тот день никакой рядовой посольский поезд не мог затмить

невиданного зрелища приезда царской невесты из иноземных краев. Сам царь, как и за несколько дней до этого при встрече сандомирского воеводы, не утерпел и тайно, окруженный только десятком всадников, «подъехал к дороге, чтобы навести порядок». Царь Дмитрий Иванович следил за всеми деталями с установкой шатров, где Марину Мнишек должны были встретить от его имени, за построением гусар, алебардщиков и стрельцов. Он послал своей невесте новую карету и 12 лошадей «в яблоках». Это произвело неизгладимое впечатление на всех встречавших. Позднее глава иноземной охраны капитан Жак Маржерет вспоминал торжественный въезд Марины Мнишек в столицу в карете, запряженной ногайскими лошадьми («белые с черными пятнами, как тигры или леопарды, которые были так похожи, что нельзя было бы отличить одну от другой» [105]).

Марина давно готовила себя к этому дню и встрече со своим нареченным супругом. Ранним утром она призвала к себе отца Каспара Савицкого и первый раз исповедалась у него и причастилась. Душа ее была чиста и открыта, она покорно вручала себя судьбе и готовилась к грядущим испытаниям. Для нее было бы в тот момент большим подспорьем прочитать адресованные ей слова из письма папы Павла V, написанного 10 апреля 1606 года. Однако вряд ли папское послание успели доставить Марине Мнишек, пока она находилась на пути в Москву. Между тем папа Павел V писал именно о том, что было ей всего нужнее, – где искать силы, приехав в чужую страну к своему мужу. Обращаясь к «возлюбленной во Христе дочери Марине, великой княгине московской», папа писал: «Неоднократно мы будем впредь изъявлять твоей светлости чувства отцовской нашей любви; тебя, подобно новому растению, посаженному в вертограде Господнем, будем орошать честными благословениями, чтобы, принося ежегодно счастливый плод, ты множилась подобно виноградной лозе, осеняющей дом твой. Благословенная Господом дочь моя, да будут благословенны все сыны твои, от которых мы ожидаем, что они будут такими, какими их хочет видеть церковь и какими она вправе ожидать их от набожности родителей, то есть всегда готовыми к распространению веры христианской». Вместе с письмом к Марине Мнишек был послан отец-иезуит Андрей Лавицкий с папским благословением и другими наставлениями об «укреплении в христианской набожности» [106].

Отец Каспар Савицкий не простирался мыслью так далеко, напутствуя Марину Мнишек. Но он также просил ее влиять на царя, чтобы тот исполнил обещания, данные в Речи Посполитой. Он и сам был готов помогать в этом своей новой духовной

дочери, если царица в будущем даст ему возможность бывать у нее во дворце.

Так, ободренная духовно, Марина Мнишек двинулась навстречу своей судьбе. По церемониалу ей предстояло сначала подъехать в своей карете к шатрам, приготовленным «у реки Москвы, под самым городом». У шатров Марину Мнишек встречал Государев двор: «Когда сошла царица к шатрам, там ее встретили от имени царя и обратились с благодарственными речами, принимая ее в свой столичный город и также радуясь ее счастливому, в добром здравии приезду. Там же, выехав стройно и празднично, воеводы, князья, думные бояре и весь царский двор встретили царицу с обычными для своего народа церемониями». Марину ждал еще один подарок. Это была сказочной красоты карета, описание которой оставили члены свиты польских послов, приехавших в Москву в один день с Мариной Мнишек. «Высокая большая карета», сделанная «по московскому образцу, алым золотым глазетом покрытая, внутри обитая соболями, и вся вызолоченная, и золотыми звездами испещренная; ступицы у колес покрыты листовым золотом, а спицы выкрашены лазурью. Спереди, где должен быть сундук, стояли два человека, одетые по-английски, держа в руках золотые розаны; на верху кареты золотой орел; по бокам она была разукрашена драгоценными каменьями, жемчугом и золотом». Голландец Исаак Масса углядел, что внутри кареты «лежали подушки, унизанные жемчугом». Он же рассказал о сюрпризе, приготовленном своей невесте царем Дмитрием Ивановичем, успевшим узнать в Речи Посполитой новейшую моду европейских дворов на восточную экзотику: в карете «сидел красивый маленький арап, державший на золотой цепочке обезьяну, с которой он играл». Сев в новую карету, «украшенную по бокам серебром и царскими гербами», Марина Мнишек медленно тронулась в путь, так как рядом с лошадьми шли особые возницы и держали поводья в руках. Капитан Жак Маржерет профессионально отметил, что в ее охране были «четыре отряда польской кавалерии на весьма хороших лошадях и в богатых одеждах, затем отряд гайдуков в качестве телохранителей». Казалось невероятным, что рядом вполне мирно шли гусарская рота и пехота, служившая у друзей сандомирского воеводы Юрия Мнишка, немецкие алебардщики из царской охраны и московские стрельцы. Свите польских послов особенно запомнились 300 немецких драбантов в бархатных одеждах, «каждый из них имел в руке широкую выполированную алебарду… На всех алебардах золотом высечен двуглавый орел; над орлом царская корона, а по бокам латинскими буквами: Дмитрий Иванович». Знатные паны шли в голове процессии, «а

“москва” ехала перед каретой». Уже под самыми стенами Кремля, посаженные «theatrum» (ровными рядами?) люди «для совершения торжества» и по случаю «счастливого прибытия» Марины Мнишек, «затрубили и ударили в бубны». Но со стороны все это казалось долго не смолкавшим громом, затихнувшим только тогда, когда Марина Мнишек оказалась у входа в Вознесенский монастырь. Только здесь, в присутствии «матери», царь Дмитрий Иванович увидел свою невесту, оставленную в Самборе почти за два года до этого. Перед ним была уже не девочка-подросток, но дама в прекрасном платье и украшениях («Она была одета, по французскому обычаю, в платье из белого атласа, все унизанное драгоценными камнями и жемчугом», – запишет Исаак Масса), привыкшая к всеобщему вниманию. Да и Марина Мнишек могла оценить метаморфозу, произошедшую с несчастным, непризнанным никем «царевичем», превратившимся во владыку сказочной страны [107].

Видеться с невестой до свадьбы царь Дмитрий Иванович, согласно обычаям, больше не мог. Марину Мнишек с сопровождавшими ее дамами, называвшимися по-немецки «fraucymer» – фрейлинами, оставили на попечении инокини Марфы Нагой и других монахинь Вознесенского монастыря в Кремле (сестрами этой обители становились представительницы самых знатных родов, хорошо знакомые с царским этикетом). Русский монастырь с непривычки может напугать кого угодно. Царь, понимая это, попытался смягчить впечатление и, по словам Исаака Массы, «повелел также весьма красиво убрать кельи в монастыре, где жила его мать, ибо прежде всего невесту должны были отвезти туда на восемь дней, дабы она могла научиться московским обычаям». Но все равно, не знавшая до того никаких запретов или ограничений, воспитанная по-светски и в роскоши, Марина Мнишек с первых шагов кремлевской жизни погрузилась в непривычную и тяжелую для нее атмосферу монастыря, где белый атлас ее французского платья выглядел таким неуместным на фоне бревен, обитых черным сукном. По воле царя Дмитрия Ивановича Марина трижды кланялась царской матери и обратилась к ней с пышной речью. Не случайно монастырская обстановка была воспринята окружающими дамами как тюремная. Первое, что не понравилось Марине Мнишек, была постная монастырская кухня, и потребовалось вмешательство царя Дмитрия Ивановича, чтобы устранить зревший кулинарный бунт («к ней сразу послали посуду и польских кухмистеров и поваров, которые стали всего вдоволь готовить для нее, отдали им ключи от кладовых и погребов»). Царю легко было пойти здесь на уступки, потому что он не хотел отступать от главного запрета

– на прием Мариной Мнишек в Вознесенском монастыре католических духовников. Но ведь вместе с Мариной Мнишек за монастырскими стенами оказались ее фрейлины, у которых не было никаких обязательств по ограничению веры. Новые впечатления были у них так сильны, что навеяли мысли о «вечной неволе». Но с напуганными и расстроенными дамами царь Дмитрий Иванович справился еще легче, не без жестокого ерничества, предложив всем желающим свободный отъезд в Речь Посполитую.

Единственное, что искупало «заключение» Марины Мнишек в Вознесенском монастыре, была горячая любовь ее будущей «матери» инокини Марфы Федоровны. Но можно ли было даже сравнивать внимание, проявленное к ней на свадьбе в Кракове королевной Анной, сестрой короля Сигизмунда III, и чувства приязни, выражаемые на непонятном языке царской вдовой в непривычном монашеском одеянии?!

Инокиню Марфу Федоровну – бывшую царицу Марию Нагую, пожалуй, более всего жалко в этой истории. Сначала она с исступленной искренностью, после четырнадцатилетних молитв за упокой души, поверила в чудесное воскрешение своего единственного сына, царевича Дмитрия. Теперь такая же неудержимая родительская любовь была перенесена на Марину Мнишек, которая, в отличие от царя, вовсе не нуждалась в этом. Чувства несчастной инокини проявлялись на виду у всех, она рада была обманываться сама и невольно обманывала других. Все это не стало тайной для окружающих. Позднее послы Речи Посполитой Станислав Витовский и князь Ян Соколинский ссылались на то, что в эти майские дни «великая кнегиня Марья дочку пана воеводину, скоро приехала, до своих палат приняла, и аж до радости при собе ее имела, сыновою своею ее звала, и всякую любовь и ласку родительскую, яко матка дитяти своему, показовала» [108].

На следующий день после приезда Марины Мнишек в Москву 3(13) мая 1606 года царь Дмитрий Иванович принял в Кремле «родственников и приближенных пана воеводы». На этот раз поводом было чествование Марины Мнишек и прием послов короля Сигизмунда III. От имени царицы Марины Мнишек говорил гофмейстер ее двора Мартин Стадницкий. Он выразил те чувства, с которыми свита, сопровождавшая царицу, приехала в Кремль. Брачный союз царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек виделся как символ единения двух народов, залог успешной борьбы христианских стран против «басурманов»: «Захотел Господь вашу царскую милость соединить с народом, мало разнящимся с вашим народом в языке и обычаях, равным

ему по силе, отваге, храбрости в бою, мужеству, от многих славимому». Всячески восхваляя род Мнишков («никто таких великих знаков благосклонности его королевской милости не имеет, как пан воевода»), гофмейстер Мартин Стадницкий приводил исторические параллели. Он вспомнил о Софии Витовтовне (1371-1454), жене Василия I, а также учтиво намекнул на то, что и сам дед царя, великий князь Василий III, был женат на Елене Глинской, род которой происходил из Великого княжества Литовского: «А светлой памяти отца вашей царской милости не Глинская ли родила?» Мартин Стадницкий призывал забыть несчастные раздоры, прекратить «свирепое и варварское» кровопролитие и объединиться для совместной борьбы христиан с «басурманами». Его главным пожеланием царю Дмитрию Ивановичу в преддверии свадьбы было «свергнуть полумесяц из полночных краев» и «озарить полуденные края своею славой», и «в столице предков своих на старости лет увидеть потомство свое» [109].

Часто мелькавшие в речи Мартина Стадницкого слова титула «ваша царская милость» были более всего приятны слуху царя Дмитрия Ивановича в тот момент. Мнишки и их приближенные легко титуловали как самого Дмитрия, так и его «царицу» Марину. Совсем по-другому отнеслись к вопросу о титуле послы Речи Посполитой – Николай Олесницкий и Александр Госевский. Их прием следовал за обменом любезностями, который начался с речи Мартина Стадницкого и ответа думного дьяка Афанасия Власьева. Король Сигизмунд III даже ради новой дружбы между Речью Посполитой и Московским государством не хотел поступиться дипломатическим преимуществом королевского обращения к «великому князю», но не царю и уж тем более не цесарю. Думный дьяк Афанасий Власьев, как всегда стоявший на страже протокола, по приказу царя Дмитрия Ивановича попытался даже вернуть письмо, привезенное послами: «Вы отдали письмо, на котором нет титула цесарского величества, но обращено оно к некоему князю всей Руси. Дмитрий Иванович – цесарь в своих преславных государствах. И вы это письмо возьмите обратно к себе и отвезите его своему государю». Но слишком невыгодно было царю Дмитрию Ивановичу затевать споры о титуле, слишком неподходящим был для этого момент. Хотя его невеста уже находилась вместе с отцом на территории Кремля, он был крайне заинтересован в лояльном поведении во время коронации Марины Мнишек послов Сигизмунда III, да и поддерживавшего их в отстаивании королевской чести сандомирского воеводы Юрия Мнишка. Послы, забирая возвращенное письмо (жест войны!), не преминули напомнить

неблагодарному московскому князю о «доброжелательности» короля, а также о том, что они сами, по первому зову, «едва отряхнули дорожную пыль», явились во дворец. Рассерженный царь вышел за рамки протокола и вступил в личные объяснения с послами. Но и Николай Олесницкий стал говорить не по посольской инструкции («ведь я – поляк, человек народа вольного, привык говорить свободно!»). Самым обидным было для царя то, что посол упрекнул его в неблагодарности: «Скоро ваша наияснейшая государская милость забыла, что чудесно, с Божьей помощью, благосклонностью его королевской милости, государя нашего милостивейшего, и поддержкою нашего польского народа (ибо кровь свою наши братья поляки проливали за вашу наияснейшую государскую милость), вы на этот трон (указал на него рукой) посажены. Вместо благодарности – неблагодарность, вместо дружбы – неприязнь сторицею воздаете, расположением и дружбой короля его милости, государя нашего, пренебрегаете и явную причину изволили подать к пролитию крови людской». Царь Дмитрий Иванович проиграл и вынужден был принять письмо и приветствовать посла. Ссылки же дьяка Афанасия Власьева на то, что «письма без титула» принимаются ради «свадебных торжеств цесаря», служили слабым утешением [110].

Споры во время приема послов тяжелой тенью легли на коронацию Марины Мнишек. Не раз во время этой церемонии московские дипломаты пытались хотя бы в мелочах взять реванш. Присутствие иноземцев, да еще католиков, в главном соборе государства и так было чувствительным ударом по самолюбию москвичей. И, как окажется впоследствии, они не забыли об этом.

Следующий день, 4 (14) мая, пришелся на воскресенье. В этот день царь по обыкновению устроил в Кремле пир со своими польскими «родственниками». Марину Мнишек тем временем продолжали готовить для роли русской царицы в кремлевском Вознесенском монастыре. Она, конечно, не была обойдена вниманием Дмитрия Ивановича, приславшего ей «шкатулку с драгоценностями, которых цена (как говорили) доходила до 500 000 рублей». Одновременно было выдано еще 100 тысяч злотых для уплаты долгов сандомирского воеводы в Речи Посполитой. Царь явно хотел, чтобы его родственники разделили с ним возможность быть щедрыми по отношению к своим слугам и приближенным. Марина тоже не скупилась и, как записал один из людей в ее свите, раздала из присланной ей шкатулки «немало драгоценностей панам приближенным». Накануне свадебных торжеств царь прислал Марине «сани, у которых крылья и оглобли обиты бархатом, расшиты серебром, у хомута подвешено сорок соболей». В сани запрягли белого коня, «узда серебром

переплетена, с шапкой и капором, украшенными жемчугом». Внутреннее убранство повозки не уступало прежним дорожным каретам: «Сани обиты пестрым бархатом, попона на них красная, по углам с жемчугом, а в санях покрывала шерстяное и стеганое, лучшими соболями подшиты». В этих санях вечером 7 (17) мая, «чтобы избежать давки», по свидетельству капитана Жака Маржерета, Марину Мнишек перевезли из монастыря «в крепость», или «верхние покои дворца» [111]. Там в царских палатах были совершены последние приготовления.

8 (18) мая 1606 года «свершилась коронация царицы». Так записано в «Дневнике Марины Мнишек». Царь Дмитрий Иванович преодолел многие трудности на пути к этому дню. Многие, но не все. Дело в том, что смысл происходившего события, не имевшего прецедента в русской истории и, следовательно, лишенного спасительной опоры на традицию, был чрезвычайно запутан. Казалось бы, чего проще. Речь шла о царской свадьбе. В соответствии с этим был заготовлен «Чин» брачного обряда, следовавший порядку, принятому у московских великих князей и царей. (Этот «Чин» сохранился, хотя и в отрывке.) Но ведь царской женой должна была стать иноземка, не крещенная в православную веру, что было совершенно недопустимо в глазах подданных московского государя. Предвидя эти затруднения, царь Дмитрий Иванович, как мы помним, заранее просил нунция Клавдия Рангони и своего тестя воеводу Юрия Мнишка исходатайствовать разрешение папского престола на допуск Марины Мнишек к причастию у православного патриарха. Однако святейшая инквизиция ответила категорическим запретом, обойти который уже было нельзя.

Царь представлял себя как православный монарх, но в Москве теперь находилось немало людей, посвященных в тайну принятия им католичества, и они ждали шагов, подтверждавших курс на сближение православной и католической церквей. Более же удобного и символичного момента трудно было даже придумать. Вышло, однако, по-другому. Брачные торжества продемонстрировали смешение вер, костюмов, обычаев и амбиций… Но – никаких внятных намеков на государственный союз двух христианских государств, подтвержденный коронацией подданной польского короля Марины Мнишек на русский престол.

Впрочем, внешняя сторона всего действия была обречена на то, чтобы выглядеть великолепно. В Государственном историческом музее в Москве, в зале, посвященном событиям Смуты, висит картина, изображающая момент коронации Марины Мнишек (об одной из загадок, связанной с этими картинами из

Вишневецкого замка, еще будет сказано). Хотя художник и не был участником события, он проиллюстрировал его, опираясь на описания тех, кто присутствовал в то время в Кремле. Полотно, изображающее коронацию, – одно из лучших пособий, раскрывающих церемониальную сторону обряда. Как показал Б. А. Успенский в специальной работе «Свадьба Лжедмитрия», смысл церемонии совершенно по-разному понимался московскими хозяевами и гостями из Речи Посполитой. Марина ехала в Москву после краковского обручения уже как царица (с католической точки зрения). Оставалось только коронацией в Кремле подтвердить свершившиеся изменения ее статуса. С православной же точки зрения она оставалась «всего лишь» польской шляхтенкой, дочерью сандомирского воеводы, которой, прежде чем претендовать на русскую корону, следовало сменить веру, имя и выйти замуж за царя Дмитрия Ивановича [112].

Помня об этом, можно правильнее оценить последовательность церемонии коронации, срежиссированную царем Дмитрием Ивановичем. Посмотрим сначала на то, что увидели члены свиты сандомирского воеводы Юрия Мнишка, оставившие свои документальные свидетельства об этом событии. Центральное место в их описаниях приобрел ритуал выноса царской короны, которую кропили святой водой и с молебнами торжественно доставляли в Успенский собор. У входа в собор коронационные регалии встречал патриарх и в сослужении с епископами провожал их в храм. Только полчаса спустя после этого в Успенский собор двинулась основная процессия. Ее возглавляли полторы сотни дворян «в парчовой одежде», затем шли четыре дворянина с бердышами и пятый – мечник (князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, прославившийся позднее защитой Москвы от сторонников следующего самозванца). Царь шествовал уже в короне, специально принесенной и возложенной на него. По правую руку царя Дмитрия Ивановича провожал посол Речи Посполитой Николай Олесницкий, с которым царь так яростно спорил накануне о своем императорском титуле. Слева царя вел глава Боярской думы князь Федор Иванович Мстиславский. Следом за ними шла «царица, одетая по-московски, в богатую одежду, украшенную жемчугами и драгоценными камнями по вишневому бархату». Марину Мнишек также вели под руки, справа – ее отец, сандомирский воевода, а слева – княгиня Прасковья Ивановна Мстиславская (ее имя называют разрядные записи). Замыкали процессию знатные гости из Речи Посполитой и «жены московских сенаторов». (Кстати говоря, следует пристальнее присмотреться к мифу о затворничестве московских женщин, немалое число которых, по

свидетельству членов свиты польских послов, при въезде в столицу Марины Мнишек встречало ее в толпе, да еще вместе с иностранками: тогда «мужчин было менее, но женщин – италианок, француженок, немок и московитянок, чрезвычайно много» [113].) Все главные участники коронационной церемонии шествовали по разостланной на дороге «парче на красном сукне». Царя Дмитрия Ивановича и Марину Мнишек сопровождали по сторонам восемь немецких алебардщиков, немного в отдалении присутствовала царская охрана, состоявшая из иноземцев («рцыри и дробанты» [114]). Таким образом, шествие дошло до церкви, где состоялся обряд коронации. Но ее мало кто из гостей мог увидеть. Предпочтение отдавалось знатным членам Государева двора да ближайшим друзьям сандомирского воеводы Юрия Мнишка. Сам отец невесты, еще не вполне оправившийся после болезни, не мог выдержать долгую православную службу и, немного побыв в храме, «быстро вышел».

Подробные сведения о коронации Марины Мнишек собрал Станислав Немоевский, тоже бывший в этот день на кремлевской площади и допущенный в Успенский собор среди немногих друзей сандомирского воеводы. Немоевский писал, что распорядители с русской стороны больше всего боялись, как бы не произошло осквернение храма. Особое подозрение вызывал посол Николай Олесницкий, гордо ходивший повсюду в своей «магерке с перьями». К нему как бы невзначай подошел «канцлер» Афанасий Власьев и предложил подержать посольскую шапку, после чего быстро передал ее слуге, чтобы магерку вынесли из церкви. На все просьбы посла вернуть шапку дьяк Афанасий Власьев отговаривался и отшучивался: «будет», «уже скоро будет», «однако в церкви теперь не студено», «солнце тебя также не освещает, и ты видишь, здесь никто на голове не имеет шапки». То, что это не была глупая игра, понимали и поляки: посольский дьяк пытался тем самым предотвратить возможные казусы, «чтобы посол не надел шапки на голову, с неуважением места, действия и особы великого князя». Случившееся, по словам Немоевского, очень повеселило москвичей; они говорили: «Надули мы литву».

Описание церемонии коронации Марины Мнишек было сделано Станиславом Немоевским в ссылке в Ростове, и это первое «надувательство», как и последующие пережитые потрясения, наложило свой отпечаток на его рассказ. Особенно ему не понравилась служба, которую он воспринял как «бормотание», запомнив, что из пения священников «по книгам» ничего «нельзя было понять, кроме одного “Господи, помилуй”, так как они повторяли это более ста раз» (сейчас чин такой

молитвы сохранился в старообрядческой церкви). «Когда они замолкли, – описывал Станислав Немоевский обряд возложения русской короны на Марину Мнишек, – двое старейших владык взяли корону, которая стояла перед алтарем на позолоченной миске, затем бармы, что на другой, и понесли на трон к патриарху, который, благословив и окадив корону, возложил ее на голову стоявшей великой княгини и, благословив ее самое, поцеловал в плечо. За сим, наклонивши голову, великая княгиня со своей стороны поцеловала его в жемчужную митру. Как скоро патриарх отошел на свое место, все владыки попарно поднимались на трон и благословляли великую княгиню, касаясь ее двумя пальцами – ее чела и плечей, крестом; взаимное же целование с владыками отбывалось тем же порядком, как с патриархом». Тем же порядком на «царицу» (которая в описании Немоевского корректно, с королевской точки зрения, называется «великой княгиней») возложили бармы. Царь Дмитрий Иванович слушал обедню стоя на своем царском месте у боковых дверей («сделанном, наподобие церковной кафедры»), а Марину Мнишек «с несколькими дамами провели в занавес, за алтарь». Дальше в дело снова вступил дьяк Афанасий Власьев, которому, видимо, поручили наблюдать за соотечественниками Марины Мнишек в Успенском соборе. Станислав Немоевский писал: «После этого подошел к нам, полякам, канцлер Афанасий с просьбой выйти наперед из церкви, говоря, что и государь уже имел выйти. Мы удовлетворили его требование; но государь задержался в церкви, а двери за нами заперли. Спрашиваем мы, что же там будут делать с нашей девицей? Но москвитяне нас утешают:

– Не бойтесь, ей ничего не будет!

Позже мы узнали, что государь приказал нам выйти затем, что устыдился брачной церемонии, которая, как передавали нам после наши дамы, что оставались при государыне, была такова: оба стали пред патриархом, который, благословив, дал им по кусочку хлеба, чтобы ели, потом чашечку вина; наперед пила государыня; что осталось, то, взяв от нее, выпил государь, а чашечку бросил о землю на сукно; но она не разбилась, и патриарх ее растоптал, и такими церемониями бракосочетание закончилось» [115].

Другие польские свидетели торжественной коронации, например автор «Дневника Марины Мнишек», говорили о миропомазании по греческому обряду. В рукописи Яна Велевицкого, основанной на свидетельствах духовных лиц из свиты Марины Мнишек, тоже содержится прямое указание на этот обряд: «Она была принята патриархом и духовенством московским, которое, встав в ряды, ожидали ее внутри храма.

Потом она была помазана и коронована по обряду церкви греческой и после одного или двух часов отвезена обратно во дворец с той же пышностью» [116].

Все, что видели гости из Речи Посполитой, не противоречит «Чину» свадьбы царя Дмитрия Ивановича с «государынею» Марией Юрьевной. Только в нем предусмотрена еще одна часть церемониала – «обрученье», предшествовавшее венчанию на царство и свадьбе. Если сопоставить свадебный «Чин» с польскими известиями, то получится, что они описывают то, что произошло после обручения, совершившегося в «столовой избе», где рождественский протопоп говорил «молитвы обручалные по чину». Именно туда Марина Мнишек шла в сопровождении отца и княжны Мстиславской, именно там было предписано «быть у обручанья одному воеводе сендомирскому, да тем, которые в поезду». Все остальные главные свидетели обряда, включая «воеводиных приятелей и литовских послов», должны были дожидаться в этот момент «государева выхода в Золотой палате».

После обручения царь Дмитрий Иванович и царица Мария Юрьевна шли в Грановитую палату, где их встречал тысяцкий (одно из главных действующих лиц в свадебном обряде) боярин князь Василий Иванович Шуйский. Будущий царь, всего через девять дней возглавивший кровавый переворот в Москве, говорил речь, обращаясь к Марине Мнишек в таких выражениях: «А наяснейшая и великая государыня цесарева и великая княгиня Марья Юрьевна всеа Русии!» Он подтверждал, что «обручанье ваше цесарское ныне свершилось», и приглашал царицу к венчанию на царство, точнее на русский престол, ставший по желанию царя Дмитрия Ивановича не просто царским, а императорским. «И вам бы, наяснейшей и великой государыне нашей, – говорил тысяцкий, – по Божьей милости, и по изволенью великого государя нашего его цесарского величества, вступите на свой царский маестат [117], и быти с ним великим государем на своих преславных государствах». Только после этого «цесарь» и «цесаревна», сев на свои царские места, принимали в Грановитой палате послов Речи Посполитой Николая Олесницкого и Александра Госевского, а также родственников и друзей сандомирского воеводы Юрия Мнишка по поданному им списку.

Из Грановитой палаты все должны были прошествовать в Успенский собор, где состоялось венчание Марины Мнишек на царство: «цесарь» Дмитрий Иванович и «цесарева» Мария Юрьевна «пойдут в соборную церковь по ряду; а вести государя под правую руку воеводе сендомирскому, а государыню вести под левую руку Мстиславской княгине» [118]. Это именно та часть церемонии, которую могла видеть вся свита сандомирского

воеводы Юрия Мнишка (проход царя и царицы к Успенскому собору изображен также на упомянутой картине из Государственного исторического музея). Только в «Чин» были внесены на ходу изменения, и воевода Юрий Мнишек уступил честь вести по правую руку царя в Успенский собор послу Речи Посполитой Николаю Олесницкому.

Один из православных иерархов, архиепископ Арсений Елассонский, находившийся тогда в Москве и участвовавший в коронации царицы Марины Мнишек (он называет ее Марией), оставил описание всего торжества, в том числе того, что происходило внутри Успенского собора. Его известие содержит очень подробное описание и создает эффект «присутствия» на этой церемонии, поэтому лучше привести его целиком, не делая никаких купюр:

«Когда наступило 8 мая, то, с великим чином, торжественностию и честию соединившись, царь Дмитрий с Мариею вышли из дворца в сопровождении всех бояр, синклита, мужчин и женщин, со славою и торжественностию великою. Весь пол дворца и путь, ведущий в соборный храм Пречистой Богородицы, и весь пол соборной церкви были устланы бархатною парчою, затканною золотом. При входе в церковь их встретил патриарх с архиереями и благословил их честным и святым крестом. Певцы пропели ей царское многолетие. Патриарх, взявши обоих, в сопровождении архиереев вошел на приготовленное высокое место посредине церкви, все покрытое и украшенное бархатною с золотом парчою. Вверху на этом высоком месте стояли три сребровызолоченные скамеечки с драгоценными подушками для патриарха, для царя и невесты [его] Марии. Они сели на эти скамеечки, а архиереи сели на ступеньках возвышенного места на золототканые подушки. Пред Царскими дверями, на приготовленном хорошо убранном столике лежали царские одежды царицы. Патриарх, царь и все архиереи, сидящие с ними, встали, патриарх сказал: “Благословен Бог наш”. Во время чтения молитв патриархом и архиереями, по чину, два архиерея принесли царские одежды, каждый по одной, по чину. Патриарх, принявши их, благословил их и возложил на царицу Марию, при помощи архиереев. Царь, будучи наперед коронован царскими одеждами, стоял [на своем месте]. По возложении на царицу всех одежд, когда патриарх прочитал молитвы, певцы пропели “ Agios” [119] и многолетие. По возложении одежд и по прочтении молитв царь и царица, оба облаченные в царские одежды, сошли вниз и, в предшествии патриарха, вошли на высочайший царский трон, оставаясь для выслушания божественной литургии. Патриарх начал божественную литургию

и по окончанию ее певцы пропели царское многолетие по чину. После божественной литургии благовещенский протопоп Феодор повенчал их посредине церкви пред святыми вратами. И после венчания своего оба они не пожелали причаститься Святых Таин. Это сильно опечалило всех, не только патриарха и архиереев, но и всех видевших и слышавших. Итак, это была первая и великая печаль, и начало скандала, и причина многих бед для всего народа московского и всей Руси» [120].

То, что произошло в храме, московские ортодоксы никогда не могли простить царю Дмитрию Ивановичу. Позднее, когда стало известно о его тайном католичестве, все случившееся было воспринято как осквернение святынь. По «Чину» царица Мария Юрьевна должна была прикладываться к иконе Владимирской Божьей Матери, образам митрополитов Петра и Ионы. Составители «Чина» предусмотрели даже такую деталь, как помощь «цесареве», отличавшейся маленьким ростом, в более удобном подходе к иконам: «А у образов и у чудотворцов, где государыне прикладыватца, приступцы зделати колодочки, смотря по местом». Ключевым моментом должно было стать получение царицей причастия из рук московского патриарха Игнатия: «А архидиакон и протодиакон зовут государыню цесареву на помазание и к причастию, и государыня пойдет к причастию, а государь пойдет с нею ж. И после совершения обедни, тутож перед царскими дверми быти венчанью». Но от миропомазания, как свидетельствовал архиепископ Арсений Елассонский, Лжедмитрий I и Марина Мнишек отказались, согласившись исполнить только обычный русский свадебный обряд.

Вот где должны были выйти наружу глубоко спрятанные конфессиональные разногласия по поводу принятия католички Марины Мнишек в православие. То, что являлось необходимым условием коронации с точки зрения иерархов русской церкви, – было невыполнимо из-за прямого запрета римского папы, отказавшего Марине Мнишек даже в компромиссе. Она, как уже говорилось, была обязана оставаться в католической вере и не принимать причастие от православного патриарха. Между тем сам Лжедмитрий I, венчавшийся в 1605 году на царство через обряд миропомазания во время литургии, вряд ли что-нибудь мог изменить в этом «Чине». Ничто другое, с точки зрения хранителей чистоты традиции – иерархов церкви во главе с патриархом греком Игнатием (при всей лояльности самозванцу и его самого, и всего Освященного собора), – не позволяло полностью воплотить идею Божественного освящения происходящего – только через обряд миропомазания на царство. Б. А. Успенский

считает, что значение этого обряда еще больше усиливалось тем, что, в отличие от западной и даже византийской традиции, он по существу совпадал с чином крещения [121]. Участники церемонии решили успокоить свидетелей свадьбы царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек уподоблением венчания древним образцам, но ничего не смогли сделать с ключевым пунктом причастия, который должен был символизировать в глазах окружающих переход царицы в православие. Не случайно поэтому из храма перед завершением коронации заранее решили удалить гостей. Так легче было убедить сомневающихся, что все свершилось как надо. Не случайно и то, что даже в свите Марины Мнишек были уверены, что коронация прошла по греческому обряду. И только прекрасно разбиравшиеся в литургических тонкостях иерархи православной церкви поняли, что могло стоять за отказом от причастия. Поняли – но не осудили царя, хотя и не смогли скрыть своей тревоги уже тогда в Успенском соборе. Впрочем, запоздалые признания обоих будущих русских патриархов – казанского митрополита Гермогена и ростовского митрополита Филарета, – последовавшие уже за свержением самозваного царя, стоили недорого: слишком много в них оказалось желания убедить современников в своей правоте и слишком мало – правды.

Итак, коронационный обряд, который должен был сопровождаться миропомазанием, окончательно запутал смысл торжеств для «московской стороны». Даже присутствовавшим, не говоря об историках, осталось неясным, приняли ли все-таки царь Дмитрий Иванович и Марина Мнишек причастие из рук московского патриарха. Подданные царя Дмитрия Ивановича могли считать, что произошло присоединение к православию их царицы, но такой вывод они делали, глядя на русское платье и коронационные регалии Марины Мнишек. В литургические же детали оказались посвящены немногие, причем некоторые из присутствовавших на коронации архиереев свидетельствовали, что миропомазание состоялось, другие говорили об обратном.

Всего несколько дней спустя мать «царя» Дмитрия Ивановича, так радовавшаяся приезду своей «сыновы», поставит Марине Мнишек в вину не то, что она отказалась от миропомазания, а то, что следовала православным обрядам без предварительного крещения. В окружной грамоте от имени инокини Марфы Нагой об избрании нового царя Василия Ивановича Шуйского так говорилось о Лжедмитрии: «Взял девку из Польши латынские веры и не крестил ее, венчался с нею в соборной церкви Пречистыя Богородицы, и помазал ее миром, и венчал се царским венцом, и учинити хотел в Российском государстве люторскую и

латынскую веру…» Еще подробнее об осквернении кремлевского Успенского собора «Ростригой» Гришкой Отрепьевым писал в богомольной грамоте новый московский патриарх Гермоген в ноябре 1606 года: «Многих вер еретиков аки в простый храм введе и безо всякого пристрашия, не усумнясь нимало, великое зло учинил, к чудотворному образу Пречистыя Богородицы, еже Евагелист Лука Духом Святым наставляем написа, и ко всем честным образом и к чудотворцовым Петровым и Иониным мощем приводя велел прикладыватися скверной своей люторския веры невесте, с нею же в той же великой церкве и венчася, все злое свое желание получил». Такие же обвинения о вводе «Ростригой» в церковь «некрещеных латын» содержатся в «Новом летописце». И все источники говорят о «венчании» царя с Мариной Мнишек (обвинения ее в лютеранстве ни на чем, кроме желания посильнее оскорбить дочь сандомирского воеводы, не основаны) [122].

Юрий Мнишек. Гравюра Л. Катана.

Ядвига Мнишек. Неизвестный художник. Конец XVI в.

Латки Мурованны. Каменная плита 1556 года с гербом Топор.

София Головчинская (княгиня Сангушко).

Костел Святой Барбары иезуитов в Кракове. Современный вид Фото автора.

Краков. Вид города. Окою 1600 г.

Сигизмунд III Ваза. П. П. Рубенс. После 1624 г.

Королевич Владислав Около 1601 г.

Королева Констанция Австрийская. Около 1598 г.

Вавельский замок. Современный вид.

Лжедмитрий I . Копия с портрета неизвестного художника. 1605 г.

Подпись и печать на ассекурации царевича Дмитрия воеводе Юрию Мнишку. 25 мая 1604 г.

Канцлер Ян Замойский.

Николай Кристоф Радзивиил Сиротка, воевода Троцкий и Виленский.

Въезд в Краков Констанции Австрийской. И. Геохард «Стокгольмский свиток». Фрагмент. 1605 1006 гг.

Русское посольство по главе с Афанасием Власьевым во время въезда в Краков Констанции Австрийской. Фрагмент «Стокгольмского свитка».

Думный дьяк Афанасий Власьев Польская гравюра 1606 г.

Венчание per procura Мирины Мнишек в Кракове. Картина из Вишневецкого замка.

Подпись Марины Мнишек в книге почетных гостей Краковской академии: «Марина, царица московская, рукою властной» (ныне почти стерта). Библиотека Ягеллонского университета в Кракове.

Дом, где происходила церемония венчания Марины Мнишек в Кракове (площадь Главного рынка, 9). Современный вид. Фото автора.

Бернард Мацеевский епископ Краковский.

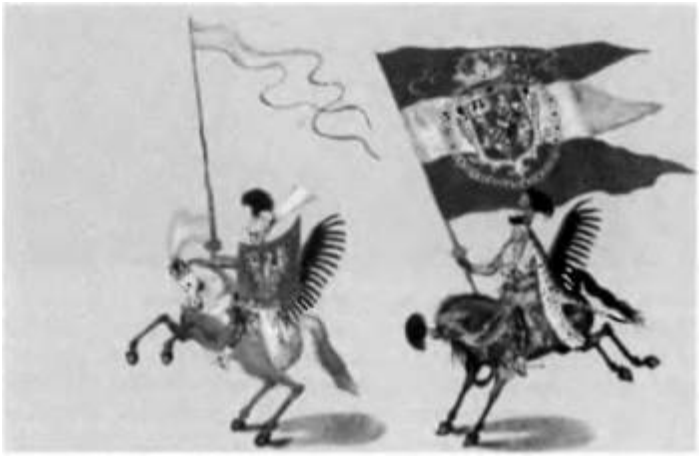
Свадебная медаль Лжедмитрия I, выпущенная к церемонии венчания в Кракове. 1605 г.

Зал Сигизмунда III в Вавельском замке.

Лжедмитрий I. Портрет из Вишневецкого замка.

Польская пехота. Фрагмент из Стокгольмского свитка»

Марина Мнишек Портрет из Вишневецком замка.



Польские гусары. Фрагмент «Стокгольмского свитка».

Богоматерь Песочная. Икона, написанная на внешней стене костела кармелитов в Кракове. Около 1500 г.

Состоявшийся в Москве повторный обмен перстнями утверждал брак, заключенный в Кракове и ставил точку в затянувшейся истории брачных торжеств с участием Марины Мнишек. Последнюю часть коронационной церемонии царицы Марии Юрьевны постарались сделать как можно более домашней. Свидетелями венчания оказались лишь немногие родственники – Нагие и приближенные бояре. «Народ в те поры ис церкви выслати», – говорилось в «Чине» брачного обряда. Все случилось,

как обычно бывало на царских свадьбах. Обряд совершал протопоп Федор, «коруны на блюде» держали конюший Михаил Федорович Нагой и сваха – жена Андрея Александровича Нагого. Молодых причащали церковным вином, осыпали из «мисы» золотыми. Царь и царица Мария Юрьевна вместе вышли из Успенского собора. Как заметил находившийся там капитан Жак Маржерет, «при выходе из церкви ее вел за руку император Дмитрий, и под левую руку ее вел Василий Шуйский» [123]. Именно так, в сопровождении царя Дмитрия Ивановича, только что ставшего ее мужем, и пока что боярина, а не царя, Василия Шуйского, одновременно ее будущего спасителя и тюремщика, Марина Мнишек появилась на ступенях Успенского собора.

Отсюда, согласно «Чину» брачного обряда, отпустили послов Николая Олесницкого и Александра Госевского. Основные торжества и «большой стол» были перенесены на следующий день в Грановитую палату. Это подтверждает Жак Маржерет, писавший, что в первый день «на пиршестве присутствовали только русские». Станислав Немоевский более точен, говоря, что «вплоть до своих комнат шли в коронах великий князь и княгиня, в сопровождении всех нас, кроме господ послов его величества короля, которые, проводивши до церкви, сейчас же отъехали в свое помещение». В столовой избе, где с обручения начинались свадебные церемонии, они и завершались в присутствии избранного круга, состоявшего из царского тестя, его приятеля и «бояр немногих». Царь Дмитрий Иванович и царица Мария Юрьевна сидели за этим столом совсем немного, «до третьей ествы». Даже «мусики» и танцев, любимых обоими, не было. Далее, как писал Станислав Немоевский, «обед высокие молодые имели privatim у себя в комнате, даже и в спальню, кроме некоторых дам из родни, которые провожали молодую, никто не входил» [124].

День 8 мая окончился проводами свадебного поезда в «постельные хоромы». Царя сопровождали лишь сандомирский воевода Юрий Мнишек и тысяцкий. Между тем тысяцким, напомним, был не кто иной, как боярин князь Василий Иванович Шуйский. Так все главные участники будущей исторической драмы собрались вместе на короткий момент у входа в царские покои. «Радость», как называли свадьбу в русских источниках, свершилась.

Глава третья Московская катастрофа

Торжества по случаю свадьбы царя Дмитрия Ивановича и царицы Марии Юрьевны продолжались больше недели. О напряжении, которое нарастало в Москве с 9 по 17 мая, то есть в те самые дни, когда большинство приехавших вместе с «царицей» и сандомирским воеводой Юрием Мнишком поляков весело пировали, свидетельствуют многочисленные источники. Признаки измены видели все – все, кроме самого самозванца, всецело занятого торжествами и не желавшего показывать польским сторонникам слабость своего царствования.

Московское веселье было для него таким же триумфом, как для Марины Мнишек – краковская помолвка. Вот только оба они не могли различить ясно, где кончалось торжество и начиналось лицемерие со стороны веселящихся вместе с ними подданных. За неполный год, проведенный на троне, царь Дмитрий Иванович много потрудился над тем, чтобы утвердить новую модель московского государя, готового встать в один ряд с европейскими королями и императорами. И дело здесь было не только в создании христианской лиги против Турецкой империи (давняя идея, в погоне за которой уже разбились честолюбивые замыслы самого Ивана Грозного). И даже – не в титуле «императора», присвоенном им не без оглядки на мнимого «батюшку» – царя Ивана. Самозванец покусился на большее – он хотел переделать тех, кем управлял. Сделать то, чего никогда не прощают современники и почти всегда оправдывают историки. По словам французского капитана Маржерета, близко видевшего внутреннюю жизнь кремлевского дворца в годы правления царя Дмитрия Ивановича, царь давал своим подданным «понемногу распробовать, что такое свободная страна, управляемая милосердным государем». Самым ярким показателем новых веяний стали его отношения с боярами: «Он вел себя иногда слишком запросто с вельможами, которые воспитаны и взращены в таком унижении и страхе, что без приказания почти не смеют говорить в присутствии своего государя; впрочем, сказанный император умел иначе являть величие и достоинство, присущее такому, как он, государю, к тому же он был мудр, достаточно образован, чтоб быть учителем для всей Думы» [125].

Так оценивал первого русского «императора» современник-иноземец. Но так ли оценивали его соотечественники?

…На следующий день после коронации царицы «Марии Юрьевны», 9 мая, в праздник «Николы вешнего», в Кремле с рассвета снова заиграли барабаны и трубы. «Эти свадебные дни

были проведены в роскоши и веселье, в пирах и трапезах, с пением и плясками, – писал современник событий немец Конрад Буссов, автор «Московской хроники». – Тут были не только всякие музыкальные инструменты, какие только можно придумать, но также и самый прекрасный хор из 32 голосов, какого только может пожелать властитель. Димитрий выписал его из Польши» [126].

Однако свадебные торжества в такой великий церковный праздник многими были восприняты как кощунство. «В этот день ни за что на свете нельзя было играть свадьбу», – передавал мнение москвичей голландец Исаак Масса[127]. О том, что смущало жителей столицы, можно судить по исторической песне «Григорий Отрепьев»:

> Его свадьба была не в указной день: Его свадьба была не в указной день:
> Да на вешний праздник Миколин день
> Да бояра-ты пошли ко заутрени,
> Да Гришка с Маришкой в баину пошол;
> Да бояра-ты идут от заутрени,
> Да и Гришка с Маришкой из баины иде … [128]

В этот день царь Дмитрий Иванович принимал своего тестя и его друзей. Ссора с послом Николаем Олесницким, начавшаяся с прения о титулах накануне свадебных торжеств, продолжилась и на следующий день. На этот раз представитель Речи Посполитой потребовал себе такого же положения за царским столом, какое было у посла Афанасия Власьева во время обручения Марины Мнишек в Кракове. Тогда король Сигизмунд III, присутствовавший в качестве гостя в доме сандомирского воеводы Юрия Мнишка, пригласил за свой стол московского посла. Николай Олесницкий, исполнявший не последнюю роль в краковском обряде обручения и хорошо помнивший его детали, требовал теперь, чтобы его посадили за царский стол в Столовой палате в Кремле. О том же накануне просил и сандомирский воевода Юрий Мнишек. Однако его уговоры не помогли, и царь остался непреклонен. Тогда не только посол, посчитавший, что тем самым выказана неблагодарность по отношению к королю, но и сандомирский воевода отказались принимать участие в праздничном обеде. Все, на что согласился Юрий Мнишек, так это проводить царя Дмитрия Ивановича и свою дочь царицу Марию Юрьевну до дверей Столовой палаты. И это в первый день замужества дочери!

Между тем царь сменил свой русский костюм на любимый

гусарский. Также и царица, по свидетельству Конрада Буссова, вернула себе привилегию носить польское платье: «На следующий день, 9 мая, Димитрий приказал принести своей царице новые польские платья с просьбой, чтобы она надела и носила их из уважения к нему, поскольку вчера был день русских вельмож и он хотел угодить всей стране, а сегодняшний и последующие дни будут принадлежать ему. Он будет царствовать и поступать, как ему будет угодно, а не так, как хотят его московиты. С того дня царица одевалась по-польски» [129].

С первого же дня царствования Марины Мнишек ее супруг делал все, чтобы угодить ей. А в это время ее интересы были принесены в жертву политическим расчетам. И кем? Ее родным отцом и послом, представлявшим милую родину! Не случайно автор «Дневника Марины Мнишек», присутствовавший на обеде 9 мая, записал, что на нем «не было никаких выдумок» [130]. Это и понятно. Вся фантазия царя Дмитрия Ивановича была направлена теперь на то, чтобы вернуть посла Николая Олесницкого, не доводя дело до разрыва. Марина, видимо, мало чем могла ему помочь в этом. Атмосфера, не подобающая свадьбе, не укрылась от глаз наблюдателей. Исаак Масса записывал: «Все шло на ней так скучно и угрюмо, что можно было диву даться» [131].

За обедом царь и царица сидели каждый на своем троне (у царицы Марии Юрьевны он был чуть поменьше). Рядом с Дмитрием находились рынды и мечник, царица сидела в окружении жены хорунжего Сигизмунда Тарло (родственника ее матери) и «одной московской княгини». В «Дневнике Марины Мнишек» она названа «княженкой Коширской». Долгое время считалось, что это искажение текста, ибо такого княжеского рода в России не было. Но, оказывается, речь шла о племяннице Марины Мнишек – княжне Анне Сангушко из литовского рода князей Коширских; она приехала в Москву со своим отчимом Станиславом Мнишком. «Царевич» Дмитрий был знаком в Речи Посполитой с ее матерью княжной Софией Головчинской (по первому мужу – Сангушко), умершей в год его вступления на престол. И теперь этой девочке оказывались те почести, которые должна была иметь ее мать, как жена царского шурина [132]. На обеде присутствовали члены Боярской думы («сенаторы московские»), другие царские слуги, а также родственники и друзья сандомирского воеводы, но, увы, не сам отец царицы. И хотя была приготовлена богатая золотая утварь, чтобы служить гостям за столами, хотя царь принял во дворце «панов приближенных», чтобы наслаждаться вместе с ними музыкой, «но не радостным было то веселье в пятницу» [133]. Воевода Юрий Мнишек сделал попытку к примирению, придя к царю Дмитрию

Ивановичу в покои по окончании обеда, но царская обида не прошла.

Зато остальные участники свадебных торжеств, приехавшие из Речи Посполитой, пировали в этот день вовсю, и даже слишком. Позднее Конрад Буссов справедливо определит причины сгущавшегося в столице недовольства «царем»: «Поляки на радостях так перепились, что при разъезде, направляясь на свои квартиры, сильно бесчинствовали. Они порубили и поранили саблями московитов, встретившихся им на улице. Жен знатных князей и бояр они повытаскивали насильно из карет и вдоволь поиздевались над ними, что русские молча запоминали, думая свою думу» [134].

10 (20) мая царица Мария Юрьевна принимала духовенство во главе с патриархом Игнатием. Ей подарили щедрые подарки: «рысьи меха, соболей, бокалы, парчу». Вскоре многие из церковных иерархов будут анафемствовать «Ростригу», посадившего на царство не крещенную в православие девку «люторские веры», и забудут, как сами приветствовали свою «императрицу».

Впрочем, иноземное платье Марины Мнишек и тогда сильно не понравилось им. «В следующее воскресение (по другим свидетельствам, в субботу. – **В. К.)** патриарх, архиереи, архимандриты и игумены и мы, – писал архиепископ Арсений Елассонский, – пошли во дворец с многочисленными подарками царю и царице, состоящими из сребровызолоченных икон, бархатов золототканых, сребровызолоченных кубков, рытых бархатов и соболей. Мы пришли во дворец, когда там уже ожидали весьма многие знатные бояре и другие лица, пришедшие со многими дарами и желающие преподнести их царю и царице. Вошедши в золотую палату вслед за архиереями, патриарх сначала благословил царя и царицу, сидящих на царских богатых тронах, и сел справа близ царя на малом троне, хорошо убранном. Поднявшись, патриарх поднес царю все подарки, предварительно и потом благословивши его; равным образом он поднес подарки и царице, благословив ее. Точно также благословили царя и царицу все архиереи и вручили подарки, а архимандриты и игумены поднесли дары царю и царице, поклонившись. Итак, не показалось приятным патриарху, архиереям, боярам и всему народу, видевшим царицу, одетую в неизвестную и иноземную одежду, имеющую на себе польское платье, а не русское, как это было принято в царском чине и как это делали цари прежде него. Все это весьма сильно [всех] опечалило. Это послужило причиною и поводом ко многим бедствиям, к погибели царя и всего народа обеих

национальностей, русских и поляков» [135].

Тем временем царь Дмитрий Иванович решил продемонстрировать, что пользуется поддержкой польского жолнерства. Как рядовые русские казаки безоглядно поддерживали любые начинания царя, так и польские жолнеры, особенно когда им пообещали заплатить по 100 злотых каждому и провозгласили здравицы в их честь за царским столом, все встали горой за московского императора. Царь распорядился готовить для всех на царской кухне польские блюда. Но теперь уже каждое «лыко» попадало «в строку» зревшего в Москве недовольства. «В субботу 10 мая, на третий день свадьбы, – писал Конрад Буссов, – царь приказал приготовить в кухне все по-польски и среди других кушаний – вареную и жареную телятину. Когда русские повара увидели это и рассказали всем, в царе стали сильно сомневаться, и русские стали говорить, что он, верно, поляк, а не московит, ибо телятина считается у них нечистой, и ее не едят. Они это молча стерпели, выжидая удобного случая» [136].

Уступая уговорам сандомирского воеводы, царь все же назначил прием послов на 11 (21) мая. Второй же день после свадьбы царь и царица завершали снова без своих главных гостей. Царь Дмитрий Иванович был в московском костюме, а царица Мария Юрьевна – снова в привычном ей польском платье. В этот день царице продемонстрировали лапландцев (они еще не покинули столицу), и те подарили ей «рысьи меха и выделанные шкуры белых песцов».

До королевских подарков царю и царице, привезенных польскими послами, дело дошло только на третий день после свадьбы, в воскресенье 11 (21) мая. Это были «33 штуки особенных бокалов, разнообразных и очень искусной работы, и очень дорогая цепь». Если попытаться прочесть символический подтекст подарков, то, возможно, в них можно увидеть напоминание об обещаниях «царевича» Дмитрия в Речи Посполитой, где он уже получал в подарок дорогую цепь во время аудиенции у короля Сигизмунда III. Компромисс, найденный для приема послов, заключался в том, что рядом со столом царя поставили «столик», за которым посадили посла Николая Олесницкого и воеводу Юрия Мнишка. Царь и царица в этот день были «в польских одеждах», но с коронами на головах. Все это подчеркивало официальный характер приема и не способствовало свободному веселью, начавшемуся только в следующие дни 12 (22) – 14 (24) мая.

12 (22) мая «танцевали до утра». Чтобы еще больше порадовать царицу, скучавшую по польской кухне с самого

приезда в столицу, снова разрешили готовить блюд а для царского стола царицыным кухмистрам, а прислуживать «дворянам царицы и чашничим». Внимательно наблюдавшие за всем происходящим московские жители успели к этому времени еще более утвердиться в своих подозрениях по поводу царя Дмитрия Ивановича, вспомнив другие обычаи, которые он нарушал во время свадебных торжеств. Конрад Буссов писал об этом: «12 мая в народе стали открыто говорить, что царь – поганый, он не ходит больше в церковь так часто, как раньше, живет, во всем придерживаясь чужеземных церемоний и обычаев, жрет нечистую пищу, в церковь ходит не помывшись, не кладет поклонов перед святым Николаем, и хотя с первого дня свадьбы до сегодняшнего дня каждое утро приготовляется баня, он со своей языческой царицей еще не мылся. Должно быть, он не московит, et per consequens non verus Demetrius [137]».

13 (23) мая опять принимали посла Николая Олесницкого, на этот раз посадив его без всяких уступок за отдельный стол. Послу дальше не перед кем было отстаивать свои принципы, потому что обед носил домашний характер, для своих. Из московских приближенных царя Дмитрия Ивановича присутствовали только думный дьяк Афанасий Власьев и князь Василий Мосальский. Царь снова переоделся в гусарский костюм. Наверное, для него это был самый веселый день за все время, прошедшее с момента свадьбы. Он танцевал и с царицей, и с тестем. Марина Мнишек, кроме отдельного танца с отцом, «служила» вместе с бывшей при ней неотступно «княжной Коширской», когда царь Дмитрий Иванович танцевал с воеводою Юрием Мнишком. Автор «Дневника Марины Мнишек» описал, как веселились родственники и приближенные Мнишков, приглашенные на этот обед: «Церемонии такие в танце были: все паны, желавшие служить в танцах при царице, сначала целовали руку царю, потом шли своим порядком, сняв шапки, пан воевода с паном послом располагались в самом конце, тут же перед царем. Когда танцевали одни паны приближенные, они все снимали шапки, кроме посла, который снимал ее, только проходя мимо царя. Когда пан воевода танцевал с дочерью, он вел ее слева». Наконец-то, за все время прошедшее после коронации, Марина Мнишек увидела в Москве что-то, отдаленно напоминавшее краковский праздник.

12 (24) мая, в среду (постный день!), царица Мария Юрьевна «угощала всех панов московских в своих палатах». Повсюду уже были видны приметы нараставшего недовольства и готовившегося бунта против поляков. Однако царю Дмитрию Ивановичу, увлеченному только-только разгоравшимся весельем, нельзя было

даже и сказать об этом. Смельчаков, решавшихся доносить о том, что они видели некие «сборища», грозившие «изменой», наказывали, чтобы другим неповадно было портить государю радостное расположение духа. Все же жолнеры на свой страх и риск усилили охрану и, вооружившись, оставались «в полной готовности».

В этой ситуации достаточно было малейшей искры, чтобы вспыхнул мятеж. Приехавшие в Московское государство гости из Речи Посполитой не особенно считались с москвичами, ставшими подданными их соотечественницы. Дух наживы и кутежа одурманивал. Наиболее совестливые отдавали себе отчет в этом: «Что говорить, так Господь Бог захотел совершить и наказать нас за наши беззакония, ибо мы Его уже едва не забыли, стремясь к роскоши» [138].

Москва была наполнена слухами о вызывающем поведении гостей, о насилиях, творимых польскими и литовскими людьми. Автор «Дневника Марины Мнишек» упомянул об одной неприглядной истории, случившейся 15 (25) мая: «Учинили беспорядки, возведя поклеп на одного из поляков, якобы он изнасиловал боярскую дочь, о чем была на следующий день жалоба царю и расследование, на котором совсем этого не обнаружилось». Составитель разрядных книг (своеобразной летописи повседневных событий Государева двора) подтверждает, однако, это обвинение. Скрупулезно перечисляя преступления свергнутого царя Дмитрия и его гостей из Речи Посполитой, он пишет: «А литва и поляки в Московском государстве учали насилство делать: у торговых людей жен и дочерей имать силно, и по ночем ходить с саблями и людей побивать, и у храмов вере крестьянской и образом поругатца» [139].

Той же ночью 15 (25) мая, говорится в «Дневнике Марины Мнишек», поляки, боявшиеся бунта и заговоров, поймали «шесть шпионов, которые пришли в крепость на разведку». Участь этих людей была плачевна: «трех убили, а трех замучали». И это только те, о ком было известно автору «Дневника». Полякам и литовцам в Москве приходилось думать уже не о продолжении праздника, а об усилении охраны. Сандомирский воевода Юрий Мнишек попытался повлиять на царя. 16 (26) мая он пришел с докладом к Дмитрию, но тот все еще пребывал в эйфории. Его хваленая проницательность и умение опережать события куда-то подевались. Царь, уверенный, что по-прежнему все будет сделано по одному его желанию, посмеялся над страхами своего тестя, «удивляясь и говоря, что поляки весьма малодушны». Но, может быть, здесь было и другое – нежелание признаться самому себе, что наступает расплата за ошибку, что он переоценил степень

терпимости жителей Москвы по отношению к новой царице Марии Юрьевне. Во всяком случае, верному Петру Басманову был отдан приказ усилить охрану поляков и литовцев.

Но царь опоздал со своими распоряжениями. Его опередил глава заговора, боярин князь Василий Иванович Шуйский. Решающим оказалось то обстоятельство, что все городские ворота Москвы оказались в руках заговорщиков. В столицу впустили стоявшее неподалеку от Москвы войско, собиравшееся в это время для похода в Крым. Тем самым мятежные бояре получили решающее преимущество над охраной царя Дмитрия Ивановича. Позднее автор «Дневника Марины Мнишек» вспомнит поговорку, вполне подходящую для этого случая: «Однако ж верно говорят, что если кого Господь Бог хочет наказать, сперва у него разум отнимает» [140].

17 (27) мая, в субботу, произошло то, что польские источники называли «злосчастным мятежом», а русские летописи – «убиением Ростригиным» (в последних, кстати, приводятся неточные даты: 14 мая в «Новом летописце» и 15 мая в разрядных книгах). Сказка обернулась для Марины Мнишек жестоким столкновением с действительностью. До сих пор события сами вели ее, и все, что ей оставалось, – это подчиняться ритуалам, в которых ей было отведено почетное первое место. Она только-только начала осваиваться в роли царицы, а жизнь самым варварским образом показала ей, что не терпит отношения к себе как к декорациям для чьей-то пьесы.

Ранним утром 17 (27) мая со всех сторон к Кремлю повалили люди с криками: «В город! В город! Горит город!» О пожаре кричали специально, чтобы не насторожить противника. «Немецкая» и стрелецкая охрана царя Дмитрия Ивановича была сметена, а сам он застигнут врасплох в своих дворцовых покоях. Капитан Жак Маржерет, возглавлявший «немецкую» охрану, записал, что сначала «был убит в галерее против покоев императора» его «секретарь» Петр Федорович Басманов и «несколько стрелков из телохранителей». Первый удар нанес Михаил Татищев (по грустной иронии судьбы, как свидетельствовал Жак Маржерет, именно Петр Басманов незадолго до событий «испросил свободу» своему будущему убийце). Ведомые Михаилом Татищевым люди ворвались в царскую комнату. Царь Дмитрий Иванович использовал последнее средство, чтобы спастись, и выпрыгнул под натиском нападавших в окно («выкинеся ис полаты», как записал автор «Нового летописца»). Дальше версии произошедшего разнятся. По одной, царь был сразу же убит («Выпадал из окошка о середу, / О середу кирпичную убился и до смерти», – говорится в

исторической песне про Григория Отрепьева); по другой, его сначала взяли под охрану оставшиеся верными стрельцы, чтобы еще раз отвести к царице-матери в Вознесенский монастырь. Та будто бы отказалась от своего лжесына («ныне знаю ево окаянново; называла есмь его сыном себе страха ради смертново» [141]) и тем самым подписала ему смертный приговор.

Все в этих рассказах запутано донельзя. Слишком много было участников случившегося в кремлевских хоромах мятежа, а следовательно, и слишком много рассказчиков. Но есть детали, совпадающие в различных версиях. Одна из них имеет принципиальное значение. По разным свидетельствам, пойманного самозванца убили не сразу, а решили еще раз расспросить, и ему едва не удалось снова привлечь на свою сторону стрелецкую охрану. Именно так описывает убийство Дмитрия автор «Нового летописца»; о том же, что еще более важно, свидетельствует официальный отчет послов Речи Посполитой Николая Олесницкого и Александра Госевского. Источник этот, давно известный в отечественной историографии из публикации на польском языке в «Актах» Н. И. Тургенева, активно использовался историками, тем более что именно там названо и имя убийцы самозванца – Григорий Валуев (его фамилия передана с искажениями, но узнаваемо – Wolniov) [142]. Новейшая публикация отчета польских послов, а также текст этого документа, попавший в руки к рокошанам – противникам короля Сигизмунда III, сообщает еще несколько важных подробностей (здесь, кстати, имя убийцы названо более точно: Gregory Wolniew). Валуев решил все одним выстрелом из рушницы (ручной пищали), вынутой им из-под армяка. К «старой царице» Марфе пришли уже потом, когда все дело свершилось, и она ответила, что «спрашивать ее надо было, пока он был жив, а теперь, когда его убили, он уже не мой сын» [143]. Двусмысленный, надо сказать, ответ, оставляющий простор для фантазии как тем, кто был убежден, что Дмитрий Иванович – настоящий царь, так и тем, кто видел в нем только Григория Отрепьева…

Марине Мнишек повезло. Ее еще не успели как следует запомнить, да она к тому же слишком рано попалась на пути ворвавшихся в Кремль заговорщиков, целью которых был самозваный царь Дмитрий Иванович, и на нее не обратили внимания. Предпочтение в рассказе о том, что произошло с «царицей», нужно отдать автору «Дневника Марины Мнишек», знавшему все из первых уст. В ранний час в дворцовых покоях метались простоволосые женщины в наспех надетых поверх рубашек юбках. Ни сама Марина Мнишек, ни ее фрейлины не

имели времени на то, чтобы одеться как следует. Дурная весть об убийстве царя Дмитрия Ивановича быстро разнеслась по дворцу, вызвав панику. Из верхних покоев дворца Марина бросилась в подвал, где, «под сводами», укрылись и другие. Потом для нее наступил самый тяжелый момент, так как «ей там не советовали оставаться» (видимо, боялись, что там ее начнут искать). Вняв совету, Марина стала в одиночку пробираться обратно наверх, чтобы соединиться с женщинами из своей свиты. В утреннем сумраке дворцовых лестниц и переходов все находившиеся во дворце «боярыни», без румян и белил, без причесок и украшений, без богатых платьев были для мятежников на одно лицо. Возбужденная охотничьим гоном толпа опять даже не заметила Марину, оттолкнув ее как досадную помеху. «Когда она поднималась, ее столкнули с лестницы, не зная, кто это, ибо, думаю, если бы ее узнали, то ей бы не остаться в живых», – писал автор «Дневника» [144].

На этом опасности не закончились. Находившийся при Марине Мнишек камердинер Ян Осмольский погиб, защищая вход в те покои, где она укрылась со своими женщинами. Кроме него из ближайшей свиты Марины была тяжело ранена и скончалась через несколько дней пани Хмелевская. Как писали в своем отчете послы Николай Олесницкий и Александр Госевский, царица и все находившиеся при ней женщины были ограблены и «остались в одних рубашках» [145]. По свидетельству Конрада Буссова, от бесчинствующей черни, рвавшейся грабить царицыны покои, Марину Мнишек спасла только смекалка. Благодаря своему небольшому росту она смогла спрятаться под юбкой у одной из своих фрейлин. «Царица, будучи маленького роста, – писал автор «Московской хроники», – спряталась под юбку гофмейстерины (которая была высокого роста). Грубые князья и бояре (а вернее было бы их назвать мужланами и грубыми мужиками) спросили гофмейстерину и девиц: “Где царь и где его царица?” Они ответили: “Это вы должны знать, где вы оставили царя, мы не приставлены его охранять”. Тогда русские сказали: “Ах, вы, бесстыдные потаскухи, куда вы девали эту польскую… вашу царицу?” Гофмейстерина спросила, что они от нее хотят. Они ответили непотребно на грубом московитском языке… Совратили и соблазнили всех девиц. Один князь приказывал отвести к себе домой одну, другой – другую, так обращались они с дочерьми польских вельмож. Гофмейстерина, под юбкой которой спряталась царица, была старой толстой матроной, она сохранила свою честь вместе с царицей, но ее обругали такой-сякой и заставляли сказать, где царица. Она ответила: “Сегодня утром в первом часу мы проводили ее к отцу, Сандомирскому

воеводе, она еще там”» [146].

Смертельная опасность миновала только тогда, когда в ход мятежа вмешались бояре, начавшие наводить порядок в Кремле. Они взяли Марину и ее свиту под охрану. Бояре сохранили царицыны драгоценности и вещи (то, что не досталось грабителям) и отправили все ее имущество в казну за своими печатями.

Убийство собственного царя, венчанного на царство, – дело для Москвы неслыханное и, конечно, постыдное. Русским дипломатам, отправленным вскоре в Речь Посполитую, предписывалось так отвечать на вопрос об убийстве царя Дмитрия Ивановича: «его за… злые богомерские дела, осудя истинным судом, всенародное множество Московского государства убили» [147]. В действиях «мира» проявлялся, как считалось, глас Божий. Но кто мог поручиться, что цареубийство произошло не одним лишь человеческим «хотением»? Это в Кракове можно было убеждать короля в том, что состоялся «истинный суд», дома в такую версию все равно бы никто не поверил.

Даже убедить людей в том, что убит именно царь, оказалось непросто. Немало находилось и таких, кто верил, что Дмитрий Иванович и на этот раз мог чудесно спастись. Из Москвы бежали ближайшие сторонники Лжедмитрия I, такие как Михаил Молчанов, сумевший в суматохе мятежа, по некоторым свидетельствам, увезти с собой в Речь Посполитую даже царские регалии. Не случайно народ в песне так отзывался о Марине Мнишек:

> Да и эта Маришка, дочь Юрьевна,
> Обернулась из окошка сорокою.

В те времена вполне могли поверить в подобное колдовство.

Чтобы пресечь возможные толки, нагие тела царя Дмитрия Ивановича и Петра Басманова на три дня были выставлены для всеобщего обозрения за кремлевскими воротами «среди рынка» (то есть на нынешней Красной площади), или, как уточняет автор «Нового летописца», «на Пожаре» – месте обычного исполнения казней. Немало москвичей приходило взглянуть на эту страшную картину. По свидетельству польских послов, на небольшом «столе» лежало распластанное, простреленное и посеченное саблями тело самозванца, которого приволокли за ноги из Кремля «всему народу на показание». Под столом поместили другой «столик, или лавку», на которую, для большего сходства с дохлым псом, бросили тело Петра Басманова – причем таким

образом, что свешивавшиеся ноги самозванца касались тела его убитого боярина и слуги. На грудь бывшего «царя Дмитрия» была положена уродливая маска (вероятно, что-то из реквизита, привезенного польскими музыкантами, веселившими гостей на царской свадьбе). Народу же говорили другое: смотрите, «это он у себя в покоях вместо образов держал, вот что у него было Богом», а иконы якобы хранил у себя под ложем. В уста самозванца срамным символом была «воткнута» простая дудка.

Ненависть к самозваному царю была столь сильна, что все три дня – субботу, воскресенье и понедельник – продолжалось глумление над телом: толпа пинала, тыкала, таскала его по земле и норовила выколоть глаза. Польские послы Николай Олесницкий и Александр Госевский, сообщившие все эти детали, не удержались от злорадного заключения: «Так обращались с тем, кто себя называл непобедимым» [148].

Смерть Лжедмитрия I тоже связали с колдовством. В ночь убийства «расстриги» ударили небывалые холода, которые держались восемь дней. Как писал Жак Маржерет, этот холод «погубил все хлеба, деревья и даже траву на полях». Тело самозванца первоначально было погребено «за городом у большой дороги» – видимо, там, где обычно хоронили убитых, умерших без покаяния и неизвестных лиц. Тело Петра Басманова, напротив, разрешили похоронить «в церкви Николы Мокрого» – рядом с могилами его предков. Однако необычайные холода, стоявшие все это время, натолкнули москвичей на мысль о том, что тело убитого самозванца обладает каким-то магическим влиянием и именно с этим связаны ужасный «хлад и мраз». Тело откопали и предали огню. Автор «Нового летописца» засвидетельствовал финаль ный акт глумления над мертвым «Ростригою»: «Везоша его на Котел и его сожгоша» [149]. Так в пепел и прах превратилась жизнь того, в ком, по признанию Жака Маржерета, «светилось некое величие, которое нельзя выразить словами» [150].

Толпа действует по своим законам. Раз начавшись, стихийное выступление разливается, как река в половодье, и ослабевает только перед одной преградой – силой. Быстрый успех и первая пролитая кровь придали силы, и толпа бросилась на новых врагов, тем более что их местонахождение не представляло секрета. Начались убийства и грабежи поляков и литовцев, приехавших на свадьбу царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек. Гости из Речи Посполитой были расселены по разным дворам в Москве. Это уже потом начальник царской охраны капитан Жак Маржерет профессионально заметит в своих записках неудачное расположение дворов Мнишков и их

родственников, размещенных отдельно друг от друга. По его мнению, это доказывает, что многие, включая сандомирского воеводу Юрия Мнишка, были уверены в истинности царя Дмитрия Ивановича. «Я полагаю… что воевода привел бы большее войско со своей дочерью императрицей, чем было, – читаем в «Записках» Маржерета, – и изыскал бы способ разместить поляков вблизи друг от друга, вместо того, чтобы поселять их на значительном отдалении во власти русских». Но гости из Речи Посполитой мало думали о таких вещах: они веселились, как могли, и брали то, что хотели. Тягость постойной повинности, ложившаяся на плечи москвичей, не заботила их, как не заботит солдата ущерб, нанесенный завоеванному туземному населению. Как оказалось – зря: первоначальная приветливость москвичей и открытость к гостям очень скоро сменились недовольством и ропотом.

Марина Мнишек ничего не знала о судьбе своего отца и других близких, находившихся в городе, А там на каждом дворе разгорались настоящие сражения. Толпа собралась у дворов воеводы Юрия Мнишка, других Мнишков, Вишневецких, Тарло, Стадницких. Все, что им оставалось, защищаться любой ценой, благо что в свите каждого знатного пана было несколько десятков, а то и сотен хорошо вооруженных жолнеров. Автор «Дневника Марины Мнишек» как раз находился в это время среди защитников двора сандомирского воеводы. Он описал, как сначала нападавшие заперли ворота того двора, где остановился воевода Юрий Мнишек, воспользовавшись происходившей сменой караула, когда новая охрана еще не успела заступить на свой пост. Дальше одни собирались с силой, чтобы начать наступление, и тайно окружали двор, а другие собирались с духом, чтобы сражаться против нападавших. На дворе сандомирского воеводы надеялись на «мощные каменные кладовые», в которых можно было бы укрыться. Уже подкатили пищаль и изготовились стрелять по дому, но в это время подоспел отряд во главе с думным дворянином Михаилом Татищевым. Автор «Дневника» не зря называл этого московского «сенатора» «первейшим изменником и предводителем того дела», ибо Михаил Татищев ехал уже из Кремля, где при его участии были убиты Петр Басманов и царь Дмитрий Иванович. Ко двору бывшего царского тестя он явился уже не убивать, а договариваться, пригласив парламентера сандомирского воеводы. В «Дневнике» рассказывается, что Михаил Татищев передал воеводе Юрию Мнишку, что «изменник», то есть царь Дмитрий Иванович, казнен: «Ныне жизни его и царствованию его конец пришел». Воевода же обвинялся в том, что «был его опекуном».

Татищев милостиво соглашался оставить в живых как самого Юрия Мнишка, так и его дочь. С тем и отправил назад парламентера, старшего слугу воеводы Станислава Гоголиньского: «Пусть хвалит Бога и уже далее ничуть не страшится, что ему причинят вред. И дочь его со всеми людьми мы сохраним в здравии» [151].

Сложные чувства овладевали воеводой и теми, кто оказался в этот час рядом с ним. Крах царя Дмитрия Ивановича ставил точку более чем в двухлетней истории как раз в самый момент триумфа его дочери, коронованной жителями Московского государства. Но теперь приходилось думать не об этом, а о том, как спастись в случившейся катастрофе, тем более что опасность погибнуть от рук толпы оставалась реальной и после отъезда Михаила Татищева. Какой-то лучник пустил стрелу в тот момент, когда воевода Юрий Мнишек вышел на крыльцо своего дома, и эта стрела вонзилась в стену всего на локоть выше его головы. Дальнейших известий он предпочел дожидаться уже внутри дома, окруженного усиленной стрелецкой охраной.

Когда потом были собраны сведения о боях утром 17 (27) мая в Москве, оказалось, что было убито не менее пятисот человек с польской стороны и вдвое больше с «московской». Несколько часов продолжалось стихийное побоище, ставшее на несколько ближайших лет саднящей раной в отношениях с Речью Посполитой. Спаслись только те, кого, как Марину Мнишек и воеводу Юрия Мнишка или князя Константина Вишневецкого и Станислава Мнишка, взяли под охрану сторонники будущего царя Василия Шуйского, а также те, кто, оставаясь на своих дворах, оказал сопротивление или с боями пробился на Посольский двор. Погибли же многие шляхтичи и шляхтенки, а также пахолики (слуги), кучера, находившиеся при лошадях, купцы и челядь. По свидетельству Исаака Массы, умертвили «почти всех музыкантов». Немало полегло людей из царской охраны, за которыми, похоже, толпа охотилась особо. Поляки, служившие царю Дмитрию Ивановичу, находились все вместе и сдались, обнадеженные тем, что их не тронут. Но затем нападавшие с особой жестокостью расправились с бывшим гонцом Склиньским, ездившим с письмами к Марине Мнишек, и перебили остальных царских слуг. Был убит находившийся с первых дней похода в Московское государство при царе Дмитрии Ивановиче ротмистр Станислав Борша, оставивший уже упоминавшиеся «Записки». Погиб еще один свидетель появления «царевича» Дмитрия в Речи Посполитой – ксендз Франтишек Помасский, превратившийся к этому времени из провинциального самборского священника-бернардинца в «секретаря короля его милости», но не успевший

исполнить свою «великую миссию» соединения двух церквей. Особенно тяжелыми были бои вокруг царицына двора на Никитской улице, что тоже вряд ли было случайным, ибо толпа искала повод, чтобы расправиться с Мариной Мнишек.

Испуганные, страдавшие от ран, обобранные поляки и литовцы, пережившие московский бунт, ждали дальнейшего решения своей участи. Теперь все гости царя Дмитрия Ивановича становились заложниками. Судьба их зависела от того, выживет или нет семья сандомирского воеводы Юрия Мнишка. Между тем заговорщики еще заранее, насколько можно понять, отдали все на волю Божьего промысла. И если он уберег царицу Марину Мнишек, значит, так тому и быть. Понемногу столица начинала приходить в себя, и вот уже посол Афанасий Власьев, тоже уцелевший и не отправленный еще в опалу, прислал «навестить и утешить пана воеводу». Кроме Михаила Татищева судьбой воеводы Юрия Мнишка интересовался один из главных членов Боярской думы князь Василий Васильевич Голицын. Но самое удивительное состояло в том, что московские бояре, отнявшие власть у самозваного царя, разрешили сандомирскому воеводе навестить дочь в Кремле, чтобы убедиться в том, что она жива. Такая поездка должна была потребовать мужества и от самого воеводы, который всего с тремя слугами («сам-четверт») поехал со своего двора в кремлевские палаты. Толпа, не успевшая разойтись, наверное, не поверила своим глазам. Минутного замешательства хватило для того, чтобы Юрий Мнишек успел пройти во дворец, а перед «ринувшимися за ним скопом» людьми «бояре приказали запереть двери». И когда обнадеженный встречей с живой и невредимой Мариной воевода ехал к себе обратно на двор, мятежники «смотрели на него, как на какое-то великое чудо». Но к концу дня 17 мая народ, показав свою силу, уже успокаивался. Подводя итог пережитой катастрофе, автор «Дневника Марины Мнишек» записал: «Ибо и всегда там больше мир может, нежели сенат, а особенно когда случаются избрание царя или бунты» [152].

Марина Мнишек и ее свита стали в Москве свидетелями избрания нового царя Василия Ивановича Шуйского. Учитывая, что совсем недавно он не просто праздновал вместе со всеми коронацию и свадьбу царицы Марии Юрьевны, но по праву одного из самых родовитых вельмож играл в этих обрядах ключевую роль, выбор его царем сулил лучшую участь оставшимся в живых полякам и литовцам. Тем более что из дворца подавались недвусмысленные знаки о желании начать переговоры между двумя государствами о дальнейшей судьбе подданных Речи Посполитой. Марина Мнишек, снова превратившаяся для русских

людей всего лишь в дочь сандомирского воеводы, по-прежнему, до избрания нового царя, оставалась в Кремле. Любопытно, что царь Василий Шуйский своими первыми распоряжениями относительно бывшей царицы озаботился… делами кухни. «Царице», как по-прежнему называл ее автор «Дневника Марины Мнишек», «давали все необходимое в крепости, но так как готовившихся там блюд она не могла есть, отдали приказ на кухню пана воеводы, чтобы там же готовили еду для нее». Впрочем, возможно, что это просто снимало подозрения в намерении отравить Марину Мнишек, так как она могла опасаться, что с ней произойдет то же, что, по официальной версии, произошло с годуновской семьей. 23 мая (2 июня) бывшую царицу Марию Юрьевну вместе с ее фрейлинами наконец-то отправили к отцу, где она могла по-настоящему успокоиться после пережитых потрясений. Потеря драгоценностей, жемчуга, платьев и всего имущества, запертого в кладовых нового царя, казалась ей уже меньшим злом по сравнению со всем остальным. Тем более что она соглашалась отдать их насовсем, лишь бы ей вернули слугу-арапчонка, встречавшего ее в роскошной карете при въезде в Москву. В восемнадцатилетней шляхтенке, только что находившейся между жизнью и смертью, жили еще девические привязанности к своим «игрушкам».

Теперь победившие бояре во главе с царем Василием Шуйским взялись за сандомирского воеводу Юрия Мнишка, справедливо считая его главным «опекуном» свергнутого «Ростриги». Неделю спустя после возвращения Марины Мнишек к отцу, 30 мая (9 июня), сандомирского воеводу привезли в Кремль, где он с небольшим числом приближенных «предстал перед панами думными». С обеих сторон начались прения со взаимными упреками и обвинениями (это было только начало более чем двухлетней тяжбы). В «Дневнике Марины Мнишек» передается суть разногласий: «Всю вину за смуту, происшедшие убийства, кровопролитие они возлагали на пана воеводу, будто бы все это произошло из-за того, что он привел в Москву Дмитрия (которого они называли изменником). А пан воевода объяснял и доказывал свою невиновность. Припомнили и то, “что тебя, пан воевода, Бог чудесно спас (за то его благодари), ибо с тобою то же должно было случиться, что с Расстригою сталось”» [153].

Вопросы бояр и ответы воеводы Юрия Мнишка сохранились в современной записи, сделанной кем-то из присутствовавших на обсуждении поляков. Воевода пытался защищаться и доказывал, что он действовал под влиянием самой «москвы», признавшей «того человека» своим государем, и якобы ни в чем не хотел идти

против воли московских панов-радных, то есть Боярской думы. Пан Юрий объяснял, что он искренне желал «получить разрешение панов сенаторов московских относительно кондиций, на которых я условился с покойным и по каким бы мог дать дочь свою в супруги покойному», однако его остановил посол Афанасий Власьев (на него воевода Юрий Мнишек неоднократно ссылался в подтверждение справедливости сказанного), который грубовато сформулировал для сандомирского воеводы суть политической системы Московского государства: «У нас государь делает, что хочет, не советуясь с панами думными, не так, как тут у вас в Польше». Отвергал воевода и обвинения в том, что будто бы приехал со своими жолнерами «для войны»: «О войне или о какой измене я не помышлял, ибо и дочери бы своей с собой не привозил и не дал бы ее в супруги покойному, если бы для этого с ними приехал». Возникали и вопросы вероисповедания. Здесь также пан Юрий сослался на интересы дочери. На упрек в желании ввести «латинскую веру» воевода отвечал, что он как отец «следил, чтобы дочь моя для спасения души от веры своей не отступала. Поэтому хотел бы, чтобы она в назначенных ей владениях капланов в костелах своих имела, по примеру многих других» [154]. Становилось очевидным, что воевода будет стоять на своем.

Но и московская дипломатия добилась определенного успеха. Сандомирский воевода подтвердил подлинность договора 25 мая 1604 года, текст которого был найден в хоромах у самозванца. Не отпирался Юрий Мнишек и от того, что «писал к нему розстрига ж с Москвы лист за своею ж рукою, а дал ему город Смоленеск со всем уездом да Северу всю и поволил ему в них костелы ставити и монастыри римские» [155]. Лучшего аргумента для того, чтобы оправдать свои действия, бывшим заговорщикам не стоило и искать. Компрометирующие самозванца документы тут же были переведены на русский язык и прочитаны на Лобном месте.

1 (11) июня 1606 года Василий Шуйский был венчан на царство в Успенском соборе Московского кремля. Прошел ровно год с тех пор, как грамоты самозваного царя Дмитрия достигли Москвы и в столице произошел переворот в его пользу. Символично, что новый царь попытался начать все с «чистого листа» день в день со своим незадачливым предшественником. Однако проблема, созданная свадьбой царя Дмитрия и Марины Мнишек и коронацией последней, никуда не исчезла. Еще не раз она будет возникать в течение всего четырехлетнего правления царя Василия Шуйского. В конце концов, и этот царь, сведенный с престола, познает превратности фортуны. Но пока он на самой вершине своей власти, а его «визави» Марина Мнишек – на самом

дне, вдалеке от родины, в бедности и заключении.

Почти все лето 1606 года семья Мнишков оставалась под стражей в Москве. Немного обнадежить их должно было известие об отправке в Речь Посполитую посла князя Григория Константиновича Волконского. С ним на родину отпустили некоторых людей, служивших сандомирскому воеводе и его близким. Мнишкам, Вишневецким, Стадницким и другим, выжившим в майской катастрофе, разрешили послать письма с точными известиями о том, что произошло с ними в столице Московского государства. Но еще больше надежды давали начинавшие доходить известия о том, что Дмитрий…жив. Автор «Дневника Марины Мнишек» записал такой слух уже 1 июля (21 июня). То ли ему показалось страшным доверить столь опасные слова бумаге, то ли в действительности у остававшихся в Москве поляков не было уже никакой веры в чудеса, но он записал, что в свите Мнишков «не верили», что Дмитрий «смог уйти от той опасности». Бесспорно одно: слухи о Дмитрии жадно ловили и собирали, потому что ни Марина Мнишек, ни ее отец, ни другие их родственники и близкие не видели (да и не могли видеть, оставаясь под стражей) тела убитого царя Дмитрия Ивановича. Более того, из записок Жака Маржерета, ссылавшегося на одного француза, служившего поваром у сандомирского воеводы, известно, что Марина Мнишек, наоборот, поверила в спасение своего мужа: «Императрица – жена сказанного Дмитрия, узнав о ходившем слухе, полностью уверилась, что он жив, утверждая, что не может представить себе его иначе, и с того времени казалась гораздо веселее, чем прежде» [156].

Движение под флагом царя Дмитрия действительно поднялось сразу же после избрания царя Василия Шуйского. Начавшееся опять в Северской земле, оно стало одной из причин гражданской войны. Эта угроза оказалась куда более серьезной, чем задержание в Москве «царицы» Марины Мнишек и ее отца. Хотя они по-прежнему вызывали раздражение московского «мира», время от времени пытавшегося учинить расправу над «литвой». Не прошло и полмесяца после венчания царя Василия Шуйского, как ему пришлось вмешаться в такой конфликт, стоивший Марине Мнишек и ее свите нескольких бессонных ночей. Во избежание дальнейших беспорядков Марину и ее отца перевели из известного всей Москве бывшего двора царя Бориса на менее приметный двор сосланного в опалу посла Афанасия Власьева. Туда, всего на несколько часов, пустили брата Марины Мнишек саноцкого старосту Станислава Мнишка, чтобы он повидался с сестрой и отцом. 12 (22) июля произошло еще одно столкновение Боярской думы с «миром», требовавшим мести за

убитых в майском погроме москвичей: «Пусть вам так же достанется, как и братьям нашим». Воевода Юрий Мнишек, недавно представавший для расспросов перед Боярской думой, был убежден, что бояре «там в то время большую власть имели, нежели сам царь». Именно бояре, а не царь Василий Шуйский, по свидетельству «Дневника Марины Мнишек», приняли решение разослать поляков и литовцев, остававшихся в Москве, «по разным крепостям» [157].

Сделано это было вовремя, так как с августа 1606 года разгорелось восстание против царя Василия Шуйского северских, польских, рязанских и украинных городов, собиравшихся в поход на Москву. В этой ситуации держать в столице жену убитого царя Дмитрия Марину Мнишек было делом небезопасным. Поэтому, дав напоследок возможность повидаться с воеводой Юрием Мнишком и его дочерью князю Константину Вишневецкому, Яну Мнишку и Сигизмунду Тарло, их всех разослали на северо-восток от столицы в разные замосковные города: «Сердомирсково ж з дочерью и всех Литовских людей, которые пришли с Ростригиною женою, посла (царь Василий Шуйский. – В. К.) по городом: в Ярославль, на Кострому, в Галич; и повеле их посадити на дворех и приставити к ним приставов и беречи велел накрепко» [158]. Так записал автор «Нового летописца». К этим городам надо добавить еще Тверь и Ростов, а также Вологду и Белоозеро, где можно было тогда встретить ссыльных поляков. «Розсылка по городом» предпринималась как для безопасности остававшихся в России поляков и литовцев, так и для затруднения общения между ними. Находясь во внутренних землях Московского государства, «литва» не могла помышлять о побеге домой и надеяться на то, что ее выручит очередной переворот в Москве.

Марине Мнишек вместе с отцом, дядей и братом в качестве места ссылки был определен Ярославль. Объяснить этот выбор трудно. Однако определенная логика в том, что бывшую «царицу» и воеводу Юрия Мнишка отправили в самый большой из замосковных городов, все же была, и диктовалась она местнической системой мышления, присущей боярам. Для примера: князь Константин Вишневецкий попал в Кострому, а Тарло, Стадницкие и Станислав Немоевский – в Тверь и Ростов. Ярославль, кроме того, давно был известен как место ссылки. Кроме Мнишков, чьи претензии на обладание царским титулом уже превратились в ничто с точки зрения новой власти, в городе находились на поселении настоящие «царевичи» и «царевны». Речь идет о семье сибирского «царя» Кучума, жившей в Ярославле с конца XVI века.

Цели царя Василия Шуйского были достаточно прозрачными.

Сохранив жизни воеводе Юрию Мнишку и его дочери и отправив посольство в Речь Посполитую, он стал ждать дипломатического разрешения случившегося конфликта. Но до этого времени царица Марина Мнишек должна была привыкать к жизни в холодном северном городе, столь непохожем на ее родину.

10 (20) августа Мнишкам объявили, что они должны покинуть столицу, хотя ранее обещали, что продолжавшего испытывать проблемы со здоровьем воеводу Юрия Мнишка не тронут. Получив одновременно известие о битве, в которой новый самозванец разбил правительственные войска, Мнишки поняли, что у них не оставалось другого выхода, как согласиться на предложение бояр. Начались приготовления к путешествию. Был составлен реестр, согласно которому в ярославскую ссылку, вместе со свитой царицы, отправилось 375 человек. 16 (26) августа, с наступлением темноты, они с предосторожностями выехали из Москвы под охраной трех сотен стрельцов.

25 августа (4 сентября) 1606 года Мнишки въехали в Ярославль. Город сразу не понравился им. Да и как может понравиться место, предназначенное для ссылки? В Ярославле в то время глазу задержаться решительно было не на чем. Вряд ли там существовала хоть одна каменная постройка, кроме Спасо-Преображенского собора в одноименном монастыре. Это тут же отметил автор «Дневника Марины Мнишек», продолжавший свои записи: «Тот город имеет немалую крепость, но непригодную. Каменных строений в городе никаких не имеется, кроме каменного монастыря, обнесенного стеной… Город от предместья отделен насыпным валом… И мы за тем валом остановились…» [159]

Памяти о пребывании в Ярославле Марины Мнишек практически не осталось. В отличие от Пскова или Калуги, где имеются свои так называемые «дома Марины Мнишек», в сегодняшнем Ярославле ни одно здание неизвестно под таким именем. Слова автора «Дневника», что семья Мнишков расположилась «в предместье за валом», мало что объясняют. В топографии Ярославля XVII века известен так называемый «Рубленый город», который можно отождествить с понятием «крепость». За границей «Рубленого города» начинался «Земляной город», где-то на их границе и были поселены воевода Юрий Мнишек и его дочь. Всех пленных, видимо, держали недалеко от «крепости», где должен был располагаться двор ярославского воеводы, и подальше от городовых ворот, куда могли проникать лазутчики, искавшие встречи с Мнишками и их родственниками.

Поселить вместе почти четыреста человек новых жителей в городе, численность населения которого в 1606 году едва ли

превышала две тысячи человек, было непростой задачей. Автор «Дневника» пишет о четырех дворах, в которых разместили всех ссыльных «панов», то есть наиболее привилегированных пленников: «В одном остановился пан воевода с небольшим числом слуг; рядом, в другом, – царица со свитою своею; в третьем, напротив, – пан староста саноцкий (старший брат Марины Мнишек – Станислав Мнишек. – В. К.). А в дальнем – пан староста красноставский (брат воеводы Юрия Мнишка – Ян Мнишек. – В. К.) с сыном и со всею челядью». За Мариной и ее ближайшими родственниками был, видимо, более пристальный надзор, чем за остальными, кому «дали дворы поблизости, в соответствии с числом их людей». Всех их охраняли приставы, специально назначенные царем Василием Шуйским. (Такие же приставы, например, были назначены Борисом Годуновым при отправке в ссылку братьев Романовых в 1601 году.) Вокруг дворов ссыльных находилась круглосуточная стрелецкая стража, не позволявшая никому из «панов» и их челяди выходить в город без сопровождения.

Спешка, в которой должны были готовить дворы для ссыльных или вообще строить их заново, дала о себе знать очень быстро. Уже через пару дней после приезда «царицы», 28 августа (7 сентября), случился пожар: «В час ночи загорелось в царицыных покоях от печи, которую только что поставили и протапливали». Это чрезвычайное происшествие вызвало страшный переполох. Еще свежи были в памяти сцены майской расправы в Москве, поэтому многим из ссыльных почудилось повторение бунта. Да и ярославцы, видимо, тоже были не прочь, в подражание москвичам, напасть на дворы ссыльных, которых в грамотах публично по всему государству называли «заводчиками» Смуты. Помогла расторопность стрелецкой охраны, спасшей ссыльных от непрошеных пожарных, набежавших «с торбами»: «Хотели уже, все вещи бросив, взяться за оружие для защиты своей жизни, но дал Господь Бог, огонь потушили». Трудно, однако, судить, насколько оправдана ирония автора «Дневника». Могло быть и так, что жители ярославского посада, не менее ссыльных боявшиеся пожара, грозившего их домам и имуществу, сбегались на пожар, хватая под руки все, что помогало бы тушению огня, в том числе принося в мешках заготовленный заранее песок. Так или иначе, но это происшествие показало, что ссыльным и их страже предстояло пройти еще долгий путь через недоверие и подозрения с обеих сторон, прежде чем жизнь устоится и люди поймут, что враждебное окружение не столь враждебно, чтобы жаждать их немедленной смерти.

В рассказе о пожаре в покоях царицы Марины Мнишек есть

одна деталь, которая подтверждается и другими прямыми свидетельствами «Дневника». Ссыльные приехали в Ярославль и жили под охраной со своим собственным оружием! Более того, в их распоряжении оставалось даже несколько десятков лошадей (хотя большинство лошадей отобрали и отправили на пастбище за казенный кошт). Первые несколько месяцев в Ярославле прошли в бесплодных попытках московских приставов отобрать это оружие у ссыльных, ссылаясь на царский приказ. Но вся семья Мнишков и их свита стояли на одном: «Оружие не дадим, хотя бы жизнь за него пришлось положить». Не помогли ни угрозы, ни демонстрация силы, когда в городе ударяли в колокола и опять в криках «пьяного мужичья» возникал мучивший ссыльных призрак майского побоища в Москве. Однажды приставы согнали на земляной вал население города, устроив «психическую атаку» на ссыльных, чтобы те отдали свое оружие. Случались даже вооруженные стычки слуг Мнишков со стрельцами. Но все было бесполезно, свита сандомирского воеводы действительно сохраняла свое оружие пуще жизни. В такой вялотекущей борьбе с некоторыми обострениями прошло несколько месяцев. Наконец ссыльные добились царского разрешения оставить оружие у себя, несмотря на опасения приставов, что «литва» может повернуть свои сабли против них в случае тайного подхода к Ярославлю загонных людей («воровских» сторонников «царя Дмитрия» или обычных разбойников).

Это, однако, не означало, что от ссыльных полностью отступились и позволили им жить так, как они хотят. Не сумев разоружить свиту «царицы», приставы решили рассредоточить ссыльных по разным дворам на посаде, а не держать вместе несколько сотен вооруженных людей. Первыми 15 (25) октября попытались переселить 58 человек «шляхты и купцов» – тех, кто еще в Москве жил отдельно на бывшем дворе бояр Глинских (их и продолжали звать «глинскими»). «Глинским» был отведен «Татарский двор» в Ярославле. Но он никак не мог устроить «литву». Незадолго до этого на «Татарском дворе» случилось моровое поветрие, унесшее жизни нескольких сотен татарских пленников. По сообщению автора «Дневника», «неубранный труп самого мурзы лежал у него на дворе, и рядом с ним тела его двух сыновей, а под полом было очень много других трупов, которые при нас вывозили». Думается, что эта жуткая картина не была специально рассчитана для устрашения «литвы». После работ А. А. Булычева, рассмотревшего обычаи погребения в России XVI-XVII веков, происходившее на выморочном дворе татарского мурзы можно трактовать иначе, связав это с практикой отношения к так называемым «заложным покойникам». Тем не

менее для отношения русских к «литве» весьма показательно, что их селили в месте, явно «нечистом». Когда ссыльные отказались переходить на новый двор, их стали «морить голодом», который оказался сильнее страха смерти и заставил хотя бы часть людей смириться со своей участью. При этом переселение растянулось во времени, что опять же ярко характеризует отношение приставов к пленникам. Стража принуждала их исполнять свои решения не силой, а другими способами; устрашению явно предпочиталась «экономическая мера» – убавка кормов, приводившая к голоду. Части «глинских» удалось разместиться со свитой воеводы Юрия Мнишка, но лишь до времени постройки другого двора, «и тем из-за тесноты не осталось места, они вынуждены были податься туда, на Татарский двор».

Все это естественно провоцировало вольнолюбивых поляков и литовцев на мысль о побеге. Как ни опасно было доверять «Дневнику» подобные мысли, его автор прямо свидетельствует о неоднократных попытках «составить заговор» о побеге, в который иногда вовлекался даже кто-то «из старших», а не только «из нашего товарищества… слуг разных панов». Показательно осторожное поведение воеводы Юрия Мнишка, прямо противодействовавшего таким планам: «Пан воевода, узнав об этом, воспрепятствовал всему, и их замыслы пошли прахом». Причина такого «непатриотичного» в глазах ссыльных поведения сандомирского воеводы могла быть в четком понимании последствий массового побега из Ярославля на родину или в стан нового самозванца. Вместо довольно терпимого и почетного содержания под стражей можно было ждать чего угодно, в том числе самого худшего – повторения московского мятежа.

То, что первый отдельный двор построили для сандомирского воеводы Юрия Мнишка, показывает его главную роль в колонии ссыльных. «Царица» по-прежнему находилась при нем, а не наоборот. Несмотря на майский «триумф» и коронацию в Кремле, Марина Мнишек и ее фрейлины вели замкнутую жизнь. На страницах «Дневника» не найти ни одной записи о каких-то публичных появлениях царицы. Хотя многие в городе не прочь были поглазеть на нее. Ссыльные, однако, находились настороже, понимая, что от судьбы «царицы» во многом зависит и их собственная судьба.

«Новоселье» состоялось со многими предосторожностями 7 (17) января 1607 года, когда воеводе Юрию Мнишку и его свите отвели новый двор. В это время в городе появились слухи о прибытии «нескольких сотен татар, якобы нарочно присланных для того, чтобы схватить и отвезти в Москву пана воеводу и царицу». Это было целое приключение, так как ссыльные решили

постоянно держаться друг за друга и «всем вместе из прежнего дома выселиться». Но оказалось, что на новом дворе все разместиться не смогут. Чтобы обмануть приставов, решивших продемонстрировать перед посадскими людьми свою власть над пленными, воевода Юрий Мнишек со свитой перебрался туда ранним утром, так что стрелецкие головы не успели подать знак собиравшейся толпе. Оскорбленные неуважением к себе приставы решили отыграться на рядовых людях из свиты сандомирского воеводы, оставшихся на прежних местах. Но те «стали защищаться и не дали себя в обиду, стрельцы повернули назад и оставили их». Чуть позднее и остальная воеводская свита спокойно переехала в избы, поставленные за неделю на господском дворе. Уже 8 (18) января «посетили приставы пана воеводу на новоселье». Инцидент оказался исчерпанным. Так 317 человек ссыльных было собрано на одном дворе под началом воеводы Юрия Мнишка, а остальная часть – 58 человек, «включая тех, которых наши держали для услуг», – оставалась жить на «Татарском дворе» [160].

К началу 1607 года установились кое-какие правила в обращении со ссыльными. Военные действия между новым самозваным царем Дмитрием и войсками царя Василия Шуйского перестали быть тайной для польской колонии. В этом ссыльные могли видеть надежду на свое освобождение. Но здесь же был источник опасности для них, если бы сторонники «царя Дмитрия» попытались приблизиться к Ярославлю.

То, что все распоряжения, касавшиеся содержания «царицы» Марины Мнишек и сандомирского воеводы, шли из Москвы, тоже было на руку ссыльным. Приставы сами мало что могли решить, кроме разве что кратковременной убавки кормов. Впрочем, воевода Юрий Мнишек, умевший ладить с нужными людьми, быстро нашел путь к сердцу своей охраны. 2 (12) января они поспешили известить его о милостивом указе царя Василия Шуйского, что «тебя царь жалует, оружия твоего брать не велит, он его заберет у всех поляков, если только кто-то из них что натворит, и с тебя взыщет. Другое: отсюда тебя далее отсылать не велит, только на другой двор со своими переберешься. Третье: если хочешь послать к жене своей, жалует тебя своей царской милостью и приказал тебе писать к нему об этом и о других своих нуждах». В ответ сандомирский воевода решил щедро одарить своих приставов «оправленными палашами», но подарок принял только приезжавший ранее, в ноябре 1606 года, для разоружения ссыльных (!) Неудача Плещеев, возвращавшийся теперь, спустя пару месяцев, в Москву. Следом за воеводой его слуги тоже наладили «сообщение» со стрелецкой охраной, готовой на мелкие

услуги и доставлявшей ссыльным пищу за определенную мзду. Жизнь и человеческие отношения брали свое. Однако не приходится сомневаться, что общее напряжение не исчезло.

Главными событиями в жизни Марины Мнишек в ссылке в Ярославле, должно быть, становились известия о послах, которыми Московское государство обменивалось с Речью Посполитой. Автор «Дневника» фиксировал все сведения и слухи о таких посольствах и их целях. Уже в марте 1607 года, по возвращении посла князя Григория Константиновича Волконского, ссыльных «радовали известиями о коронном после»: «Посол ваш точно едет, уже недолго, пожалует вас царь и отпустит в Литву». Известить об этом воеводу Юрия Мнишка был послан представитель Боярской думы окольничий Михаил Михайлович Кривой Салтыков. Но вышел большой переполох: вызванные 13 (23) марта в город на воеводский двор ссыльные сильно перепугались и были в этот день между «надеждой и страхом». Воевода Юрий Мнишек вместе с братом, оставив Марину под присмотром старшего сына, выехал с предосторожностями со своего двора к воеводе. Но оказалось, что окольничий был послан с приятной миссией известить Мнишков, что король Сигизмунд III отправляет в послах Богдана Огиньского для обсуждения дел, «которые из-за Расстриги приключились», после чего царь Василий Шуйский обещал отпустить сандомирского воеводу со всеми его приближенными «из земли своей».

Мнишки и их свита должны были сразу почувствовать перемену в отношении к себе. Со слов Салтыкова они узнали, что король Сигизмунд III не только помнил о них, но и активно стремился вызволить их из московского плена. Окольничий Михаил Михайлович Кривой Салтыков, с грубоватой простотой переводя обычаи Речи Посполитой на московский лад, говорил сандомирскому воеводе: «Король ляхов сильно без тебя тоскует и осведомляется о здоровье твоем». Царь Василий Шуйский также выказывал благосклонность Мнишкам, которых не собирались навсегда задерживать в Московском государстве, и разрешал отпустить обратно в Речь Посполитую старшего брата Юрия Мнишка, красноставского старосту Яна, со свитой и купцами в количестве семидесяти человек. Это распоряжение касалось в основном челяди, и, как заметил автор «Дневника», «в то время любой был бы очень рад назваться холопом, чтобы только уехать в отчизну и вырваться из неволи». Видимо, в Москве понимали, что незачем да и опасно держать за казенный счет в Ярославле всех ссыльных. Достаточно было того, что в руках московского правительства оставались воевода Юрий Мнишек с дочерью

Мариной. Остальных старались перевести из Ярославля в другие города или вообще отослать домой в Речь Посполитую.

Знаком определенного примирения с сандомирским воеводой и другими членами семьи стало возмещение им в апреле 1607 года средств, издержанных на пропитание, а также выдача 470 ведер «пива» и 17 ведер «горилки». Пасха этого года, по отзывам автора «Дневника», прошла вполне спокойно, и хотя «вместо калачей» ссыльная шляхта ела «только хлеб», праздник был свободен «от тревог и известий». Поначалу шляхтичи могли продавать остававшееся у них серебро, но потом это запретили. «Деньги также сильно поистощились, хотя у панов было серебро, но что в нем, когда его запретили продавать. Хотя его временами и позволяли продавать, но никто его не хотел покупать на людях. Покупали тайно, с великими предосторожностями, так как у тех, кто у нас покупал ранее, отобрали серебро какие-то грабители». Как видим, ссыльные имели возможность разнообразить свой стол, а предприимчивые жители Ярославля – извлечь из этого свою выгоду.

С этого времени ссыльные почувствовали себя спокойнее, а режим их охраны ослаб. Они без тревог отметили «годовщину несчастного въезда царицы в Москву» (12 мая), коронации и свадьбы царицы (18 и 19 мая). Им разрешили свободно продавать оставшихся лошадей и оружие (с последним, впрочем, никто не спешил расставаться). Автор «Дневника» знал многое из того, что происходило в городе, и даже записал сведения о сборах войска, проезде разных людей. 24 апреля (4 мая) в Ярославле видели «несколько нарядно одетых поляков», но это оказались те, кто перешел на службу царя Василия Шуйского. А 5 (15) июня «двое немцев, неведомо откуда взявшихся, проходя мимо нашего двора, поведали нам тайком, что Дмитрий точно жив».

Появление из небытия царя Дмитрия и пугало ссыльных, и давало им надежду. Трудности борьбы с войсками самозванца заставляли приставов в Ярославле учитывать возможные варианты развития событий. Их поведение становилось своеобразным барометром, точно показывавшим политическую погоду в России. Как только приходили известия о значительных поражениях войска царя Василия Шуйского, приставы становились ласковее и обходительнее. Даже стрелецкая охрана посылала «на разведку» кого-то из своих, подтвердивших, «что Дмитрий точно жив и с великою силой идет против Шуйского». Показательно, что тут же об этом стало известно ссыльным. 29 июня (9 июля) запись о таком благоприятном для Мнишков развитии событий появилась в «Дневнике».

Видимо, готовностью охраны к услугам объясняется то, что

воевода Юрий Мнишек мог вести тайную переписку. Среди его корреспондентов в Ярославле оказался испанский монах-августинец Николай де Мелло. Он попал в плен еще при Борисе Годунове, когда возвращался после выполнения своей миссии в Персии через Россию. В 1607 году отец Николай находился в заключении в ростовском Борисоглебском монастыре, расположенном не так далеко от Ярославля. Николай де Мелло просил сандомирского воеводу в случае его освобождения напомнить королям Речи Посполитой и Испании, а также папе римскому о своей судьбе. В свою очередь, письмо монаха-августинца попало к Мнишкам вместе с письмом пана Андрея Стадницкого из Ростова, сообщавшего новости уже о внутренних столкновениях в Речи Посполитой – «рокоше» воеводы Николая Зебжидовского. Чуть позднее Николай де Мелло еще раз писал к сандомирскому воеводе и сообщил ему точные известия о битвах под Москвой с войском Ивана Болотникова.

Кроме политических, колонию ссыльных немало занимали дела житейские. Тяжелым испытанием для всех стала смерть 27 июля (6 августа) монаха-бернардинца отца Бенедикта Анзерина, которого называли «канцлером Замойским» этого ордена. Отец Бенедикт Анзерин был духовным главой колонии ссыльных не только по своему сану, но и по должности «комиссара» московской провинции. По-видимому, ему предстояло стать одним из главных распространителей католической веры в России при царе Дмитрии Ивановиче. Но события повернулись по-другому, и он вынужден был «окормлять» свою паству в ссылке. Именно отец Бенедикт Анзерин был главной опорой семьи Мнишков и духовным отцом «царицы» Марины. Когда он умер, всех охватили скорбь и страх. «Так, должно быть, случается, когда сиротеют дети, лишившись любимого отца», – записал в тот тяжелый для всех ссыльных день автор «Дневника». Впоследствии тело отца Бенедикта Анзерина было увезено в Польшу. Других же умиравших или погибавших в ссылке поляков ждало жалкое погребение «за городом», где обычно в так называемых «Божьих домах» оставляли неизвестных покойников или умерших «нечистой» смертью без погребения. Но жизнь брала свое, и кроме печальных событий у ссыльных были поводы для радости. По замечанию автора «Дневника», к концу пребывания в Ярославле среди ссыльных не осталось ни одной девушки, которая не вышла бы замуж. Таким образом, «царица» Марина Мнишек осталась без своих фрейлин, но это, кажется, ее не особенно расстроило.

Итак, почти весь 1607 год семья Мнишков прожила достаточно спокойно. Автор «Дневника» писал: «Мы, начиная с самой Пасхи, избавлены были от тревог и опасностей. Отсюда

видно также и то, что тоска наша понемногу утихла, и мы обжились здесь, но у некоторых тоска еще более прибавлялась».

Как и все остальные, Марина жила слухами о происходивших вокруг событиях. О главных из них сообщает автор «Дневника». В первую очередь, это начавшееся в августе 1607 года движение нового «царя Дмитрия Ивановича» и приезд в те же дни в пределы Московского государства послов Речи Посполитой Станислава Витовского и князя Яна Соколинского. Последним предстояло договориться об условиях возвращения всех задержанных поляков и литовцев. Но московское правительство не торопилось принимать посольство, предпочитая сперва окончательно расправиться с войском Ивана Болотникова (последний оплот Болотникова – Тула – была взята 10 октября 1607 года). Это тоже не ускользнуло от внимания ярославских ссыльных.

Нужно отдать должное находившимся в ссылке в Ярославле людям воеводы Юрия Мнишка. Они достаточно хорошо были информированы о происходивших событиях, умели наблюдать и правильно интерпретировать обрывки сведений, доходивших до них в виде слухов. У них не было иллюзий относительно отношения к ним «москвы» даже тогда, когда, казалось бы, все устоялось и ссыльным полякам и литовцам ничего уже не угрожало. Слишком недалеко было еще «Расстригино царствование», о чем бывшим сторонникам самозванца напоминали при каждом удобном случае. Так 1 (11) ноября случился примечательный инцидент со служилыми людьми, возвращавшимися из войска домой после боев с болотниковским войском под Тулой. Один из детей боярских, увидевший на перевозе челядь сандомирского воеводы, набросился на возницу с нагайкой и принялся ругать его: «Что вы, б…ны дети, со своим Расстригою наделали нам столько хлопот и крови пролили в земле нашей?» Возница отговаривался, что он ни в чем не виноват. Тогда сын боярский ударил его, но все же повернул назад, бросив напоследок: «Однако скоро уже уйдете, ибо уже Расстрига с ворами у черта, а посол ваш великий едет» [161].

К тому времени послы Речи Посполитой уже приехали в Москву и были приняты царем Василием Шуйским. Оставим на время ярославских поселенцев и вернемся в столицу, чтобы посмотреть, как разворачивались дипломатические прения о судьбе Мнишков и их родственников.

Глава четвертая Посольство о сандомирском воеводе

О «царице» Марине Мнишек на родине конечно же не забыли. Судьба оставшихся в Московском государстве представителей семейств Мнишков, Тарлов, Вишневецких, Стадницких и других не могла не волновать их родственников и друзей. Те же в Речи Посполитой, кому все равно было, какой повод использовать для проявления своей вольности и осуществления конквистадорских планов, стали попросту спекулировать на произошедшем в Москве. Тем более что достоверной информации долго не было и в Польше не знали, живы или нет те, кто отправился на свадьбу бывшего московского царя и польской шляхтенки.

Глядя на события исключительно с «московской» точки зрения, невозможно понять драму семейства Мнишков. Если в Русском государстве их обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, то в Речи Посполитой существовала разноголосица мнений. Оказавшаяся самой верной «линия Замойского», предупреждавшего короля и сейм об авантюрном характере дела самозваного царевича Дмитрия, необъяснимо продолжала терять сторонников. Впрочем, правдивому и осторожному политику всегда сложнее, чем оппоненту, не брезгующему никакими аргументами, даже ложью. Короля Сигизмунда III буквально атаковали запросами о судьбе пострадавших, заведомо обвиняя его в попустительстве зарвавшейся «москве». Все это спровоцировало острейший внутриполитический кризис и небольшую гражданскую войну в Речи Посполитой. Краковский воевода Николай Зебжидовский поднял «рокош» (мятеж) против короля. В свою очередь, военные действия против восставшей шляхты начал гетман Станислав Жолкевский.

Хотя «московская карта» и не была главной для рокошан – сторонников шляхетских вольностей, она тем не менее присутствовала в их колоде. После того как рокошанам стал известен текст поданного в королевскую канцелярию отчета польских послов Николая Олесницкого и Александра Госевского об их поездке на свадьбу Марины Мнишек и убийстве «царя Дмитрия», они преисполнились желанием отомстить за смерть соотечественников и включили в артикулы генерального коло (собрания) пункт об одобренном Сигизмундом III, вопреки мнению сената, наборе войска для похода в Москву. (Рокошане признали как раз то, что будут постоянно опровергать

королевские дипломаты.) Теперь шляхетская оппозиция требовала от короля, чтобы он сделал все возможное для освобождения задержанных в Москве людей [162]. Но прежде чем решать их судьбу, король Сигизмунд III должен был задуматься о судьбе своего трона.

В свою очередь, московское правительство царя Василия Шуйского понимало, насколько невыгодна была бы для него гибель семейства Мнишков в России. Поэтому уже в день майского погрома 1606 года были приняты меры к их охране. Логичным продолжением осторожного отношения к «царице» стала отправка в Речь Посполитую посланников князя Григория Константиновича Волконского и дьяка Андрея Иванова уже 29 мая 1606 года, то есть за несколько дней до официальной церемонии венчания на царство царя Василия Ивановича, состоявшейся 1 июня 1606 года. В грамоте об отправке посольства говорилось: «…а Сендомирского воеводу з дочерью и со всеми его приятели, которые были приехали к розстриге на свадьбу, и тех панов, которые приехали с розстригою, лутчих людей приговорил государь розослати по городом, а желнырей и худых людей хлопцов велел государь перебрав отпустите в Литву. А приказал государь о воеводе Сендомирском с товарыщи боярину князю Ивану Васильевичу Голицыну» [163].

На этом документе стоит задержаться, поскольку он показывает, как именно Боярская дума намеревалась решить судьбу пленных поляков и литовцев сразу же после смены власти в Москве в мае 1606 года. Главными пленниками, что естественно, считали «Сендомирского воеводу с дочерью», но при этом в дипломатических документах царский титул Марины Мнишек не упоминался. Из затруднения вышли легко, так как всюду говорилось не о бывшем «царе» или «императоре» Дмитрии Ивановиче, а о «розстриге» Гришке Отрепьеве, «злом и проклятом волхве», «богоотступнике» и «смердящем псе». Повторялось в документе и «стандартное» обвинение самозванца в отношении его свадьбы с Мариной Мнишек: «…и взем за ся проклятый у поляка у воеводы Сендомирского дщерь римские ереси и, не крестив, повеле венчати ю царским венцем в соборной и апостольстей церкви, и освященным миром некрещенную помазати повеле». Используя небесспорный даже для современников тезис о признании католиков еретиками и, следовательно, требуя нового крещения для Марины Мнишек, составители грамоты еще раз отказывались признать ее венчание на царство.

8 июня 1606 года посланники князь Григорий Константинович Волконский и дьяк Андрей Иванов получили, по

посольскому обычаю, наказ, в котором было расписано, что они должны говорить на аудиенции у короля Сигизмунда III и как отвечать на возможные вопросы. В своих заготовленных речах посланники в основном обвиняли короля в поддержке самозванца и попустительстве действиям сандомирского воеводы. О Марине опять было сказано вскользь, с умолчанием обряда царского венчания, в ряду обвинений «розстриге» Гришке Отрепьеву: «И прелестью бесовскою и злыми мечтами своими тот богоотступник и царского венца коснуся, и понял был за себя ис Польского королевства, по вашему же королевскому веленью и панов-рад, воеводы Сендомирского дочь». Акценты здесь расставлены так, чтобы подчеркнуть участие короля и его знатных советников в деле Марины Мнишек. О послах Николае Олесницком и Александре Госевском, приезжавших на коронацию московской царицы, говорилось явно пренебрежительно: «Сказалися послы на веселье».

Русским послам предписывалось вести себя на переговорах наступательно: «И выговаривати им и встречати их по сему государеву наказу подлинно и смотря по тамошнему делу и по их словам, как их Бог вразумит». Но были в позиции посланников царя Василия Шуйского и уязвимые места, которые не могли обойти дьяки Посольского приказа, обдумывая вероятный ход посольства. Главным образом это касалось судьбы задержанных послов Речи Посполитой, приезжавших на свадьбу царя Дмитрия Ивановича, и, естественно, тех поляков и литовцев, кто пострадал во время майского переворота. Позиция царя Василия Шуйского была сформулирована ясно: «И так на государские радости не приезжают». В помощь посланникам в грамоту вписали некоторые польские слова. Кроме «звыклых обычаев» (получилось неуклюже: обычные обычаи), предвидели еще спор о «глентовных листах» (от польского слова glejt – охранная грамота). Всю вину опять списывали на «того баламута», то есть на бывшего царя Дмитрия Ивановича: «А листы глентовные посылал вор розстрига, а писаны по латыне, писали у него ваши же поляки; и государственные печати все побрав тот вор ис приказу, где они бывают, к себе, и писал, и печатал, и делал все с поляки, как хотел. А сенатари нихто ни один того не ведал, и в Посольском приказе ничего того не объявилося».

Тесное общение с польской знатью в царствование самозванца не прошло бесследно ни для членов Боярской думы, ни для приказных, легко называвших теперь русских бояр «радой» и «сенаторами». Научились в Московском государстве и определять значение тех или иных людей в Речи Посполитой. Так о сандомирском воеводе Юрии Мнишке, когда нужно было

подчеркнуть, что он поддерживал самозванца с ведома короля Сигизмунда III, говорилось: «Ино во всех государствах то ведетца: николи рада без государского ведома ничего не делает. А Сендомирской воевода Юрьи Мнишек в коруне Польской пан-рада большой, опричь духовного чину четвертой человек, а шел с тем вором сам; и тому как сстатись было без королевского и безо всей рады ведома». Московские власти использовали участие воеводы Юрия Мнишка в деле самозванца как предлог, чтобы начать обсуждение судьбы задержанных в Москве Мнишков, Вишневецких, Тарлов и Стадницких. В наказе намекали и на возможные материальные претензии к Марине Мнишек: «И тот вор к нему, воеводе Сендомирского, и к дочери его с Москвы с своими советники и с поляки многую неизчетную казну в Польшу послал, и многие царские сокровища прежних великих государей наших, росийских царей, истерял и отослал; чего был вор и видети их недостоен, и во многих великих государствах таких дорогих узорочей не было, что было в Московском государстве, болши 500 000 рублев поотослал всяких узорочей».

Повторялась в грамоте и известная официальная версия о намерении самозванца со своими польскими сторонниками побить русских бояр. Но при этом посланникам князю Григорию Константиновичу Волконскому и дьяку Андрею Иванову четко объяснялось, чтобы они не доводили дело до разрыва. Их миссия состояла в том, чтобы обвинить короля Речи Посполитой в нарушении крестного целования о заключении перемирия («объявити о том, что учинилося з государя вашего стороны через крестное целованье»). В случае же прямого вопроса панов-рад о судьбе перемирия они должны были отвечать, что «нам о том от государя своего говорити Жигимонту королю не наказано, что перемирье закрепите или разорвати». Посланники должны были добиться приезда послов короля Сигизмунда III для решения участи задержанных в Москве Мнишков и их родственников. В наказе подчеркивалось, что царь Василий Иванович «дочь воеводину от смерти уберег» и «сам ездил своею персоною, многонародное множество от убивства унимал, воеводу Сендомирского и сына его, и Вишневетцкого, и Тарла и Стадницких, и иных воеводцких приятелей, и всяких польских и литовских людей от смерти отнял, убити их и ограбити не дал». Это проявление доброй воли позволяло, по мысли московских дипломатов, требовать посылки первыми послов от короля Сигизмунда III, а не наоборот, что выглядело более почетным и соответствовало сложившейся практике дипломатических отношений между Речью Посполитой и Московским государством.

И наконец, у посланников князя Григория Константиновича Волконского и дьяка Андрея Иванова была обычная в таких случаях задача сбора информации: «проведывати в Литве, что говорят» о царе Василии Ивановиче и короле Сигизмунде III. Посланникам важно было также узнать, как относятся в Речи Посполитой к авантюре воеводы Юрия Мнишка, который «себе… и дочери своей безчестье и убытки великие починил», на что готовы король и паны-рады, чтобы вступиться за задержанных в Москве приятелей Мнишков [164].

15 июля 1606 года посланники были на смоленском рубеже, а на следующий день пересекли границу, на которой их встретил приехавший королевский пристав Ян Волович. Миссия князя Григория Константиновича Волконского и дьяка Андрея Иванова сразу началась с «задоров» с польско-литовской стороны, обычного непризнания царского титула и умаления посольской чести. Но этим дело не ограничилось. Во время проезда посланников из Орши к Кракову их «матерны лаяли и изменники называли»; на постое в Минске к ним «на двор пришед многие люди, посланников лаяли и убиством грозили».

Оказалось, что князь Григорий Константинович Волконский и дьяк Андрей Иванов попали в Речь Посполитую в очень сложное время внутренних беспорядков, связанных с начавшимся рокошем против короля. Даже пристав не стал скрывать от московских посланников, что «…паны радные полские и литовские и послы поветные и все рыцерство и посполство обеих земель в съезде на поле у Сендомиря; а такой съезд николи не бывал, что есть на том поле людей с 300 000, и стоят на 15 милях». Из-за этого князю Григорию Константиновичу Волконскому и дьяку Андрею Иванову не могли точно объявить сроки приема их королем, собиравшимся на сейм. А вести их напрямую к королю Сигизмунду III, говорил пристав, было опасно, так как «многие люди на съезде будут тех родства, которые на Москве побиты, а иные сидят кабы в полону; и толко вас там привести на такие люди, и от них добра не чаяти, за своих побьют; а люди ныне стали своеволны».

Подкупив некоторых людей в дороге, посланники узнали подробности о съезде, собиравшемся для рокоша на короля. В ряду разных обвинений королю Сигизмунду III заметное место отводилось и его нерадению о судьбе поляков, приезжавших в Москву на свадьбу Марины Мнишек. Неизвестный информатор приводил подробности: «А болшой де шум на короля про то: для чего он, не порадив с паны и со всею землею, поволил идти к Москве воеводе Сендомирскому з дочерью и со многими людьми, и такое бесчестье государству Полскому учинил, многие люди

там побиты, а иные засажены, и как их ныне доступати. А всчали де то на сойме Стадницкие про своих». По сведениям этого источника, король Сигизмунд III якобы отказался от того, что он поддерживал сандомирского воеводу и давал разрешение на брак его дочери. Напротив, получалось, что вся вина лежала на самом воеводе, своевольно отказавшемся послушаться короля: «Хотя б у него было 5 дочерей, и ему их волно давати в разные государства, куда захочет, хотя в Турскую землю».

Из-за всех этих внутренних потрясений в Речи Посполитой московские посланники ехали медленно. К тому же их смущали разными слухами о якобы чудесном спасении царя Дмитрия, «что государь ваш Дмитрей, которого вы сказываете убитого, жив и тепере в Сендомире у воеводины жены: она ему и платье и людей подавала». Это известие, возможно, имеет отношение к каким-то попыткам матери Марины Мнишек повлиять на судьбу своих близких в России. Но московских посланников трудно было взять на испуг. Их не убедила ни «бородавка на лице» у будто бы спасшегося и снова укрывшегося у гостеприимного семейства Мнишков царя, ни то, что снова к нему «многие русские люди… пристали». Наученные горьким опытом посланники теперь отрицали даже саму возможность чудесного возвращения настоящего царевича на русский престол: «Хотя б и прямой прироженной государь царевич Дмитрей; а толко б его на государьство не похотели». Расспросив пристава подробнее о том, каков «рожеем и волосом» тот человек, который жил «в Сеньдомире у воеводиной» и выходил к людям «в старческом платье», выдавая себя за спасшегося царя, они признали в нем Михаила Молчанова, исчезнувшего из столицы в день майской катастрофы: «И пристав сказал, что де он рожеем смугол, а волосом черн, ус не велик, и бороды выседает и он стрижет; а по полеки говорить горазд и по латыне знает. И посланники говорили, что подлинно вор Михалко Молъчанов таков рожеем, а прежней был вор ростригa рожеем не смугол, а волосом рус».

Когда задержка посольства в Речи Посполитой стала очевидной, посланники перешли в наступление и решительно потребовали объяснений, зачем они «заведены в деревню», где их держат целый месяц. Тем более что они могли сослаться на ехавших вместе с ними и готовых дать показания людей, приезжавших в Москву вместе с задержанными послами Речи Посполитой, сандомирским воеводой Юрием Мнишком и другими знатными панами. Однако пристав по-прежнему отговаривался умножившимся «своевольством» и опасностью, грозившей посланникам. Они же понемногу продолжали собирать сведения о спорах во время рокоша, фиксируя расстановку сил

внутри польской и литовской знати, расколовшейся в своем отношении к действиям короля Сигизмунда III, в том числе на «московском» направлении. Когда стало известно, что рокош завершился, а король все равно не принимал московских посланников, они 8 октября 1606 года снова отправили запрос приставу. Настойчиво внушаемые слухи о другом чудесном спасении царя Дмитрия делали свое дело, и «князь Григорей и Ондрей собе помыслили: многие люди сказывают, которые приходили с приставом про вора, бутося он ушел и ныне в Самборе, а приставы сказывают тоже, что будто он жив и прибирает людей… и не для ли того вора их посланников держат?». Ответ короля Сигизмунда III пришел через месяц, 9 ноября 1606 года, когда посланникам наконец-то было дано разрешение двигаться к Кракову. Только 16 декабря 1606 года князь Григорий Константинович Волконский и дьяк Андрей Иванов приехали в Краков. Таким образом, дорога из королевского села Новый Двор (где было задержано московское посольство) до королевского двора на Вавеле заняла у них около четырех месяцев.

24 декабря 1606 года московские послы получили долгожданную аудиенцию у короля Сигизмунда III. На ней присутствовало много знати и приближенных короля, «а за ними рыцарские люди стояли и шляхта, стеснясь, человек с 300». Посланники заметили среди присутствующих также сына сандомирского воеводы, младшего брата Марины Мнишек Францишка Бернарда, «а у короля он стольник». В Речи Посполитой тем временем уже отпраздновали Рождество и наступило 3 января нового, 1607 года. Посланники исполняли свою миссию в соответствии с выданным им наказом, но сразу же встретили в ответ признаки неудовольствия короля Сигизмунда III, проявившиеся в отступлении от прежнего дипломатического этикета. Посланцев из Москвы не только не пригласили к королевскому столу, но и не дали корм «в стола место». Когда приставу указали на это, он сначала не знал, что отвечать, и предположил, что «нетто будет сенатари пропаметавали». Однако после консультаций оказалось, что посланники правильно интерпретировали произошедшее, и пристав вынужден был прямо отказать им: «По знаку де ваше посольство королю не любо, что так чинитца не по прежнему».

В течение нескольких дней посланники выслушивали аргументы панов-рад. Начавшиеся споры заводили переговоры в тупик. Польская сторона, что естественно, стремилась оспорить все упреки, заготовленные в Посольском приказе. Позиция Речи Посполитой, если попытаться выразить ее в концентрированном

виде, заключалась в следующем. Первый спорный пункт касался поддержки, оказанной «московскому царевичу» королем Сигизмундом III и главным сторонником самозванца сандомирским воеводой Юрием Мнишком. Польские и литовские дипломаты ссылались на обычаи своей страны, позволявшие принимать «изо многих государств государских детей и рыцерских людей», например крымского царевича, приехавшего в Речь Посполитую. Однако при появлении «такого человека, которого вы ныне называете не Дмитреем», замечали они, «король его милость поставил его ни за что». Как известно, открытой поддержки «царевичу» король действительно не оказывал, но, тайно приняв его в Кракове, он выказал свой интерес к начинавшемуся делу. Тем и хорош дипломатический язык, что оставляет массу возможностей для толкований, иногда даже вопреки очевидным фактам.

Поддержка царевичу Дмитрию, как говорили паны-рады, была оказана только после того, как к нему стали «приезжать из Московского государства имянитые люди и его познали, что он прямой великого князя Иванов сын Дмитрей». Это утверждение могло бы оправдать действия сандомирского воеводы, но оно лукаво запутывало истинные причинно-следственные связи. Поэтому в качестве основных по-прежнему использовались общие аргументы, к которым всегда успешно прибегали в дипломатических отношениях с Московским государством, противопоставляя чужой «тирании» свои демократические порядки: «А людем в государя нашего государстве есть поволность из давных лет, хто кому захочет служить». Так якобы и поступил воевода Юрий Мнишек, поддержав «московского царевича» в ответ на знаки почтения, выказанные ему московскими людьми, «до него был пристал не со многими людьми; а король его не посылал, и тому Дмитру ничем не вспомогал».

Второй вопрос, на который требовали ответа посланники царя Василия Шуйского, звучал так: почему король Сигизмунд III не прислушался к предупреждениям о самозванстве, посылавшимся царем Борисом Годуновым и патриархом Иовом через своих посланников и людей? Позиция Речи Посполитой в этом пункте была более обоснованной и убедительной. Паны-рады говорили, что «государь наш Жигимонт король тотчас послал листы к воеводе Сендомирскому, запрещаючи его с казнью, чтоб он воротился и в землю государя вашего не ходил». Но вернулись не все: «хотя будет и были немногие люди наемные, и то вольные люди, как и у вас донские казаки». Зато паны могли сослаться на несчастную судьбу жены и сына царя Бориса

Годунова и многочисленные присылки к королю «посланников и гонцов с 10», в то время, «как вы Дмитрея принели и государем учинили».

Тут обе стороны подходили к острейшему вопросу о судьбе задержанных в Московском государстве родственников воеводы Юрия Мнишка и возмещении ущерба тем, кто приезжал «на веселье» Марины Мнишек. Паны-рады действовали наступательно и ссылались на грамоты от патриарха, Освященного собора и Боярской думы, полученные «ото всех за их печатми и руками»: «А писали в грамотах, что то государь их прямой прироженный, великого князя Иванов сын, и чтоб государь наш поволил дата за него воеводе Сендомирскому дочь. И государь наш поверил и воеводе з дочерью поволил идти, а с воеводою пошли многие рыцерские люди на веселье, не для лиха; да с воеводою же послал король его милость на веселье послов своих в свое место, как ведется у всех великих государей по кглейтовному листу». Так виделось все дело в Речи Посполитой. Паны-рады обвиняли «московскую сторону» в нарушении мирного постановления. В подтверждение справедливости своей позиции использовали и более «свежие» аргументы о появлении в Северской земле нового самозванца, «ныне государем Петром зовут, сказывается сын бывшего государя вашего великого князя Федора». Он также присылал своих послов к королю. Обобщая историю одного и другого «царевичей», паны-рады обвиняли «москву»: «Сами люди Московского государства меж себя разруху чинят, а на нас пеняете».

Как видим, чтобы отвести упреки в поддержке самозваного царевича Дмитрия Ивановича, дипломаты короля Сигизмунда III понемногу уводили разговор от главного вопроса о нарушении перемирия, предпочитая обсуждать актуальную для них проблему решения участи своих захваченных в Москве соотечественников. Не соглашались они даже на предъявление обвинений сандомирскому воеводе Юрию Мнишку, хотя он и сам подтвердил их в Москве боярам. Паны-рады ссылались на то, что «он (воевода. – В. К.) ныне у вас в руках».

Весьма показательно, что ни московская, ни польско-литовская сторона не поднимали вопрос о царском статусе Марины Мнишек. Речь идет только о «дочери сандомирского воеводы», даже без упоминания ее имени, а также о некоем «веселье», а не о состоявшейся церемонии коронации московской царицы. Кажется, что в ходе дипломатических переговоров чаще говорилось о «подстенках дорогих для хором» (шпалерах ?), отправленных с краковскими купцами надворным маршалком Николаем Вольским и взятых самозванцем в казну.

Участвовавший в переговорах Вольский был озабочен неудачами своего коммерческого предприятия больше, чем судьбой попавшей в беду сандомирской воеводенки.

В конце концов московские посланники вынуждены были возмутиться: «Что вы воеводу правите, а вся смута и кроворозлитье от него сталось». Но и паны-рады не уступали, намекая на то, что будут продолжать поддерживать противников царя Василия Шуйского до тех пор, пока в Москве не распорядятся освободить всех, кто приезжал на свадьбу Марины Мнишек: «Только государь ваш отпустит воеводу с товарыщи и всех польских и литовских людей, которые ныне на Москве, ино и Дмитряшки и Петряшки не будет; а только государь ваш не отпустит всех людей, ино и Дмитрей будет и Петр прямой будет и наши за своих с ними заодно станут» [165].

8 января 1607 года (по григорианскому календарю) московские посланники получили королевскую грамоту, извещавшую царя Василия Шуйского об их приеме и посылке им вслед посланника Речи Посполитой. Одновременно был выдан краткий королевский ответ на статьи посольства князя Григория Константиновича Волконского и дьяка Андрея Иванова. Суть ответа выражалась в одной фразе: король и его люди объявлялись невиновными во всех недавних происшествиях в Московском государстве («во всем ничем король его милость, ни люди короля его милости не виновата и не причинялся до того, что вы до него не гораздо говорите»). Марина Мнишек опять не удостоилась отдельного упоминания в документе, выданном от имени короля. В связи с ней было только вскользь упомянуто об обращении к королю Сигизмунду III от московских властей: «И позволенье панны воеводинки Сендомирской в малженство тому Дмитрови они просили, и короля его милости на веселье просили же». Зато в конце королевского ответа содержалось требование возмещения убытков, понесенных иноземными и своими купцами. Особенно были выделены претензии купца Целяра Голпиена и (куда же без него!) надворного маршалка Николая Вольского. Отпуск посольства князя Григория Константиновича Волконского и дьяка Андрея Иванова опять сопровождался ущемлением посольской чести.

На фоне этих малоприятных переговоров заслуживает быть отмеченным первый самостоятельный посольский прием «Водиславом королевичем» своих будущих подданных. Королевич принимал московских посланников, сидя «на стуле», одет он был «в немецкое платье, а шапка на нем была бархатна». Вокруг королевича была большая свита, переговоры от его имени вел его воспитатель («дядька») пан Михаил Конарский. Но тогда еще

никто не заглядывал в будущее и не мог даже предположить, что королевич Владислав со временем будет конкурировать с Мариной Мнишек в правах на русский престол. Пока же посланникам вернули те «поминки, что несли х королю», их самих ничем не наградили, выдали в ответ на их речи не полный ответ, а только «короткое письмо». Да и из Кракова их «нихто не проводил» кроме пристава. Трактовать это иначе как провал миссии было нельзя. Волконского и Иванова просто выгнали. Московские посланники еще сопротивлялись и угрожали приставу: «И какову нам король нечесть учинил, и государь наш царьское величество против его посланником также учинит». Однако что можно было спросить с исполнителя? В Речи Посполитой явно побеждала партия войны.

Происшествие с московскими посланниками обеспокоило литовского канцлера Льва Сапегу, обычно встречавшего послов и посланников Московского государства на их обратном пути из Речи Посполитой. Существовали давние противоречия между Польской короной и Литовским государством, по-разному смотревшими на взаимоотношения с Москвой. Ближайшие соседи в Литве больше были заинтересованы в мире, так как первыми страдали в случае начала военных действий. Но они же когда-то больше всего и потеряли от войн с Московией, почему и не оставляли надежды вернуть себе что-то из утраченных смоленских и северских земель. С образованием единого государства Речи Посполитой у литовских магнатов появились польские конкуренты, не желавшие бескорыстно «таскать каштаны из огня» для литовцев, но претендовавшие на свою долю в случае территориальных приобретений. Во время рокоша литовская знать противостояла польской магнатерии и шляхте, готовым мстить за убийство в Москве людей, приехавших на свадьбу Марины Мнишек. В этот момент канцлеру Льву Сапеге было выгодно продемонстрировать миролюбивые настроения в отношении Московского государства.

Когда князь Григорий Константинович Волконский и дьяк Андрей Иванов на обратном пути из Кракова приехали в Слоним, они были с почестями приняты канцлером, что выглядело разительным контрастом по сравнению с краковскими проводами. Литовский канцлер Лев Сапега поведал посланникам, что и раньше осуждал сандомирского воеводу Юрия Мнишка за поддержку самозванца: «А про воеводу де Сендомирского канцлер говорит, что он учинил не гораздо, не подумав с паны-радами, пошел к Москве; а он Лев ему отговаривал, чтоб к Москве не ходил, и воевода его не послушал, и то ему стало от себя». Со слов служившего у канцлера писаря Адама Лукашева посланники

узнали, что канцлер высмеивал тех, кто начинал разговоры о спасении самозванца: «Что многие люди говорят, будто он жив, и канцлер де Лев Сапега тем смеетца и говорит, что ему подлинно ведомо, что тот вор убит и сожжен в порох». Сапега якобы даже критиковал в письме к королю Сигизмунду III действия панов-рад, «которые при короле», что они «не гораздо учинили».

Обнаружилась и другая небезынтересная деталь: канцлер уже было приготовил в подарок посланникам кубки, которые даже «были и принесены за стол и посланником на них пить подносили», но потом, со слов пристава, поостерегся демонстративно противопоставлять себя королю: «Канцлер де вас хотел дарить… да раздумал затем, что король вас не дарил; и только ему вас дарить, и от панов-рад за то будет на него волненье великое». С тем посланники князь Григорий Константинович Волконский с дьяком Андреем Ивановым и вернулись в Московское государство.

«Призрак» спасшегося Дмитрия преследовал князя Григория Волконского и дьяка Андрея Иванова до самого конца их поездки. Писарь Адам Лукашев убедил посланников выдать особое письмо или «объявление» об убитом «Ростриге» и других самозванцах для рассказов на съездах («соймиках») литовской шляхты. И в этом письме, как и во все время исполнения посольства, князь Григорий Волконский и дьяк Андрей Иванов не жалели обвинений «страдника, вора, чернеца», называвшегося «царевичем Дмитреем Углецким». Они обвиняли его в стремлении «порушить» православную веру, для чего будто бы он и пригласил в Москву сандомирского воеводу Юрия Мнишка с польскими и литовскими людьми, которые поругали «святые иконы», чинили неслыханное «насильство и кровопролитье»: «И великих людей жен бесчестили, из восков вырывали, и на веселье невесты отымали». Любопытно, что посланники при этом виртуозно обошли все упоминания о другом «веселье» – свадьбе «царицы» Марины Мнишек.

Дипломаты подробно описали личность убитого «ростриги»: «Обличьем бел, волосом рус, нос широк, бородавка подле носа, уса и бороды не было, шея коротка». Сделано это было для того, чтобы обличить Михаила Молчанова, который выдавал себя в Речи Посполитой за спасшегося «Дмитрия»; тот выглядел совсем по-другому: «Обличьем смугол, волосом черн, нос покляп (крючковатый. – В. К.), ус не мал, брови велики нависли, а глаза малы, бороду стрижет, на голове волосы курчеваты взглаживает вверх, бородавка на щеке». Обличая Молчанова, а заодно и других возможных претендентов на имя «царя Димитрия», посланники призывали: «Таким бы вором не верить и облича их

карать, чтоб от таких воров меж великими государи и меж государств смута не была» [166].

Но, как показали дальнейшие события, было уже поздно. Власть царя Василия Шуйского оказалась запятнана кровью свергнутого предшественника. С самого начала царя не признали в Северской земле и во многих других уездах. Русским людям понравилось «играть» в «царей»; соблазнительна была сама легкость, с которой можно было отказаться от любых обязательств, сменить свой статус и найти выгоду при тех условиях, которые они устанавливали сами. Позднее Авраамий Палицын так выразится, создав емкую формулу Смутного времени: «Царем же играху яко детищем, и всяк вышши меры своея жалования хотяше». Без понимания такой психологической перемены трудно объяснить начавшуюся самозванческую чехарду.

Свой самозванец – «царевич» Петр Федорович – объявился у терских казаков еще при «царе Дмитрии Ивановиче». Пока казаки, исполняя царское повеление о доставке самозванца, ехали с ним в Москву, стало известно о гибели «Ростриги». Смысл поездки исчез. С того времени имя «царевича» Петра Федоровича стало знаменем так называемого «восстания» Ивана Болотникова, получившего в советской историографии название «первой крестьянской войны». Это восстание стало самым серьезным испытанием новой власти. Царю Василию Шуйскому с трудом удалось отвести угрозу захвата столицы сторонниками самозваного «Петрушки» – казака Илейки Муромца – в декабре 1606 года. Но бои с войском самозваного «царевича» и его главного воеводы Ивана Болотникова продолжались еще почти целый год [167].

Занятый борьбой с Болотниковым, царь Василий Иванович просмотрел главную угрозу своему царствованию. А она по-прежнему исходила от… «царя Дмитрия Ивановича». Если посланникам князю Григорию Волконскому и дьяку Андрею Иванову удалось «разоблачить» Михаила Молчанова, то ни им, ни кому бы то ни было другому не удалось заставить врагов царя Василия Шуйского отказаться от поисков новых претендентов на наследство свергнутого самозванца. И – как и следовало ожидать – такой претендент скоро нашелся.

Происхождение нового «царя Дмитрия» (он же Лжедмитрий II, просто «Вор» или позднее «Тушинский вор») окутано еще большим покровом тайны, чем обстоятельства жизни его предшественника, встретившегося в Самборе с Мариной Мнишек [168]. Официальная версия «появления Вора Стародубского, како назвася царем Дмитрием», содержится в отдельной статье «Нового летописца». Здесь рассказывается, как летом 1607 года в

пограничном с Литвой городе Стародубе объявились два человека, один из которых назвался Андреем Андреевичем Нагим, а другой – московским подьячим Алексеем Рукиным. «А приидоша неведомо откуда и сказаша, что пришли от царя Дмитрия к ним. И сказаша стародубцам, что царь Дмитрей приела их наперед себя для того, таки ль ему все ради: а он жив в скрыте от изменников». Обрадованные стародубцы подступили к подьячему с пристрастием, чтобы тот рассказал им немедленно, где находится царь Дмитрий: «Возопиша единодушно, что все мы ему ради, скажите нам, где он ныне, и пойдем все к нему головами». Алексей Рукин лишь обнадеживал собравшуюся толпу: «Здеся есть у вас царь Дмитрий». Дело дошло до пытки, только после которой подьячий наконец признался, что тот, другой человек, пришедший с ним в Стародуб, и есть царь Дмитрий: «Сей есть царь Дмитрей, кой называетца Ондреем Нагим». После добытого с таким трудом признания «стародубцы же все начаша вопити и начаша звонити в колокола» [169].

История весьма правдоподобная для Смуты. Начинается все как шутка или нелепая история, а завершается вполне реальными угрозами и несчастьями. Показательно, что автор «Нового летописца» считал главным в этом деле «начального воровства» даже не тех, кто присвоил себе имя «царя Дмитрия», а стародубца Гаврилу Веревкина. Именно он начал переписку об объявившемся в Стародубе самозванце с Путивлем, Черниговом и Новгородом-Северским – городами, связанными когда-то с начальной историей царевича Дмитрия и продолжавшими воевать с царем Василием Шуйским.

Интересно, что версия эта вполне согласуется с тем, что было известно о появлении Лжедмитрия II его польским сторонникам. В записках Иосифа Будило тоже говорится о приходе в Стародуб человека, назвавшегося Андреем Андреевичем Нагим «в десятую пятницу после русской Пасхи» [170]. (Нет ли тут путаницы с Пятидесятницей – пятидесятым днем после Пасхи, то есть Троицей?) Известно, что Пасха в 1607 году пришлась на 5 апреля, и если следовать буквально тексту Иосифа Будило, то появление «Нагого» – «царя Дмитрия» в Стародубе следует датировать временем около 12 июня 1607 года. Именно этим днем, как выяснилось недавно, датировано первое окружное послание Лжедмитрия II в Могилев [171]. Однако такой хронологии несколько противоречат записи «Дневника Марины Мнишек». Сандомирский воевода и его дочь Марина Мнишек стали получать подтверждения того, что «Дмитрий точно жив», начиная уже с 5 (15) июня. 10 (20) июня они уловили какие-то разговоры о Дмитрии, распространившиеся в Ярославле, что сразу же

повлекло за собой изменение в отношении приставов к ссыльным. «Желая ему (если жив) одержать верх, – писал автор «Дневника» о реакции на появление слуха о спасшемся Дмитрии, – наши приставы и с нами в то время ласковее обходились». В конце же июня 1607 года пришли уже такие «радостные известия», содержание которых даже не было доверено страницам «Дневника». При этом в свите сандомирского воеводы исчезли все «страхи» и люди почти уверились, что уже «зимним путем» поедут в Польшу [172]. Для такой перемены настроения должно было быть более чем веское основание, и его можно видеть в том, что до Марины Мнишек дошло известие о появлении ее чудесно спасшегося мужа в Стародубе. Хотя нельзя исключать и того, что усилившиеся разговоры о «царе Дмитрии» стали следствием выступления из Москвы царя Василия Шуйского во главе своего войска для борьбы с болотниковцами, действовавшими также от имени самозванца.

Другой важный источник, описывающий стародубское «явление» Дмитрия, – «История Московской войны» ротмистра Николая Мархоцкого, пришедшего служить к Лжедмитрию II вместе с войском князя Романа Ружинского. В польских отрядах самозванца знали примерно о том же, что и в Москве. Разве что в записках Николая Мархоцкого подробнее говорится о предыстории появления в Литве некоего «сына боярина из Стародуба»: поначалу его «приняли за шпиона» и посадили в тюрьму в местечке под названием Пропойск. Чтобы выбраться оттуда и объяснить свое появление в литовских землях, этот человек назвался Андреем Нагим, которого будто бы преследует царь Василий Шуйский, «уничтожавший все “дмитриево племя”, а по-нашему – родичей». Отправленный обратно на родину в Стародуб, мнимый «Нагой» объявился там уже царем Дмитрием. Ротмистр Николай Мархоцкий тоже знал о сцене допроса «некоего москвитянина Александра» (подьячего Рукина, согласно «Новому летописцу»), который под пыткой и указал на «царя», находившегося среди Стародубцев. «Царь Дмитрий» очень оригинально сумел доказать, что он царь: взяв в руки палку, он набросился с руганью на Стародубцев: «Ах вы… вы еще не узнаете меня? Я – государь» [173]. Такому государю поверили сразу.

Кем был этот человек на самом деле? Загадка происхождения второго Лжедмитрия волновала всех, кто узнавал о его существовании. Но разгадать ее никому так и не удалось – ни его врагам, ни его союзникам. Царь Василий Шуйский напрасно пытался расспрашивать пойманных «языков», служивших у самозванца или просто видевших его. Агент канцлера Льва Сапеги только подвел своего патрона, высказав перед королем

предположение о тождестве двух Дмитриев. Ни иностранным писателям, ни русским летописцам не удалось собрать никаких достоверных свидетельств. Такова бывает плата за самозванчество – полная потеря собственной личности. «Царь Дмитрий» – «Вор», «царик», как его стали называть, – не исключение.

Правда, есть прямое свидетельство автора белорусской «Баркулабовской летописи» – священника Федора Филипповича, сообщавшего, что самозванца звали Дмитр Нагий, а «был напервей у попа шкловского именем, дети грамоте учил, школу держал, а потом до Могилева пришел». С его слов это был вовсе жалкий человек: «Кождому забегаючи, послугуючи, а мел на себе оденье плохое: кожух плохий, шлык баряный, в лете в том ходил». В «Баркулабовской летописи» также сообщается о заключении Нагого в Пропойске и отправке его за московскую границу, где он уже был признан царем и подчинил себе многие города, включая Стародуб: «Там же его москва по знаках царских и по писаных листах, которые он утекаючи з Москвы по замках написавши давал, через тыи уси знаки его познали, иж он ест правдивый, певный царь восточный Дмитр Иванович, праведное солнце».

Однако признать все это правдой мешает одно обстоятельство. Сидя в селе Баркулабове, в окрестностях города Быхова, можно было все что угодно писать о том, что происходит в соседнем государстве – России. Даже то, что там правит некий царь Андрей Шуйский. Не добавил ли священник Федор Филиппович к биографии известного ему шкловского бродяги никогда не существовавшее продолжение, вольно или невольно введя в заблуждение всех последующих историков, вынужденных учитывать любые крупицы сведений о втором Дмитрии?

Но и отвергнуть сообщение «Баркулабовекой летописи» как просто недостоверное едва ли возможно. Этому препятствует совпадение ее сведений с записками немецкого наемника на русской службе Конрада Буссова и с дневником находившегося в плену в Московском государстве отца-иезуита Каспара Савицкого. Все они, оказывается, слышали примерно ту же историю о происхождении царя. И в «Московской хронике» Конрада Буссова, как и в провинциальной летописи, Лжедмитрий II назван «школьным учителем», жившим «у одного белорусского попа в Шклове». Вот только другие детали не совпадают. Учитель «по рождению был московит, но давно жил в Белоруссии, умел чисто говорить, читать и писать по-московитски и по-польски, – записал Конрад Буссов. – Звали его Иван. Это был хитрый парень» [174]. Отец Каспар Савицкий также записал, что «царик» прежде «учил детей в селах в окрестностях Могилева». Некогда он будто бы был

взят для преподавания в дом священника, откуда его выгнали из-за неприглядного поведения с хозяйкой дома [175].

Естественно, что у многих появление чудесным образом ожившего «Дмитрия Ивановича» вызывало большие сомнения. Доходило до того, что «царю» устраивали испытания, и самое поразительное то, что он их успешно проходил. (Вот еще одна важная составляющая самозванческого мифа!) Николай Мархоцкий в «Истории Московской войны» ссылался на знакомого ему ветерана первого похода «царевича Дмитрия» в Россию в 1604 году, служившего теперь в хоругви князя Романа Ружинского. Этот человек, некий Тромбчинский, «напомнил Дмитрию некоторые дела первого царя и все рассказывал ему наоборот, а не так, как было. Царь во всем его поправлял, указывая, что не так и как было на самом деле. Испытав его несколько раз, задумался Тромбчинский и сказал: “Признаю, милостивый царь, что я здесь в войске был единственным, кто не дал себя убедить. И Святой Дух меня просветил, верю – ты царь тот самый”. Царь же на это усмехнулся и отъехал прочь» [176]. Таким образом обманывались многие, если не все, и разница заключалась только в том, что одни обманывались искренне, а другие – из-за выгоды.

Многих интересовало, откуда самозванец так хорошо знал историю Лжедмитрия I. Свой ответ на этот вопрос правительство царя Михаила Федоровича дало в посольской грамоте французскому королю в 1615 году. Здесь говорилось, что именно воевода Юрий Мнишек раскрыл второму самозванцу тайны первого: «Пришед к тому другому вору в табор, сендомирской воевода, и дочь свою за тово другово вора дал, и с ним был в таборех многое время, и на всякое зло ево научал, и обычаи всякие прежняво вора ростриги тому вору рассказал». Но упомянутая грамота имеет целью скорее убедить адресата в вине сандомирского воеводы; никаких разгадок многочисленных «признаний» чудесного спасения «царя Дмитрия» она не содержит. Да и сандомирский воевода появился в таборах второго самозванца позднее.

К такому же ряду заявлений, не требующих доказательств, относится и утверждение той же грамоты, будто второй самозванец был «родом жидовин» [177]. Кто-то обнаружил после его бегства из Тушина в его покоях Талмуд (и, самое любопытное, оказался достаточно компетентным, чтобы определить содержание священной еврейской книги или свитка). Это и дало основание сразу после смерти Вора обвинить его в «жидовстве», что было равносильно тогда обвинению в еретичестве. Уже в наше время, опираясь на подобные свидетельства, Р. Г.

Скрынников пришел к выводу о том, что самозванец был «крещеным евреем» [178]. Однако эта гипотеза, получившая распространение в литературе, представляется весьма сомнительной. В самом деле, остается удивляться – прими мы гипотезу Р. Г. Скрынникова – той стойкости, с которой сторонники самозванца, знавшие его в Тушине, даже под пыткой не выдавали «страшной тайны», уводя следствие царя Василия Шуйского далеко от «еврейского следа». Назначенный при самозванце воеводой в Кострому князь Дмитрий Горбатый-Мосальский «сказывал» в конце 1608 года, что «которой де вор называется царем Дмитреем и тот де вор с Москвы, с Арбату от Знаменья Пречистыя из-за конюшен попов сын Митька». Вологодский воевода и спальник самозванца Федор Нащекин признался только в том, что это «не тот, что на Москве был Гришка Отрепьев». Андрей Палицын говорил «в роспросе» в Тотьме, что «тот царевич вор Дмитрей взят из Стародуба, а взяли его литва», другой сын боярский Андрей Цыплятев передавал слух, будто «царевича Дмитрея называют литвином, князя Ондрея Курбьского сыном» [179]. Все это может свидетельствовать об одном – тайна происхождения второго самозванца действительно была надежно упрятана от посторонних глаз.

Казачий атаман Иван Заруцкий – тот самый, который впоследствии сыграет столь важную роль в судьбе Лжедмитрия II и особенно Марины Мнишек, – тоже должен был пройти через процедуру «узнавания» чудесно спасшегося «царя» в Стародубе. По сообщению Конрада Буссова, атаман «с первого взгляда понял, что это не прежний Димитрий, однако на людях виду не показал и, невзирая на это, воздал ему царские почести, как будто он был обязан сделать это и прекрасно знает его, хотя раньше он его никогда не видал» [180]. Одна маленькая ложь влекла за собой другую; все это позволяло укрепляться и развиваться мифу, созданному кем-то для достижения власти.

В этом, наверное, и был ключевой пункт всей истории второго самозванца. Первый Лжедмитрий начинал все на свой страх и риск, второй – повторяя его путь – принимал на себя и прежний опыт. Решиться на такое, без страха быть разоблаченным, почти невозможно. Отсюда небезосновательные представления о том, что Лжедмитрия II специально готовили к тому, чтобы он сыграл роль бывшего «царя». Но кто? Первыми приходят на ум родственники князей Вишневецких, Мнишков, Тарлов и Стадницких, остававшихся в московской ссылке. Но ведь самозванчество – это настолько русская идея, что для того, чтобы даже додуматься до нее (не говоря уже о том, чтобы хорошо сыграть выбранную роль), надо хорошо знать московские

порядки! Скорее, можно говорить о том, что мысль о воскрешении из небытия «царя Дмитрия» пришла из России, но вот исполнена она была в Речи Посполитой.

Одним из первых, кто примерял на себя царскую маску, был Михаил Молчанов, оказавшийся во второй половине 1606 года в Самборском замке под покровительством пани Ядвиги Мнишек, матери Марины. Близкие Мнишков участвовали и в поисках нового претендента на роль «царя Дмитрия». По свидетельству Конрада Буссова, шкловский учитель был «найден» в ответ на обращения Ивана Болотникова и воеводы князя Григория Шаховского из осажденной войском царя Василия Ивановича Тулы: они буквально молили о скорейшем прибытии «царя», от имени которого вели войну с Шуйским.

Но даже если это было действительно так, то боль и страдания Мнишков по поводу судьбы своих близких просто использовали. Определяющими для возобновления дела «царя Дмитрия» стали не метания несчастной матери Марины Мнишек и даже не случайный стародубский успех Вора. Все это мало бы помогло собрать войско для похода в Московское государство, если бы в Речи Посполитой не произошли решающие бои с рокошанами, завершившиеся их разгромом в битве под Гузовым 6 июля 1607 года. Повергнутые противники короля Сигизмунда III оказались перед выбором в прямом смысле этого слова. Самуил Маскевич довольно красочно описал терзания будущего гетмана самозванческого войска князя Романа Ружинского, которому предстояло выбирать после битвы под Гузовым две дороги – одну во «Влохи», а другую – туда, где находился «царь Дмитрий» [181]…

С. Ф. Платонов очень точно подчеркнул отличия между первым и вторым «царями Дмитриями»: «Расстрига, выпущенный на московский рубеж из королевского дворца и панских замков, имел вид серьезного и искреннего претендента на престол. Он умел воодушевить своим делом воинские массы, умел подчинить их своим приказаниям и обуздать дисциплиною… он был действительным руководителем поднятого им движения. Вор же вышел на свое дело из Пропойской тюрьмы и объявил себя царем на Стародубской площади под страхом побоев и пытки. Не он руководил толпами своих сторонников и подданных, а напротив, они его влекли за собою в своем стихийном брожении, мотивом которого был не интерес претендента, а собственные интересы его отрядов» [182].

…Но вернемся к истории с дипломатическими прениями о судьбе Мнишков, их близких и других поляков и литовцев, задержанных в Московском государстве. Ответный приезд посланников Речи Посполитой Станислава Витовского и

королевского секретаря князя Яна Соколинского также растянулся на длительное время. Верющая грамота короля Сигизмунда III о посольстве была выдана в Варшаве 22 мая 1607 года [183], к годовщине трагических майских событий в Москве. Однако затем король Сигизмунд III был занят подавлением рокоша, и обстоятельства воспрепятствовали скорому отъезду дипломатов Речи Посполитой. На смоленском рубеже посланники оказались только в конце июля 1607 года. Но теперь уже царь Василий Шуйский был занят разрешением своих внутренних нестроений под Тулой. Именно в это время к нему из Стародуба явился некий сын боярский, который храбро защищал нового «царя Дмитрия» и «говорил царю Василию встрешно, что “премой ты, под государем нашим под прироженым царем подыскал царства”» [184]. Стародубец умер под пытками, но не отказался от Вора. Все это должно было заставить царя серьезнее отнестись к новой угрозе.

Боярской думой в Москве руководил брат царя князь Дмитрий Иванович Шуйский. Царь Василий Иванович послал из Тулы в Москву распоряжение о встрече посланников и подготовке запасов для немалой посольской свиты в 300 человек. 1 августа был выдан наказ приставам Андрею Ивановичу Дедевшину и Ивану Полтеву, провожавшим Станислава Витовского и князя Яна Соколинского сначала от рубежа до Смоленска, а потом от Смоленска до Москвы.

Между тем в течение уже нескольких месяцев, с марта 1607 года, задержанным королевским послам в Москве и сандомирскому воеводе Юрию Мнишку в Ярославле обещали, что вскоре от короля Сигизмунда III приедет посол для решения их дел (называли имя князя Богдана Огиньского). Тогда же, как уже говорилось, из Ярославля в Москву перевели брата воеводы Юрия Мнишка, красноставского старосту Яна Мнишка, с челядью из семидесяти человек, чтобы отправить их как можно скорее домой.

Но прошло почти полгода, наступил сентябрь 1607 года, а в Москве так и не дождались приезда посольства из Речи Посполитой. Нервы прежних посланников Николая Олесницкого и Александра Госевского стали сдавать, и они потребовали у своего пристава Федора Пушкина ответа о причинах промедления с приездом королевских представителей: «И где де они на лесу ль на рубеже с волки мешкают». Николай Олесницкий, не сдерживая себя, нападал на царя и бояр: «Так де и в государе вашем правды нет, ни в боярех» [185]. Недовольство, пока еще не в столь резкой форме, выражали и новые послы. Им приставы, в соответствии с наказом, прямо открывали причины задержки. Все дело было в «адекватном ответе» Посольского приказа, объявленном дьяком

Посольского приказа Василием Телепневым: «Государя нашего посланник князь Григорей Волконский да дьяк Андрей Иванов были не отпущены от вашего государя мало не с пол года».

В итоге посланники Речи Посполитой подали свои «верющие» грамоты только 10 ноября 1607 года, а царь Василий Иванович принял их еще позднее – 22 ноября 1607 года. Первый, самый трудный, шаг был сделан, но, как оказалось, он ненамного приблизил день освобождения задержанных в России поляков и литовцев. Имя Марины Мнишек и на этот раз почти не звучало. Новых посланников гораздо больше заботила судьба прежних послов Николая Олесницкого и Александра Госевского. В соответствии с королевским наказом Станислав Витовский и князь Ян Соколинский стремились прежде всего увидеться с сидевшими под арестом послами и сандомирским воеводой и только после этого готовы были отправлять свое посольство по существу. В подтверждение своей позиции посланники ссылались на то, что они отосланы «с сейма», а следовательно, исполняют требование всей шляхты Речи Посполитой. Назначенные же «в ответ» боярин князь Иван Михайлович Воротынский, окольничий Иван Федорович Колычев, думный дворянин Василий Борисович Сукин, думный дьяк Василий Телепнев и дьяк Андрей Иванов проводили свою линию, обвиняя посланников короля Сигизмунда III в нарушении их государем перемирных лет. Русские дипломаты выговаривали в сердцах своим польско-литовским визави: приехали они «не для дела», а послов и воеводу «повидети», «только проситесь к воеводе» [186].

Очень быстро известие о приеме посольства достигло Ярославля. Автор «Дневника Марины Мнишек» близко к тексту изложил содержание переговоров. В записи 9 декабря 1607 года приводится речь посла Речи Посполитой, обращенная к царю Василию Ивановичу: «Почему пана посла государя моего и сенатора, пана воеводу, и других таких знатных людей столь долгое время без всякой вины держал в заключении? Ибо не землю грабить, не военным обычаем приехали они все, но потому что вы сами прежнему царю, государю своему у короля его милости и Речи Посполитой жену просили. Мирным обычаем, в свадебном поезде, въехали они вместе с послами польскими, подтверждая дружбу, чтобы договариваться о вечном мире». Дальше пересказываются прения о том, был ли Дмитрий настоящим царем, и приводится совершенно фантастическая, но льстящая оскорбленному самолюбию пленных картина воинственного поведения посла Речи Посполитой. В Ярославле получили известие о том, что он, вступившись за сандомирского воеводу, был готов по решению короля объявить «москве» войну,

что и продемонстрировал с помощью театрального трюка с подачей ультиматума в виде сабли: «А теперь, если оставшихся людей государя моего из земли своей не отпустишь, да не таких оборванных, как других отпустил, государь мой приказал отдать тебе эту саблю, объявляя справедливую войну». Якобы после этого царь, приняв саблю, приказал «того посла задержать, посадив под надежную стражу, а своего посла снова хотел отправить в Польшу» [187]. Такими рассказами утешались пленники в Ярославле, поддерживая свой иссякавший воинственный дух. В любом случае Марина Мнишек и ее окружение должны были получить надежду на изменение своей фортуны.

23 декабря 1607 года «литовские посланники» опять были «в ответе» у бояр, но дело с места не сдвигалось. В ходе переговоров прозвучал лестный для московской стороны аргумент о том, что для царя Василия Ивановича большая честь одновременно принимать сразу четырех послов и посланников короля Речи Посполитой. Однако это была всего лишь дипломатическая уловка. Дав разрешение на совместные действия польско-литовских послов и посланников, царь Василий Иванович сильно укрепил позиции противоположной стороны. 28 января 1608 года послы Николай Олесницкий и Александр Госевский вручили царю Василию Ивановичу новые грамоты о своем посольстве. Они были привезены Витовским и Соколинским и датированы 28 мая 1606 года, что позволило послам, отправленным когда-то к самозванцу, исполнять новую дипломатическую миссию. При этом произошла замечательная сцена. К бывшим послам-«пленникам», получившим новые полномочия, в соответствии с дипломатическим протоколом обратились с вопросом: как они «поздорову ль» [188]. Можно представить, с какими чувствами вынуждены были произносить свои любезные ответы Николай Олесницкий и Александр Госевский, тайно из своего заточения убеждавшие короля начать войну в Московском государстве [189].

В верющих грамотах короля Сигизмунда III, врученных Олесницким и Госевским, в соответствии с устоявшейся десятилетиями дипломатической традицией опять отсутствовало упоминание царского титула Василия Шуйского. О нем говорилось только как о великом князе и государе. Но на этот раз никакого прения с послами по поводу титулатуры не произошло. Неприятие «царского» титула московских государей распространялось и на Марину Мнишек. Везде о ней говорится как о «дочери сандомирского воеводы», «пани воеводенке», «жене» того «небощика» [190], то есть умершего самозванца Григория Отрепьева. Назвать Марину Мнишек в дипломатических

документах царицей означало бы косвенно признать царский титул со стороны Речи Посполитой. Другое дело окружение Марины Мнишек, которое по-прежнему называло ее «царицей» и отдавало ей подобающие почести.

Получив возможность действовать совместно, послы и посланники с удвоенной силой стали добиваться встречи с сандомирским воеводой. Но здесь уже московская сторона держалась до конца, чтобы не допустить, «кабы ему меж нас и вас быть в третьих», то есть сыграть роль третейского судьи. Если на переговорах в Москве сандомирского воеводу называли виновником случившейся Смуты и «грубником», то в Ярославле уже в январе 1608 года его начали обнадеживать близкими изменениями к лучшему. Сначала предложили всем, особенно воеводским слугам, написать прошения царю «о пожаловании и улучшении питания». Понимая, видимо, что это может быть использовано московской стороной на переговорах, все окружающие Марину Мнишек отказались от «подлого предложения», предпочитая голодать. Впрочем, лишения были не такими жестокими, так как ссыльные по-прежнему имели возможность добывать пропитание за свой счет. 19 (29) января 1608 года, по сообщению «Дневника Марины Мнишек», «приставы посетили пана воеводу». Тут же произошел спор из-за невоздержанных на язык приставов, употребивших какие-то бранные кабацкие слова, оскорбившие слух воеводы. Мнишек «просил, чтобы ему разрешили писать царю относительно посланца в Польшу, но его заставили подождать несколько дней, ободряя надеждой на что-то доброе» [191]. Ничего определенного, однако, не произошло; решение об отъезде воеводы в столицу принято не было. 9 февраля 1608 года послов Речи Посполитой уверили в том, что все задержанные в Ярославле, в том числе сандомирский воевода с родственниками и дочерью Мариной, живы («Седамирской и все люди живы, и вам мочно верити их боярскому слову» [192]).

С этого времени начались долгие и утомительные переговоры с полным перечислением «вин», ответами и новыми упреками противоположной стороны. Разговоры послов касались большей частью ответственности за поддержку самозванца. Русская сторона обвиняла короля Речи Посполитой в нарушении перемирия в результате оказанной им поддержки самозванцу, а польско-литовские послы и посланники отговаривались тем, что «москва» сама приняла Дмитрия за своего государя. Николай Олесницкий и Александр Госевский продолжали настаивать на свидании с Юрием Мнишком. Бояре отвечали им: «А то мочно и ныне разумети: коли он будет с вами, тогды воевода станет

говорити по вашему науку». Итог подвели сами участники переговоров: «говорим много, а все одно» [193].

Цель царя Василия Ивановича на переговорах состояла в заключении перемирия с Речью Посполитой, что довольно быстро поняли польско-литовские послы. Им же выгоднее было продолжать обвинять московскую сторону в том, что случилось в Москве 17 мая 1606 года, и попытаться взыскать убытки, понесенные соотечественниками, задержанными во враждебном государстве. В итоге послы прямо заявили, что у них не удастся «перемирье вытиснути» воеводой. Бояре, назначенные в ответ, вынуждены были донести царю Василию Ивановичу, что послы и посланники «стали в упор».

15 марта 1608 года состоялся очередной прием всех послов и посланников Речи Посполитой, находившихся в Москве, комиссией боярина князя Ивана Михайловича Воротынского. На приеме было объявлено: «А того себе, Панове, и в мысли не держите, что нам с вами, не говоря о большом деле, да говорити о воеводе: на то вам ныне и вперед позволено не будет». Так судьба Марины Мнишек и ее отца превратилась в дипломатических документах уже в малозначащее «дело», из-за которого не стоило уходить от главных вопросов межгосударственных отношений. Иначе считали польско-литовские дипломаты, как раз и приехавшие вызволять сандомирского воеводу и его приятелей и родственников из русского плена. Они дали свои подробные письменные ответы по всем тридцати четырем статьям, обсуждавшимся во время переговоров, пытаясь всячески обелить Юрия Мнишка. Главный аргумент состоял в том, что «пан воевода Сандомирский», хотя и являлся сенатором, но ни он сам, ни вместе с другими панами, «до проваженя того чоловека на господарство Московское и до войны приводить не могли». Согласно порядкам, существовавшим в Речи Посполитой, объясняли послы, никто, кроме короля, заручившегося поддержкой сейма и всех сословий, не имел права начинать войну («против иншого кождого неприятеля без сойму валного и позволенья всих панов-рад и станов коруны Польское и великого князьства Литовского войны не подноит»). Участие короля в «заручинах» Марины Мнишек в Кракове (характерно уже признание этого обряда не свадьбой, а обручением) объяснялось посланниками «правдивым» посольством Афанасия Власьева. Легко отводили послы и обвинения в адрес воеводы, который якобы приехал в Москву «военным обычаем» и «хотел вес чин духовный и бояр побить». Опять указывали на грамоты, привезенные Афанасием Власьевым и очевидную цель приезда на свадьбу Марины Мнишек: «Проважен не на войну, але на радость,

з жонами, з паннами и детками, не военно, але дорогокоштовне, в золоте, клейнотах, серебре, в конях дорогих, господарства вашого заседать не мыслил. И само дело то указует: даючи дочку свою за жону господару вашому, як самому господару и дочце своей, так и вам усим не упадку, але доброго помноженья зычил». Наконец в последнем пункте был объявлен указ короля, полученный послами, о необходимости добиваться возвращения всех ссыльных, приехавших с воеводой Юрием Мнишком: «Яко пан воевода с дочкою и с сыном, и иншие вси люди его королевской милости, от больших до найменьших, тут в господарство Московское приехали не войною, але вольно, и через вашого московского посла впроважены, а неслушне задержаны; так абы теж вольно вси со всими своими животами и достатками вборзе выпущены и до границ панства его королевской милости учтиво и здорово были отпроважены».

12 апреля 1608 года послы и посланники Речи Посполитой снова были на приеме у царя Василия Ивановича и жаловались на задержку всего дела, учиненную боярами, назначенными «в ответ». Посол Николай Олесницкий, как записали в отчете об этой встрече, отступил от протокола и обратился напрямую к руководителям Боярской думы. «Оглянясь на обе стороны, говорил бояром с серца», чтобы те способствовали их скорейшему отъезду домой. Все это, как и попытка передать письмо боярину князю Ивану Ивановичу Шуйскому, было пресечено личным вмешательством царя Василия Ивановича в ход переговоров. Послы и посланники были снова отправлены в Ответную палату говорить с прежней комиссией боярина князя Ивана Михайловича Воротынского. От имени царя им выговорили за нарушение дипломатического этикета: «И вам пригоже знати и делати так, как в посольских обычаех ведетца». В ответ чуть позже Николай Олесницкий оправдывался, что говорил он «не с серца», а «от великие нужи и жалобы», и ссылался на посольскую участь делать все по наказу: «Веть что мех: что в него положат, то и несет; а послу, что велят, то делает».

И все же царь Василий Иванович послал в Ответную палату еще одного окольничего, князя Даниила Ивановича Мезецкого, так как всем другим участникам переговоров было по существу высказано недоверие со стороны польско-литовских дипломатов.

Добрый жест царя Василия Ивановича был принят, и дальнейшие переговоры посол Николай Олесницкий вел уже с окольничим князем Даниилом Ивановичем Мезецким. Московская сторона по-прежнему ни в какую не соглашалась не только на предварительную встречу послов Речи Посполитой с сандомирским воеводой, но даже на отсылку писем к нему.

Поэтому послы и посланники придумали – может быть, на ходу – еще один компромисс. Во всяком случае, возможный выход из положения обсуждался прямо на глазах у бояр, окольничих и дьяков, находившихся в Ответной палате («и отшед в угол, говорили меж себя и, пришед к бояром, говорили окольничему князю Данилу Ивановичи»). Посол Николай Олесницкий предлагал обсудить такой вариант: воеводе Юрию Мнишку с его близкими будет от имени государя обещан день приезда к Москве, после чего они согласны начать переговоры («и последнее есмя говорили о том, чтоб нам было государево слово, что воевода Сендомирской с своими приятели будет к Москве и назначен бы был день, как им быти; а мы б, то слышев, к делу приступили»).

Но и на это предложение бояре не решились сразу дать ответ. Тогда со стороны польско-литовских послов и посланников началось давление на приставов и через них на московских дипломатов. Всеми возможными способами их убеждали в том, что это последний компромисс, на который согласятся послы во главе с Николаем Олесницким. Обычно в избу приставов на Посольском дворе приходил кто-то из людей послов и невзначай говорил с ними о текущих делах; потом, о чем было известно обеим сторонам, это записывалось и доносилось в приказ. 15 апреля 1608 года посольские люди внушали приставам: «Здесь де послов и посланников 4, а все де они глаза одново Сандамирского не стоят, и им де никак не сметь тово зделать, не видя ево и не слыша от нево слова. Такая де великая кровь пролилась братье нашей и такая смута учинилась меж государств: иные побиты, а иные пограблены наши люди. И о том о всем надобно спрошать Сандамирского и такая бы больная язва лечить здоровьем да добрым делом». Люди из свиты послов, прожившие уже около двух лет в Москве, убеждали, что они готовы бросить все и уехать скопом, оставив дипломатов одних: «И договор с послы у нас так: будет не отпустят, и нам ехоть на смерть; а не захотят послы ехоть, и оне живите, а мы все приговорили, с 600 нас человек, хотим ехоть. Уже де нам Бог судил так помереть. Бог де видит: смерьти ради, а здеся жити не хотим» [194].

На этой драматичной ноте сохранившиеся дипломатические документы обрываются. В деле, к сожалению, появляются лакуны с 21 апреля по 21 июня 1608 года. Согласно другой посольской книге, содержащей отчет о переговорах, начиная с 22 июня 1608 года обсуждение сроков и условий перемирия между Московским государством и Речью Посполитой к этому времени было уже в полном разгаре. Посольский приказ, видимо, серьезно отнесся к намерению свиты польско-литовских дипломатов пробиваться с

боем из Москвы. Такой скандал окончательно бы поставил отношения двух стран на грань очень невыгодного царю Василию Ивановичу разрыва. Согласно свидетельствам «Дневника Марины Мнишек», в конце апреля – начале мая 1608 года московская сторона все-таки согласилась на условия польско-литовских послов и приняла решение перевести воеводу и Марину Мнишек в Москву. Автор «Дневника» оставил запись о приезде нового «пристава Якима» 15 (25) апреля, а также специального ночного гонца к нему 5 (15) мая 1608 года, после чего воеводе улучшили корм («пристав сразу приказал хлопотать о хорошей рыбе для пана воеводы»). Человек, живущий в условиях несвободы, обычно очень внимателен к мелочам. Предчувствие не обмануло ссыльных, содержавшихся в Ярославле. Однако даже благоприятные изменения не заставили их потерять голову, а, скорее наоборот, еще сильнее насторожили. Поэтому, когда несколько дней спустя, 9 (19) мая 1608 года, пристав пригласил сандомирского воеводу Юрия Мнишка к себе и попытался вручить ему образец покаянного письма, из этой затеи ничего не вышло. «Новый пристав приветствовал пана воеводу, – записал автор «Дневника», – имея, вероятно, указание от царя, уговаривал написать смиренное прошение, в котором следует повиниться, и дал для примера образец. Но пан воевода не написал никакого прошения, поняв, что здесь какой-то подвох, что нельзя так раболепно написать и унижаться перед теми, которые наутро могут его казнить». Зная о ходе переговоров в Москве с послом Николаем Олесницким с товарищами, легко можно «просчитать» суть задумки московских дипломатов. Они не стали и дальше стоять на том, чтобы держать сандомирского воеводу в Ярославле, а решили начать желанные переговоры о перемирии. Но при этом попытались склонить Юрия Мнишка к тому, чтобы он сам попросил о помиловании, и в дальнейшем ссылаться на эту просьбу, а не на то, что московская сторона согласилась на требование польско-литовских послов и посланников. Умудренный в интригах сандомирский воевода даже в ссылке не утерял дипломатического чутья и не дал такого сильного козыря Посольскому приказу.

11 (21) мая 1608 года в Ярославль из Москвы вернулся прежний «пристав Афанасий», и, как свидетельствует автор «Дневника», «сразу же разнесся слух о выезде пана воеводы и царицы в Москву на какие-то переговоры». Тогда-то открылся настоящий смысл всей истории с присылкой нового пристава и несостоявшимся прошением о помиловании. Об этом тоже читаем в «Дневнике»: «Теперь обнаружилось, что то прошение, о котором выше упоминалось, потребовалось для того, чтобы пустить миру

пыль в глаза. Что вроде бы не потому вызывали пана воеводу, что он был нужен кому-то, но потому, что царь сжалился над ним и берет его к себе, чтобы ему было лучше». Воеводу Юрия Мнишка все же попросили написать письмо со своими требованиями и просьбами, но уже без всякого принуждения, «какое пану воеводе будет угодно».

Заканчивалась ссылка Марины Мнишек в Ярославле, длившаяся двадцать один месяц. 22-23 мая 1608 года прошли в сборах, спорах, плаче и радости. Нужно было определить: кто едет в Москву вместе с воеводой Юрием Мнишком и его детьми, а кто остается на прежнем месте. Позволено было «взять с собой лишь несколько шляхтичей». Этим, наверное, и объясняется то, что автор «Дневника Марины Мнишек» не попал в число отъезжавших в Москву и дальнейшие записи сделаны им уже в отсутствие самой «царицы». Про ее отъезд из Ярославля 15 (25) мая 1608 года он сообщает достаточно прочувствованно, не смея еще сильно радоваться и не переставая тревожиться как о тех, кто уезжал, так и о тех, кто оставался: «А в городе были печали и рыдания, одной надеждой оставшиеся себя утешали, что через три недели их обещали вывезти. Таким образом, выехали все женщины (ибо девушки все вышли замуж) и юноши, больше всего – шляхтичи; челяди же не разрешали брать больше шести сверх определенного числа. После этого осталось in genere [195] 162 добрых молодца» [196].

Сандомирский воевода Юрий Мнишек продолжал думать о тех, кто остался в Ярославле. С дороги он слал им письма, извещая о своих делах и, главное, о полученном письме польских послов, датированном 9 (19) мая 1608 года. В «Дневнике Марины Мнишек» приведена копия этого документа, отданная оставшимся в Ярославле людям вместе с письмом самого Юрия Мнишка. Послы извещали сандомирского воеводу, что они уже почти год добивались решения его судьбы на переговорах в Москве и достигли следующего решения: «что великий государь изволит послать для наших дальнейших переговоров с боярами за вельможным паном самим и за ее милостью дочерью его, а также за всеми панами Мнишками, которых вельможный пан возьмет с собой, тех, кого сочтет достойными находиться в столичном городе Москве. Также и ее милость, дочь вельможного пана, чтобы взяла с собою женщин тех, в которых будет нуждаться для услужения и будущего тут пребывания» [197].

После того как появилась ясность в судьбе сандомирского воеводы Юрия Мнишка, никаких препятствий для ведения переговоров о перемирии не осталось. Более того, в разрядные книги вошли известия об участии сандомирского воеводы в

приемах послов Речи Посполитой 3, 10 и 13-14 июня 1608 года (практически в те же дни, когда второй самозванец пришел в Тушино под Москву). Часть дипломатических документов утрачена, и мы не знаем, как был встречен воевода Юрий Мнишек и какое место ему было отведено на начавшихся переговорах о перемирии. Впрочем, упоминание его имени впереди имен других послов и посланников не оставляет сомнений в том, кто стал направлять переговоры с польско-литовской стороны.

Судя по другой, частично сохранившейся посольской книге, основные разногласия на этой стадии переговоров касались срока перемирных лет. Посольский приказ вначале предлагал «подкрепить» еще на 14 лет перемирие, заключенное при царе Борисе Годунове. Польско-литовские послы отговаривались тем, что «от короля больши двух лет о перемирье наказу нет». 22-24 июня 1608 года одна сторона соглашалась уже на шесть – восемь лет, а другая готова была поднять срок до трех лет. Объясняя свою позицию, послы Речи Посполитой обещали, что и в два года можно будет решить вопрос о мире: «Меж теми великим государствы болшое перемирье или вечное докончанье учинити». Больший же срок, по их мнению, подданные московского государя могли использовать для подготовки новой войны: «А вы идете с нами неправдою и хотите вытиснута на нас неволею на 8 лет, кабы для того розсужаючи себе, что вы в те годы отдохнете, и смуты свои погладите, да на государя нашего землю войною пойдете, и кровь крестьянскую проливати хотите».

Торг продолжался до середины июля 1608 года. В ходе дипломатических прений попутно затрагивались и другие темы, имевшие непосредственное отношение к судьбе Марины Мнишек, а также к текущей ситуации с войском нового самозванца Лжедмитрия II, представлявшего уже значительную силу. Царь Василий Иванович готов был согласиться на трехлетнее перемирие, но ставил дополнительное условие: вывод из Московского государства польско-литовских сторонников самозванца («только выведите из государя нашего земли своих литовских людей, которые с Вором»). Поляки резонно отвечали, что они ничего не могут гарантировать кроме обещания воздействовать на тех, кто находился в войске самозванца: «Те люди вошли в землю государя вашего без ведома короля… А естли которые своевольные баламуты тут и останутца, и в том мы будем невинны». Но в Москве уже хорошо знали имена воровских гетманов князей Романа Ружинского и Адама Вишневецкого и требовали в первую очередь, чтобы послы способствовали их возвращению в Речь Посполитую: «А ходят с тем вором государя вашего именитые люди Оружинской и Вишневетцкой». Позднее к

ним добавили еще Александра Лисовского, «потому что он много зла в государя нашего земле починил». Но послы отказались писать его имя в записи, ибо он считался беглым преступником: «А Лисовского мы для того не написали, что он из земли государя нашего выволанец, и чести он своей отсужен, и в котором городе в нашем его поймают, и его там казнят». Еще бояре говорили послу Николаю Олесницкому, что среди польско-литовских сторонников Лжедмитрия II оказались как родственники посла, так и люди, нанятые женой сандомирского воеводы Юрия Мнишка, и потребовали повлиять на них, чтобы и они возвратились домой: «И тех людей как вам не вывесть». Все, что удалось московским боярам, окольничим и дьякам, сидевшим в «ответе», так это добиться устного обещания послов и посланников обратиться к людям, пришедшим для поддержки самозванца из Речи Посполитой, с тем, чтобы они возвратились назад, а также отправить к ним человека после заключения договора («а естли того не послушают, то мы, учиня договор и закрепя записи, к ним пошлем, а поедет с тою записью из нас товарыщ, которой ни буди, и говорити им будем, чтоб они того не нарушивали, и гораздо о том радети будем, чтоб то кроворозлитье крестьянское унять» [198]). Последнее обстоятельство должно бы было насторожить московскую сторону, но она, похоже, пребывала в эйфории, всерьез надеясь с помощью посла Николая Олесницкого и других повлиять на польско-литовских сторонников своего заклятого врага – Вора, приближавшегося с войском к Москве.

В тот же день, 23 июня 1608 года (по русскому календарю), послам снова разрешили встретиться с сандомирским воеводой Юрием Мнишком. Вместе с ним были князь Константин Вишневецкий (его привезли в Москву из Костромы) и ротмистр Матвей Домарацкий (он жил в ссылке в Вологде). 17 июля 1608 года, когда переговоры об отсылке представителя послов и посланников в полки Лжедмитрия II были в самом разгаре, воевода Юрий Мнишек был вызван в Ответную палату на Государев двор и лично участвовал в переговорах. Как оказалось, воевода Юрий Мнишек в тот день простился с Кремлем навсегда, хотя в дальнейшем он не оставлял попыток вернуться в столицу вместе с новым самозванцем.

Около 17 июля 1608 года был заключен договор о перемирии Московского государства с Речью Посполитой на три года и одиннадцать месяцев – до 20 июня 1612 года [199]. Согласно этому соглашению, воевода Юрий Мнишек, его дети Станислав и Марина, как и все задержанные в России подданные Речи Посполитой, возвращались на родину: «А которые люди ваши пан

Юрьи Мнишек, воевода Сендомирской, с сыном и з дочерью и с ыными своими приятели и иные ваши люди, полские и литовские, которые в том деле задеръжаны, из нашего Московского государства были не отпущены, и нам, великому государю, тех всех людей ваших от болшого и до малого человека мужескаго и женского полу, не задерживаючи, с их животами, которые при них, отпустите из государства нашего месяца сентября до 28-го дня 117-го (1608) году, и корм и подводы им до рубежа дата и отпровадити велети». Всего несколько строк, но сколько смысла было в них для тех, кого они впрямую касались! Предвидя возможное желание Марины встретиться с тем, кто выдавал себя за «царя Дмитрия», сандомирскому воеводе прямо запрещали все контакты с ним: «Зятем себе не называти и дочери своей Марины за него не давати, и иным всяким таким же вором ныне и вперед ничем не верить». Марина Мнишек теряла все права и даже само звание «московской царицы», к которому она уже должна была так привыкнуть: «И дочери своей Марины государским именем государынею Московскою не называти» [200].

Одним из последних документов посольства о сандомирском воеводе была запись, выданная 15 (25) июля 1608 года всеми четырьмя послами и посланниками боярину князю Андрею Васильевичу Голицыну, возглавившему переговоры с московской стороны на их завершающей стадии. Послы подписались и приложили свои печати в том, что они получили все разысканное имущество («маетность»), а также коней, принадлежавших воеводе Юрию Мнишку и его дочери Марине. Был удовлетворен и иск надворного маршалка Николая Вольского (к тому времени уже скончавшегося), так беспокоившегося о «подстенках», отправленных им к самозванцу. Но для того, чтобы окончательно решить все спорные вопросы об имуществе, договаривались через год «выслати на рубеж судей меж Орши и Смоленска». Послы и посланники подтверждали этой записью, что они отошлют листы «королевским именьем» ко всем сторонникам нового самозванца, приехавшим из Речи Посполитой: «Ажебы они от тых всих людей московских и от того чоловека, которого они называют господарским сыном, зараз отстали и шли вон з господарства Московъского». При этом польско-литовские дипломаты давали обещание, что никто из них не станет «сходиться» со «зменниками» князьями Романом Ружинским и Адамом Вишневецким, «а ехати нам просто к нашему господару» [201].

На деле, как известно, получилось по-другому. Хотя грамота к польско-литовским сторонникам Лжедмитрия II от послов Николая Олесницкого и Александра Госевского с категоричным требованием покинуть пределы Московского государства и была

составлена, но не прошло и месяца, как один из послов – Николай Олесницкий – оказался в стане самозванца и вел новые переговоры с адресатом этого послания гетманом князем Романом Ружинским. Видно, долгое пребывание в атмосфере Смуты изменило представления малогощского каштеляна о чести и он не считал зазорным нарушать условия подписанного им самим дипломатического документа. Другими словами, на войне все средства хороши! Но тогда всем надо было хорошо запомнить, кто ее начинал. Точно также, вопреки договоренностям, достигнутым в Москве в июле 1608 года, в стане Лжедмитрия II оказался и сандомирский воевода вместе с дочерью Мариной Мнишек. Но знала ли она, к кому ехала и на какую судьбу себя обрекала?

Глава пятая Вторая присяга, или загадка одной картины

В одном из залов Государственного исторического музея, задуманном еще его создателями в XIX веке и целиком посвященном эпохе Смуты, висят известные «парные» портреты Лжедмитрия I и Марины Мнишек. В 1876 году журнал «Русская старина» так описывал их: «Самозванец в латах, Марина – в польском костюме, сшитом по образцу французской моды того времени. На обоих портретах у фигур лежат царские короны, а на втором плане прописаны некоторые сцены: сражение на портрете Самозванца, въезд в Москву и коронование на портрете Марины» [202].

Невозможно оторваться от этих картин, происходящих из Вишневецкого замка Мнишков. Подкупает прежде всего их полная достоверность: изображения людей вполне реалистичны, чего не знала русская иконография того времени, переживавшая период становления «парсунного» стиля.

Правда, «вишневецкие» портреты «императора Дмитрия» и Марины Мнишек создавались художником, плохо знакомым с московскими реалиями. Изображенные за спиной Дмитрия батальные сцены и крепость с горным пейзажем лишь схематично обозначают московскую войну. Точно также красные стены и башни какого-то города слева от Марины Мнишек мало чем напоминают Москву. А вот справа, за спиной Марины, на «вишневецком» портрете изображен какой-то подиум с шатром; внутри него, если присмотреться, – коленопреклоненная женская фигура, на которую возлагают корону. Эта сцена связана с биографией Марины Мнишек. Но где и когда она могла происходить?

Ответ на эту загадку таится рядом, буквально на другой стороне того же зала. Здесь по стенам развешано еще несколько больших картин из Вишневецкого замка, главным действующим лицом которых является Марина Мнишек. На одной изображен момент обручения Марины в Кракове в 1605 году с представителем Лжедмитрия I послом Афанасием Власьевым. Другое полотно, с «московским» продолжением истории Марины, тоже не оставляет сомнений: оно посвящено коронационному шествию в Кремле. А вот к третьей картине стоит присмотреться: на ней изображено возложение русским патриархом или архиепископом короны на Марину Мнишек, но почему-то торжественный обряд происходит *в шатре, поставленном посреди*

открытого поля! (Польский историк искусства Мечислав Генбарович видел в нем павильон, характерный для эпохи Ренессанса.) Обычно изображение на картине трактуют как «въезд в Москву» или как движение свадебного поезда к Москве, поскольку рядом с шатром находится карета, запряженная в шестерку лошадей. Так полагали и авторы «Русской старины», и позднейшие отечественные искусствоведы [203]. Но это как раз тот случай, когда авторитет традиции сильнее здравого смысла. В музейном деле нередко случается, что тот или иной предмет долгое время живет с ошибочной атрибуцией, основанной на чьем-то первоначальном впечатлении. А ведь даже в латинской подписи к картине упоминается о коронации. По-видимому, следует отдать предпочтение польской искусствоведческой литературе, где разбираемое полотно всегда считалось изображением именно коронации Марины Мнишек [204].

Однако из источников ничего не известно о какой-то предварительной коронации Марины Мнишек на пути в Москву. Возникает вопрос: зачем дважды, но совершенно по-разному изображать одну и ту же сцену?

Для ответа на этот вопрос надо сопоставить интересующее нас полотно с «вишневецким» портретом Марины Мнишек. Легко увидеть, что изображения шатров на них совпадают. Более того, связь портрета Марины Мнишек с изображением коронации в шатре подчеркнута художником еще одной деталью: парадное «французское» платье Марины Мнишек на «вишневецком» портрете – то же самое, что и на другой картине. В отличие от полотна с коронацией в Кремле, где Марина правильно изображена в русском платье.

Характер изображения на всех картинах не оставляет сомнения, что оно делалось не с натуры, а по каким-то другим источникам. Московский Кремль на одной из них напоминает площадь итальянского города, а из больших открытых «окон» или «галереи» Успенского собора видно очертание некой восточной одноглавой церкви. Видя все это, уже мало обращаешь внимания на увенчанный фигурой Марса шатер или павильон, стоящий в окружении всадников и разных людей, где на Марину Мнишек возлагают корону. Эту композицию легко принять за аллегорическое изображение, что до сих пор, видимо, и происходило.

Подписи на латинском языке к каждой из коронационных картин также могут сбить с толку, так как события, связанные с коронацией, датируются и в том и в другом случае неверно – 1605 годом. Видимо, заказчик картин, диктовавший подписи, обращался к тем, кто хорошо помнил краковскую помолвку

Марины Мнишек и не особенно был знаком с более поздними событиями. Возможно также, что записи, в которых, кстати говоря, присутствуют грамматические и смысловые ошибки, вообще делались много позднее, чем сами картины [205]. Латинская надпись в картуше на картине, изображающей коронацию в Кремле, гласит [206]:

«MARIA MNISZCHOWNA GEORGII DE MAGNA KONCZYCE MNISZAECH PALATINI SENDOMIRIENSIS FILI A VXOR VERO DEMETRII IMPERATORIS MOSHOVIAE CORONATVR IN IMPERATRICE MOSCHOVIAE PER ARCHIEPISCOPVM RITVS GRECI IN VRBE MOSKVA METROPOLI IMPERII MOSCHOVITICI IN PRESENTIA LEGATI REGIS POLONIAE NICOLAII OLESNICKI. ANNO DOMINI 1605».

То есть: «**Мария Мнишковна, Георгия с Великих Кончиц Мнишка, воеводы сандомирского, дочь, а жена Дмитрия, императора Московии, коронована в императрицы Московии через архиепископа греческого обряда в городе Москва, столице империи московитов, в присутствии посла Польского короля Николая Олесницкого, лета Господня 1605**».

Обращает на себя внимание настойчивое именование Марии(!) Мнишек *императрицей*, а Дмитрия (но не Дмитрия Ивановича, как обычно называли первого самозванца) – *императором*, а также понижение сана иерарха православной церкви, венчавшего Марину Мнишек на русское царство: он назван не патриархом, а архиепископом. Если последнее можно объяснить простым незнанием устройства русской церкви, то настойчивое подчеркивание императорского титула у Марины Мнишек выдает заказчиков – семью Мнишков. Ведь официально в Речи Посполитой, как уже не раз было сказано, не признавали претензий московских государей не только на императорский, но даже и на царский титул. Сама же Марина, напротив, подписывала свои письма: «Марина Императрица».

На второй картине, изображающей коронацию Марины Мнишек в шатре, тоже есть латинская надпись:

«CORONATIO MARIANNAE MNISZCHOWNA GEORGIE PALATINI SANDOMIRIENSIS CVM TARLOWNA PROCREATAE FILIAE UXOHIS VERO DEMETRII IWANOWICZ IMPERATORE MOSCHOVIAE IN IMPERATRICEM IMPERII MOSCHOVITIO PER ARCHIEPISCOPVM RITVS GRAECI IN URBE METROPOLI MOSCUA APPELATA IN PRAESENTIA LEGATI REGIS POLONIAE NICOLAI OLESNICKI ET ASSISTENTIA IPSIUS IMPERATRICIS PARENTIS TUM SENATORUM OFICIALIUM ET NOBILIUM SAT POMPOSE ET GLORIOSE FACTA ANNO DWI 1605. Prout Gwagninius testatur».

То есть: «**Коронация Марианны Мнишковны, Георгия**

воеводы сандомирского с Тарловной урожденной дочери, а жены Димитрия Ивановича императора Московии, в императрицы империи московитов через архиепископа греческого обряда в столичном городе, называющемся Москва, в присутствии посла польского короля Николая Олесницкого и в сопровождении родителя самой императрицы, а также сенаторов, официальных лиц и знатных людей, должным образом, торжественно и славно, совершена лета Господня 1605. Как о том свидетельствует Гваньини».

Главная особенность этой подписи заключается даже не в том, что Марина названа в ней Марианной, а в том, что она названа дочерью не одного только сандомирского воеводы Юрия Мнишка, но и Ядвиги «Тарловны». Мать Марины Мнишек активно пыталась помочь дочери, остававшейся в Москве. Она поддерживала слух о спасении царя Дмитрия Ивановича и даже отправляла своих сыновей в Рим, чтобы убедить папу в том, что «император» готов исполнить обещания, данные святейшему престолу [207]. Отмеченный в надписи факт присутствия на коронации отца Марины – сенатора Речи Посполитой Юрия Мнишка, а также посла Николая Олесницкого тоже лишний раз подчеркивал важность коронации, названной «торжественной и славной».

На наш взгляд, упоминание в подписи посла Речи Посполитой Николая Олесницкого является ключом к пониманию обеих картин и проливает свет не только на обстоятельства их создания, но и на источник рассказа об изображенных событиях. Послы Николай Олесницкий и Александр Госевский, как мы помним, приехали в Москву на свадьбу Марины Мнишек и разделили судьбу семейства Мнишков и их родственников, задержанных в Московском государстве после майского переворота 1606 года. Послы оставили описание своего посольства – так называемый «Дневник польских послов», который получил широкую известность и не раз использовался авторами других польских сочинений о Смуте. Сравнение текста отчета послов с изображением на коронационном полотне (на котором коронация происходит в Кремле) показывает полное соответствие двух источников – повествовательного и изобразительного. Другие свидетельства, оставленные польскими очевидцами свадьбы царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек, содержат совсем краткое описание; в них отсутствуют некоторые детали, которые художник мог почерпнуть только из посольского отчета [208]. Так что имя главы посольства – Николая Олесницкого – совсем не случайно увековечено в латинской надписи в картуше

на полотне, иллюстрирующем ход коронации в Кремле.

Плен послов Николая Олесницкого и Александра Госевского в Москве продолжался до середины 1608 года, пока новые посланники Речи Посполитой Станислав Витовский и князь Ян Соколинский не заключили перемирие. По условиям этого договора Олесницкий и Госевский получили возможность возвратиться вместе с Мнишками обратно в Речь Посполитую. В отличие от второго посла Александра Госевского, малогощский каштелян Николай Олесницкий еще немного задержался в России и успел принять участие в переговорах Лжедмитрия II и воеводы Юрия Мнишка, о чем речь еще впереди. В итоге именно при посредничестве Николая Олесницкого Марина Мнишек оказалась в подмосковном таборе самозванца, и только после этого посол покинул московские пределы, награжденный «царем Дмитрием». Следовательно, в лице этого дипломата и свойственника Мнишков (второй женой Николая Олесницкого была Малгожата Тарло) мы имеем как прямого свидетеля церемонии коронации в Москве в 1606 году, так и очевидца приезда Марины Мнишек в Тушино.

К серии вишневецких картин можно добавить еще одну – отсутствующий в экспозиции Исторического музея портрет посла Николая Олесницкого [209]. На этом портрете, тоже происходящем из Вишневецкого замка, имеется подпись на латыни: «Николай Олесницкий, каштелян Малагощекий, великий посол от короля и республики на свадьбу, некогда отпразднованную в Москве, Дмитрия царя московского с Марианной Мнишковной воеводенкой Сандомирской в 1605 году» [210]. В конце добавлено «de 2 v. Gvagninius», что означает отсылку ко второму тому труда известного польского хрониста Александра Гваньини (1538-1614). Вспомним, что и в надписи под картиной, изображающей так называемый «въезд Марины Мнишек в Москву», также имеется ссылка на Гваньини.

В поисках текста, послужившего основой для «коронационной» композиции, можно было бы внимательнее отнестись к этим ссылкам. Полонизированный итальянец Александр Гваньини был автором известного историко-географического сочинения под названием «Описание европейской Сарматии». Писал он об обычаях, нравах и религии Московского государства, но этот труд был издан еще в 1581 году [211]. В новое издание его книги, опубликованное в Кракове на польском языке в 1611 году под названием «Хроника Европейской Сарматии», вошел самый общий рассказ об истории Лжедмитрия I и Марины Мнишек. В этом издании имеются и их портреты (а также портреты Юрия Мнишка и Афанасия Власьева), но все они

взяты из брошюр, издававшихся к краковской свадьбе в 1605 году. Александр Гваньини оканчивает описание истории «царя Дмитрия» временем московской катастрофы 1606 года, однако его текст не может считаться основой для сюжета картин из Вишневецкого замка. Отсылка к авторитету Гваньини – лишь «рекомендация» зрителю заглянуть в известную книгу, не более того.

Остается предположить, что основным источником «вишневецких» картин был рассказ посла Николая Олесницкого. В дошедшем до нас «Дневнике» послов Николая Олесницкого и Александра Госевского об их поездке в Московское государство при описании подготовки приезда Марины Мнишек в Москву в 1606 году упоминается о приготовленных для нее шатрах. Однако никаких публичных церемоний до самого въезда Марины Мнишек в Москву не происходило. Возможно, событие, изображенное на картине из Вишневецкого замка, состоялось позднее. В таком случае следует искать продолжение рассказа посла Николая Олесницкого о его пребывании в Московии. Но рукописи, содержащей такой рассказ, увы, нет.

…Мы близко подошли к тому, чтобы разгадать эту загадку. Но пока что вынуждены остановиться – ибо сначала следует рассказать о том, что происходило после отъезда Мнишков из Москвы по заключении мирного договора.

* * *

23 июля (2 августа) 1608 года кортеж польских послов и посланников вместе с несостоявшейся царицей Мариной Мнишек покидал Москву. Приключение, казалось, было закончено, все страхи остались позади. Оставалось только доехать до дома, чтобы утешиться и забыть все, что произошло в ужасной Московии. Так могло видеться дело со стороны. Но в голове сандомирского воеводы Юрия Мнишка, действовавшего заодно с послом Николаем Олесницким (напомним, родственником воеводской жены и дядей Марины Мнишек), вызревал новый план. Вместе они готовы были достигнуть многого.

Сохранился замечательный документ, составленный совместно воеводой Юрием Мнишком и послами Речи Посполитой еще в то время, когда они находились в плену в Москве в мае 1608 года. «Мемориал», адресованный королю Сигизмунду III, представлял из себя целый развернутый меморандум с соображениями о том, как действовать «воскресшему Дмитрию», чтобы на этот раз действительно

довести дело до унии двух государств. Из этого документа абсолютно ясно, что Мнишек не просто был намерен оказать поддержку самозванцу, а добивался одобрения своих планов королем. Чувствуется, что у сандомирского воеводы было достаточно времени, чтобы обдумать причины прежней неудачи. В его меморандуме расписано многое – от внедрения в службу принципа личной выслуги до перенесения столицы из Москвы. Воевода предлагал новому самозванцу отказаться (хотя бы на время) от претензий на императорский титул, а также избавиться «от беспрестанных угощений бояр и думных людей», которые принесли столько вреда в майские дни 1606 года, видя в них лишь бессмысленную «трату времени», а может быть, даже и «причину нынешней трагедии». Юрий Мнишек писал об организации новой охраны Дмитрия, о другом порядке ведения дел в канцелярии, вынужденно соглашаясь с употреблением там «народного», а не латинского языка. И почти все статьи «Мемориала», включая посылку «московских молодых людей» для учебы за границу, были пронизаны одной мыслью – устранением всех препятствий для унии с католичеством. Даже само «сохранение царского величества от внезапной смерти» тоже следовало, по мысли сандомирского воеводы и послов, «справедливо приписать молитвам церкви». Королю Сигизмунду III такие мысли не могли не понравиться.

Что же хотел воевода Юрий Мнишек лично для себя и для своей дочери, «московской царицы» Марины Мнишек? В первую очередь больших гарантий ее царского титула и неприкосновенности ее имущества, как в Московском государстве, так и в Речи Посполитой, чтобы она была «под покровительством королевства при перемене обстоятельств». «Надобно, чтобы сенаторы и подданные по городам, – говорилось в «Мемориале», – **дали присягу** (выделено мной. – В. К.) ее царскому величеству, как своей государыне на подданство и послушание; один экземпляр присяжного листа хранить здесь, а другой – в Польше с подписью правителей и старост городовых». Все должно было помогать делу будущей унии: строительство костела или монастыря для царицы, служба у нее униатских священников, зачисление в ее двор молодых людей «обоего пола» из аристократических семейств и беседы с ними для облагораживания нравов и смены веры. Воевода искал ответ на вопрос, как на будущее «при перемене царя для царицы удобнее получить помощь от своих, безопаснее и легче выехать с драгоценностями и свободною в отечество», и видел выход в том, что «надобно жить где-нибудь, только не в Москве» [212].

…Из ненавистной Москвы послов и Мнишков отпустили с

одним условием – ехать прямо домой в Речь Посполитую. Воеводе Юрию Мнишку, его приближенным и родственникам вернули все имущество, отысканное по прошествии двух лет после московского погрома 1606 года. Собрали даже те драгоценности («клейноты») и товары, которые могли принадлежать другим людям и купцам, приехавшим с Мнишками, предоставив возможность самому сандомирскому воеводе отобрать свои вещи и подарки Марины Мнишек.

9 июля 1608 года был составлен их реестр: «Роспись вещам, забранным у Сендомирского воеводы Юрья Мнишки и дочери его Марины, которыя все ли его собственныя или также его приятелей и купцов, о том неизвестно». Воевода Юрий Мнишек перебирал находящиеся в окованном сундуке «круг за стеклом с изображением Страстей Христовых и мощи святых с надписанием латинским», «венец работы немецкой, низанный жемчугом с яхонтами вокруг, с алмазами в золоте, черною и красною финифтью», «четки золотые с яхонтами и алмазами», несколько других жемчужных четок и цепочек, золотые цепочки и массу украшенных женских чепцов, головных уборов и воротников [213].

Конечно, упомянутые драгоценности представляли собой жалкие остатки тех богатств из казны русских царей, к которым едва успела приблизиться Марина Мнишек. Но она, напомним, даже в тяжелый час московского погрома готова была променять свои драгоценности на отобранного у нее арапчонка. Не таков был воевода Юрий Мнишек. Отец Марины так и не смирился с тем, что пышущие великолепием Востока царские кладовые закрылись для него навсегда. Возможно, именно в надежде вернуть их он и вступил в переписку со вторым самозванцем.

Интересно, что первое обращение Лжедмитрия II к своему так называемому «отцу» было датировано еще январем 1607 года и послано из Орла в Ярославль [214]. Если бы в Москве знали об этом, равно как и о меморандуме, подготовленном для короля Сигизмунда III Юрием Мнишком, условия отпуска сандомирского воеводы и Марины Мнишек из Московского государства, вероятно, были бы другими.

А так Марине вернули все дары ее мужа, бывшего царя Дмитрия Ивановича. Свои драгоценности она получила когда-то в два приема: в Кракове в 1605 году через посольство Афанасия Власьева и в Москве во время брачных торжеств в мае 1606 года. Они и упоминались отдельно: «Клейноты с Офонасьем до Кракова посланы и после того с паном Бунинским. Потом через Офонасья в дорозе посланые, а после того в шатре отданые, и что тут в Москве дал». После погрома, по словам Марины, все дары остались в государевой казне, и она просила царя Василия

Шуйского и думных бояр проявить снисхождение и возвратить их: «Все те подарки, которые Дмитр дочери его милости пана воеводиной давал, тут привезены и в казне целы остались, а в Полше нимало ничего не оставлено. Что все дочка его милости пана воеводы Сендомирского пускает на ласку великого государя и на разсуженье бояр думных». В итоге бояре не только вернули Мнишкам то, что могло им принадлежать, но и не отказывались продолжать дальнейший поиск утраченного имущества, покупая тем самым столь необходимое перемирие.

Сопровождать послов, воеводу Юрия Мнишка и Марину были назначены боярин князь Владимир Тимофеевич Долгорукий и каширский выборный дворянин Иван Александрович Колтовской. Запись об их отсылке 23 июля 1608 года сохранилась в разрядных книгах: «Того ж году отпущены с Москвы в Литву послы литовские, которые были у Ростриги от короля, да Юрьи Сендомирской з дочерью с Маринкою с Ростригиною женою; провожат их ходил до Твери боярин князь Володимер Тимофеевич Долгорукой да Иван Олександров сын Колтовской». В одной из редакций разрядных книг говорилось и о целях провожающих: «Что поляки и литовские люди, которые стоят с Вором в Тушине, послов московских и Сердомирскаго з дочерью не взяли» [215]. Как видим, официальные источники окончательно определились со «статусом» Марины Мнишек, оказавшейся всего лишь женой «Ростриги» и дочерью «Сендомирского воеводы». «Ростригой» же стали называть бывшего самозванца, чтобы лишний раз не тревожить упоминанием полного имени тень подлинного царевича Дмитрия Ивановича, канонизированного в царствование Василия Шуйского к общецерковному прославлению.

Позднее в «Новом летописце» будет описан весь маршрут, определенный для отъезда из России литовским послам и семье воеводы Юрия Мнишка. Выглядел он необычно, так как царь Василий Шуйский «повеле им итти на Углеч, да на Тверь, да на Белую и проводити их повеле до Смоленсково рубежа» [216]. Ссыльные заметили, что их водят лесами по «кругу», и роптали по поводу тяжелого похода «под открытым небом» [217]. Охрана состояла из городовых дворян Белой, Вязьмы, Дорогобужа и Смоленска, хорошо знавших только обычный путь в Речь Посполитую. Конные дворянские сотни были поручены непосредственному командованию воевод Бориса Собакина и Воина Дивова. Вся охрана состояла из трехсот человек городовых дворян из уездов «от литовской украйны», пяти голов со служилыми татарами, трехсот человек стрельцов во главе с сотниками Иваном Баутиным и Богданом (Будаем) Болтиным.

Чтобы справиться с нарядом на службу такого войска, в поход специально отрядили дьяка Дмитрия Раковского. Сохранились также имена приставов, посланных провожать послов и «Сердамирскаго с дочерью»: Петр Мансуров, Леонтий Пусторослев и новгородцы Михаил Бобарыкин, Иван Судаков и Иван Бунаков.

Вскоре польско-литовские послы и сандомирский воевода Юрий Мнишек перестали играть роль послушных пленников и начали действовать самостоятельно. Уже 29 июля (8 августа) 1608 года, по свидетельству отца Каспара Савицкого, пленники разделились: посол Николай Олесницкий и Мнишки поехали в одну сторону – к Волге, не обращая внимания на предостережения об опасности такого похода, а остальные послы во главе с Александром Госевским предпочли продвигаться домой другим, более надежным путем. Царь Василий Иванович 1 августа 1608 года отправил «к Серьдомирскому на помоч» своих воевод с ратными людьми. В разрядных книгах сохранилось известие о посылке для оберегания послов целой армии во главе с боярином князем Андреем Васильевичем Голицыным, с которым недавно еще завершали переговоры послы Речи Посполитой. «И после того весть учинилась царю Василью, – записано в разрядах, – что Вор послал людей под Дмитров переимат Юрья Сендомирсково з дочерью и послов литовских. Царь Василей по тем вестям послал воевод своих оберегать послов литовских и Юрья Сендомирсково: в болшом полку боярин князь Ондрей Васильевич Голицын да князь Яков Борятинской, в передовом полку Иван Федорович Крюк Колычов да князь Михайло князь Петров сын Борятинской, в сторожевом…» На этом запись обрывается, но ее продолжение есть в другой редакции разрядов, из которой узнаем, что сторожевым полком считался назначенный ранее охранять «поезд» Марины Мнишек отряд под началом боярина князя Владимира Тимофеевича Долгорукова и Ивана Александровича Колтовского. Рати боярина князя Андрея Васильевича Голицына не пришлось далеко ходить, уже на следующий день большой и передовой полки вернулись назад: «Бояре и воеводы воротилися августа в 2 день, пришли два полки в шестом часу дни» [218]. Они и принесли известие о том, что по дороге к литовскому рубежу случилось непредвиденное: воевода Юрий Мнишек и послы отделились друг от друга. После этого охранять их стало много сложнее. Увеличилась и вероятность того, что Марина Мнишек попадет в стан Лжедмитрия II.

Находившийся к тому времени в Тушине новый претендент на имя царя Дмитрия Ивановича (в официальных русских источниках его называли Вором) и сам не хотел упустить шанс

перехватить свою «царицу» по дороге. Второй самозванец, похоже, был хорошо информирован о времени выезда кортежа Марины Мнишек из столицы. Уже 3 августа 1608 года воеводы Борис Собакин и Воин Дивов доносили боярину князю Владимиру Тимофеевичу Долгорукому о замыслах Вора, пославшего своих людей для перехвата Марины. Городовые воеводы по всем городам на пути следования кортежа польско-литовских послов были предупреждены об особых мерах предосторожности. 28 июля старицкий дворянин Иван Муханов привел в Погорелое городище двух посадских людей Великих Лук и Торопца, ехавших с грамотами от Лжедмитрия II («ехали деи от Вора, из полку»). Из содержания грамот стало ясно, что самозванец начал охоту за Мариной Мнишек: «А в грамотах деи пишет от Вора в Торопец, и на Луки, и в Невль, и на Заволочье, что отпущены с Москвы литовские послы и литовские паны: и тех городов приказным людем поставити сторожи крепкие, и беречи того накрепко, чтоб литовских послов и литовских людей переимать и в Литву не пропускати, а где их поймают, тут на их тюрмы поставити, да посажати в тюрмы» [219]. Но Лжедмитрий II не знал точного маршрута выехавших из Москвы послов и постарался перекрыть все возможные пути в Речь Посполитую. Не ясно также, чем были вызваны столь суровые меры к послам, которых в случае задержания предлагалось посадить в тюрьму.

Еще несколько дней Мнишки вместе с послом Николаем Олесницким шли назначенным маршрутом под охраной, приданной им царем Василием Шуйским. Переправившись через Волгу, они, по свидетельству так называемого «Вельского летописца», около 14 (24) августа 1608 года остановились «за тридцать верст Белой в селе Верховье» [220]. О дальнейшем узнаем из отписок, отосланных воеводами Борисом Собакиным и Воином Дивовым в Смоленск воеводе Михаилу Борисовичу Шейну. Посол Николай Олесницкий и воевода Юрий Мнишек отказались подчиняться приставам: «Стояли деи… на одном стану два дни, а их деи не слушали», после чего 16 (26) августа стали самостоятельно «с стану подниматца». В это время воевода Воин Дивов с дьяком Дмитрием Раковским «с передними людми пошли с стану наперед, а Борис деи Собакин и приставы остались на стану, ждать посла и Сендомирского, а с ним дворян и детей боярских пятдесят человек, да сотник стрелецкой с стрелцы Будай Болтин». Но как только ушедшие вперед отряды отдалились на достаточное расстояние, слуги и свита посла Николая Олесницкого и сандомирского воеводы Юрия Мнишка повернули оружие против своей охраны. В отписке воеводы Воина Дивова в Смоленск сообщались подробности всего дела: «И как деи он

Воин отшол от стану верст с пять, и учинился деи на стану шум, и учали от стану бежати дети боярские и стрелцы, а за ними деи гонят литовских людей два прапора, уганивая деи твоих государевых людей побивают, а посолских людей, верховных и которые в возкех, мимо скачут, и гонили деи за ним за Воином от стану двадцать верст» [221].

Напав на воевод, шляхтичи из свиты послов и Марины Мнишек расчистили себе дорогу к беспрепятственному отъезду в любом направлении. Дворяне и дети боярские, лишенные руководства, попросту «розъехались по своим поместьям». Большинство из них были, как мы видели, из близлежащих мест и естественно предпочли охрану собственных владений государевой службе.

Сила самозванца становилась все более и более очевидной, а действия его отрядов не могли не повлиять на ситуацию в смоленском пограничье. 20 (30) августа в Смоленске получили известие от голов, посланных вдогонку за сандомирским воеводой и его дочерью. То, чего больше всего должен был опасаться царь Василий Иванович, произошло. Оказалось, «что посол Николай Олеснитцкой и Сендомирской, из села Верховья, пошли в Царево Займище, к Вору». То же самое подтвердил воевода Борис Собакин, оказавшийся в итоге в Белой, где посадские люди сначала не отпустили его «для воровских людей к Белой приходу», а потом 26 августа (5 сентября) вообще перешли на сторону самозванца. Таким образом, организовывать погоню за послами и сандомирским воеводой оказалось поздно да и некому.

Оценивая поведение охраны, не следует забывать, что у воевод Бориса Собакина и Воина Дивова не могло быть приказа применять оружие против дипломатов Речи Посполитой и их свиты. Целью охраны было сопровождение послов и Марины Мнишек до границы. Подданных Речи Посполитой уже не считали ни задержанными, ни пленниками Московского государства. Воеводам не дали наказа, как защищать себя в случае, если на них нападут сами охраняемые. Ошибкой было и то, что «до рубежа» Мнишков провожали рядовые служилые люди, а не сам боярин князь Владимир Тимофеевич Долгорукий, отпустивший приставов в самостоятельный поход еще в «Новом Торговище» в уезде Ржевы Владимировой. Автор «Вельского летописца» писал, что Долгорукий действовал «по повеленью» царя Василия Шуйского; видимо, так оно и было. Сомнительно другое известие летописи: будто разделение бывших пленников на две группы тоже было задумано в Москве с самого начала.

Смоленский воевода Михаил Борисович Шейн послал

подкрепление, состоявшее из сотен смоленских, брянских и серпейских дворян во главе с Елизарием Безобразовым и Алексеем Зубовым. Но оно уже не могло воспрепятствовать самостоятельному движению Олесницкого и Мнишков. Тем не менее весьма показательно, что участники всей операции проводов литовских послов получили позднее прибавки поместных окладов и жалованья, а Воин Дивов остался на службе царя Василия Шуйского и отличился во время смоленской осады в 1609-1611 годах. Автор официального «Нового летописца» позднее просто констатировал: «Ратные же люди, кои проводили, розъехались по себе, а князь Володимер не с великими людми прииде к Москве» [222].

Итак, после короткого столкновения с охраной у села Верховья в Вельском уезде 16 (26) августа 1608 года сандомирский воевода Юрий Мнишек, Марина Мнишек и примкнувший к ним посол Николай Олесницкий получили возможность действовать по своему усмотрению. Посол и воевода, видимо, давно решили отыграть московскую карту до конца. Их стремление совпадало с планами самозваного «царя Дмитрия», пришедшего в Тушино. Однако польские наемники из Тушинского лагеря разошлись во мнении о том, принимать или не принимать в своем лагере «царицу» Марину Мнишек. Многие из них, понимая, что воюют не за прежнего царя Дмитрия Ивановича, а за самозванца, присвоившего его имя, справедливо опасались, что приезд Мнишков может только навредить их делу. Не последнюю роль играли и корыстные расчеты, так как на содержание двора «царицы» Марины и ее самой должны были потребоваться немалые средства. Николай Мархоцкий в «Истории Московской войны» вспоминал: «Мы решили послать погоню и привести их (Мнишков. – В. К.) в наш обоз. Сделали мы это не потому, что в том нуждались, а больше для вида: надо было показать москвитянам, что наш царь настоящий и поэтому хлопочет о соединении со своей супругой». Полк Валентина Валевского, зная маршрут, по которому везли Мнишков, умышленно пошел вместо Переславля на Дмитров и вместо Мнишков встретился с войсками царя Василия Шуйского.

Сторонники польского гетмана князя Романа Ружинского, находившиеся в лагере Лжедмитрия II, прекрасно были осведомлены об истинных целях полковника Валевского: последний, «зная, что их (Мнишков. – В. К.) возвращение принесет нам только лишние хлопоты, нарочно их не догнал» [223]. Но они не знали того, что воевода Юрий Сандомирский сам не стремился покинуть пределы Московского государства.

Во главе следующего отряда, посланного за Мнишками, стоял

полковник Александр Зборовский. Он действовал решительно и быстро и смог добиться «возвращения» самозванцу его «царицы». Польских наемников, давно служивших самозванцу вместе с гетманом князем Романом Ружинским, подвело стремление рассорить «царика» с инфляндскими солдатами Брестской конфедерации. Это были отряды, воевавшие в Ливонии, но не получившие за свою службу жалованья в Речи Посполитой; они самовольно захватили в Бресте королевские имения и заключили собственный союз, чтобы сообща добиваться получения денег от короля Сигизмунда III. Пока у них не было перспективы дома, «инфляндцы» искали место, где могли понадобиться их военные навыки. Тут очень кстати возобновилась кампания «царя Дмитрия». В мае 1608 года гетман инфляндского войска усвятский староста Ян Петр Сапега написал письмо Лжедмитрию II с предложением принять на службу более 1200 человек, составивших Брестскую конфедерацию [224].

17 (27) июля 1608 года «инфляндцы» пересекли границу Московского государства и направились к «царю Дмитрию». Одним из полковников этого войска и был Александр Зборовский, перехвативший «царицу» Марину Мнишек на ее дороге из Москвы в Речь Посполитую. «Инфляндцы» не вмешивались в междоусобицу между королем и рокошанами, а только добивались уплаты жалованья за службу в Ливонии. Против воли короля Сигизмунда III и канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги они заключили новую войсковую конфедерацию для поддержки «царя Дмитрия» и его «жены» [225].

Полковника Александра Зборовского отправляли из тушинского войска тогда, когда казалось, что уже не было никакой надежды догнать Мнишков по дороге в Речь Посполитую, Но сторонники гетмана князя Романа Ружинского сами пали жертвой своей интриги, так как сапежинцы оказали «царю Дмитрию» неоценимую услугу и получили возможность поторговаться относительно своих условий поступления на службу к самозванцу. «Царица» Марина Мнишек сразу же стала не более чем разменной монетой в счетах польских наемников между собой. Хотя она, откликаясь на письмо самозванца, отправленное с войском полковника Александра Зборовского 12 (22) августа 1608 года (к сожалению, это письмо не сохранилось), сама ожидала «скорого радостного и приятного свидания». Автор «Вельского летописца» приписал возвращение Мнишков действиям посланного из Тушина отряда князя Василия Литвинова-Мосальского, а также «умышленью» самого сандомирского воеводы [226].

Обычно считается, что Марина Мнишек сразу приняла

правила игры и «признала» самозванца своим мужем. Но источники прямо свидетельствуют об обратном, противореча распространенному мнению о ее готовности жертвовать всем ради одного честолюбия и сохранения царских почестей. Присутствие Марины Мнишек в Тушинском лагере было выгодно прежде всего тушинскому «царю Дмитрию». Оно подтверждало в глазах остальной страны истинность и «легитимность» снова чудесно спасшегося царя Дмитрия Ивановича. Это Лжедмитрий II, впрочем при очень благосклонном отношении воеводы Юрия Мнишка, добивался того, чтобы его так называемых «родственников» вернули с дороги в Речь Посполитую в подмосковные таборы. Он больше других заботился о том, чтобы вся история выглядела как можно более правдоподобной, и намеренно привлекал к ней внимание. Конрад Буссов, оказавшийся к тому времени в лагере второго самозванца, писал, что, как только в Тушине было получено известие о перехвате «царицы» посланными для этого людьми и о том, что она находится на пути под Москву, был устроен салют: «Дмитрий… обрадовался и развеселился, приказал выпалить несколько раз из больших пушек, а все ратники во всем лагере должны были в знак радости 3 или 4 раза выстрелить из мушкетов и других ружей» [227].

Наиболее достоверным свидетельством об обстоятельствах приезда Мнишков в Тушинский лагерь является «Дневник Яна Сапеги», написанный его секретарями. От них не ускользнули многие интересные детали, тем более ценные, что они представляли моментальную запись очевидцев, каждый день следивших за происходящими событиями. По свидетельству автора «Дневника», сначала полк Александра Зборовского привез Мнишков в Любеницы, рядом с Царевым Займищем, где 19 (29) августа 1608 года Ян Сапега лично встретился с «царицей» и устроил в ее честь смотр своего войска. 21 (31) августа Марина под охраной инфляндских солдат гетмана Сапеги двинулась из Царева Займища в сторону Тушина. Путь «царицы», как ее называли секретари гетмана Сапеги, лежал через Можайск и Звенигород, которых она достигла, соответственно, 23 августа (2 сентября) и 29 августа (8 сентября). И Марина Мнишек, и гетман Ян Сапега были в этот момент убеждены, что едут на встречу с бывшим царем Дмитрием Ивановичем, чудесно избежавшим смерти в 1606 году [228]. Лжедмитрий II тоже уже знал о готовящемся приезде своей «жены». 19 (29) августа он написал письма, адресованные Марине Мнишек и ее отцу «пану воеводе». Письма были получены ими 22 августа (1 сентября), «чему была царица ее милость очень рада». 29 августа (8 сентября) «царь

Дмитрий» написал новое письмо воеводе Юрию Мнишку и просил «свою супругу» принять участие в православном обряде – «положении святого» в одном из звенигородских монастырей, что могло бы укрепить русских сторонников самозванца в их поддержке «царя» и «царицы» [229].

Эпистолярная игра имела смысл только до личной встречи. Первым увидел «царя Дмитрия» сандомирский воевода Юрий Мнишек. У него не могло быть сомнений, что перед ним совсем другой человек. Вполне определенно отец «царицы» высказался по этому поводу на сейме 1611 года [230]. Но тогда, на месте, Юрий Мнишек повел себя по-другому. Как записал автор «Вельского летописца», сандомирский воевода «с вором тушинским сложился заодин, и назвал того вора тушинского опять царевичем Дмитреем Ивановичем, и дочь свою Маринку отдал ему в жены место. И всей рати воровской и в Тушине поляком и литве и руским вором, и изменником и казаком, умысля с тушинским вором и забыв крестьное целованье и своего обещанья, и объявил воровски, преступя крестное целованье, что будтося то прямой царевич Дмитрей Иванович, а его зять» [231].

У воеводы Юрия Мнишка и посла Николая Олесницкого были свои резоны, чтобы включиться в новую опасную игру по достижению московского престола. Хорошо зная, что больше двух лет царь Василий Шуйский не может справиться с внутренними неустройствами, они явно рассчитывали на слабость Московского государства. «Царь Дмитрий» тоже давно искал подступы к сандомирскому воеводе и Марине Мнишек, без которых ему сложно было бы (если вообще возможно) убедить подданных в истинности своей легенды. Не забудем также о слухах относительно того, что этого человека, похожего на «царя Дмитрия», нашли в Речи Посполитой сами родственники Мнишков. Только если изначально новый Дмитрий был необходим, чтобы заставить царя Василия Шуйского отпустить своих польских и литовских пленников, то затем, когда прежний план сработал, у него обнаружились еще более заманчивые перспективы. При условии возвращения «царя Дмитрия» в Москву (что казалось не такой уж фантазией) воевода Юрий Мнишек мог надеяться на выполнение обязательств первого самозванца по отношению к его дочери и к нему самому. А в таком случае Мнишки становились-таки наследственными владетелями Смоленской и Северской земель и прокладывали дорогу к объединению двух государств и двух христианских церквей. Позиция посла Николая Олесницкого была несколько иной; он оставался представителем короля Сигизмунда III, но, не имея официальных инструкций, действовал по своему усмотрению,

желая представить достоверный отчет в королевскую канцелярию. Но каковы бы ни были собственные расчеты посла, прежде ему нужно было пройти через такое же испытание, как и всем другим, кто знал первого самозванца: публично признать «царя Дмитрия» настоящим.

Слухи о возникших в свите Мнишков сомнениях в происхождении тушинского «царика», похоже, быстро распространились. Одна лишь Марина продолжала оставаться в неведении и беззаботно веселилась, думая, что ее судьба поворачивается к лучшему. 5 (15) сентября секретари гетмана Яна Сапеги с плохо скрываемой иронией записали в «Дневнике» о поездке «пана воеводы» в тушинские обозы самозванца – «узнавать царя, тот или не тот». На следующий день, 6 (16) сентября, состоялась первая встреча «царицы» Марины Мнишек и тушинского «царя Дмитрия». Показательно, что Лжедмитрий II сначала сам приехал в обозы гетмана Яна Сапеги, справедливо сомневаясь, что будет «узнан» Мариной Мнишек. Все так и произошло. По записи секретарей Яна Сапеги, «царица не очень охотно с царем поздоровалась» [232]. Секретари отметили, что Марина не стала благодарить «Димитрия» за то, что тот вызволил ее из плена, на что «царь» вполне мог рассчитывать, если бы действительно был ее мужем.

Конрад Буссов привел более драматичную версию о встрече Марины Мнишек и «царя Дмитрия». Он рассказал о судьбе некоего «молодого польского дворянина», предупредившего Марину об обмане с Дмитрием и поплатившегося за это жизнью. «Дорогой, приблизительно за 18 миль до лагеря, – рассказывал Конрад Буссов, – когда царица в карете радовалась и пела, один молодой польский дворянин набрался духу, подъехал к карете и сказал: “Марина Юрьевна, милостивейшая госпожа, вы очень веселы и поете, и стоило бы радоваться и петь, если бы вам предстояло встретить вашего законного государя, но это не тот Димитрий, который был вашим мужем, а другой”. Плохо это для него обернулось, лучше бы ему промолчать и предоставить все своему течению, ибо когда царица из-за этого сообщения так огорчилась, что ее радость и пение сменились на печаль и слезы, тот польский вельможа, которого Димитрий послал с ратниками за ней, заметил, что она огорчена и не так весела, как прежде, а потому спросил, отчего она так молчалива и печальна, когда она по справедливости должна еще больше радоваться, чем раньше, так как скоро приедет к своему государю. Она ему ответила: “Это верно, сударь, но я узнала кое-что иное”. В конце концов, по его неотступному настоянию она не смогла умолчать о том, кто с ней говорил и о чем…» [233]

Имел ли место этот эпизод и существовал ли в действительности этот несчастный польский юноша, указавший на допросе, что «не он один об этом говорит, а большинство в лагере об этом хорошо знает», навсегда осталось тайной. Очевидно, что современникам и хронистам приходилось искать причины, объясняющие поведение Марины Мнишек, не признавшей в самозванце своего мужа. Гордость Марины была уязвлена тем, что новый «царь Дмитрий Иванович» оказался совсем не тем, за кого себя выдавал, и она не умела и не хотела скрыть своего разочарования. Да и не она одна. Польский сторонник Лжедмитрия II Николай Мархоцкий позднее вспоминал: «Это возвращение принесло нам больше вреда, чем пользы, так как царица и другие персоны, знавшие Дмитрия в столице, увидев нашего, не захотели его признавать, и скрыть это было невозможно. А москвитяне воспользовались этим, чтобы отвратить от Дмитрия своих людей» [234].

По записям «Дневника Яна Сапеги», в следующие несколько дней после первой несчастливой встречи Марины Мнишек и «царя Дмитрия» 6 (16) сентября шли какие-то переговоры, в которых активно участвовал посол Николай Олесницкий. Ему вместе с отцом Марины и удалось убедить «царицу» сыграть навязанную ей роль. Во имя чего? Высших ли политических расчетов, блага ли Речи Посполитой? Или, может быть, во имя чести семьи Мнишков? Ответа на этот вопрос мы не знаем.

Можно, однако, оценить последствия такого решения для самой Марины Мнишек. До сих пор она оставалась в тени своего могущественного и влиятельного отца. Расставание с ним во время свадебных торжеств ничем хорошим для «московской царицы» не завершилось. Она едва не погибла вместе с мужем, объявленным в Москве самозванцем. С тех пор отец надежно защищал Марину Мнишек и добился того, чтобы его отпустили из плена вместе с дочерью. Но это не значит, что Марина думала только о собственном спасении. Она имела все основания рассчитывать на то, что титул московской царицы принадлежит ей по праву. А вместе с ним и те царские почести, и, конечно, те наряды и украшения, которые у нее имелись. Достаточно ей было пересечь границу Речи Посполитой, и все обаяние ее царственного положения исчезло бы навсегда. Психологически Марине было сложно смириться с тем, что «царь Дмитрий», которого она так и не видела мертвым, действительно погиб. Надежда, возникшая из рассказов 1606 года о его чудесном спасении, благополучно дожила до встречи с тем, кто в Тушине выдавал себя за ее мужа. Марине предстояло выйти наконец «из тени» своего отца. Сандомирский воевода сам хотел этого и

гарантировал дочери безопасность своим присутствием в Тушинском лагере.

9 (19) сентября «царь Дмитрий» вместе с послом Речи Посполитой Николаем Олесницким снова приезжали в гетманский обоз к «царице». В этот раз должны были быть объявлены все условия, на которых Марина Мнишек соглашалась приехать в Тушино. Договор этот предстояло подтвердить действующему представителю короля Сигизмунда III в Московском государстве. Можно предположить, что выход был найден в новой присяге Марине Мнишек в Тушине. Это позволило бы оправдать ее присутствие там для всех сомневающихся и, главное, для нее самой. 10 (20) сентября 1609 года посол Николай Олесницкий отвез «царицу» Марину «в царский обоз».

* * *

…Здесь самое время вернуться к изображению шатра на «коронационной» картине и «вишневецком» портрете Марины Мнишек. Если предположение о второй присяге верно, то на картине, возможно, изображен ключевой момент в биографии Марины Мнишек – ее переход в Тушинский лагерь. Из самой же картины, подпись на которой говорит о «коронации», видно только, что речь идет о публичном возложении короны на Марину архиепископом греческой церкви. Действие происходит в присутствии гусарских рот и зрителей в польских, русских, немецких и татарских костюмах. Толпа, изображенная вокруг шатра, могла находиться отнюдь не на кремлевской площади в Москве, а скорее в Тушине.

Сам шатер и люди вокруг него выписаны с большим количеством подробностей. Присмотримся к ним попристальнее и попробуем отыскать на этой картине соответствия известным нам письменным источникам, рассказывающим о судьбе Марины Мнишек после ее прибытия в Тушино.

Такое соответствие действительно имеется. В поле, оканчивающемся морской бухтой и горами, видна какая-то красная полоса. Разглядывая эту полосу при большом увеличении, можно увидеть, что на полотне изображен марш пехоты в красных одеждах. Именно эта деталь, которую трудно было «домыслить» художнику и невозможно оценить в черно-белых иллюстрациях, находит соответствие в современных источниках. В грамоте Лжедмитрия II гетману Яну Сапеге от 3 сентября 1608 года говорится о том, чтобы тот, «оставив при наияснейшей супруге нашей сто гусаров, сто пятигорцев, 200

человек пехоты в **красной одежде** (выделено мной. – В. К,)», ехал в лагерь в Тушино. 7 (17) сентября Ян Сапега устроил смотр своего войска для «царицы» и, оставив пехоту в ее обозе, со всей конницей пошел под Москву, немало обрадовав «царя» Дмитрия [235]. Получается, что именно эта охрана и изображена вокруг шатра! А перед шатром стоит пестрая толпа, в которой по костюмам можно узнать и польского шляхтича (его благородное происхождение подчеркнуто меховой накидкой из рыси), и немца в костюме с брыжами (кружевным воротником), и москвича в неизменной шубе и почему-то в шлеме. Гусары из охраны Марины Мнишек на «коронационной» картине узнаются легко – это конники, одетые в панцирные доспехи с «крыльями» и вооруженные саблями. Гусарские хоругви везут с собою знамена с «крыжем» (католическим крестом) и другими геральдическими знаками. Совпадение таких деталей трудно назвать случайным – перед нами действительно момент перехода Марины Мнишек в стан второго «царя Дмитрия Ивановича» 10 (20) сентября 1608 года. Или, по крайней мере, то, как Мнишки хотели бы представить это событие в Речи Посполитой.

Остается определить, что же происходит внутри шатра, на этом почти театральном возвышении, держащемся на шести колоннах. На просцениуме, к которому ведут ступени, расположены шесть фигур. В центре Марина Мнишек стоит на коленях на подушке, а некий православный иерарх с крестом и в митре держит над ней корону. Все остальные участники полуприкрыты колоннами, но имена действующих лиц можно попытаться расшифровать. Справа от двух главных фигур – православного архиепископа и Марины Мнишек – легко узнается царь Дмитрий Иванович, стоящий без короны и прячущий руки под шубой. Действительно, у самозванца могла быть корона, по слухам, вывезенная в майской суматохе 1606 года Михаилом Молчановым. (Исаак Масса записал распространившийся сразу же после убийства Лжедмитрия 1 слух, что при бегстве Михаила Молчанова «пропали скипетр и корона»; в Москве «не сомневались, что он взял их с собою» [236].) Возможно, именно ее в этот момент и возлагали на Марину. Остальные регалии царской власти – скипетр и державу – художник деликатно показывать не стал. Он расположил фигуру тушинского «царя» в профиль и закрыл его руки. За следующей колонной и прямо за спиной Марины Мнишек изображен какой-то седой человек, одетый в длинную шубу. Хотя он и не похож на воеводу Юрия Мнишка, изображенного на другой картине в польском костюме, все же можно предположить, что это именно отец «царицы». Его русский костюм может быть объяснен тем, что он почти два года

провел в ссылке в Ярославле. Очень скоро сандомирский воевода будет поражать воображение участников сейма 1609 года своим «московитским» обликом и даже закажет специальный портрет в русском платье. В левой части шатра на переднем плане стоит человек в польской одежде с выбритым затылком и чубом. Он держит руку на поясе так, как держал ее посол Николай Олесницкий, ведя под руку царя Дмитрия Ивановича во время первой коронации Марины Мнишек в Москве. Думаю, что и в этом случае участие хотя и бывшего, но все-таки посла короля Речи Посполитой придавало всей церемонии более весомый характер, выводя ее за рамки внутреннего дела московитов (не случайно это подчеркивалось в латинских подписях к картинам). Не найденное пока продолжение посольского отчета Николая Олесницкого и Александра Госевского тоже, вероятно, могло содержать свидетельство о «коронации» Марины Мнишек. И наконец, последний из людей, стоящих на «сцене», очень похож на гетмана Яна Сапегу, под охраной которого и находилась в этот момент «царица». Как и самозванец, он не носил бороды.

Вторая присяга создавала условия для легитимного присутствия «царицы» в Тушинском лагере. Самое интересное, что Марина Мнишек сама заявляла об этом, и не кому иному, как королю Речи Посполитой Сигизмунду III. «Всего лишила меня превратная фортуна, – писала она в письме к нему от 15 января 1610 года, – одно лишь законное право на московский престол оказалось при мне, скрепленное венчанием на царство, утвержденное признанием меня наследницей и **двукратной присягой всех государственных московских чинов** (выделено мной. – В. К.)» [237].

Понятно, что повторная коронация Марины Мнишек в Тушине – не более чем гипотеза, реконструкция предполагаемых событий. Перед нами все же художественный образ, а не документальная запись очевидца. Об этой «второй коронации» молчат все другие источники, а ведь такое важное действие, наполненное сакральным содержанием, не могло остаться незамеченным. Другое дело – вторая присяга, имеющая смысл политического договора. В тонкости этого ритуала мог быть посвящен только самый узкий круг приближенных к «царю» и «царице». Может быть, и здесь, как и в случае с коронацией Марины Мнишек в Успенском соборе, был использован опыт придания церемонии «двойного значения». В глазах тушинцев возложение короны на Марину Мнишек в момент ее приезда в лагерь самозванца могло выглядеть как торжество попранной и восстановленной заново справедливости. Сама же «царица» и те, кто нуждался в доказательствах легитимности ее присутствия под

Москвой, могли воспринимать это как принесение ей новой присяги.

…Наличие коронационного шатра на фоне «вишневецкого» портрета заставляет, между прочим, еще раз вернуться к известным парным изображениям «императора» Дмитрия и Марины Мнишек.

Благодаря упомянутым выше ссылкам на книгу Александра Гваньини, изданную в Кракове в 1611 году, можно с уверенностью датировать коронационные полотна, равно как и «круговые» вишневецкие портреты, временем не ранее этой даты. Значит, следует несколько по-иному отнестись к тому, кто изображен на парных портретах. Обоих Дмитриев к тому времени уже не было в живых, а Марина Мнишек по-прежнему находилась в России. Это были явно не портреты с натуры, а лишь памятные изображения. И весь вопрос в том, несли ли они в себе какой-либо актуальный политический посыл или создавались для того, чтобы увековечить яркие страницы рода Мнишков, Тарлов и Вишневецких.

Портрет Марины Мнишек в коронационном платье и с царскими регалиями – короной, державой и скипетром, происходящий из Вишневецкого замка, совпадает по композиции с ее же парадным портретом в полный рост 1606 года, приписываемым кисти львовского художника Шимона Богушевича. Одна из копий этого портрета выставлена сегодня в экспозиции королевских комнат Вавельского дворца в Кракове (и даже имеет соответствующую подпись об авторстве Богушевича на раме, сделанную, правда, явно позднее) [238]. Парадный портрет был просто скопирован при создании другого, «вишневецкого». На обоих изображениях Марины Мнишек совпадают даже латинские записи: «Marianna MNISZCHOWNA Ceorgii Palatini Sandomiriensis ex Tarlowna Progenita Filia, Vxor Demetrii IMPERATORIS Moschoviae». (То есть: «Марианна МНИШКОВНА, Юрия воеводы сандомирского и Тарловны урожденная дочь, жена Димитрия ИМПЕРАТОРА Московии».) Только из-за уменьшения размеров «кругового» вишневецкого портрета он стал поясным, а имя «Marianna MNISZCHOWNA» в записи не уместилось в одну строку.

Главной деталью фона на парадном портрете Марины Мнишек «в рост» был ее новый герб. Можно попытаться расшифровать его символику. На красном геральдическом щите изображен двуглавый черный орел, на груди которого расположен щиток в форме сердца, поделенный на четыре части. Двуглавый орел – это, конечно, герб Московского государства, наследницей которого становилась Марина Мнишек. Четыре

родовые эмблемы на щитке – это размещенные по классическим канонам польской геральдики знаки из гербов родителей как отца, так и матери: Мнишков (собственный герб), Тарло (герб «Топор»), Стадницких (герб «Шренява») и Каменецких (герб «Пилява») [239]. Но самое важное – это то, что в этом гербе была воспроизведена модель герба императора Священной Римской империи, в которой также присутствовали орел и сердцевидный щиток с родовым гербом.

Корона, скипетр и держава, изображенные на портретах императора Дмитрия и его жены «Марианны» Мнишек, восходят тоже к «императорскому» типу. Как установил А. В. Лаврентьев, «императорская» корона была заказана в Вене и привезена в Москву еще при Борисе Годунове, но стала известна лишь со времени коронации Лжедмитрия I. На коронационных медалях и на всех картинах встречается именно этот тип, отличающийся от других известных царских корон – Мономахова венца, Казанской и Астраханской шапок. Характерной особенностью «императорского» типа короны является ее «приплюснутый», по сравнению с другими венцами, вид и отсутствие мехового убранства, замененного драгоценными камнями, вставленными в оправу, и крупным жемчугом, украшающим полосой верх короны, которую венчает крест. В такой короне «цесарь» Дмитрий Иванович был изображен весной 1606 года на монетах, выпущенных специально к приезду в Москву Марины Мнишек [240].

Когда создавался «вишневецкий» портрет, такие открытые претензии московской «царицы» на императорскую символику были уже, видимо, неуместны. Поэтому герб Марины Мнишек оказался нарисованным лишь наполовину. Исчезли и родовые знаки Каменецких и Стадницких, место которых заняли «страусиные перья» из герба Мнишков и «серебряный топор», указывавший на происхождение матери Марины – Ядвиги Тарло. Зато в качестве фона на портрете появился тот самый шатер, имеющий соответствие в другом, «коронационном» полотне, происходящем из Вишневецкого замка. Изображались ли при этом реальные события или «коронация» в шатре всего лишь образ, символизировавший возложение московской короны на Марину Мнишек, – вопрос остается открытым.

Другой «вишневецкий» портрет представляет самозваного «императора Дмитрия» в доспехах. Одной рукой он опирается на стол, на котором лежат рыцарский шлем и корона. Это отличает данный портрет от других современных акварелей и гравюр, на которых «царевич» Дмитрий всегда изображался в гусарской одежде. Фон этой картины не такой «говорящий», как на портрете

Марины Мнишек: за спиной московского царя скачут всадники под польскими хоругвями, видны палатки и шатры, поставленные под какой-то крепостью. Почему-то для этого портрета не использовано никакой другой символики, связанной с триумфом «царевича Дмитрия», который достиг престола своих предков. Подпись на картине гласит: «Demetrius IMPERATOR Moschoviae, Ejus vxor Marianna MNISZCHOWNA Georgii Palatini Sandomiriensis ex Tarlowna Progenita Filia». (То есть: «Дмитрий, ИМПЕРАТОР Московии, супруг Марианны МНИШКОВНЫ, Георгия воеводы сандомирского и Тарловны урожденной дочери».)

Может быть, все объясняется тем, что это вовсе не Лжедмитрий I, а Лжедмитрий II, Тушинский вор? У Дмитрия на портрете из Государственного исторического музея нет «фирменной» бородавки на носу, присутствующей на гравюрах, создававшихся в период подготовки к помолвке с Мариной в Кракове в 1605 году. Между тем самозванец изображен на упомянутом портрете той самой стороной лица, где бородавка должна была быть! Что же заставляет нас тогда путать двух «императоров Дмитриев»? Возможно, то же, что и их современников, то есть их внешнее сходство – физическая основа любого самозванчества.

Глава шестая Тушинская царица

Итак, 10 (20) сентября 1608 года гетман Ян Сапега отвез «царицу» в «обозы» самозванческого войска. Марине предстояло снова воцариться в России, точнее в той части государства, которая управлялась из Тушина.

Так должно было произойти. Но произошло ли? Нельзя даже сказать с уверенностью, сама ли она принимала решение о приезде в полки нового самозванца или все опять произошло по воле ее расчетливого родителя, сандомирского воеводы Юрия Мнишка. В каком статусе, на каких условиях и с какими правами пребывала Марина Мнишек в Тушине? Что за роль была отведена ей Лжедмитрием II – Тушинским вором, чье воинство занималось, по преимуществу, кутежами, грабежами и казнями?

Немецкий хронист Конрад Буссов так описал в «Московской хронике» метания Марины Мнишек: «…И хотя царица прекрасно поняла, что ее кормят напрасными надеждами, ей все же пришлось выказывать больше радости, чем у нее было на душе, для того, чтобы никто не заметил фальшивую игру. Однако она не поехала прямо в лагерь к Димитрию, а приказала разбить в четверти мили оттуда отдельный лагерь для себя и тех, кто был при ней, и они с Димитрием стали посылать вести друг другу и, наконец, порешили, чтобы отец царицы ехал в Польшу, а она осталась в лагере у своего супруга Димитрия… Но от супружеской жизни они должны были воздержаться, пока Димитрий не овладеет московским престолом и не сядет на него. В этом Димитрий должен был поклясться перед Богом, после чего он в радости отправился к царице: оба отлично справились со своим делом и приветствовали друг друга с плачем и слезами, очень ласково и любовно. В этот день благодаря этой комедии многих людей поразила полная слепота. Перед всем народом она оказала Димитрию надлежащее уважение, как если бы он был ее возлюбленным супругом и государем, и он ей также. Это разнеслось по всей стране, и многие поэтому решили, что он *verus Demetrius* [241]. Отовсюду князья и бояре во множестве шли к нему в лагерь и сдавались» [242].

Перед нами конечно же поздняя мемуарная запись о прошедших событиях. Конрад Буссов запомнил главное: принятие Мариной Мнишек самозваного тушинского царя привлекло на его сторону многих людей, «ослепив» их разум правдоподобием чудесной истории. В этом Буссов не одинок. О том же, например, откровенно пишет Николай Мархоцкий в «Истории Московской войны»: «После долгих уговоров согласились все, в том числе и

царица, притворяться вместе с нами, что это не другой царь, а тот самый, что был в Москве» [243].

В контексте соучастия Марины Мнишек в обмане детали, сообщаемые Конрадом Буссовым, выглядят слабым оправданием ее действий. Но стоит задержаться на приведенном им уникальном свидетельстве по самому деликатному вопросу, сопутствовавшему всей истории о «признании» Мариной Мнишек тушинского самозванца. Царица могла притвориться при первой встрече, но что дальше? Сколько раз должен был еще повториться спектакль? Как можно было обезопасить себя от многих сотен глаз, следивших за совместными выездами Марины Мнишек и нового «царя Дмитрия»? Тушинский вор, привыкший к повиновению, установленному разнузданным насилием, был лишен в случае с Мариной Мнишек своего главного оружия. Ибо она, неожиданно, своей правдивой первой реакцией, обезопасила себя от возможного покушения на ее честь.

Все те несколько дней, пока Марина до поездки в лагерь самозванца находилась под охраной гетмана Яна Сапеги, обсуждались условия новой помолвки или своеобразного «брачного контракта». В отличие от самборского договора между «царевичем» Дмитрием и воеводой Юрием Мнишком, текст соглашений, заключенных отцом Марины в начале сентября 1608 года, может быть только реконструирован на основе происходивших тогда событий. Об условии «номер один» – новой коронации или присяге – говорилось в предыдущей главе. На этом публичность заканчивалась; в дальнейших статьях договора, видимо, начинала действовать самборская модель отношений воеводы Юрия Мнишка с предшественником тушинского царя. Удовлетворение притязаний сторон откладывалось до «возвращения» «царя Дмитрия Ивановича» на московский престол. В пользу этой версии свидетельствует и то, что ее воспроизводил король Сигизмунд III, очевидно, информированный вернувшимся в Речь Посполитую послом Николаем Олесницким. Разъясняя ситуацию нунцию Клавдию Рангони, король Сигизмунд III говорил о причинах задержки сандомирского воеводы под Москвой в декабре 1608 года: «Мнишек остается при Димитрии, чтобы придать ему больше весу… он хочет женить его на своей дочери, как только новому претенденту удастся достигнуть престола. Присяга, принесенная когда-то Марине народом, должна облегчить выполнение этого плана» [244].

Это сегодня мы знаем последовательность событий, знаем и то, что второму самозванцу так никогда и не удастся овладеть Москвой. Современники же, находившиеся под столицей, где в

осаде сидел слабый царь, против которого восстала половина царства, имели право думать по-другому и надеяться на скорую смену власти в Русском государстве. Единственным компромиссом со стороны Марины Мнишек стало то, что она позволила раньше времени создать *видимость* того, что «царь Димитрий», которого изображал Тушинский вор, и есть ее законный супруг. Конрад Буссов, упомянув о лагере царицы, разбитом в отдалении от основных таборов самозванца, вспоминал, скорее всего, о том, как обстояло дело в самом начале, пока Марина Мнишек не приехала в Тушино. Больше доверия вызывает известие Николая Мархоцкого, писавшего о переселении воеводы Юрия Мнишка с дочерью в тушинские обозы, «где они поставили свои палатки рядом с царскими». То, что в глазах Марины Мнишек выглядело уступкой, другими могло быть воспринято как логичное завершение событий или же как плохая игра (в зависимости от того, знали или нет окружающие люди настоящую историю Тушинского вора).

Воевода Юрий Мнишек не был бы самим собой, если бы и в этом случае не выговорил себе обещаний денег и новых территорий у самозваного «сына». Позднее, участвуя в заседаниях польского сейма 1611 года, отец Марины Мнишек свидетельствовал о том, что Тушинский вор – не тот человек, за кого он себя выдавал, и всячески подчеркивал патриотическую миссию своей дочери в Московском государстве. Но осенью 1608 года он не хотел везти ее обратно в Речь Посполитую, где она была бы, по крайней мере, в безопасности, а напротив, все более и более делал ее заложницей собственной алчности.

Невероятно, но сандомирский воевода, возможно, вел при этом еще и двойную игру, высчитывая, от кого он получит больше – от царя Василия Шуйского или от своего «зятя». 7 (17) сентября в анналах Смуты произошло малоприметное событие, которое могло бы коренным образом изменить ее историю, не прояви стороны дипломатическую толерантность. В Москве оказались вместе предводитель казаков Иван Заруцкий и польский полковник Александр Лисовский, с чьими именами в ближайшие семь-восемь лет будут связаны самые тяжелые потрясения Русского государства. Попали же они в Москву в качестве заложников (!) на время однодневных переговоров посла Николая Олесницкого и сандомирского воеводы Юрия Мнишка с русскими боярами во главе с князем Андреем Васильевичем Голицыным. Станислав Немоевский передал ходившие слухи о содержании переговоров, состоявшихся в открытом «поле» и продолжавшихся до «позднего вечера»: «…воевода домогался для своей дочери удельного княжества и известных городов, если великий князь

желает, чтобы польское войско ушло из его земли» [245]. Возможно также, что воевода Юрий Мнишек демонстрировал свои возможности тушинскому царю, чтобы тот был сговорчивее в своих обещаниях. В конце концов, воевода получил награду за содействие второму самозванцу. 14 октября 1608 года «Димитрий царь» выдал своему «отцу», в вознаграждение дружбы и «благосклонности, коей вечный залог имел при себе», письмо на 300 тысяч рублей [246]. Вот только условием их уплаты, так же как и свадьбы с Мариной Мнишек, стало возвращение царя Дмитрия на свой престол. (Странно, как набожный пан воевода не содрогнулся при виде этой суммы, кратной сакраментальной цифре 30.) Воеводе была выдана также «Роспись городам северского княжества», включившая Чернигов, Смоленск, Брянск, Стародуб, Путивль, Новогородок, Курск, Рыльск, Карачев, Почеп, Трубчевск, Комарск, Рославль, Моравск. Эти четырнадцать городов «со всеми волостьми», как писал царь Дмитрий, «надлежать имеет к привилегии, от нас данной» [247]. Тем самым подтверждались и дополнялись ранее данные обещания первого самозванца. Щедрые посулы получили другие участники истории: посол Николай Олесницкий – город Белую, а двоюродный брат царицы Павел Тарло – 20 тысяч злотых, которые самозванец обещал уплатить, «когда Господу Богу будет угодно посадить его в столице».

Что же получала Марина Мнишек? Надежду, так жестоко отнятую у нее в мае 1606 года. Надежду на то, что сказка еще повторится. Ей продолжали воздавать царские почести, не требуя ничего взамен.

Нет оснований считать ее вслед за некоторыми историками простой любовницей Тушинского вора. На такую роль Марина никогда не смогла бы согласиться, ибо это навсегда навлекло бы позор как на нее саму, так и на всю ее семью, и, главное, означало бы крушение ее надежд на царскую корону. А для чего же тогда она столь опасно дала волю своим неприязненным чувствам при первой встрече с обманувшим ее дважды самозванцем, назвавшимся именем царя, ее мужа? Один слуга посла Николая Олесницкого рассказывал потом, что Марина Мнишек готова была свести счеты с жизнью из-за отвращения к обманщику, оскорбившему ее надежды. Она якобы выхватила кинжал и уже собралась вонзить его себе в грудь с душераздирающим криком: «Лучше смерть!» Мелодраматизм, присутствующий в этой сцене, мешает принять на веру слова слуги. Но даже если он привирал в деталях, его рассказ подтверждает главное – резкий протест Марины против предлагаемых ей обстоятельств.

Чтобы свести концы с концами в истории признания ею

Лжедмитрия II, стали считать, что Марина Мнишек была тайно обвенчана с самозванцем. Об этом, в частности, написал Конрад Буссов, отнесший известие о тайном браке «Димитрия» к весне 1609 года: он «сочетался, хотя и тайно, с супругой Димитрия первого, которая, как упоминалось, была в его лагере под Москвой, несмотря на то, что дал клятву ее отцу, воеводе Сандомирскому, что не разделит с ней ложа, прежде чем не сядет на царский трон» [248]. Тайное венчание не предполагает никаких документальных следов. Подобная версия представляется весьма соблазнительной, поскольку снимает необходимость что-либо доказывать. Полагают, будто тайный обряд совершил бернардинец отец Антоний, остававшийся духовником Марины Мнишек. Отец Павел Пирлинг нашел упоминание об «одном отце-бернардинце», благословившем брак Марины Мнишек и Дмитрия в лагере под Москвой, в журнале краковской нунциатуры [249]. Недавно польский исследователь В. Поляк обнаружил еще один документ, в котором тоже говорится о свадьбе или «помолвке» (slub), которую Марина Мнишек «брала» (?) с самозванцем не позднее апреля 1609 года. Это якобы предостерегло многих, понявших, что перед ними не прежний «царь Дмитрий» [250]. Автор фундаментального исследования о движении Лжедмитрия II И. О. Тюменцев уверен, что с самого начала своего появления в Тушине «гордая полячка, чтобы вновь стать Московской царицей, согласилась вступить в тайный брак со шкловским бродягой» [251].

Но есть ли для этого какие-нибудь основания, кроме слухов неясного происхождения? Скорее, прав отец Павел Пирлинг, увидевший драму Марины Мнишек, перешедшей от состояния «воплощенной покорности» воле отца к самостоятельным действиям: «Ее называют любовницей Вора. Едва ли справедлив столь категорический приговор. В сущности и Марина, и Лжедмитрий II были совершенно свободны. Канонические правила не ставили их союзу никаких преград… Впрочем, в глазах некоторых судей законный брак бывшей царицы с Тушинским Вором еще отягощает ее вину; с точки зрения самой Марины, то было, пожалуй, непоследовательностью… Превратности судьбы лишь нарушили ее душевное равновесие. В одиночестве и изгнании ее страстность превратилась в экзальтацию. Марина вся ушла в свои переживания. Но в себе самой она обрела могучую силу сопротивления. Поэтому когда новым капризом судьбы или же собственным порывом она опять была брошена в вихрь событий, она не уклонилась от выпавшей ей роли: напротив, она приняла ее смело, рискуя погубить себя навеки» [252].

Брак, тайный или явный, был бы сопряжен для Марины

Мнишек с определенными обязательствами и участием в церемониях. Марина же практически не участвовала во внутренней жизни Тушина. О ее присутствии там молчат почти все источники. Даже автор приписываемого ей «Дневника», расставшийся с «царицей» и паном воеводой в Ярославле, а потом, после ссылки в Вологде, оказавшийся снова вместе с ними в Тушине в декабре-январе 1608 года, только один раз говорит о совместном выезде царя и царицы «в церковь на богомолье» [253].

Впрочем, известно, что у Марины Мнишек появилась полагавшаяся «царице» московская свита. Сохранилась грамота царицыного сына боярского Ждана Дешкова, просившего о выделении ему земли в Курмышском уезде из «изменнических» владений нижегородского Благовещенского монастыря, датируемая 24 сентября 1608 года. Этот рядовой по своей сути документ подтверждает, что царь Дмитрий Иванович и все другие с самого начала относились к Марине Мнишек как к законной «царице и великой княгине Марине Юрьевне всеа Русии» [254]. Казачий атаман Ф. Копнин, происходивший из переславских детей боярских, просил в своей челобитной зачислить его мать на службу в свиту царицы Марины Юрьевны [255].

Возможно, были сделаны распоряжения, чтобы царицыно имя упоминалось во время богослужений в монастырях и церквях, располагавшихся на территории, подведомственной тушинской администрации. Чернец суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Левкий бил челом гетману Сапеге и просил исходатайствовать ему в Тушине архимандрию, обещая «за государя царя и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Русии, и за его царицу, а за свою государыню великую княгиню Марину Юрьевну всеа Русии, и за их благородных царьских детей, которых им государем впредь даст Бог, и за тебя государева ближнего приятеля Бога молити» [256].

Более показательно, однако, что имя царицы Марины Юрьевны отсутствует в «повинных» челобитных городов, переходивших на сторону царя Дмитрия Ивановича, и в его ответных «похвальных» грамотах этим городам в октябре-ноябре 1608 года. Все это могло означать, что участие Марины Мнишек в представительских церемониях в Тушинском лагере не распространялось дальше границы больших «таборов».

Между датами появления Марины в Тушине в сентябре 1608 года и ее бегства в Калугу в момент распада Тушинского лагеря в январе 1610 года есть еще одна примечательная веха – начало января 1609 года, когда подмосковные «таборы» покинул воевода Юрий Мнишек с другими близкими «царицы». Марина осталась одна в окружении своего двора и слуг. Именно с этого момента,

ознаменовавшегося какой-то неясной размолвкой Марины со своим отцом, можно видеть, как она понемногу выходит из тени своих родственников, чтобы уже без них пройти по той гибельной дороге, на которую они ее привели. Подоплеку событий, связанных с отъездом воеводы Юрия Мнишка, несколько проясняет автор «Дневника Марины Мнишек». Согласно этому источнику, сандомирский воевода начал готовиться к отъезду из Тушина в обстановке, в целом благоприятствовавшей видам тушинского царя на занятие Москвы, уже в начале декабря 1608 года. Сначала он отправил часть своих слуг и челяди «на своих возах». Но его собственный отъезд задержался из-за того, что «рыцарство» не захотело его отпускать.

Это известие лишний раз демонстрирует, что самозванец не был реальным хозяином положения в Тушине. Власть там принадлежала польским отрядам во главе с гетманом князем Романом Ружинским. Сандомирский воевода собирался ехать на сейм или, как записал автор «Дневника Марины Мнишек», «чтобы попасть хотя бы на конец сейма». В Тушине получали сведения, что отъезд воеводы Юрия Мнишка стерегли в Москве и что царь Василий Шуйский посылал для его перехвата специальные отряды. Но не судьба Мнишков волновала войско, а уплата заслуженных им денег. В «Дневнике» в записи от 6 января 1609 года говорится: «Пан воевода готовился в дорогу в Варшаву, прислали к нему от жолнеров, чтобы не уезжал до тех пор, пока пан Побединьский не привезет деньги – 50 000 рублей, которые (как говорили) он должен был взять в Пскове (они возвращены были)». Пан воевода «вынужден был задержаться». Несколько дней спустя деньги были привезены, часть средств выделена самому воеводе Юрию Мнишку. Но дележ денег рассорил войско и восстановил его против тушинского царя: «Отыскали также письма царские, которые царь тайно послал своей “москве”, чтобы товарищество, отправленное от войска за этими деньгами, утопили в реке» [257]. Правда ли, что самозванец сам хотел завладеть присланной из Пскова казной, или это вымысел, не так уж и важно. Главное состоит в том, что реальная власть в Тушине уходила из рук Лжедмитрия И. Польское воинство приняло свои меры. Оно насчитало астрономический долг в 14-17 миллионов злотых, числившийся за «царем Дмитрием», и взяло финансы под свой контроль. Наемники самозванца избрали децемвиров (дух Древнего Рима все-таки витал над Тушином), и те по сути узурпировали правление под Москвой: «Наши, видя, что он раздавал, не различая, что и кому, выбрали между собой в войске **decem viros**, то есть десять мужей, которых облекли полномочиями, с тем условием, что Димитрий должен был

принимать все их постановления» [258]. Все это произошло после 1(11) февраля 1609 года, когда оставалось три недели до срока уплаты денег за еще одну четверть службы у Лжедмитрия И. 11 (21) февраля 1609 года «царь Дмитрий» «прорепетировал» свой возможный отъезд из Тушина [259]. Однако узнавший о планах бегства «царика» гетман князь Роман Ружинский посадил его под «домашний арест». Подобные маневры не укрылись от взглядов посторонних наблюдателей. Приезжавшие в Тушино купцы и лазутчики разносили вести, «што вор хочет побежати и боитца Ружинского и с козаками; у таборех будки покрыты соломою, а двои ворота, въехати и выехати; и ужо скучилося у войску, и Вору платить нечим, говорил своей жене Марине: “знаю летниками платить жолнерем, а не заплатим”» [260]. При этом войско сознавало, что без самозванца не получит ни весной, ни летом не только миллионов, но и нескольких десятков злотых, и стало искать компромисс.

В такой обстановке воевода Юрий Мнишек и уезжал из лагеря под Москвой. Марина оставалась совсем одна, если не считать ее верную гофмейстерину Барбару Казановскую.

Немного подбодрить Марину могло письмо, привезенное из Самбора слугой ее матери. Ядвига Мнишек и раньше принимала участие в московских делах своего мужа. Еще после майских событий 1606 года она дала приют Михаилу Молчанову, изображавшему в Речи Посполитой спасшегося царя Дмитрия Ивановича. Пани Ядвига отправила своих младших сыновей Николая и Сигизмунда в Рим, где они получили аудиенцию у папы Павла V и убеждали его в том, что имеют прямые подтверждения того, что миссия чудесно спасшегося царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек в Московском государстве продолжается. Присутствие в тушинском войске людей, приехавших мстить за своих задержанных родственников, делало сандомирскую «пани воеводину» не одинокой в своем стремлении любой ценой помочь освобождению близких и особенно дочери. Можно думать, что она сразу же была извещена о том, что они попали в подмосковный лагерь (наиболее подробные сведения ей мог сообщить посол Николай Олесницкий).

Слуга Ядвиги Мнишек приехал в один из дней, на которые уже был назначен отъезд сандомирского воеводы. Одновременно он привез достоверные сведения о «коронных делах» и особенно о сейме, куда так торопился воевода Юрий Мнишек. Несколько раз назначалось «коло» – войсковой круг, на котором «о его отъезде должны были договариваться», однако всякий раз «коло» откладывалось. Наконец, 7 (17) января 1609 года, солдаты согласились на отъезд сандомирского воеводы, и отец Марины

Мнишек без промедления покинул Тушинский лагерь. Он даже не успел как следует проститься с дочерью. «Выехали мы с паном воеводой из лагеря часа за два до вечера. Сам царь и рыцарство нас провожали», – записал уезжавший в его свите автор «Дневника Марины Мнишек» [261]. Дорога воеводы лежала через Можайск, Калугу, Брянск и оттуда «рославльским путем» через Стародуб в земли Речи Посполитой.

Весь 1609 год прошел для Марины Мнишек в тягостном ожидании. Мысли ее были поглощены тем, доехал ли отец, встретился ли он с ее матерью, удалось ли ему что-нибудь сделать по «московским делам». Она часто писала отцу, некоторые из писем были написаны ею собственноручно. Но из всех ее посланий сохранились только четыре: два датированы январем и еще два – 23 марта и 10 августа 1609 года.

Юрий Мнишек вообще не отвечал дочери, на что она горько жаловалась. Тон ее писем лучше и точнее всего, что мы знаем о ней, свидетельствует о ее характере.

Во-первых, и во-вторых, и в-третьих – это покорная дочь, во всем стремящаяся услужить своему любезному родителю. Она ждет его повелений, готова исполнять все его приказания. Она с болью вспоминает о тех временах, когда они были вместе. Тем тяжелее для нее, что отец уехал, не дав ей своего благословения: «Не знаю, что писать к вам в печали, которую имею, как по причине отъезда вашего отсюда, что я осталась в такое время без вас, милостивого государя моего и благодетеля, так и по тому, что с вами не так простилась, как проститься хотела, а паче я надеялась и весьма желала, чтобы из уст государя моего батюшки благословение получить, но видно того я была недостойна». Это несчастливое прощание должно было особенно мучить Марину, потому что больше она со своим отцом так и не увиделась.

Но пока ни он, ни она не знают об этом. А потому в письмах Марины к отцу больше говорится о текущих делах. Точнее, проговаривается намеками, понятными им обоим. Марина просит не забывать «как меня, так и дел моих, имеющихся в Польше, равно и тех, которых сами вы, уехав, не кончили» [262]. Что имеет здесь в виду «покорная слуга и дочь Марина царица московская», остается только догадываться. Но одно направление переговоров воеводы Юрия Мнишка в Речи Посполитой может быть угадано с большой степенью вероятности. В лагере самозванца предприняли шаги, чтобы снова заручиться поддержкой святейшего престола в Риме. С этой целью Марина отправила в Рим своего придворного Авраама Рожнятовского, вероятного автора так называемого «Дневника Марины Мнишек». Русская «царица» и, по-прежнему, верная католичка Марина Юрьевна

послала с ним письмо, подтверждавшее намерение выслать посольство в Рим, как только она вновь окажется на престоле. Марина обращалась к папе Павлу V за благословением: «Пока же все дела наши убедительно препоручаем молитвам вашего святейшества. При этом искренно признаем, что все победы, одержанные до сих пор нашими войсками, и все полученные выгоды следует приписать лишь благости Божьей и молитвам вашего святейшества, и поэтому мы горячо молим ваше святейшество о даровании нам вашего благословения. Можем также клятвенно заверить вас, что все, что вы потребуете от нас письменно или через своих послов, с готовностью будет нами исполнено, как вообще ради славы Божией, так и для распространения святой католической веры» [263].

В эти же самые дни, 15 января 1609 года, Марина пишет (или только подписывает?) письмо по-латыни новому нунцию в Кракове Франциску Симонетте. Она испрашивает его «апостольское благословение» и подтверждает, что будет делать все для блага римско-католической церкви. Показательно, что в конце февраля 1609 года за благословением к папе Павлу V обратился и недавно обращенный в католичество гетман самозванца князь Роман Ружинский. Он также убеждал Рим, что, участвуя в походе на Москву для принесения помощи «Димитрию Ивановичу, великому князю и царю московскому», был занят делом «защиты и распространения святой католической веры» и «проливал за нее свою кровь» [264]. Последние слова скоро оправдались буквально, поскольку в одной из битв под Москвой 26 февраля (6 марта) 1609 года князь Роман Ружинский был опасно ранен из лука и вскоре сошел в могилу. Но пока он был в силах и верховодил в Тушинском лагере; именно он и должен был санкционировать обращение Марины Мнишек в Рим. Воевода Юрий Мнишек, в свою очередь, должен был убеждать церковные власти в Речи Посполитой в последовательном стремлении его самого и дочери завершить начатое, а взамен использовать их поддержку в светских делах.

Продолжая свое письмо отцу, царица Марина напоминает: когда будете писать «к его царской милости, упоминали бы и обо мне, прося его о том, дабы я у него почтение и милость иметь могла». Оказывается, ей нужно предстательство отца перед «мужем»! При этом Марина обещает своему «батюшке» «исполнить все то, что вы мне поручить изволили, и так поступать, как вы мне повелели». В этом самом первом письме еще очень остро ощущается дочерняя любовь к отцу. Но Марину занимают не только серьезные вопросы. Она пишет и о вещах легкомысленных, что вполне свойственно особам ее возраста. Она

думает, например, о том, в каком платье будет щеголять в дни поста. Поэтому просит отца: «Прошу вас, милостивый государь мой батюшка, чтоб я, по милости вашей, могла получить черного бархату узорчатого на летнее платье для поста, двадцать локтей, прошу усильно». Завершив письмо, она вспоминает, что забыла попросить отца еще об одной услуге: ей нужны сундучок и еще какие-то вещи (часть приписки утрачена), и она просит отца прислать ей все это, не откладывая, еще зимой. Упоминает и о том, что исполнит все дела отца, по «реестрику», переданному ей братом Станиславом Мнишком.

Следующее письмо, от 26 января 1609 года, Марина послала отцу, используя оказию – отъезд послов от тушинского войска к королю. Хотя письмо и адресовано для передачи прямо в руки сандомирскому воеводе Юрию Мнишку, но оно скорее нужно было самим послам, поддержать которых просила Марина. С помощью воеводы те рассчитывали скорее завершить свои переговоры, «понеже то весьма нужно и его царскому величеству, и делам нашим московским». Все это уже написано больше царицей, чем дочерью, у которой до отъезда отца только и было забот, что о своих нарядах. Но Марина по-прежнему искренне тоскует и просит отца писать как можно чаще: «Я не могу ни в чем более находить удовольствия и утешения, как осведомляться о добром вашем здоровьи и благополучном состоянии, и спрашивать о том, о ком желательно мне чаще слышать» [265].

Еще и 23 марта – этой датой помечено следующее письмо Марины Мнишек отцу – она не имела «достоверного известия» о том, «где и в каком положении» находится сандомирский воевода. Все, что ей было известно, это то, что отец добрался до Польши, но она даже не знала, виделся ли он с ее матерью (единственное упоминание о матери в письмах Марины Мнишек к отцу). Она оправдывала отца: его могли задержать «сеймовые нужды» или сам король «отвлек» на «долгое время». Но ей очень нужно было подтверждение того, что отец каким-то образом продвигает в Польше «московские дела». Под Москвою все оставалось по-прежнему, и царь Дмитрий никак не мог достичь своей главной цели, въехать в столицу и сесть на престол, чего все, в том числе и царица, ждали от него. Польское войско в Тушине лишь обнадеживали будущей окончательной победой и уплатой заслуженного, о чем Марина и уведомляла отца: «В каком состоянии оные дела были при вас, в таком и ныне, только войско польское удержано до того времени, хотя бы и платы оному не было, пока всемогущий Бог к желаемому все то приведет окончанию» [266].

В мартовском письме опять содержалась собственноручная

приписка Марины Мнишек. В ней она писала уже не о московских, а о своих личных делах. Делала она это в спешке, что тоже очень показательно. Отъезжающий «господин коморник» очень спешил, оставив воеводу Юрия Мнишка, а вместе с ним и будущих историков без подробностей самостоятельного пребывания Марины Мнишек в Тушинском лагере. Очевидно, что жизнь в лагере под Москвой оказалась совсем не той, на которую рассчитывала «царица». С одной стороны, с ней обращались так же, как и при отъезде отца. С другой же – ничего, о чем она просила, не выполнялось. У нее не было средств даже на то, чтобы самостоятельно отправить своих людей с письмами (не позволяли децемвиры?). Потому-то она и использовала оказию. Царица вспоминала о других временах, когда она хотя бы имела возможность наслаждаться обществом отца. В последней фразе из ее письма, помимо докучливой просьбы о присылке изысканных блюд (не очень уместной, принимая во внимание хотя бы расстояние между Самбором и Тушином), содержится ностальгическое воспоминание о лучших временах: «Помню, милостивый государь мой батюшка, как вы с нами кушали лучших лососей и старое вино пить изволили, а здесь того нет; ежели имеете, покорно прошу прислать».

Видимо, «царь Дмитрий» следил за тем, чтобы от Марины Мнишек не уходили лишние сведения в Речь Посполитую. Сам же он не меньше своей «царицы» ждал известий от сандомирского воеводы и был «удивлен» отсутствием оных, хотя сейм вот уже несколько недель как завершил работу. 12 апреля 1609 года Лжедмитрий II послал к «отцу» и «тестю» своего канцлера, которому поручил обсудить ход «предпринятых и постановленных дел». Но «доброжелательному сыну» нечего было сообщать воеводе: «Изменник наш (царь Василий Шуйский. – **В. К.)** еще и доселе держится; но уповаем на Бога, что начатое дело вскоре действие свое возъимеет» [267]. О Марине Мнишек в этой грамоте, равно как и в других к сандомирскому воеводе, не говорилось ни слова.

Непонятно, почему воевода Юрий Мнишек прекратил переписку с Тушином, прекрасно зная, что там находится его дочь. 10 августа 1609 года «Марина царица» попыталась сама выяснить это у отца. Она писала, что использовала любую возможность, чтобы получить известие «о здоровье вашем, милостивого государя моего родителя». Марину очень удручало, что она не получила никакого ответа и особенно совета в самых «необходимых» для нее делах. Все это выглядело тем более удивительно, что, как подчеркивала Марина Мнишек, она писала некоторые из этих писем сама. Она еще и еще раз просила отца не

оставлять ее без поддержки, прямо жалуясь, что находится «в печали»: «Ибо я при нынешней печали моей, не зная какой оборот примут дела московские, ни в чем более не нахожу утешения, кроме как чаще получать письма от вас государя моего родителя». Впрочем, она по-прежнему была готова терпеть страдания ради исполнения высокой миссии, внушенной ей отцом. Марина продолжала ожидать перемен в «московских делах», чтобы увидеть, по ее словам, «вожделенные успехи дома нашего» [268].

А между тем к лету 1609 года в истории Смуты произошли очень драматичные события. Если приезд Марины Мнишек повлиял на очевидные успехи Тушинского вора в октябре-ноябре 1608 года, то действия самих тушинцев, начавших беззастенчивый грабеж присягнувших им территорий, оттолкнули от самозванца целые города и области. Конрад Буссов описал картину невероятного разложения подмосковных таборов, напоминавших Рим времен упадка в результате действий «десяти тысяч ратников», которые «не ленились, жгли, убивали, грабили всюду, куда им только удавалось попасть». Тушинский лагерь был «завален всяким провиантом: маслом, мукой, медом, питьевыми медами, солодом, вином, всевозможным скотом в таком изобилии, что можно было удивляться. Головы, ноги, печень, легкие и другие внутренности животных выбрасывались, и их так много лежало всюду на проходах в лагере, что собаки не могли всего сожрать, и из-за этого в лагере распространилось такое зловоние, что даже стали опасаться мора. Ежедневно самые маленькие люди в лагере варили и жарили что только есть отменного, пили больше медов, чем пива, в таком изобилии был найден готовый мед у крестьян и в монастырях» [269]. Смоленские лазутчики сообщали в начале 1609 года о том, что «Дмитрей, что зовется цариком, хочет оттуль с того обозу рушитца прочь, от Москвы за три мили, за пятнадцать верст, стать на новом месцу, потому што на весне смрад и воня войско подушит, а певне ждет весны и просухи, хочет огнем Москвы добывать и жечь» [270].

В «Истории Московской войны» Николая Мархоцкого рассказывается, как войска гетмана князя Романа Ружинского, решив зимовать под Москвой, «разделили послушные нам волости на приставства». Это означало, что каждый подвластный округ должен был поставлять приписанным к нему польским ротам провиант и все необходимое. **«С** волостей, разделенных на приставства, – записал Николай Мархоцкий, – везли нам воистину все, что только душа пожелает, и все было превосходным. Подвод приходило на каждую роту до полутора тысяч». Сначала, придя в Тушино, польские воины вынуждены были рыть себе землянки и устраивать в них печи, нередко угорая

в них. Затем, получив дармовую рабочую силу и подводы, они стали устраиваться основательнее перед суровой зимой. Поступали просто: «в окрестных селениях брали дома и ставили в обозе». И это тоже описал Николай Мархоцкий, рассказав о том, как Тушинский лагерь понемногу превращался в город, в центре которого поставили дома для царя Дмитрия, царицы Марины Юрьевны и ее отца воеводы Юрия Мнишка: «Некоторые имели по две-три избы, а прежние, земляные, превратили в погреба. Посреди обоза построили царю с царицей и воеводой достойное жилище, и стал наш обоз походить на застроенный город» [271].

В Тушинском лагере не было никакого единства. Там собрались польские рокошане, скрывшиеся в Московском государстве от возмездия короля Сигизмунда III, участники Брестской конфедерации инфляндских солдат, подчинявшиеся Яну Петру Сапеге, головорезы полковника Александра Лисовского, казаки Ивана Заруцкого, тушинские «перелеты» и противники царя Василия Шуйского из числа русских бояр и дворян. В этот кипящий котел взаимных счетов пытались вовлечь и воеводу Юрия Мнишка, и саму «царицу» Марину Юрьевну.

Спустя полмесяца после того, как Мнишки появились в Тушинском лагере, бывший гетман самозванца полковник Мацей Меховецкий, удаленный из Тушина под страхом казни, попытался вернуться, уступая просьбам тех, кто не был доволен крутым правлением гетмана князя Романа Ружинского. Однако оказалось, что сделал он это себе на беду. Его попытка скрыться в покоях царя Дмитрия, которому Меховецкий преданно служил в начале движения, не увенчалась успехом. Гетман князь Ружинский достал его и там, ворвавшись к царю со своими четырьмя юношами-«пажами», которые по его приказу и убили его соперника. В «Дневнике» Яна Сапеги это происшествие датировано 27 сентября (7 октября) 1608 года. «Царь гневался, – рассказывал Николай Мархоцкий, – но не знал, что делать, ибо Рожинский (в русском переводе его фамилия передается то через «у», то через «о». – В. К.) велел передать, что и ему шею свернет. Потом мы их помирили, а голова Меховецкого пропала» [272]. Между тем для воеводы Юрия Мнишка и его дочери, находившихся где-то рядом, все это должно было напомнить сцены кремлевского погрома.

Взаимная ненависть, которую испытывали ветераны похода в Россию, первыми поддержавшие нового самозванца в Путивле летом 1607 года, и те, кто перешел к нему на службу уже под Москвой, только усиливалась по мере того, как иссякали средства на уплату войску. Даже бывшие пленники, задержанные в столице в 1606 году, когда они, отпущенные по домам, появлялись в

Тушине, вызывали недовольство как лишние претенденты на дележ добычи. «Пленники, собрав хоругви и кое-какое оружие, группами или целыми ротами приходили к нам, – писал Николай Мархоцкий. – Недовольное этим войско потребовало от царя оплатить, по крайней мере, шесть или семь четвертей». Войску платили жалованье за службу по четвертям года, значит, они требовали своего более чем за полтора года сразу. «Царь попросил об отсрочке, но воины стояли на своем, и никто не возмутился их жадностью – все требовали оплаты». Призывы отомстить за свою братию, ради чего собиралось войско второго царя Дмитрия, были забыты.

В почуявшем вкус крови и легкой добычи тушинском войске все более стали брать верх мародеры, жившие одним днем и давно забывшие не то что о чести какого-то там «царика», но и обо всем, кроме собственной наживы. Ни царь, ни царица, ни гетман, ни сенатор Речи Посполитой – пока он находился в таборах – не могли быть для них указом. Они решили идти до конца и взять свою оплату немедленно, вопреки разумным голосам и увещеваниям того же гетмана князя Романа Ружинского. Осенью 1608 года, когда весь Замосковный край – в том числе Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов, Романов, Кострома и Галич – присягнул на верность царю Дмитрию, а гетман Ян Сапега осаждал Троице-Сергиев монастырь, наступил час тех, кто предлагал немедленно взять дань с богатых волжских городов и уездов. Тех же, кто возражал, как, например, Николай Мархоцкий, называли «наперсниками» царя. (Это хорошо показывает, как войско «считалось» с Лжедмитрием II.) «Но ничего нельзя было сделать: мы не могли их переубедить, хотя предвидели дурные последствия, и сам царь им на это указывал, – писал автор «Истории Московской войны». – Воины взяли у царя разряды (по-нашему канцелярия), приказали написать себе грамоты в города, чтобы те платили дань от земель, которые у них называются вытями, а с товаров – даже поносовщину (как у нас поголовное). С грамотами отправили по одному поляку и одному москвитянину (все это большей частью придумал Анджей Млоцкий, и царь на это согласился), которые разъехались по городам и провинциям за Волгу. А там, когда люди узнали, что надо платить такую дань, сборщиков перебили, утопили, замучили. Все заволжские края восстали… Хотя взятие столицы было близко, получили мы на свою голову новую войну, и часть войска должны были посылать за Волгу» [273].

Такова была реакция русских людей на так сказать официальные действия тушинской администрации, пытавшейся установить свой грабительский фискальный режим в подвластных

городах. Но от своих господ не отставали и слуги тушинцев – челядь и пахолики, бросавшие своих панов и уходившие грабить ближние и дальние русские города. Они выдавали себя то за татар, то за сторонников царя Василия Шуйского. Об этих тушинских художествах успел узнать еще автор «Дневника Марины Мнишек», с горькой иронией написавший о нравах, царивших под Москвой в декабре 1608 года: «В целом если бы пришлось описать, какой мы там порядок и согласие застали, очень бы много места заняло это» [274]. С бунтом своей челяди тушинцам удалось справиться только весной, о чем тоже сообщал Николай Мархоцкий: «Бунтовщиков было больше тысячи. Выбрали себе ротмистров и полковников; шатаясь по московской земле, занимались разбоем и не хотели возвращаться к своим господам. Дошло уже до того, что мы выслали против них роты, разбили, рассеяли, схватили старшин и посреди обоза посадили на колы. Во время расправы все мы, вместе с гетманом, были в седле, опасаясь бунта оставшейся челяди. После этого челядь вела себя тише и возвращалась к своим хозяевам» [275].

Ко всему добавлялась рознь в тушинском войске между польскими и русскими сторонниками самозванца. Ее отражением стала история с псковскими деньгами и тайными письмами «царя», якобы призывавшего побить польское «товарищество», перевозившее казну. «По этой причине, – рассказывается в «Дневнике Марины Мнишек», – наши сильно взволновались и восстали против него, потеряв к нему расположение и видя явную неблагодарность» [276]. Но чем меньше в тушинском войске становилось желания проливать кровь за «честь» неблагодарного царя, тем хуже должно было приходиться и его «царице» Марине Мнишек.

Шляхтичи в тушинском войске самозванца все больше обращали свои взоры в сторону короля Сигизмунда III, прямой запрет которого они нарушали в свое время, вторгшись в Московское государство. Не случайно, что из Тушина к королю на сейм отправились целых два посольства – от воинства и от самого «царя». Воевода Юрий Мнишек помогал представителю самозванца думному дьяку Нехорошему Лопухину. Но сандомирский воевода, немало удививший членов сейма своим московским костюмом и длинной бородой, ничуть не преуспел. Маскарад не подействовал на других сенаторов, и ему не удалось оправдать надежды своей дочери «царицы» – склонить короля и сейм к открытому признанию дела «царя Дмитрия». Миссия Лопухина полностью провалилась. Как написал находившийся в то время в Тушинском лагере Иосиф Будило, «посол царя встретил пренебрежение к себе, уехал, не будучи выслушан» [277].

Однако кое-чего сандомирский воевода все же добился. Его явная поддержка «царя Дмитрия» и свидетельства в пользу того, что это и есть чудесно спасшийся московский государь («сказуют, што Сендомирской на сейме присегал, Вора сказует прямым цариком»), повлияли на мнение участников сеймовых заседаний. В результате король Сигизмунд III уже не смог получить прямой поддержки своих планов военного похода в Россию.

Суть споров, разгоревшихся на сейме, стала известна в Смоленске от одного из его участников, шляхтича «енерала» Лукаша Вириковского: «А королевич хотел было идти на Москву, и жолныри с ним: ино скоро приехали воевода сендамирской и посол от Дмитрея Федор Нехорошей Лопухин, и от жолнеров послы, што при Дмитрею, в Московском царьстве, которого зовут цариком, ино воевода сендамирской короля от зятя поеднал. И послы от жолнырей короля и панов рад просили, штобы королевича на царьство Московское не слали, и сказываючи им так: иж мы дее при Дмитрее царику, поприсегнули при нем головы покласть, хотя и против своей братьи» [278].

Так под влиянием демарша сенатора Юрия Мнишка планы похода короля Сигизмунда III в Россию были отложены. Однако отмениться вовсе они не могли. Более того, сейм разрешил королю действовать по своему усмотрению для защиты интересов Речи Посполитой в Московском государстве, и война стала делом времени [279]. Поэтому король Сигизмунд III по-другому отнесся к обращению польских сторонников самозванца, решив не отталкивать тушинское «рыцарство», дабы иметь возможность использовать его опыт в будущем. Как вспоминал Николай Мархоцкий, послов было четверо – Веспасиан Русецкий, Станислав Сулишевский, Миколай Концешкевич и еще один (имени которого автор «Истории Московской войны» не запомнил). К королю Сигизмунду III обращались с посланием «наши братья-рыцарство с их гетманом, князем Романом Наримунтовичем Рожинским, верноподданные вашего величества, вступившие с оружием в Московскую землю для славы царя Дмитрия Ивановича Московского». Посланцы обосновывали свое историческое право «выходить за пределы государства без согласия своих государей», если это было вызвано «благом Речи Посполитой». На рассмотрение короля предлагалась такое объяснение похода войска гетмана Ружинского в Московское государство: «Чтоб столь великое пролитие крови наших братий, замученных в Москве, где они обмануты были предлогом дружбы и обобраны в имуществе, было надлежащим образом отмщено». Войско свидетельствовало свое повиновение и упоминало собственные заслуги: что оно стало «щитом», в то

время когда неприятель «уже готовился тогда выступить к границам вашего величества» (не очень понятно, что имелось в виду, так как царь Василий Шуйский не собирался нападать на Речь Посполитую, а начавшаяся в Северской земле междоусобная война была внутренним делом). Далее рыцарство, служившее царю Дмитрию Ивановичу, упоминало, что оно «без всяких издержек со стороны вашего величества и Речи Посполитой», а «собственными нашими средствами» (намек на их возмещение?) «отомстило не только за омраченную славу нашего народа, но освободило и отпустило в отечество послов вашего величества, задержанных вопреки обычаю всех народов в течение двух с половиной лет, и многих из наших братий, отправившихся на свадьбу царя Дмитрия Ивановича с ведома и дозволения вашего величества» [280].

Показательно, что о самой Марине Мнишек посланцы даже не упоминали, равно как и о ее отце сандомирском воеводе. Очевидно, в польском войске самозванца не придавали большого значения приехавшим туда Мнишкам в отличие, скажем, от упомянутого в письме посла Речи Посполитой Николая Олесницкого, выполнявшего официальную миссию короля в Московском государстве. Что говорить о Мнишках, когда немного уважения было выказано «тому, которого они теперь носят на руках, которого мы выдвигаем на престол Московский нашей кровью и издержками». Тушинский вор не удостоился того, чтобы быть названным по имени. Из контекста письма, отправленного войском королю, можно вообще понять, что самозваный царь – побежденный враг, которым можно понукать: «Мы, почти сев им на хребты, принудили к тому, что они теперь, устрашенные нами, бьют вашему величеству челом» (хорошая иллюстрация правоты современников, говоривших о гордости и заносчивости поляков). Царский посланник, по словам «рыцарства», должен был пообещать от имени тушинского царя Дмитрия «вашему величеству и всей Речи Посполитой – нашей матери – вечную приязнь и верную, твердую любовь». Войско гетмана князя Романа Ружинского просило короля, чтобы их считали «детьми», а не «пасынками нашего отечества». Завершалось это полное возвышенной риторики письмо вполне по-земному: войско просило об отсрочке своих судных дел на время участия в московском походе.

По оценке Николая Мархоцкого, послов от «рыцарства» «приняли благосклонно», хотя «дурное мнение сохранилось». Иосиф Будило в своих дневниковых записях оставил более конкретные детали. Король удостоил тушинское войско ответа, но прислал письмо, «запечатанное домашней королевской

печатью, и в нем король обещает прислать к войску своих послов». Тем самым король Сигизмунд III давал понять, что обращение войска не является предметом официальных переговоров. Но это и не был разрыв, как в случае отвергнутого посланника самозваного царя Дмитрия. Войско могло надеяться, что король удовлетворит их нужды и начнет с ними переговоры, как было обещано в его письме подмосковному «рыцарству» 12 (22) февраля 1609 года.

Что же происходило в это время в самой России?

Как известно, царь Василий Шуйский принял самые крайние меры для спасения государства. Боярин князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский был отправлен в Новгород для заключения договора со шведами о наборе наемного войска [281]. В той ситуации казалось самым простым и очевидным привлечь на свою сторону врагов польского короля Сигизмунда III в Швеции. И действительно, движение рати боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и шведского военачальника Якоба «Понтусова» Делагарди придало уверенности замосковным городам. Галич, Кострома, Вологда, Белоозеро, Ярославль, Пошехонье, Романов, Углич, Муром, Юрьевец Поволжский и другие города быстро повернули оружие против тушинской администрации и снова перешли на сторону царя Василия Шуйского. Но цена принятого им решения, как выяснилось очень скоро, оказалась чересчур велика.

Весной и летом 1609 года тушинцы уже мало что контролировали, кроме терроризируемых ими близлежащих уездов. От изобилия первых месяцев стояния под Москвой не осталось и следа. Все было бездарно разграблено и пущено на ветер. Даже те, кто, как Конрад Буссов, служил тушинскому царю, понимали это: «Единственной причиной их (городов. – В. К.) отпадения от Димитрия были несправедливости и большие бесчинства поляков, которые не могли отказаться от грабежей и насилия, пока их не стали спускать под лед, перерезать им горло или даже вздергивать на виселицу. Они отнимали силою у бедняков, невзирая на то, что те присягнули Димитрию, все, что у них было, как если бы это были злейшие враги, а ведь эти бедные люди много отдавали в лагерь на содержание войска. Из-за этого им приходилось все прятать и закапывать в землю от грабителей поляков, что слишком тяжко было постоянно терпеть этим людям и дало им повод (еще до того, как они узнали о приходе Скопина и Понтуса) взбунтоваться против грабителей-солдат Димитрия и отпасть от него. Некоторых поляков они убили, некоторых спустили живыми под лед, приговаривая: “Вы, глаголи, вконец

разорили нашу местность и сожрали почти всех коров и телят, отправляйтесь теперь к рыбам в Волгу и нажирайтесь там до смерти”» [282].

Провалилась и грозившая самым тяжелым поражением Московскому государству многомесячная осада Троице-Сергиева монастыря отрядами Яна Сапеги [283]. Все, что удалось тушинцам сделать в чужой для них стране, так это вызвать невиданную до той поры волну патриотического подъема. Поход рати боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского отвлек значительные силы самозванца от московской осады. В то время как войско князя Скопина-Шуйского собиралось в Великом Новгороде, из подмосковных «таборов» туда было отправлено несколько тысяч запорожских казаков во главе с Яном Кернозицким. В «Московской хронике» Конрада Буссова говорилось о четырех тысячах конных копейщиков, отправленных в Новгород; именно с успехами этого отряда он связывал перемену настроения тушинского царя, нарушившего клятву, данную сандомирскому воеводе Юрию Мнишку, и вступившего в тайный брак с Мариной Мнишек [284]. Однако его известие об отсылке отряда Яна Кернозицкого под Новгород относится к январю 1609 года (Николай Мархоцкий вообще датировал казачий поход весной того же года). Между тем достоверно известно, что казаки Кернозицкого появились под Новгородом в середине ноября 1608 года. Все, что смог отряд Кернозицкого – так это организовать блокаду города, в котором, по свидетельству современных летописцев, начались «многие бои». Своей цели – склонить Новгород к признанию Лжедмитрия II – тушинцы не достигли, хотя спровоцировали раскол и волнения среди новгородцев, стоившие жизни воеводе Михаилу Игнатьевичу Татищеву, одному из активных участников заговора по низложению Лжедмитрия I. Не смогли казаки оказать сопротивление и начавшемуся из Новгорода походу объединенной рати боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и шведских наемников под командованием Якоба Делагарди в мае 1609 года.

Навстречу совместной рати Скопина-Шуйского и иноземцев под командованием Якоба Делагарди был отправлен полк Александра Зборовского. С приданными ему запорожскими казаками весь отряд составлял, по оценке Николая Мархоцкого, около четырех тысяч человек. Конрад Буссов насчитывал под командой Зборовского пять тысяч конных копейщиков. Вместе с этим полком отправились и русские тушинцы во главе с воеводой князем Григорием Петровичем Шаховским, «прославившимся» еще своим участием в движении Ивана Болотникова. Несмотря на

отдельные локальные успехи, 13 (23) июля 1609 года тушинские войска потерпели поражение под Тверью. Началось безостановочное движение рати князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского к Москве, закончившееся освобождением столицы от осады.

Тушинцам приходилось вести военные действия одновременно на нескольких направлениях. Понимая это, они попытались воздействовать через «царика» на гетмана Яна Сапегу, чтобы собраться всем вместе для противостояния войскам царя Василия Шуйского. Ратные люди, находившиеся в «осадном сиденье» в Москве, тоже хотели разом решить все проблемы и освободиться от самозванца. 25 июня (5 июля) 1609 года они напали на Тушинский лагерь с помощью передвижной крепости – «гуляй-города». Этот бой на реке Ходынке принес ощутимый урон польской пехоте, хотя и не решил главного – тушинцы продолжали осаждать Москву. Из Астрахани в это время на подмогу столице шло войско боярина Федора Ивановича Шереметева. Летние бои не дали распространить влияние «царика» на Нижний Новгород и земли по реке Оке вокруг Мурома и Касимова. Главным же поражением войск самозванца стал неудачный штурм гетманом Яном Сапегой Троице-Сергиева монастыря 29 июля (8 августа) 1609 года. Потрясение, пережитое как нападавшими, так и защитниками под Троицей, было велико. Но одни пали духом, а другие навсегда укрепились, веря в небесное заступничество преподобного Сергия Радонежского за Троицкую обитель и всю Россию.

Провал сапежинцев под Троице-Сергиевым монастырем изменил планы сторонников тушинского «царя Дмитрия». Хотя осада продолжалась, войско стали покидать «одумавшиеся» донские казаки. Кроме того, стоявшая в Калязине рать боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского могла в любой момент прийти на помощь защитникам Троице-Сергиева монастыря. Войсковое собрание гетмана Яна Сапеги решило упредить такое развитие событий и выступило к Калязину. В поход, кроме самого гетмана, отправились полки известных тушинцев Александра Зборовского, Бонка Ланцкоронского, Александра Лисовского. 18 (28) августа 1609 года под Калязином произошли бои, не давшие никакого преимущества гетманскому войску. В разгар сражений к гетману Яну Сапеге возвратились послы, ездившие в Тушино. Они сообщили о том, что самозванец по-прежнему ничего не может заплатить войску. Самой же большой новостью стало то, что все слухи о готовящемся походе короля Сигизмунда III в Московское государство оправдались. Вступление на территорию России шведских войск позволило

польскому королю разорвать перемирие с царем Василием Шуйским и начать против него открытые военные действия.

Известие о том, что король идет в Россию, полностью переменило расстановку сил в Тушинском лагере и вокруг него. По согласному известию участников боев под Калязином Иосифа Будило и Николая Мархоцкого, тушинское войско остановилось и бросило сражение со Скопиным-Шуйским и немецкими наемниками. Вместо этого войска из-под Калязина стали отходить в Тушино и другие города. Польские сторонники самозванца занялись излюбленным делом и стали собирать конфедерации, чтобы решить, что же делать дальше: добиваться ли уплаты долгов от Тушинского вора или переходить на службу к королю. Поход короля под Смоленск, куда он прибыл 19 (29) сентября 1609 года, расколол и русских тушинцев, которым тоже предстояло искать компромисс, чтобы оправдать свое продолжающееся присутствие в стане тушинцев.

Но первоначально в Тушине решили не уступать королю Сигизмунду III и держаться «царя Дмитрия» и «царицы Марины». В войске, по свидетельству Николая Мархоцкого, «поднялся шум». «Что же, теперь, – говорили, – идти на службу к кому-нибудь другому? Каким духом принесло короля на наше кровавое дело?» Неприятие королевского вмешательства в московские дела поначалу объединило многих. Главное тушинское войско, не надеясь больше ни на какие устные обязательства, оформляло все свои договоренности письменно: решено было «от Дмитрия не отступать и переговоров ни с кем не вести» [285]. Поворот в сторону «царя Дмитрия» изменил и роль в тушинских делах царицы Марины Мнишек. Почти год спустя после появления «царицы» Марины под Москвой польское войско призвало ее к политическим делам.

И. О. Тюменцев недавно разыскал в шведских архивах текст ассекураций (обязательств), взятых на себя Лжедмитрием II и Мариной Мнишек 10 (20) сентября 1609 года в обмен на продолжение службы тушинских наемников самозванцу. Ассекурацию самозванца дополнительно скрепил своей подписью глава Боярской думы в Тушине боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Но и этого наемникам показалось недостаточно. Аналогичный документ был выдан также «Мариной царицей». Текст ассекураций показывает, что тушинские «царь» и «царица» продолжали надеяться на скорое взятие Москвы. Этот беспроигрышный аргумент, которым заманили в Тушино саму Марину Мнишек, теперь адресовался солдатам: «Так как по финансам нашим в это время выплату жалованья их в этом разрушенном государстве мы достаточно совершить не можем, то

с помощью Бога, сев в столице монархии Московской, словом нашим царским и позволением бояр наших думных полюбовно мы решим и обязуемся благородному рыцарству Короны Польской и Великого Княжества Литовского в соответствии с изреченными письмами и дарственными, и охранными грамотами, данными от нас, все до единого гроша заплатить после того, как войдем в столицу нашу в десять недель – во всем обязуемся» [286].

Повторение этих обязательств в отдельном документе от имени царицы Марины Мнишек показывает, что «царь Дмитрий» не мог распоряжаться ее словом. С точки зрения наемников, было важно связать словом «царя» и «царицу», каждый из которых обещал заплатить деньги за службу. Кроме того, с подачи гетмана князя Романа Ружинского обещания были дополнены еще одним условием, задевавшим интересы не только «царицы Марины», но и ее отца, воеводы Юрия Мнишка. Если бы она не рассчиталась с тушинскими солдатами в положенный срок, то должна была передать им «все земли северские и рязанские… отступив от права своего». Между тем четырнадцать городов в Северской земле ранее были отданы Лжедмитрием II сандомирскому воеводе.

Ассекурация Марины Мнишек примечательна еще и тем, что содержит титул, который она использовала в Тушине: «Марина, милостью Божьей царица и великая княгиня всея Руси и других многих, принадлежащих Московской монархии, государств и орд татарских госпожа». Ее врагами по-прежнему были царь Василий Шуйский и бояре, изменившие данной ей присяге, а главными сторонниками – польское рыцарство: «Имея в виду великую и внезапную нужду, которая возникла у нашего государства из-за волнения подданных наших против нас под предводительством Василия Шуйского и других предателей наших и его помощников, которые, несмотря на присягу свою нам как наследной государыни, измену нам сотворили. Пришлось нам просить помощи против таких клятвопреступников у благородного народа польского, который, принимая во внимание оскорбительность и унижение нашего достоинства, для справедливости святой оставил с отвагой свое имущество и не пожалел здоровья своего». Своей подписью и печатью под этим документом «царица Марина» принимала на себя самые серьезные обязательства о вознаграждении их службы: «Желаем тогда, чтобы за кровью оплаченные услуги их они благодарность нашу познали и награду. А поскольку на этот час в этом разрушенном государстве казначеи наши денежного довольствия с достаточностью им обеспечить не могут, обязуемся этим словом нашим царским

сразу по вступлении в столицу нашу в десять недель всю оплату произвести жалованья их в соответствии с дарованной суммой и ассекурацией, им данной. А если бы мы не нашли выхода в намеченное время, тогда все северские и рязанские земли с замками и уездами, им принадлежащими, отступив от права своего, обязуемся мы отдать им в пользование и присягой нашей подтверждаем и в тех владениях никаких преград оным обязуемся не чинить и доходы все, которые бы все это время к конечной выплате они своей имели бы при выплате жалованья их, нами не должны быть вычтены. Что мы, имея в виду за необходимое и пристойное, чтобы кровью оплаченные заслуги, утраты, которые они из-за нас понесли, были вознаграждены. Этим письмом нашим мы обязуемся все оплатить по справедливости» [287].

Заручившись обещаниями самозванца и «царицы», тушинцы с новыми силами обрушились на войска царя Василия Шуйского. Им сопутствовал успех. В октябре 1609 года на милость победителей вынужден был сдаться долго оборонявшийся Иосифо-Волоколамский монастырь. Отряды Лжедмитрия II захватили продовольствие, направлявшееся из Рязани в Москву, усугубив тяготы осадного сидения в столице. Но главным маневром в это время был поход гетмана князя Романа Ружинского из Тушина под Троице-Сергиев монастырь. Оба гетмана – князь Ружинский и Сапега – должны были забыть на время о своем соперничестве и попытаться отвести угрозу, связанную с приходом рати боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского в Александрову слободу. Но бои под Александровой слободой, шедшие с 19 (29) октября по 24 октября (3 ноября) 1609 года, показали бесперспективность гетманских набегов. Как иронично записали в «Дневнике Яна Сапеги» его секретари, гетман князь Роман Ружинский вернулся из похода «с добытой броней» [288]. Впрочем, направляясь к Сапеге, князь Ружинский, вероятно, преследовал еще одну цель. Гетманам необходимо было договориться о том, как действовать в связи с королевским приходом под Смоленск 19 (29) сентября 1609 года. Дальнейшие события показали, что и в этом пункте согласие не было достигнуто.

29 октября (8 ноября) 1609 года гетман князь Роман Ружинский спешно вернулся в Тушино. Его ждали другие неотложные дела. Договорившись с «царем Димитрием», «рыцарство» хотело получить еще и королевские гарантии в том, что ему не будут препятствовать в стремлении получить «заслуженное» в Москве. С этой целью из Тушина под Смоленск к королю Сигизмунду III было отправлено посольство от польского воинства. В числе участников посольства оказался и Николай

Мархоцкий, автор «Истории Московской войны». «Под Смоленск отправилось посольство, – писал он, – я, Вжещ, Дудзинский и Слядковский. Мы просили его величество короля выйти из Московских государств и не мешать нашему предприятию. Наше посольство было королю очень неприятно, однако он принял нас с большим почетом» [289].

Сохранившиеся посольские документы и другие материалы королевской канцелярии свидетельствуют, однако, о том, что память немного подвела Николая Мархоцкого. Он забыл упомянуть еще одного участника – пана Рожнятовского (уж не того ли, кого Марина Мнишек посылала со своими письмами в Рим и кто считается автором ее «Дневника»?). Посольство тушинских наемников прибыло под Смоленск 23 ноября 1609 года и на следующий день было принято королем Сигизмундом III. В рукописи под названием «Поход его королевского величества в Москву 1609 года», содержащей поденные записи о военных сражениях, делах и происшествиях в королевском войске, говорилось: «Упомянутые послы приветствовали короля и справляли свое посольство. Рыцарство встретило это посольство дурно, с едкими насмешками» [290].

Направляясь к королю, представители тушинского войска получили «Инструкцию господам послам, посланным от войска его милости царя к его королевской милости», подписанную «гетманом и маршалком» Романом Наримунтом Ружинским и Александром Зборовским «с Рытван». К королю Сигизмунду III обращалось «все рыцарство, верноподданные вашей королевской милости, которые находились на службе Дмитра Ивановича царя и великого князя Московского»; «рыцари» просили «уважить» их «великие труды, кровопролитие и издержки» [291].

Именование Дмитрия «царем», несомненно, было ошибкой, так как даже тем московским государям, чьи права на престол были не столь сомнительны, как у самозванца, в Речи Посполитой отказывали в царском именовании. По свидетельству дневника королевского похода под Москву, 25 ноября 1609 года «составилось коло рыцарства, и туда съехались все сенаторы. Рассуждали о том, давать ли ответ тем послам. Много было голосов и восклицаний, чтобы этому посольству ответить как можно суровее». В итоге послам дали понять, что у них нет права ставить свои корыстные интересы выше интересов Речи Посполитой. Более того, их даже обвинили в том, что именно по их вине царь Василий Шуйский обратился к «язычникам»-татарам и шведским наемникам, что привело к разрыву мирных постановлений с Московским государством.

Итак, попытка тушинских послов надавить на короля

Сигизмунда III, чтобы он не препятствовал самозванческому войску получить заслуженное или возместил им эти деньги, не увенчалась успехом. Николаю Мархоцкому, осмелившемуся в своих речах говорить о том, что тушинцы могут отказаться от звания подданных короля, было указано королевским подканцлером Щенсным Крыйским: «Почему такая дерзкая и вызывающая речь смешана с льстивыми словами? Почему, присягнув на верность, вы осмелились с такой легкостью изменить своему господину?» Король в своем ответе назвал находившееся под Москвой «рыцарство» не «вольными шляхтичами польскими», а «своевольными» [292]. Отвечая тушинскому воинству, находившемуся под Москвой, ни король, ни гетман Станислав Жолкевский не удостоили ни «царика», ни Марину Мнишек своим упоминанием. Тем самым дано было понять, что теперь только король Сигизмунд III будет решать, кого жаловать за московскую службу.

О Марине Мнишек вспоминали только в частных беседах, а не в официальных документах. Послам задали интересовавший тогда многих вопрос: «Сочеталась ли Марина браком, овдовев после первого Димитрия, с теперешним?» Подоплека вопроса очень проста: послов обвинили в том, что они служат неизвестно кому, а поведение Марины Мнишек прямо осуждалось. Послы защищали ее честь: «Светлейшей царице незачем вторично сочетаться браком, ибо с нее совершенно достаточно одного венчания ее, совершенного самим папским нунцием в присутствии короля».

Несмотря на острые столкновения с участниками посольства, часть рыцарства, находившегося с королем под Смоленском, была не прочь расспросить свою «братью», приехавшую из Тушина, о московской войне. Ежедневно устраивались пиры, что, вероятно, и оставило у Николая Мархоцкого впечатление, будто король принял их «с большим почетом». Но послам надо было торопиться с возвращением в Тушино, так как в их «инструкции» было записано, что они обязаны под страхом «строгого наказания от войска» вернуться ко 2 декабря.

Совершенно по-иному вели себя послы, присланные к королю Яном Сапегой из-под Троице-Сергиева монастыря. Гетман Сапега, даже если бы он и хотел, не мог занять ту же самую позицию, что его соперник гетман князь Роман Ружинский. Поэтому сапежинцы лишь просили короля вознаградить их за службу и уплатить жалованье, которое им задолжали. Сам Ян Сапега отправил тайные поручения к королю, предлагая свое посредничество на переговорах с тушинскими «конфедератами», собравшимися стоять за «царя Дмитрия». Сапега, прекрасно представлявший

ситуацию, давал королю советы и в военных делах, и в том, с кем можно вести переговоры из русских лиц, поддерживавших как тушинского «царика», так и Василия Шуйского.

Впрочем, еще 2(12) ноября 1609 года, то есть до того, как тушинцы отправили посольство к королю Сигизмунду III, под Смоленском было принято решение об отправке к тушинскому воинству (но не к Дмитрию) собственных «комиссаров» – перемышльского кастеляна Станислава Стадницкого, кременецкого старосту Кшиштофа Збаражского, писаря Великого княжества Литовского браславского старосту Януша Тышкевича и королевского дворянина Людвига Вайера [293]. Более того, король вошел в пределы Московского государства, представляя себя как арбитра, стремящегося к успокоению мятежной страны. О замысле решить московские дела «без разлития крови» говорилось в ответе тушинцам гетмана королевского войска Станислава Жолкевского. Поэтому одновременно королевское посольство имело верющие листы (по-современному верительные грамоты) к царю Василию Шуйскому, церковным властям и боярам, находившимся как в Москве, так и под Москвой. Все это могло означать, что с вмешательством короля сторонники «царя Дмитрия» лишались права единолично решать вопрос о будущем русском государе.

Интересно, что еще по дороге из Тушина под Смоленск, «миновав Дорогобуж», послы польских наемников повстречали королевских комиссаров. Но, как писал Николай Мархоцкий, тушинцы отказались отвечать на расспросы. На обратном же пути тушинское посольство даже смогло обогнать королевских комиссаров. Их задержал в Можайске небезызвестный воевода князь Григорий Петрович Шаховской, сопротивлявшийся движению к Москве большого отряда, охранявшего королевское посольство. Главная же причина состояла в том, что и русским тушинцам было не по нраву активное влияние короля на ход событий под Москвой. В итоге от королевских комиссаров был отправлен вперед гонец Ян Ловчавский Добек. Он, по воспоминаниям Николая Мархоцкого, въехал в Тушинский лагерь вместе с теми послами, которые ездили от польских наемников из Тушина под Смоленск: «Прибыли мы в свой обоз прежде господ комиссаров, был с нами и пан Добек. Выслушав нас, стали все обсуждать: принимать королевских комиссаров или нет, – ибо в ответ на вторжение короля войско заключило союз: встать при Дмитрии и не вступать ни в какие переговоры, если кто-нибудь захочет их вести иначе, нежели как с царем Дмитрием» [294].

Для всего тушинского воинства настал час выбора: продолжать поддерживать «царя» и «царицу», чтобы получить

выслуженные злотые по взятии Москвы (которую еще нужно было отвоевать), или переходить на службу более кредитоспособного короля. В последнем случае можно было получить хотя бы часть денег и, кроме того, не подвергаться угрозе конфискации имущества и объявления преступниками на родине. Перед новым выбором стояли и русские сторонники самозванца. Они пытались упредить послов, чтобы те отправили свое посольство сначала к «царю Дмитрию». Но посланцы короля, устроившие аудиенцию тушинским боярам, четко дали понять, что у них нет «никакого дела» к их государю.

Марина Мнишек в письме от 30 ноября (10 декабря) также призывала королевского комиссара Станислава Стадницкого вести переговоры напрямую с «царем Дмитрием», а не с тушинским «рыцарством». Однако она выбрала не вполне удачный тон. Марину должно было бы насторожить, что даже близкий к Мнишкам человек называл ее уже не «царицей московской», а «воеводенкой сандомирской». Она же дала волю гневу, выговаривая Станиславу Стадницкому. Марина Мнишек совершенно не понимала, почему она должна отказываться от своего непризнанного королем царского титула. Вместо этого она рассуждала о божественных путях, ведущих к счастью, и сделала в письме соответствующую собственноручную приписку: «Кого Бог осветит, тот будет, несомненно, и по праву сиять. Не потому солнце не ясно, что его иногда закрывают черные тучи» [295].

В Тушине возникло две партии: противников и сторонников перехода на службу к королю. Первую возглавлял гетман князь Роман Ружинский, предлагавший «держаться недавно заключенного союза и присяги», то есть не покидать «царя Дмитрия». Но король Сигизмунд III принял меры, чтобы нейтрализовать его сторонников. В Тушино приезжало из-под Смоленска немало людей, намеренно распускавших слухи о большой королевской казне, возбуждавшей наемников, давно не видевших никаких денежных выплат. Вторая партия, хотевшая переговоров с королем, имела главную поддержку у гетмана Яна Сапеги, засылавшего своих эмиссаров и к королю под Смоленск, и в Тушино. По словам Николая Мархоцкого (он был в первой партии), гетман Ян Сапега пригрозил, что если переговоры не начнутся, то «его хоругви уйдут и запишутся на королевскую службу» [296]. Через пару месяцев ситуация зеркально переменится, и уже гетман князь Роман Ружинский будет проводником королевской политики, а гетман Ян Сапега станет поддерживать Марину Мнишек, для которой переход тушинцев под руку короля означал крах всех ее честолюбивых намерений.

4 (14) декабря 1609 года королевские комиссары во главе со

Станиславом Стадницким прибыли в Тушино. Гетман князь Роман Ружинский вынужден был согласиться на то, чтобы их «пропустить и выслушать». Сохранился отчет о приеме комиссаров и начале переговоров, включенный в дневник королевского похода под Смоленск. Въезд послов в Тушино был обставлен очень торжественно. Сама процессия, состоявшая из комиссаров, их огромной свиты в 3800 человек «пехоты» и 400 «отборных копейщиков», представляла собой внушительное зрелище. Важность происходившего была подчеркнута особым церемониалом посольских встреч: первым на подъезде к Тушинскому лагерю королевских комиссаров встретил полковник Александр Зборовский, затем – гетман князь Роман Ружинский (его везли на санях по причине болезни) и брат Марины Мнишек – саноцкий староста Станислав Мнишек. Брат заранее приехал из-под Смоленска уговорить сестру принять волю короля, но не преуспел в этом. И наконец, уже «при въезде в лагерь» послов приветствовал боярин «царя Дмитрия» Иван Плещеев (по другим сведениям, на встрече был еще «боярин» Федор Унковский). Но это ничего не изменило, королевские комиссары проехали мимо царских палат. «Царь Дмитрий» и царица Марина смотрели «с крыльца в окно, так что их хорошо было видно», надеясь, что королевские комиссары в последний момент изменят свое решение и, соблюдая этикет, отдадут им должное. Но этого не произошло. В своем отчете королю Станислав Стадницкий и его товарищи назвали царя «вымышленным Дмитрием». Отметили королевские комиссары в своем отчете и презрительный взгляд «царицы» (Марине удалось-таки отстоять свое право на такое именование), смотревшей на них *«absque respectu quovis»* [297].

Королевские комиссары остановились у «пана гетмана», где начались трехдневные обеды, на которых «знатно пили» и убеждали посланников короля вступить в переговоры с «цариком». Но все было тщетно, у посланников были полномочия говорить только с самим «рыцарством» и московскими боярами. 10 (20) декабря 1609 года, после воскресной заутрени, несмотря на разыгравшуюся непогоду, за лагерем собрали «совет» или войсковое собрание. Для послов специально устроили скамьи, чтобы они могли сидеть, представляя короля. Глава посольства перемышльский каштелян Станислав Стадницкий обратился с речью к тушинскому воинству. Он объяснял, что уже одно избиение поляков, приглашенных в Москву на свадьбу царя Дмитрия Ивановича, и задержка послов Речи Посполитой были достаточным поводом для начала войны. Но обращение царя Василия Шуйского к «Каролусу Зудерманландскому» дало шведам средства для продолжения борьбы в Лифляндии. В случае

поражения рыцарства под Москвой открывалась «дорога для вторжения» в Речь Посполитую, чего король допустить не мог. Поэтому всем польским наемникам предлагалось вернуться на королевскую службу. Короткую ответную речь «пана Войтковского» все выслушали стоя, в том числе перемышльский каштелян Станислав Стадницкий, гетман князь Роман Ружинский и все воинство. Тушинские наемники благодарили короля за присылку посольства и изъявили свое желание и в дальнейшем делать добро для «родины» и «родного государя». По посольскому отчету, отправленному королю Сигизмунду III под Смоленск, «знатнейшие были довольны речью, но другие или не хотели понять ее, или, наконец, не дослышали ее и потому не понимали, поэтому требовали от послов их инструкции. Послы дали им пункты – изложение причин прибытия посольства и вступления короля в эти страны». Получив «пункты» и поняв, что король Сигизмунд III готов обсуждать с ними условия помощи их «предприятию» и заплатить деньги хотя бы за одну четверть года, тушинцы на следующий день созвали еще одно совещание.

Уже самое начало переговоров не предвещало ничего хорошего для тех, кто собирался держаться прежнего союза и идти до конца с «царем Дмитрием». Воинство, вместо совещания с королевскими комиссарами, начало нападать на некоего Яниковского, который, как говорили, «самовольно изменил инструкцию их послов к королю». Сторонники «царя Дмитрия» устроили «большое смятение» и даже «разнесли» окружавшую совещавшихся «решетку». Сделано это было для того, чтобы лишить права голоса тех, кто, как упомянутый Яниковский, предлагал отправить королевских послов ни с чем, дав им только устный ответ. Наоборот, войсковое собрание постановило выбрать от каждой роты для переговоров по два шляхтича на конях. Послали также к сапежинцам под Троицу, чтобы и они прислали своих представителей.

Тем временем в Тушинском лагере все больше людей начинало проявлять открытое недовольство «царем Дмитрием». Он и раньше не пользовался большим уважением, теперь же в его адрес полетели прямые угрозы и оскорбления. По словам автора одного современного донесения, «на собраниях у этих солдат часто было слышно, как они без всякой осторожности Господа Бога благодарят, что прибыл его величество король, и сильно ругают царя, называя его брадобреем».

Сами комиссары узнавали от тушинских наемников, что «между ними есть очень много желающих служить своему государю и отечеству». Королевские посланники видели готовность наемников умерить свои аппетиты, тем более что

действия рати боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского грозили им поражением: «Хотя там едва ли не каждый ротмистр высчитывает, что выслужил сто тысяч, но видя, что невозможно это получить, и видя ослабевшие свои силы, потому что Скопин берет над ними верх, они дешевле оценивают свою прошедшую службу и рады были бы, если бы на их долю хоть что-нибудь пришлось». В королевском лагере под Смоленском из писем комиссаров и расспросов тех, кто возвращался из Тушина, вообще сложилось впечатление, что «если бы король не наступил на русских», то польским наемникам «пришлось бы сделать позорное и вредное отступление». Но даже достижение договоренностей с тушинцами и присоединившимися к ним русскими сторонниками самозванца еще ничего не решало. Наиболее «рассудительные» советники короля говорили: «И тогда мы еще не кончим дела, а придется нам силою оружия побивать Скопина и заключать с Шуйским основательный договор».

Все, что оставалось «царю Дмитрию», – так это наблюдать, как его войско без него пытается договориться с королевскими комиссарами об условиях перехода на королевскую службу. Второй самозванец был все-таки слабым человеком, и он снова, как и в начале 1609 года, решил спасаться бегством. Хотя представители воинства проявили известное благородство и пытались выторговать у короля что-нибудь для тушинского «царя» и царицы Марины, это было слабой гарантией безопасности. Под Смоленском не питали иллюзий относительно подлинных намерений самозванца, «так как почти все вообще, как пишут нам, страшно ругают его и так как ему это известно, то он не доверяет нашим и хочет бежать» [298].

В тяжелый для самозванца момент, одновременно с королевским посольством, в Тушине появился «маршалок» «царя Дмитрия» князь Адам Вишневецкий. Он тоже, как и Марина Мнишек, признавал в Тушинском воре бывшего «царевича Дмитрия», который когда-то с его легкой руки стал известен в Речи Посполитой. Если гетман князь Роман Ружинский пил три дня с комиссарами короля, то «царик» все это время утешался обществом князя Адама, некогда изгнанного суровым гетманом из Тушина. Обе компании находились в крепких руках Бахуса, и все закончилось тяжелой сценой, окончательно похоронившей любые иллюзии самозванца относительно своей участи. Он и так уже готов был отказаться от всего, что имел в Тушине, и потому наградил князя Адама Вишневецкого конем с богатой сбруей, саблей, одеждой с соболями и жемчугом. Воинство, питавшееся все это время одними обещаниями самозванца, восприняло его щедрость по отношению к Вишневецкому как вызов и готово было

взбунтоваться. Как обычно наводить порядок и гасить возмущение пришлось гетману князю Роману Ружинскому, чей гнев в тот раз был многократно усилен трехдневными обильными возлияниями. Пьяный гетман явился в царские покои к двум другим пьяницам – «царику» и его отставному «маршалку». Князю Адаму Вишневецкому, можно сказать, еще повезло, особенно если вспомнить участь гетмана Меховецкого. Ружинский, которого еще за три дня до этого возили на телеге, излечился и с побоями изгнал князя Адама Вишневецкого, пообещав в следующий раз убить его, как он это сделал с Меховецким [299]. Эта сцена подтолкнула самозванца к побегу, приуроченному к начавшимся переговорам с польскими комиссарами. В этот день, 10 (20) декабря 1609 года, «царь» ездил на прогулку и уехал бы совсем из лагеря, если бы не бдительность его свиты, донесшей гетману князю Роману Ружинскому о чем-то неладном. Гетман и здесь все решил по-своему, посадив «царика» под домашний арест.

Только отпраздновав Рождество и дождавшись приезда представителей войска гетмана Яна Сапеги из-под Троице-Сергиева монастыря, тушинские наемники 17 (27) декабря 1609 года приступили к основным переговорам с королевскими комиссарами. Как запомнил Николай Мархоцкий, «иной раз» для встречи с королевским посольством «собиралось человек сорок» [300]. Дни в декабре короткие и холодные, поэтому обсуждение условий новой конфедерации продолжалось больше недели. Тушинский «царик» никак не мог пережить, что переговоры с королевскими комиссарами начались без его участия. По сведениям Конрада Буссова, «на четвертый день нашего Рождества» самозванец попытался спросить у гетмана князя Романа Ружинского, «в чем там дело с королевскими послами, что они столько недель живут в лагере и не просят разрешения прийти к нему и получить аудиенцию». Однако далеко уже ушло то время, когда Ружинский подписывал инструкцию своим послам, ездившим к королю под Смоленск. Теперь и сам гетман был не прочь вернуться на королевскую службу, а «царь Дмитрий» ему становился совершенно не нужен. «Сильно пьяный» гетман в ответ «разразился грубыми ругательствами и угрозами и с криком: “Эй, ты, московитский сукин сын!” – замахнулся на него булавой. “Зачем тебе знать, какое у послов до меня дело?! Черт тебя знает, кто ты такой. Мы, поляки, так долго проливали за тебя кровь, а еще ни разу не получали вознаграждения и того, что нам положено еще”».

Возможно, это было последним толчком, заставившим самозваного царя удрать из Тушина. Конрад Буссов в самых мрачных красках описал последовавшую затем встречу Дмитрия и

Марины Мнишек. Вырвавшись от гетмана, «царик» якобы «пришел к своей супруге, упал к ее ногам и сказал: “Польский король вошел в опасный для меня сговор с моим полководцем, который так меня сейчас разделал, что я буду недостоин появляться тебе на глаза, если стерплю это. Или ему смерть, или мне погибель, у него и у поляков ничего хорошего на уме нет. Да сохрани Господь меня на том пути, в который я собираюсь отправиться, сохрани Господь от лукавого и тебя, остающуюся здесь”» [301]. Конечно, все это не более чем красивая легенда. Правда состояла лишь в том, что «царь Дмитрий» стал питать ненависть к обманувшим его польским наемникам, но ему слишком опасно было извещать кого бы то ни было, даже Марину Мнишек, о своем отъезде.

О ходе переговоров, начавшихся 17 (27) декабря 1609 года, королевские комиссары также известили смоленскую ставку короля Сигизмунда III. В дневнике королевского похода под Смоленск приведен красочный отчет Станислава Стадницкого о том, как в действительности развивались события. Сначала депутаты тушинского воинства предложили королю компромисс, хорошо согласовывавшийся с сентябрьскими ассекурациями «царя Дмитрия» и «царицы» Марины. Сигизмунд III, по их мнению, мог бы взять «от ложного Димитрия, которого они поддерживают», Северскую землю и Смоленск, и «довольствовался» бы этим, но «помог им посадить этого Димитрия на престол». Легко было предлагать такую комбинацию, имея обещание «царика» уплатить заслуженное по вступлении в Москву. Но и послы королевского войска были прекрасно информированы относительно возможностей ведения войны в Московском государстве. Они легко доказали, что «эти волости еще труднее взять, чем столицу». Еще серьезнее было то, что королевские комиссары сразу же лишали своих оппонентов главного козыря, не признавая никаких прав за самозванцем: «Недостойно государя сажать на престол человека, который не может иметь на это ни малейшего права».

Тушинские наемники пошли ва-банк и выставили свой счет королю сразу же на всю сумму. Долг самозванца достиг у них уже 20 миллионов злотых. Кроме того, дополнительным условием их возвращения на службу Речи Посполитой было требование договориться с «царицей» Мариной Мнишек, чтобы и ее удовлетворили заключаемые соглашения. Комиссарам короля оставалось только указать на очевидное: «Такой громадной суммы не может вынести ни Россия, ни полсвета». Тогда начался откровенный торг, чтобы получить с короля Сигизмунда III хоть что-нибудь из того, что «задолжал» польским наемникам «царь Дмитрий». Прикидывали возможность уплаты денег воинству из

королевских имений и с многострадальной Северской земли, вспоминали величину годового дохода испанского флота, торговались о количестве годовых четвертей, за которые полагалось жалованье: три, две, хотя бы одна. Все резоны тушинцев разбивались о здравый смысл их «братьи», служившей королю (его «затруднения» и «малость доходов» они-де «сами знают»). Самозванец не считал ни людей, которые ему служили, ни жалованья, которое он задолжал. Поэтому не было и причин, по которым бы король должен удовлетворять требования тушинского «воинства»: «Послы напомнили им и то, что они больше обязаны отечеству, нежели чужим людям, которым, однако, служили так долго даром и так храбро. Они справедливо домогаются уплаты за службу с того государства, но эта плата не должна быть столь дорога, как они домогаются, и тех, кому следует платить, не столь много, как они написали в списках этого счастливчика Димитрия». В конце концов, королевским комиссарам стало известно, что последние условия, которые будет отстаивать тушинское «рыцарство», состояли в уплате «наличных денег за одну четверть» и в «безопасности этого своего Дмитрия и царицы».

Королевские комиссары имели все основания иронизировать по поводу «счастливчика» Дмитрия. Они своими глазами увидели, что в Тушине все перестали даже делать вид, что их «царик» и есть чудесно спасшийся царь Дмитрий Иванович. То, что при приезде Марины Мнишек в Тушино воспринималось как раскрытие страшной тайны, теперь стало общим местом и уже никого не задевало. «О том своем подставном государе, – читаем в дневнике королевского похода, – наши сами громко говорят, что он не Димитрий; русские – тоже, что не тот; но, не имея другого лица, наши держатся его, чтобы добиться уплаты за выслуженное время, а несчастные русские, боясь тиранства Шуйского, рады быть при ком угодно, лишь бы спасти свою жизнь». Королевским комиссарам Дмитрий показался воплощением всех грехов, человеком «ничтожным, необразованным, без чести и совести, страшным хульником, пьяницей и развратником», плохо относящимся к «литве», то есть полякам, и не заслуживающим того уважения, которое ему выказывают несмотря ни на что («хотя какое это уважение, убереги Бог от такого уважения»). Они вспоминали историю с избиением гетманом Ружинским князя Адама Вишневецкого в присутствии царя Дмитрия и замечали, что «другой на месте этого царя при первой возможности бежал бы, и он действительно думает об этом, но его стерегут». Вывод королевских послов убедил находившихся в ставке короля под Смоленском: «Решительно можно сказать, что они держатся

имени Димитрия, а не человека» [302].

27 декабря (6 января) 1610 года Дмитрию удалось наконец провести свою стражу и он бежал из Тушинского лагеря. До последнего момента Марина Мнишек ничего не знала об этом побеге. Те, кто ему помогал, вывели из царского «дворца» только самого Дмитрия и его шута Петра Козлова, уехавших то ли в санях с тесом, то ли «в навозных санях», как написал Конрад Буссов [303]. Думается, что более достоверной информацией обладал королевский комиссар Станислав Стадницкий, писавший о бегстве самозванца королю Сигизмунду III под Смоленск по горячим следам, в тот же день 6 января. Лжедмитрий II сумел незаметно покинуть свои покои. «Затем, так как у нас была битва, он у боярина, которому доверял, взял бахмата [304] и бежал к одному донскому атаману». Оттуда «в санях, прикрыв его тонким тесом и посадив на него нескольких человек, казаки вывезли его в Калугу». В дневнике королевского похода также сочли необходимым записать о побеге самозванца из Тушина, подчеркнув, что «ложный Дмитрий» бежал из-за предстоящего заключения договора с королевскими послами, причем он «бросил царские регалии и жену». Эта запись сохранила и еще одну деталь, которая могла быть известна только очевидцам: все произошло «под вечер, после того, как протрубили пароль» [305].

Николай Мархоцкий, вспоминая впоследствии об уходе Дмитрия, записал, что «царица со своими приятелями (наверное, имелся в виду брат царицы саноцкий староста Станислав Мнишек. - В. К.) осталась в обозе» [306]. Осталась не просто без своего «царя», а без всякой надежды. Марина Мнишек заметалась, пытаясь найти опору то у своего отца, то у короля. Пока не услышала слова нежности и заботы оттуда, откуда она, может быть, и не чаяла их услышать, – из Калуги.

Две записки «царя Дмитрия», разысканные И. О. Тюменцевым, лучше всего объясняют мотивы поведения Марины: «Тому Бог свидетель, что печалюсь и плачу я из-за того, что о тебе, моя надежда, не ведаю, что с тобою делается, и о здоровье твоем не знаю, хорошо ли, ты ж, моя надежда, любимая-с, дружочек маленький, не даешь мне знать, что с вами происходит, мой-с ты друг, знай, что у меня за рана, а больше писать не смею!» [307]

Невероятно, как могла сохраниться эта сумбурная записка! Но сколь ярко отразились в ней противоречивые чувства любви и жалости, нежности и страха! Что еще нужно объяснять относительно любви самозванца, писавшего к Марине: «Моя-с птичка любименькая… верь [мне], мое сердце…» Царь Дмитрий проявлял «беспокойство» о судьбе жены и звал свою «коханишку» («любимую») приехать к нему.

Марине предстоял нелегкий выбор. Ей не приходилось объяснять все опасности, связанные с дальнейшим пребыванием в воюющем государстве. Но, видимо, настал тот момент, когда все здравые мысли оказываются подчинены чувствам. И кто может осудить ее за это?!

Общие пережитые несчастья и неприятности нередко сближают людей даже совсем чужих друг другу. Как долго знала Марина Мнишек своего первого мужа? Она видела его, когда он «царевичем» объявился в Самборе, и потом провела с ним девять безумных дней во время московских свадебных торжеств. Рядом же со вторым «царем Дмитрием» она жила больше года. Он держал свое слово и не мог претендовать на большее. Но демарш короля, пришедшего в Московское государство, еще крепче связал их судьбы. Ни Марина без Дмитрия, ни Дмитрий без Марины не могли добиться возвращения на русский престол. Даже просто для того, чтобы сохранить свою жизнь, им необходимо было держаться вместе. Если первый Дмитрий сам вел Марину навстречу ее царской судьбе, то теперь уже Марина Мнишек вела за собой не такого стойкого в трудностях «царика». В этом человеке глубоко сидел страх. Отражение внутренних переживаний по поводу постоянной угрозы собственной жизни можно найти даже в его записках Марине. И, кстати, как окажется в случае с его будущим убийцей Петром Урусовым, опасения самозванца не были беспочвенными. Назвавшись другим именем, Тушинский вор защитил в себе того, кем был на самом деле, – гонимого всеми маленького человека, и со временем сросся со своей ролью, ставшей его второй натурой. В психологическом портрете этого страшившегося разоблачений человека главной чертой было постоянное стремление компенсировать свой страх пролитием чужой крови, пьянством и руганью. Но, как оказывается, имелись в его облике и другие краски.

Мы действительно слишком мало знаем о нем: его, нищего бродягу из Шклова, попросту использовали в своих целях более искушенные циники вроде Михаила Молчанова или князя Григория Шаховского, искавшие «заместителя» погибшего царя Дмитрия Ивановича. Человек начитанный, подвизавшийся на учительской стезе, он писал свои письма по-польски и, следовательно, разговаривал с Мариной Мнишек на одном языке (об этом же говорят адресованные ей записки). Он был ближе ей по своей образованности и знакомству с культурой Речи Посполитой, чем ее погибший муж, самоучка в польском и латыни. Человек не воинственный, не привыкший к лагерной жизни, походам и битвам, не понимающий военного искусства, он отдал все управление в руки своих гетманов. Союз тушинского

«царя» Дмитрия и «царицы» Марины вырастал понемногу, начиная с низшей точки непризнания Мариной Мнишек своего «мужа». Но они были нужны друг другу.

Кто знает, где были глаза Марины, пока она жила в Тушине, почему не ужаснулась она тому, что там творилось? Не чувствовала чужой беды, ничего не знала о ней? Или знала, но оправдывала ее необходимостью достижения своей высокой цели? Все эти вопросы остаются и останутся без ответа, но почему-то хочется верить, что «дитя самборских бернардинцев», как называл Марину Мнишек отец Павел Пирлинг, она не сумела так быстро превратиться в беспринципную тушинскую «царицу», управлявшую подданными под стать своему проклинаемому повсюду «мужу».

Глава седьмая «Всего лишила меня превратная фортуна…»

После бегства самозванца из Тушина и без того двусмысленное положение Марины Мнишек в подмосковных таборах превратилось в одно сплошное унижение. Конрад Буссов в «Московской хронике» постеснялся даже говорить о том, каким образом «стали поносить» в Тушине «царицу Марину Юрьевну», ограничившись замечанием, что «и писать об этом не приличествует» [308]. Королевские комиссары, возвратившиеся под Смоленск, рассказывали, что сразу после того, как стало известно о бегстве самозванца, в Тушинском лагере началось «смятение», во время которого растащили все царские украшения: «уносили кто что мог, при чем досталось некоторым богатым боярам». На следующий день было созвано войсковое «коло». Дмитрия продолжали искать, то ругая гетмана князя Романа Ружинского, «что он своим пьянством отпугнул его», то нападая «на господ послов, что они были причиной его бегства» [309].

Во время этих событий королевские послы обратили внимание на то, что русские сторонники «царя Дмитрия» во главе с нареченным «патриархом» Филаретом Никитичем Романовым (его, митрополита Ростовского и Ярославского, признавали патриархом только в Тушине) и боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым «явно начали выказывать свою расположенность к королю».

Если быть точным, то симпатии церковных властей и бояр, находившихся в Тушине, вызывал не сам король Сигизмунд III, а идея разрешить с его помощью затянувшийся династический кризис. Многим казалось, что приглашение на московский престол королевича Владислава прекратит наконец споры между боярами и князьями относительно того, кто из них более достоин царского венца. Но камнем преткновения по-прежнему оставался вопрос веры. Необходимым условием такой политической комбинации являлось принятие королевичем Владиславом – в случае вступления его на русский трон – православия. А это как раз в планы короля Сигизмунда III не входило.

И все же сила была теперь на королевской стороне. Находившиеся в Тушине бояре окончательно отвернулись как от царя Василия Шуйского, так и от беглого «царика» с его «царицей». Перемышльский каштелян Станислав Стадницкий созвал еще одно «коло» специально для русских представителей, тем более что послы имели королевские инструкции,

дозволявшие им договариваться со всеми московскими боярами, не исключая даже тех, которые служили царю Василию Шуйскому. Сохранившиеся письма послов, полученные ими еще при отъезде из лагеря короля под Смоленском 12 ноября 1609 года, и ответ, данный «патриархом» Филаретом и боярами «в обозе под столицею», показывают, на чем было достигнуто соглашение. Король Сигизмунд III объявлял себя миротворцем, желающим «войну и разруху в господарстве Московском уняти». Но главное, что могло оправдать начавшиеся переговоры с королем, осадившим в то время Смоленск, – это его обещания, данные в листах «до патриарха и всего духовенства Московского» и «до бояр думных, детей боярских и всих людей московских». Сигизмунд III своим монаршим словом подтверждал тем, кто склонится «под королевскую руку», что православная вера и другие обычаи Московского государства останутся незыблемыми. Более того, король намеревался дополнить их еще и польской «вольностью». «Упевняем вас нашим господарским истенным словом, – говорилось в его грамоте, написанной белорусской скорописью, – што православную христианскую рускую веру вашу ни в чом ненарушимо держати, и вас всих не одно пры всих старожитных звычаях ваших заховати; але и выш того всякою честью, вольностью и многим жалованьем нашим господарским надарыти хочем». В ответе «патриарха» Филарета королевским послам родилась формула, которую русские люди со временем вынесут из опыта Смуты как заклинание, – все должно быть так, «как было при прежних господарех Московских». Тушинцы выражали готовность видеть «на преславном Московском господаръстве и на всех великих господаръствах Росийского царствия» короля и его потомство, но при этом не брали на себя ответственность «постановити и утвердити» это решение самостоятельно. Речь шла о необходимости общего совета с гетманом князем Романом Ружинским, всем «рыцарством», а также Земским собором («и из городов всего освешченъного собору, и бояр и думных и всяких розных станов людей»).

29 декабря (8 января) русская часть тушинского войска, от бояр до казаков, приняла присягу на том, что останется с «рыцарством», подчинявшимся гетману «князю Роману Кирыловичу», и продолжит борьбу с царем Василием Шуйским: «А хто учнет вперед называтца царом Дмитрем и нам тому не верыть» [310]. Послы к вящей славе Сигизмунда III рассказали под Смоленском о некоторых деталях переговоров и присяги: русские люди со слезами слушали посольские речи, «целовали подпись короля», «хвалили Речь Посполитую» и возносили молитвы Богу за то, «что послал им время замирения». Некоторые уже прямо

«целовали крест на имя короля» [311].

Так «царица» Марина Юрьевна за два дня полностью растеряла поддержку своих подданных, легко отказавшихся от царя Дмитрия, а заодно и от тех, кто в будущем захочет называться его именем. В этой ситуации и польское войско в Тушине пришло к соглашению с королевскими послами, договорившись отпустить вместе с ними к Сигизмунду III под Смоленск своих посланников. С прежней вольницей произошли заметные метаморфозы. При выработке «кондиций» поляки обращались к королю как благодарные подданные, вспомнившие об интересах «отчизны, матки нашей». При этом, однако, не был забыт и самозванец. В первом же пункте условий, отданных на усмотрение короля, предлагалось решить судьбу «того государя, которого мы взяли под опеку», то есть «царя Дмитрия». Рыцарство просило, чтобы Сигизмунд III «изволил назначить ему какое-то княжество где-нибудь в Московском государстве». Для «царицы ее милости» просили оставить несколько замков, полученных ею от «умершего царя Дмитрия», так как это было подтверждено присягой всех бояр (составители документа уже перестали делать вид, будто в Тушине находился тот же Дмитрий). Но, конечно, все это следовало сделать лишь после того, как «промыслом Господа Бога, король его милость сядет на престол в столице той монархии» [312].

Выбор у Марины был невелик. «Царица» еще могла вернуться домой, куда ее от имени всей семьи звал находившийся в Тушине брат Станислав Мнишек. Но это означало бы крах всей ее жизни. Привыкшая за четыре года к полагавшимся ей царским почестям, Марина явно оказалась не готова к такому резкому повороту в своей судьбе. Даже при том, что Сигизмунд III благожелательно относился к «воеводенке», когда-то в Кракове искренне демонстрировавшей ему свою преданность.

13 января 1610 года Марина написала письмо отцу для отправки с королевскими комиссарами и послами тушинского «рыцарства» под Смоленск: «Я, несчастная, будучи испытуема от Господа Бога такой заботой, не могу ничего придумать для своего облегчения и ничего хорошего не могу ожидать в таком смятении». Все происходившее под Москвой стало для нее самым тяжелым испытанием: «Войско не согласно после ухода царя: одни хотят быть при царе, другие при короле. Если когда-либо мне грозила опасность, так это именно теперь, ибо никто не может указать мне безопасного места для приличного и спокойного жительства, и никто не хочет посоветовать мне что-либо для моего блага». Несколько раз в письме она взывает о совете и помощи, которые никак не может получить: «Великий

гнев Божий разразился надо мной, неоткуда мне получить здравый совет и помощь, только Всевышнему Богу поручаю себя и жду Его веления, так как тяжелая скорбь моя должно быть сведет меня безвременно в могилу, что я предпочитаю злорадству всего мира над моим несчастьем. Поэтому смиренно прошу ваше благородие, милостивый отец и господин мой, похлопотать и позаботиться обо мне, нижайшей слуге вашей, чтобы я впоследствии не причинила еще большей скорби нашему роду» [313].

«Царица» все еще думает о чести «дома Мнишков». Ей отвратительна сама мысль о возможном «триумфе» недругов, смеющихся над ее несчастьем. Но она не может обратиться к отцу с прежней нежностью: «пан воевода» для нее уже не «батюшка» из писем времен отъезда Юрия Мнишка из Тушина, а «ваша милость». Это скорее плач, чем надежда на спасение. Письмо к отцу демонстрирует сложность чувств, которые переживала Марина после того, как ее покинул последний человек, выказывавший ей царское почтение и дававший ей надежду на сохранение прежней идеи, которой она уже посвятила свою жизнь (а другой жизни, если не считать самборского детства, у нее и не было).

Следующий шаг, который приходится сделать Марине Мнишек, даже вопреки ее желанию, – обратиться за защитой к королю Сигизмунду III и попытаться договориться с ним о своей дальнейшей судьбе. Примечательно, что она пишет королю два дня спустя после письма отцу, перед самой отправкой королевских послов 15 января 1610 года. Марина вместе с остальным тушинским «рыцарством» желала королю победы в его походе в Московское государство и готова была признать, что фортуна полностью отвернулась от нее. Это была полная «капитуляция» перед обстоятельствами. Все, о чем просила Марина Мнишек для себя и своей семьи, – чтобы Сигизмунд III не забыл о них и наградил своими щедротами. Она подчеркивает свое «сиротство»: «Милость вашего королевского величества, столь часто испытанная семьей моей и моей особой, сама налагала на меня обязанность обратиться в моем осиротении к защите вашего королевского величества. Но злополучное пленение мое, почти лишившее меня свободной воли, отняло у меня возможность прибегнуть к этому надежнейшему и вернейшему утешению. Теперь, когда ваше королевское величество изволили вступить в пределы Московского государства, со своей стороны я искренно желаю, чтобы добрые замыслы, удачное начало предпринятого дела шло успешно и предприятие окончилось благоприятно».

Открываясь королю, Марина пишет своеобразную «автобиографию», последовательно перечисляя все, что происходило с ней от коронации в Москве до прозябания в Тушине: «Уж если кем счастье своевольно играло, – так это мной; ибо оно возвысило меня из шляхетского сословия на высоту Московского царства, с которого столкнуло в ужасную тюрьму, а оттуда вывело на мнимую свободу, из которой повергло меня в более свободную, но и более опасную неволю. Теперь оно поставило меня в такое положение, что я при своем сане не могу жить спокойно». В этом письме, написанном в один из самых тяжких и опасных моментов своей жизни, Марина не пытается спрятаться за этикетные формулы учтивого обращения к королю, а прямо пишет о том, что чувствует и что долго не могла сказать открыто. Все время от приезда в Тушино – лишь видимость свободы, продолжение заключения; да и теперь царский титул не защищает ее. Она питает еще надежду на спасение, но видит, что все зависит только от Бога да от короля. «Приняв все это с благодарностью от Всевышнего, – смиренно продолжает Марина, – Его святому Провидению препоручаю свои дальнейшие дела. Я твердо убеждена, что Он, различными средствами делающий многое, и теперь, в этих превратностях моей судьбы, по благости своей пожелает поднять меня и спасти. А так как ваше королевское величество изволили быть причиной и споспешником первого моего счастья, то я возлагаю полную надежду на Господа Бога, что и в этой моей скорби окажете свое милосердие». Но даже в этом обращении к королю, как к последнему прибежищу, Марина не хочет выглядеть сломленной, она снова и снова провозглашает себя московской царицей и заявляет, что никогда не откажется от этого титула: «Всего лишила меня превратная фортуна, одно лишь законное право на московский престол осталось при мне, скрепленное венчанием на царство, утвержденное признанием меня наследницей и двукратной присягой всех государственных московских чинов».

Так вот что, оказывается, предлагалось королю Сигизмунду III, обсуждавшему в этот момент возможность собственного воцарения в Московском государстве! «Законные права» на московский престол другого претендента! «Теперь я все это представляю на милостивое и внимательное рассмотрение вашего королевского величества», – писала Марина Мнишек, погруженная в собственные несчастья и не понимавшая, что ей не приходилось и мечтать о королевском расположении в этой ситуации. «Я убеждена, что ваше королевское величество после мудрого обсуждения обратите на это внимание и по природной доброте своей примете меня, а семью мою, которая в

значительной мере способствовала этому своей кровью, храбростью и средствами, щедро вознаградите. Это будет служить несомненным залогом овладения Московским государством и прикрепления его обеспеченным союзом, с благословенья Божья, которое щедро вознаграждает за справедливость. Желая чего, я препоручаю себя защите и милостивому вниманию вашего королевского величества» [314].

Письмо московской «царицы», отправленное под Смоленск к королю, имело большой резонанс. (Об этом свидетельствует множество сохранившихся списков в польских архивных собраниях.) До возвращения послов тушинского воинства Марина получила передышку. Ей стало немного легче. Но кругом все равно оставались враждебно настроенные люди, перешедшие или готовые перейти на королевскую сторону. При этих обстоятельствах и произошло событие, в очередной раз и теперь уже окончательно кардинальным образом изменившее ее биографию. Пропавший «царь Дмитрий» прямо обратился к своей «супруге» и предложил ей воссоединиться.

Как показывают письма Марины Мнишек отцу и королю Сигизмунду III, написанные 13 и 15 января 1610 года, больше всего она нуждалась в это время в поддержке и защите. Одна посреди бунтующего военного лагеря, без близких людей, бросивших ее на произвол судьбы, Марина ждала в прямом смысле знака судьбы. И увидела его в переданных ей записках «царя Дмитрия», в которых тот выражал «беспокойство» и говорил о своей любви к ней. Марина дождалась того, в чем она больше всего нуждалась. Она не забыта, о ней заботились, ее готовы были любить и – главное – почитать как законную «царицу».

После получения известия от «царя Дмитрия» из Калуги Марина Мнишек самостоятельно принимает решение о воссоединении с тем, кого давно называют ее «мужем». С нею происходит удивительная метаморфоза. Все, что известно о ее пути из Тушина в Калугу, показывает, что Марина становится поразительно целеустремленным человеком, превосходящим смелостью всех окружающих. Каким контрастом это выглядит с жалобами отцу и униженными просьбами, отправленными королю! И вот характерная деталь. Уезжая из Тушина, Марина Мнишек надевает мужской костюм. Она больше не дает воли женской слабости, а только пользуется ею, чтобы достичь желанного результата. Уроки «царевича» Дмитрия, данные самборской красавице, не пропали даром. Теперь и она, как и ее «император», отправляется навстречу своей судьбе, в которую свято верит.

Еще в течение месяца после того, как она сделала свой выбор

в пользу Калуги, Марина оставалась в Тушине. Подмосковные «таборы» она покинет только 13 (23) февраля 1608 года. Почему «царица» продолжала подвергать свою жизнь опасности и не стремилась уехать как можно скорее? В дневнике королевского похода под Смоленск вполне определенно говорится, что Марина просила «воинство» отпустить ее в Калугу или, по крайней мере, в другое, не столь опасное место. Ответ был поистине иезуитским: ей «позволяли» уйти из лагеря, но всем другим запрещали выступить вместе с ней: «…царица прислала просьбу, чтобы ей дозволили уехать к мужу. Ей это дозволили, но под страхом смерти запретили кому либо двинуться от войска со знаменем. Царица сейчас одумалась и просила, чтобы ей дозволили жить в Можайске до тех пор, пока не придет король. Ей и этого не дозволили, опасаясь, как бы не пришел к ней тот обманщик» [315].

В Тушинском лагере не было единства по поводу дальнейших действий. Одна часть польского «воинства» ожидала ответа от короля, другая, не надеясь ни на что хорошее, пыталась снова установить контакты с «цариком». Третьи предлагали вообще бросить всех претендентов и уйти в самостоятельный поход за Волгу, где и «возместить» свои заслуги за счет поживы. Кто-то был готов просто уйти домой в Польшу, но «более знатные» держались «государя и отечества». В этой ситуации Марина Мнишек решается помочь «царю Дмитрию», тем более что и он сам активно переманивал людей из Тушина на свою сторону. Она не знала, что «царик» опять пытался ее использовать, торгуясь именем «царицы» с тушинцами. Как писал в своих записках Иосиф Будило, в ответе на тайное посольство от подмосковного воинства во главе с Янушем Тышкевичем, отправленном во второй половине января 1610 года, «царь Дмитрий» ставил условие: «Что касается денег, то его царское величество обещает выдать сейчас же на конного всадника по 30 злотых, если рыцарство приведет к царю в Калугу в добром здоровье царицу» [316]. Трудно сказать, действительно ли ему не было жалко никаких денег, чтобы снова увидеть свою «царицу», или самозванец не верил, что Марина Мнишек даст добровольно привезти себя в Калугу.

В первой половине февраля 1610 года в Тушине вспыхнул бунт донских казаков. Позднее в войске его объясняли происками «царицы», которая «так подействовала на донцов, что 3000 их почти днем выступили в Калугу с несколькими русскими вождями» [317]. Сам казачий предводитель Иван Мартынович Заруцкий не только не поддержал этого выступления, но и предупредил гетмана князя Романа Ружинского, который напал на «изменников» и, по воспоминаниям Николая Мархоцкого,

положил до двух тысяч казаков. После этого удерживать согласие в Тушинском лагере было уже трудно. В письме от 8 (18) февраля 1610 года брат «царицы» саноцкий староста Станислав Мнишек извещал одного из своих друзей о случившемся бунте донцов и рисовал атмосферу раздоров в Тушинском лагере самыми мрачными красками: «Не безопасны мы от неприятеля, а более всего от своих»; беспорядков ожидали «каждый час» [318]. Не мудрено, что в такой ситуации начались поиски врагов. Тушинское «рыцарство» отправило с донесением королю под Смоленск своих товарищей, так как до них дошли слухи о каких-то переменах в настроении короля. Они говорили, что войско взволновано известиями от некоторых лиц из этого лагеря о чем-то противном его ожиданиям, а также, что особенно интересно для нас, «интригами царицы».

Вся эта история ярко иллюстрирует начавшийся крах тушинского режима. Вина за случившееся лежала, конечно, не на московской «царице», хотя именно ее происками пытались объяснить мятеж казаков. Но казаки, покидая Тушино, уходили не только к «царю Дмитрию» в Калугу, но и к польскому королю Сигизмунду III под Смоленск. Польские современники и хронисты были едины в том, что эти события в итоге и поставили крест на дальнейшем существовании Тушинского лагеря. «Эти бунты донских казаков, – писал Николай Мархоцкий, – были первым нашим несчастьем» [319].

Когда Марина покинет наконец раздираемое противоречиями Тушино, она оставит гневное и исполненное презрения письмо польскому «рыцарству»: «Не могу уже дальше быть к себе жестокой, попрать, отдать на произвол судьбы и не радеть о том, что люди добродетельные ставят превыше всего… и не уберечь от окончательного несчастия и оскорбления себя и своего сана от тех самых, которым долг повелевает радеть обо мне и защищать меня».

«Царица» наконец-то высказала все, о чем так долго мечтала. До нее доходили слухи о том, что ее имя часто возникает во время солдатских попоек, и это приводило ее в негодование: «Полно сердце скорбью, что и на доброе имя, и на сан, от Бога данный, покушаются! С бесчестными меня равняли на своих собраниях и банкетах, за кружкой вина и в пьяном виде упоминали!…» Она не могла простить гетману князю Роману Ружинскому, допустившему, что в Тушинском лагере обсуждали, как поступить с бывшей «царицей». Более того, готовы были расправиться с нею без всякой вины! «Тревоги и смерти полно сердце от угроз, что не только, презирая мой сан, замышляли изменнически выдать меня и куда-то сослать, но и побуждали

некоторых к покушению на мою жизнь!»

Досталось от Марины теперь и самому королю, посмевшему предъявлять какие-то «права» и на ее царский сан, и на Московское государство: «Подобно тому, как я не могла вынести оскорблений невинности и презрения, так и теперь не попустит Бог, чтобы кто-нибудь частно спекулировал моей особой, изменнически выдавая меня, прислуживаясь, понося меня и мой сан, задумывая увезти меня туда-то и выдать тому-то, ибо никто не имеет никаких законных прав ни на меня, ни на это государство. Не дай Бог того, чтобы он когда-нибудь порадовался своей измене и клятвопреступничеству» [320].

Бедная, оскорбленная Марина, гневавшаяся от одной мысли, что солдаты могли вспоминать ее имя, держа в руках не саблю, а пивную кружку! Эти солдатские байки тушинских ветеранов позже пойдут гулять по свету, пока не будут записаны польским историком Кобержицким, написавшим почти полвека спустя историю короля Владислава IV (книга вышла в Данциге в 1655 году). Отдавая должное незаурядной соотечественнице, Кобержицкий не удержался от намеков, изменяя тону учтивости: «Эта необыкновенно умная женщина обходила лагеря польских рот, умоляла, обещала щедрые награды, в отдельные отряды посылала своих надежных поверенных, и всякими средствами, не всегда согласными с женским целомудрием, так умела повлиять на настроение солдат, что отвлекла их от короля и укрепила в них преданность Димитрию». Грязные намеки Кобержицкого будут развиты впоследствии Николаем Костомаровым.

В «жизнеописании» Марины Мнишек (1874 год) он так напишет о времени, предшествовавшем бунту донцов: «Тогда Марина явилась перед войском с распущенными волосами, плачущая, перебегала от одной ставки к другой, умоляла, заклинала не оставлять ее; “она, – говорит современник, – не останавливалась ни перед какими средствами, противными женской стыдливости”» [321].

Вся эта изображенная Костомаровым театральная сцена из дешевой исторической драмы является прекрасной иллюстрацией того, как возникают мифы, если полностью доверяться записям «современников». Бороться с мифом трудно, да и не нужно. Однажды появившись, он начинает жить по своим законам. А уж дело исторического чутья каждого, какую концепцию исторического героя он принимает. Главное, чтобы при этом существовал выбор.

Вернемся к отъезду Марины Мнишек из Тушинского лагеря. Как мы помним, ей с самого начала разрешили покинуть подмосковные «таборы», но только на свой страх и риск. Так она

и поступила. Дату отъезда Марины из Тушина – 13 (23) февраля 1610 года – привел в своем дневнике Иосиф Будило [322].

Автор «Нового летописца» позднее посвятил этому событию отдельную статью «О Сардамирской дочери Маринке», но безосновательно приписал инициативу побега Ивану Плещееву Глазуну: «Нощию взяша ее и бежа с нею в Калугу. Вор же Ивана Плещеева за то пожаловал, а с нею начал опять воровать» [323]. Согласно «Дневнику Яна Сапеги», Марина Мнишек уже 16 (26) февраля была в Дмитрове, куда войско гетмана отступило от Троице-Сергиева монастыря: «Царица, ее милость, приехала до его милости (гетмана. - В. К.) с немногими, бежав из большого обозу, из-за того, что ее хотел пан Ружинский выслать под Смоленск» [324].

Под Дмитровом в то время шли бои с войском царя Василия Шуйского. Сапежинцы созвали войсковое «коло», на котором решили принять «царицу» и послать договариваться о ее дальнейшей судьбе послов в Тушино. По сведениям Конрада Буссова, Марина Мнишек самостоятельно наладила обмен посланиями с Калугой через своего «самого преданого коморника» Юргена Кребсберга, «родом из Померании». В Калуге его, как пишет немецкий хронист, «приняли с радостью» и ответили «царице», чтобы она тайно выбиралась «в Калугу к Димитрию, а не дала бы полякам увезти себя оттуда к королю под Смоленск» [325]. В королевских обозах под Смоленском также записали о ее отъезде из Тушина: «Дано знать, что 2-го марта царица, переодевшись и в сопровождении одной служанки и прислужника, бежала в Калугу и приехала в Дмитров, оставив в лагере письмо, в котором говорит, что, не имея возможности долее выносить выговоров, глумления и пренебрежения и не будучи уверена в своей безопасности, должна неволей бежать к своему мужу».

Бегство Марины Мнишек вызвало в Тушине ропот: «После ее выезда в лагере было великое волнение. Множество рыцарства восстало на князя Рожинского, которого обвиняли, что он или своим умыслом погубил ее, или отправил в какую-либо пограничную крепость» [326]. (Напомню, что Марина Мнишек также подозревала, что готовится покушение на ее жизнь.)

Самому гетману решительные действия Марины Мнишек явно путали карты. Он как можно лаконичнее описал ее бегство в письме королю под Смоленск о текущих делах 17 (27) февраля 1610 года, сообщив, что Марина Мнишек якобы «по ошибке» попала в Дмитров к гетману Сапеге: «Со вторника на среду царица отправилась в Калугу, переодевшись в мужское платье, в сопровождении только одной служанки и одного служителя.

Сбившись с дороги, она заехала в Дмитров, где и теперь находится» [327]. Это письмо несколько запутывает устоявшуюся в историографии датировку отъезда Марины Мнишек из Тушинского лагеря. Гетман писал королю из-под Москвы во вторник 17 (27) февраля, как будто по горячим следам событий, но Марина Мнишек в этот момент уже добралась до Дмитрова.

Вообще заметно, что сторонников гетмана князя Ружинского больше волновала не судьба «царицы», а то, что гетман Сапега с приездом к нему Марины Мнишек становился ближе к «царику», чем к королю. Николай Мархоцкий, вспоминая о том, как Марина покинула Тушино, так реконструировал ход событий: «Сапега снова перешел от короля на сторону Дмитрия, сманил от нас царицу, пообещав, что встанет при ней. Так что сбежала от нас она (с одной лишь девчонкой и одним-двумя десятками донских казаков) и оставалась в Дмитрове при пане Сапеге…» [328] Марина Мнишек попала в Дмитров уже после того, как Ян Сапега получил письмо от «царя Дмитрия». Как объяснял самозванец, он уехал из Тушина по причине того, что не мог заплатить деньги за службу взбунтовавшемуся воинству. Тушинский вор воспользовался старинными противоречиями между своим бывшим гетманом князем Романом Ружинским и Яном Сапегой, к которому ранее мог обращаться только как к полковнику. Калужское же письмо от 19 (29) января было адресовано «старосте усвятскому и перепецкому, гетману нашему Яну Петру Сапеге» [329]. Так сложился союз «царя», «царицы» и их нового гетмана.

Сравнивая известные обстоятельства отъезда из Тушина Лжедмитрия II и Марины Мнишек, можно признать, что «царица» проявила больше мужества и, если так можно выразиться, вкуса. Никаких навозных саней, пряток и большой охраны, только самые преданные люди рядом, и она, переодетая в мужской костюм. Этот костюм придавал ей силы, позволял действовать необычно, решительно, порывая с общепринятыми представлениями о том, что подобает «панне» или тем более московской «царице». Легкий ветер куража свободы гнал ее кораблик на грубые скалы московских берегов, но она не видела ничего кругом себя, думая лишь о том, как бы быстрее попасть к человеку, которого уже готова была любить и принять как мужа.

Читая известия о том, как Марина Мнишек бежала из Тушина в Дмитров, можно подумать, что дорога заняла у нее несколько дней, и тогда воображение дорисовывает опасные скитания «царицы» по заснеженным просторам, деревням и селам. Между тем, когда некоторое время спустя Николай Мархоцкий выдвинулся с небольшим отрядом добровольцев из-под Москвы к осажденному силами царя Василия Шуйского Дмитрову, то весь

переход занял у него только половину суток: в сумерках они выезжали из Тушина, а утром уже подъезжали к Дмитрову. Недолгим был и переход «царицы», приехавшей к гетману Яну Сапеге в самый опасный момент боев, когда полк «государевых бояр и воевод» князя Бориса Михайловича Лыкова готов был взять Дмитров. (Основные силы гетмана к тому времени ушли за Волгу пополнять запасы.) Как вспоминал тот же Николай Мархоцкий, вмешательство Марины и ее мужественное поведение позволили переломить ход битвы.

Русские источники датируют бои под Дмитровом «масленым заговейном», то есть последним днем Масленицы, который в 1610 году пришелся на 18 (28) февраля. Шумило Иванов, один из участников боев под Дмитровом, уже 27 февраля (9 марта) оказался в Вологде, где рассказывал: «Был де он Шумилко в полкех с государевы бояры и воеводы, со князем Борисом Михайловичем Лыковым да с Давыдом Жеребцовым, под Дмитровом, а с ними государевы русские люди и немцы, и ко Дмитрову приступали в масленое заговейно, и назавтрее, в понедельник, государевы люди острог взяли приступом, и воровских и литовских людей побили, и в остроге взяли восмь пушек; а с досталными де не со многими людми Сопега и с воровскою женою с Маринкою, с Сандомирского дочерью, заперся в осыпи» [330]. Получается, что уже через день после приезда Марины в Дмитров там случились решительные бои с отрядами, посланными от боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, причем в его войске уже знали, что «Сандомирская» находится в лагере гетмана Яна Сапеги. Как выразился Иосиф Будило, Марина попала «из под дождя под дождевую трубу, так как Скопин стал добывать Сапегу в Дмитрове» [331].

Появление Марины Мнишек произвело настоящий фурор. Никто не ожидал от хрупкой молодой женщины такого перевоплощения. Но и она не отказала себе в удовольствии продемонстрировать перед сапежинцами новый наряд, в подражание любимым гусарским одеждам своего первого мужа императора Дмитрия Ивановича. Конрад Буссов передавал слова, сказанные Мариной Мнишек в лагере Сапеги: «Чем мне, русской царице, с таким позором возвращаться к моим родным в Польшу, лучше уж погибнуть в России. Я разделю с моим супругом все, что Бог нам предопределил». Буссов запомнил даже цвет и материал гусарских одежд Марины Мнишек, которая «приказала сделать себе из красного бархата мужской костюм польского покроя, надела его, вооружилась ружьем и саблей, а также надела сапоги и шпоры и выбрала хорошего быстрого коня» [332]. Красный бархат гусарского мундира эффектно должен был

смотреться на фоне подмосковных снегов.

Королю Сигизмунду III также сообщали о появлении Марины в Дмитрове: «Пришло известие, что царица, приехав в Дмитров, вошла в рыцарское коло в том гусарском костюме, в каком приехала, и своим лицом и печальною речью взбунтовала весьма многих из товарищества г. Сапеги» [333].

В окружении короля охотно верили любым слухам о Марине, которая столь открыто отказалась повиноваться королю. Более осведомленный Николай Мархоцкий мог слышать рассказы оборонявшихся в дмитровской крепости сапежинцев: «Как раз в это время находившаяся в Дмитрове царица выказала свой мужественный дух. Когда наши вяло приступали к обороне вала, а немцы с москвитянами пошли на штурм, она выскочила из своего жилища и бросилась к валу: “Что вы делаете, злодеи, я – женщина – и то не испугалась!” Так, благодаря ее мужеству, они успешно защитили и крепость, и самих себя» [334].

Перед угрозой падения Дмитрова тушинское воинство все-таки согласилось отправить своим товарищам из полков гетмана Яна Сапеги подкрепление из добровольцев и боеприпасы. Небольшой отряд возглавил все тот же Николай Мархоцкий. Их приезд повлиял на ситуацию, так как в рати князя Бориса Михайловича Лыкова решили, что под покровом туманной ночи в Дмитров прошел значительный отряд из «больших таборов» под Москвой. На другой день пришло еще подкрепление из Иосифо-Волоколамского монастыря (в обители, сдавшейся тушинцам еще в октябре 1609 года, располагался их опорный пункт). Командовавший в Иосифо-Волоколамском монастыре полковник Павел Руцкой посылкой подкрепления спас тогда и гетмана Яна Сапегу, и Марину Мнишек. Не дожидаясь исхода сражения за Дмитров, Марина 25 февраля (7 марта) приняла решение ехать дальше в сторону Калуги.

Уже тогда она должна была почувствовать свою силу, способность увлечь за собой тех, кто был рядом. Николай Мархоцкий вспоминал, что «царица, надумав перебраться в Калугу, уговорила четверых из двадцати моих товарищей ее сопровождать. Пан Сапега хотел этому воспрепятствовать, но она сказала: “Никогда тому не бывать, чтобы он для своей выгоды мной торговал, у меня есть три с половиной сотни донских казаков, и если понадобится, дам битву”. И Сапега ей больше не препятствовал. Царица поехала с теми, кого уговорила из моей компании. В мужском уборе, взяв сани и коня, она добиралась когда на санях, когда верхом» [335].

Слова, запомнившиеся Николаю Мархоцкому, отнюдь не случайны. За свою жизнь в Московском государстве Марина так

долго была предметом торга сначала в руках своего отца и посла Николая Олесницкого, затем гетмана князя Романа Ружинского и короля Сигизмунда III, что твердо решила не допускать в дальнейшем и намека на использование другими ее царского сана. Так она без колебаний покинула более всего благоволившего ей гетмана Яна Сапегу, когда тот вознамерился сделать ее снова пленницей, а не гостьей. Тот факт, что 15 (25) марта 1610 года Сапега появился в стане короля Сигизмунда III под Смоленском без своего взбунтовавшегося «товарищества», ушедшего на реку Угру, свидетельствует, между прочим, о действенности агитации Марины.

Уход из подмосковных «таборов» «царя» и «царицы» усугубил кризис в Тушине. Князь Роман Ружинский писал королю о настроениях своего воинства (кстати, в том же письме, в котором извещал его об уходе Марины в Калугу): «Здешнее войско сильно бунтует и если на положенный срок не получится известия, могущего удовлетворить рыцарство, то трудно будет удержать оное от дальнейшего беспорядка». Беспокоились и те бывшие русские сторонники «царя Дмитрия», которые переориентировались на короля и уже поспешили целовать ему крест. «Боярам, оставшимся с патриархом у нас, – писал гетман Роман Ружинский королю Сигизмунду III 17 (27) февраля 1610 года, – весьма не нравится, что они не получили ни одной грамоты от вашего королевского величества; желательно бы доставить им сие утешение, дабы удержать их при прежних замыслах». Извещал гетман и о разногласиях между царем Василием Шуйским и князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским, которые, по его сведениям, начали действовать «каждый сам по себе» [336].

Послы от тушинского войска отправились из-под Смоленска 19 февраля (1 марта). Помимо прочего они везли ставший уже бесполезным ответ короля Сигизмунда III относительно дальнейшей судьбы Марины Мнишек (его текст сохранил в своих записках Иосиф Будило): «Что касается жены прежнего Димитрия, убитого в Москве, а также прав, какие она имеет на принадлежность ей каких-либо частей Московского государства и какие утверждены боярами, то король с удовольствием готов оставить их в своей силе, когда придет время вести об этом речь при переговорах с московским народом, и если Бог даст, что король будет располагать теми делами; но не следует, чтобы поступки ее причиняли какой-либо вред делам его величества и Речи Посполитой». Другими словами, король Сигизмунд III не отрицал прав Марины Мнишек, но и не подтверждал их, откладывая решение до будущих времен, когда он должен был

утвердиться в Московском государстве. Пока же Марину просили не мешать своими претензиями. Еще более презрительно высказался король в отношении даже неназванного по имени «того человека, который так легкомысленно пренебрег рыцарством и его верностию по отношению к нему и бежал». Как оказалось, «царь Дмитрий» в Калуге начал мстить своим бывшим сторонникам – «литве»: «Его величеству известно, что он кидается и на королевских людей без всякого повода с их стороны, губит рыцарство и собирается истребить его…» Однако король до поры до времени соглашался оставить его в покое, чтобы не раздражать тушинское воинство, все еще не оставившее надежды иметь в «царе Дмитрии» хотя бы свидетеля их заслуг в Московском государстве. Поэтому Сигизмунд III объявлял, что он «будет иметь внимание к его лицу и положению, если он будет держать себя спокойно, не будет портить дел его величества, не будет нападать на находящееся там войско и не будет отводить от короля московский народ» [337].

Получили королевский ответ и русские тушинцы. Служившие в Тушине бояре Михаил Глебович Салтыков-Морозов, Иван Михайлович Салтыков, князь Василий Михайлович Мосальский и думный дьяк Иван Тарасьевич Грамотен обсуждали с королем будущее устройство Московского государства. Они договорились, что Сигизмунд III согласится на то, чтобы «учинити великим господарем царем и великим князем» своего сына королевича Владислава. Судя по королевской грамоте, выданной послам 14 февраля 1610 года, при этом сразу же были забыты длившиеся десятилетиями споры о царском титуле.

О Марине Мнишек, как о далеком прошлом, вспоминал в своих речах на посольстве только боярин Иван Михайлович Салтыков. Его речь о предыстории соглашения с королем содержит законченную концепцию событий Смуты, происходивших от времени появления Лжедмитрия I до современной розни с царем Василием Шуйским: «А великому госъподарству Московъскому вместо царевича Дмитра Ивановича Углецкого на господарстве Московском царь бысть, зовомый Дмитрей, не святительским, а ни боярским обраньем, но простых людей советом и прелестью, понеж простым людем о нем не ведаючим, а чающим его быть прамого царевича Дмитра Ивановича Углецъкого, а духовным и светским станом боярским молъчашчеем страха ради и волънения мирского, и венъчан бысть царским веньцем и диядимою, по древънему господаръскому чину; жену же прият себе от Польского королевъства, Сенъдомирского воеводы Юрья Мнишка дочерь, Марыну Юрьевну, с которою с Полши на господаръское веселье людей

великих и рыцерских не мало пришло. И потом з Московъскых бояр князь Василей Иванович Шуйский з своими братьями и советники, без совету бояр и въсее земли, воцарывшого Дмитреевым имянем убивает, а жену его и воеводу Сенъдомирского и иных Полского и Литовского народу людей, славных и рыцерских, велел побить, а других по темницах розослать; сам же трема деньми на высоту царствия никим же неизбраный восходит, и многих бояр и думных людей по городах розослал, и в темницех без вины заточил и крови безчисленъны пролия, и сего ради ненавидим его быть всеми людми» [338].

В пунктах, обсуждавшихся королем с посольством боярина Михаила Глебовича Салтыкова, о будущем Марины Мнишек ничего не говорилось, так как русской стороной легитимность царствования Дмитрия Ивановича уже не признавалась. В королевском ответе боярам ее имя также не было упомянуто ни разу – в отличие от посольства тушинского воинства, которому все же обещали подумать о выделении бывшей «царице» каких-либо княжеств в Московском государстве.

Теперь тушинское войско получило все ответы от короля. Все, кроме главного. Сигизмунд III уходил от решения вопроса об уплате «рыцарству» заслуженных им у «царя Дмитрия» денег. В противоположность королю, «царик» из Калуги раздавал щедрые обещания прибывшему к нему посольству тушинцев во главе с Янушем Тышкевичем. Последние вернулись под Москву в середине февраля 1610 года. Находясь в Калуге, «царь Дмитрий» заговорил по-другому, объявив изменниками тех, кто договаривался с королем, – а именно гетмана князя Романа Ружинского, боярина Михаила Салтыкова и других. Он предложил рыцарству «самому наказать виновных» и привести их с собою в Калугу. Сам же самозванец отказывался отвечать на любые требования короля Сигизмунда III, «потому что царь не вступает ни в какие владения короля; следует и королю то же делать». Хотя «царик» и впредь соглашался на главное условие остававшихся в Тушине наемников – «ничего не делать без ведома старшего из рыцарства», но с очень важной оговоркой. Речь могла идти только о делах, касающихся самого «рыцарства»; во внутренних же делах «царь Дмитрий» теперь следовал устоявшимся московским порядкам: «Те дела, которые касаются самого царя, царь в своем отечестве будет решать сам со своими боярами» [339]. Так с «царем Дмитрием Ивановичем» произошла очевидная метаморфоза. Из ручного «господарчика» он превратился в самодержца.

Обсуждение «царских» ответов сопровождалось попыткой переворота, в результате которой гетман князь Роман Ружинский

чуть не погиб. Дело затеял «посол» от воинства в Калугу Януш Тышкевич, «недовольный главенством Ружинского». По воспоминаниям Николая Мархоцкого, произошел «бунт на рыцарском круге», куда собралось около сотни недовольных гетманом людей, вооруженных «рушницами» (мушкетами) и одетых в доспехи. Когда собравшиеся стали обмениваться между собой соображениями: «чью сторону лучше держать – короля или Дмитрия», Тышкевич и его сообщники принялись разгонять круг: «С кличем, словно идут на неприятеля, они напали на круг и дали залп из рушниц прямо в ту сторону, где стоял князь Рожинский. Круг бросился врассыпную. Князь Рожинский остался, но товарищи увели его в стан и защищали, отстреливаясь из нескольких рушниц». Тогда сторонники похода к «царю Дмитрию» в Калугу попытались организовать свое войсковое собрание.

Они выехали за пределы обоза с призывом: «Кто смелый – к нам в круг!» В итоге наемники приняли тайное решение ждать ответа посольства к королю. Теперь все зависело от Сигизмунда III. Если он и дальше не решится ничего сделать для тушинского воинства, то оно получало свободу действий. Из чувства самосохранения договорились об организованном отходе из Тушина в случае, если он состоится: «Самые дальновидные понимали, что раскол под боком у неприятеля мог привести нас к верной гибели. Тайно мы договорились сохранять согласие и держаться на этом месте до определенного времени. А если нас не удовлетворят условия короля и придется разделяться, тогда, сохраняя единство и согласие, мы отойдем от столицы, по крайней мере на десять миль. А затем пусть каждый, без обиды друг на друга, направится в ту сторону, какая ему по нраву. Все это мы скрепили на генеральном круге словом дворянина» [340].

Все так и случилось. Наемники бросили подмосковные «таборы» и стали отходить в сторону Волока-Ламского. 6 (16) марта 1610 года жители Москвы с облегчением и радостью увидели, как горит «большой обоз», подожженный самими тушинцами, увозившими награбленное добро под охраной своих пушек. Иосиф Будило описал это отступление тушинцев, приведя полное расписание полков и артиллерии: сначала шла «передняя стража» из гусарских рот, за ними «артиллерия, при ней донцы и пехота… при артиллерии московский табор». Донскими казаками командовал Иван Заруцкий, которому предстоит сыграть особую роль в судьбе Марины Мнишек. Затем шли полки Адама Рожинского и Иосифа Будило, а за ними «возы» разных полков. «За возами шло все войско в таком порядке, как обыкновенно идут полки: впереди его милость отец патриарх (митрополит Филарет. – В. К.) с боярами, потом полки – г. Зборовского, г.

гетмана (князя Романа Ружинского. – В. К.), г. Хрослинского, Глуховского, Копычинского; в заднюю стражу изо всех рот по 10 конных для охранения от московских наездников. Передние люди, которые назначают место для стана, ехали в густом строю, окружив пушки; если бы что случилось, они готовы были подать помощь и назади» [341].

Среди уходивших из Тушина был назначенный со своей ротой в переднюю стражу Николай Мархоцкий. Он вспоминал: «Мы из-за своих разногласий также двинулись без всякого шума к Волоку, взяв с собой арматы (пушки. – В. К.), которые были многочисленны и ценны. Отстроенный, словно город, обоз мы подожгли» [342]. В Иосифо-Волоколамский монастырь тушинцы пришли 8 (18) марта.

«Царица» Марина Мнишек со своей небольшой свитой также побывала в Иосифо-Волоколамском монастыре, разминувшись с тушинским войском дней на десять. Здесь ее ждала встреча с братом Станиславом Мнишком, покинувшим Тушино вслед за нею. Станислав Мнишек и оставшиеся женщины из «царицыной» свиты направлялись к королю Сигизмунду III под Смоленск. Брат вновь стал уговаривать сестру изменить свое намерение и вернуться под покровительство короля, но Марина уже сделала свой выбор и не скрывала его. Еще прежде чем саноцкий староста доехал до Смоленска, там 6 (16) марта знали, что Марина Мнишек прибыла в сопровождении сапежинцев в Иосифо-Волоколамский монастырь, «где она, взяв старую свою женщину, отправилась прямо в Калугу, к тому обманщику, с которым она тайно побраталась» [343]. Следовательно, в Иосифо-Волоколамском монастыре Марина Мнишек оказалась около 27 февраля (9 марта), а покинула его не позднее 4 (14) марта.

«Старая женщина», согласившаяся разделить с Мариной Мнишек выбранную ею судьбу, – не кто иная, как ее добрая «панья Казановская», когда-то спасшая ей жизнь во время московского погрома в день гибели «царя Дмитрия Ивановича». Приехав в Калугу, Марине пришлось заново собирать свою женскую свиту. По свидетельству Конрада Буссова, она вышла из положения, взяв к себе дочерей служилых иноземцев.

Конрад Буссов, живший в Калуге, вполне достоверно описал приезд туда переодетой в мужское платье «царицы»: «В Калуге перед воротами она сказала страже, что она доверенный коморник Димитрия со спешным и очень важным к нему донесением, о котором никто, кроме него самого, не должен знать. Царь сразу сообразил, в чем дело, приказал казакам хорошенько охранять ворота, а коморника впустить. Тот сейчас же поехал к кремлю, к царскому крыльцу, спрыгнул там с коня,

предстал пред очи своего государя и тем доставил ему большую радость. А так как привезенная царицей из Польши женская свита уехала… назад в Польшу, то она взяла себе новую свиту из немецких девушек, родители которых жили в этих местах. Гофмейстериной над ними назначила тоже немку и все время очень благожелательно и благосклонно относилась к немцам» [344].

Стоит обратить внимание на странное слово «побраталась», которое употребили секретари, ведшие дневник королевского похода под Смоленск: «царица», по их словам, «тайно побраталась» с калужским «обманщиком» (именно так в подлиннике: «pobratala»). Переводчик дневника привел рядом со словом «побраталась» еще один вариант в скобках – «обвенчалась». Но об этом ли шла речь? Саноцкий староста Станислав Мнишек, добравшийся до королевского обоза 10 (20) марта, сообщал, что «только в Осипове (Иосифо-Волоколамском монастыре. – В. К.) узнал от своей сестры, когда она выезжала в Калугу, что «она повенчалась с тем франтом, который присвоил себе имя Димитрия» [345]. При передаче его слов королевские секретари использовали слово *slub* – «венчание», то же самое, которым была обозначена свадьба Марины Мнишек с царем Дмитрием Ивановичем через уполномоченного посла Афанасия Власьева в Кракове в ноябре 1605 года.

Но почему Марина Мнишек доверила свою тайну брату только теперь, когда их пути решительно расходились? Не для того ли, чтобы подтвердить правоту своего решения об уходе в Калугу, а не к королю? Еще более странно, что живший рядом с сестрой в Тушине Станислав Мнишек, как и все «рыцарство», ничего не знал о их венчании. Что могла называть Марина Мнишек словом «братание» в своих отношениях с «царем Дмитрием»? Может быть, определенные условия ее пребывания в Тушинском лагере, обсуждавшиеся перед тем, как она согласилась приехать в обозы «царя Дмитрия»? Или те условия, на которых она согласилась приехать в Калугу?

А вот другое свидетельство современника. 20 (30) марта 1610 года в лагерь под Смоленск в составе посольства от бывшего тушинского войска прибыл полковник Александр Зборовский. Когда-то именно он со своим отрядом перехватил Марину Мнишек и привез ее «царю Дмитрию». Теперь же в разговоре с находившимся под Смоленском Александром Чилли этот «благородный человек» присягал на том, что выбрал «другой путь» из-за того, что не хотел участвовать в фарсе «свадьбы» (*matrimonio*) дочери сандомирского воеводы с Дмитрием! [346]

Стоит задуматься еще над одним сообщением, внесенным в

дневник королевского похода 16 (26) апреля 1610 года: «Получено известие, что тот Димитрий вторично и открыто венчался в Калуге с царицей» [347]. Совершенно не обязательная развязка для тех, кто убежден в отсутствии принципов у «царицы», и вполне логичная, если принять во внимание мотивы легитимности ее положения в Калуге. Думается, что, вопреки всем подозрениям современников, Марина Мнишек оставалась настоящей католичкой, заботилась о спасении души и не относилась легко к таинству брака. Наоборот, все, что известно в связи с ее царскими браками, показывает особую щепетильность Марины Мнишек, обязательно добивавшейся подтверждения любых тайных договоренностей публичными церемониями. Сначала – вторая присяга, теперь – второе венчание!

Увлеченная собственной ролью в новом окружении в Калуге, Марина не заметила, как окончательно разрушила миф о тождестве «царика» с «царем Дмитрием». Действительно, публичная церемония венчания означала открытый отказ от признания самозванца тем же самым Дмитрием! Но с другой стороны, оба они демонстрировали, что не отягощены грехами прошлого. Венчание в православном храме должно было убедить сомневающихся русских сторонников самозванца, помнивших обвинения Марины Мнишек в «люторстве» и «еретичестве». Теперь перед ними была настоящая «царица», следующая обрядам Русской церкви.

Начиная с марта-апреля 1610 года, когда перестал существовать Тушинский лагерь, расстановка сил в Русском государстве кардинально изменилась. Слаженный отход бывших тушинцев к Иосифо-Волоколамскому монастырю не отменил раскола. Более того, уже на марше, несмотря на прежние договоренности, «воинство» стали покидать целые роты. В Волоке же и предстояло решать, куда идти дальше – в Калугу, под Смоленск или, может быть, домой в Речь Посполитую. Этим обстоятельством еще раз воспользовался «царь Дмитрий», обратившийся с грамотой к бывшим тушинцам, а также пятигорским ротам (отрядам литовской шляхты в панцирных доспехах) под командой Хруслинского и Яниковского, обосновавшимся в Прудках. «Царик» снова звал их в поход, ссылаясь на договор с Янушем Тышкевичем, и выражал надежду, что «вы, господа… без малейшего замедления явитесь в назначенное место и время для получения денег и для продолжения войны» [348]. Он правильно рассчитал, что слова его станут известны и в основном войске.

В это время главные силы бывших тушинцев во главе с гетманом князем Романом Ружинским достигли Волока. Осада

этого города, занятого верным царю Василию Шуйскому гарнизоном во главе с воеводой Григорием Леонтьевичем Валуевым, стала последним «делом» князя Романа Ружинского в Московском государстве. Пытаясь привлечь для ведения боевых действий полк Павла Руцкого, давно и весьма комфортно расположившийся неподалеку в Иосифо-Волоколамском монастыре, гетман князь Роман Ружинский поссорился с воинством, не привыкшим к его крутым командам. Николай Мархоцкий вспоминал об этой, ставшей роковой для гетмана, ссоре: «Во время встречи люди Руцкого, не поддавшись на уговоры, ухватились за оружие, рассердившись на князя Рожинского из-за какого-то ничтожного повода. Он тоже не стерпел. Те, кто был с Рожинским, едва увели его, утихомирив бунт. При этом Рожинский где-то на каменной лестнице упал на простреленный бок. Вскоре после этого он, частью из-за меланхолии, ибо терзался мыслями о том случае, а частью из-за ушиба, заболел и впал в горячку» [349]. Через неделю 25 марта (4 апреля) 1610 года гетман князь Роман Ружинский умер в Иосифо-Волоколамском монастыре, а его тело увезли на родину.

«Меланхолия» стала косить бывших тушинских вождей. Следом за известием о смерти гетмана Ружинского под Смоленском получили сведения о смерти от той же болезни «г. Хруслинского, который вел в Калугу пятигорцев».

Еще до всех этих событий лояльные королю тушинцы, собравшиеся в Волоке в количестве трех с половиной тысяч человек, приняли решение отправить в посольстве под Смоленск полковника Александра Зборовского. 21 (31) марта он, как уже говорилось, приехал в королевскую ставку. На следующий день посольство от волоцкого войска было торжественно принято и выслушано. За заявлениями «о совершенной преданности королю» читалось главное: просьба бывших тушинцев, оставшихся под Волоком, о поддержке в их «нуждах». Но вопрос о «вспомоществовании» был опять отложен «до взаимного сношения и совещания». В это время одна часть людей оставалась с гетманом и полковником Павлом Руцким в Иосифо-Волоколамском монастыре, а другая 15 (25) марта отошла из-под Волока, где, как объяснил Иосиф Будило, войско «имело тесную и голодную стоянку», в Соборники и скоро ставшее печально знаменитым для русских людей Клушино.

Ответ Сигизмунда III, полученный полковником Александром Зборовским 4 (14) апреля, по впечатлению королевских секретарей, вполне удовлетворил послов. Если это так, то чувство их удовлетворения стремительно исчезало по мере возвращения посольства к Волоку. Король действительно что-то обещал

тушинцам, но делал это так неохотно, что у войска были все основания подозревать, что ему опять ничего не достанется за службу в Тушине. 14 (24) апреля, по сообщению Иосифа Будило, «г. Зборовский приехал от короля и привез обещание заплатить 100 000, но не нанимать войска больше 2000, поэтому большая часть войска пошла к царю, так как знала, что он нанимает войско, и имела от него грамоту» [350]. Даже самые отъявленные сторонники короля должны были снова задуматься о походе в Калугу. Полковник Александр Зборовский, ближайший помощник умершего гетмана князя Романа Ружинского, принял командование над теми, кто решил дожидаться исполнения обещаний короля. Остальное воинство собралось уходить в Калугу.

Не менее интересные метаморфозы произошли с гетманом Яном Сапегой, оставшимся после ухода из Дмитрова полководцем без армии. 15 (25) марта он объявился в лагере под Смоленском и рассказал, «что товарищество его полка взбунтовалось и послано в Калугу к тому обманщику сказать, что желает служить ему, если он исполнит следующие условия: если дав клятву, даст за одну четверть наличными по 50 злотых на конного; если затем будет платить им наличными за те четверти, в которые они будут служить ему; если он не только не будет делать ничего враждебного против короля, но напротив будет искать случая установить с ним согласие» [351].

Почему Сигизмунд III, зная эти условия, не сделал ничего, чтобы переманить себе на службу «сапежинцев» и всех «зборовцев», неизвестно. Возможно, дело в том, что под Смоленском хотели верить и верили, что положение «царя Дмитрия» в Калуге непрочно, а те, кто ушел к нему раньше всех, уже раскаялись и снова готовы повернуть сабли против «царика». 4 (14) апреля, в момент отправки посольства полковника Александра Зборовского, в королевских обозах было «получено известие из Калуги, что товарищество, которое, увлекшись обещаниями, отошло было от войска под столицей к Лжедмитрию, увидев, что обманулось в этих обещаниях, восстало против своих вождей, причем изрублены главнейшие бунтовщики…».

Все, что происходило в тот момент в Калуге, сильно интересовало короля. Одним из его «информаторов» был брат Марины Мнишек. 11 (21) апреля королевские секретари записали, что «саноцкий староста получил из Калуги верное известие, что тот новый Дмитрий желает, чтобы король показал ему внимание и милость и взял его под свое покровительство; однако по глупости или по гордости он желает быть предваренным об этом

через посольство от короля» [352]. Вероятнее всего, этот слух был следствием посольства к самозванцу от войска гетмана Яна Сапеги, стоявшего лагерем на реке Угре. Оно выдвигало одним из условий своей службы ведение переговоров калужского «царя» и короля. Но в письмах Станиславу Мнишку тоже сообщалось о «плохом положении» «нового Дмитрия», «что людей при нем мало, что русским он тоже не доверяет и, как кто-то оттуда написал, его счастие и жизнь держатся одною лишь милостию Божиею». Так или иначе, но самого же саноцкого старосту отрядили договариваться с Лжедмитрием II, чтобы тот первым обратился к королю, а не наоборот. Станислав Мнишек своими настойчивыми требованиями в исполнении королевской инструкции не только не преуспел, а сделал еще хуже, вызвав гнев «нового Дмитрия». Марина Мнишек была в этот момент, скорее всего, на стороне мужа, а не брата. Следующий посол – «пан Валевский» – получил королевскую инструкцию, в которой говорилось о том, как следует договариваться с калужским «Дмитрием»: «Полагаю, что ваше благородие будете осторожно обращаться с его вспыльчивостью, ибо я сильно об этом забочусь и опасаюсь, чтобы те крепости, которые теперь совершенно верны ему, не перешли на сторону Шуйского… Что касается посольства от него к его королевскому величеству, трудно будет уговорить его; и если вы, ваше благородие, будете усиленно настаивать, то боюсь, что потеряете кредит у него, как это случилось с паном саноцким старостой» [353].

Компромисс, о котором должен был договориться в Калуге в первой половине июня 1610 года королевский посланник, состоял в том, чтобы организовать прямые контакты между Боярской думой «Дмитрия» и «панами-сенаторами» в королевском обозе. Но все эти планы так и остались неосуществленными. Зато самозванец использовал переговоры с королем, чтобы убедить своих сторонников в Московском государстве, что его позиции в Калуге сильны и сам король готов ему помогать. В грамоте в Псков «царь Дмитрий», блефуя, писал даже, что «король, доступя Смоленска, хочет отдати нам». Объявляя о намерении идти в новый поход под Москву «промышляти», самозванец слал грамоты, чтобы в городах «о нашем бы есте государском здоровье и о нашей царице Бога молили».

Пока королевские посланники пытались договориться с самозванцем, войска царя Василия Шуйского 11 (21) мая отбили у полковника Павла Руцкого Иосифо-Волоколамский монастырь и вышли в окрестности Царева Займища, где стояли «зборовцы». Полковник Александр Зборовский сумел спастись (причем вынужден был отступать пешком), но бывшие тушинцы потеряли

многих своих русских сторонников, в том числе остававшегося в Иосифо-Волоколамском монастыре главу русской партии нареченного «патриарха» Филарета Романова.

Рать боярина князя Михаила Васильевича Шуйского вместе с его немецкими союзниками триумфально вошла в столицу. Но надеждам на прекращение Смуты и возрождение страны не суждено было сбыться. 23 апреля 1610 года освободитель Москвы князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский внезапно умер. В его смерти немедленно обвинили правящий родственный круг Шуйских, напуганных всеобщей любовью народа к молодому и талантливому полководцу. Остается повторить вслед за великими историками С. М. Соловьевым и С. Ф. Платоновым: этой смертью «порвана была связь русских людей с Шуйским» [354]. Все большую роль в Москве стали играть конкуренты царя Василия Ивановича, дни царствования которого были сочтены. Одним из самых влиятельных людей в Москве оказался в то время ростовский и ярославский митрополит Филарет. Возвращение «нареченного» тушинского патриарха в Москву не сулило царю Василию Шуйскому ничего хорошего, так как усиливало позиции тех, кто поддерживал кандидатуру королевича Владислава на русский престол.

«Царик» выжидал в Калуге и не торопился откликаться на предложения посланцев короля Сигизмунда III. Он учел прежние ошибки и построил свою новую политику, опираясь на Боярскую думу и приказы, состоявшие из русских людей. Теперь острие террора было повернуто против иноземцев, которых казнили по малейшему подозрению, невзирая ни на какие заслуги. Участие в боях под Волоком «немцев» и французов, нанятых на службу царем Василием Шуйским и перешедших на службу к королю Сигизмунду III, откликнулось в Калуге. По свидетельству Конрада Буссова, царь Дмитрий воспринял это как сигнал к расправе с иноземцами. «Теперь я вижу, что немцы совсем не преданы мне, – будто бы сказал самозванец, – они перешли к этому нехристю, польскому королю, а у меня, единственного под солнцем христианского царя, они побивают людей. Вот буду я на троне, тогда все немцы в России поплатятся за это».

У самозванца, лично не нанимавшего «немцев» на службу, не было никаких оснований упрекать их. Он изображал из себя радетеля и защитника русских людей от изменчивых иноземцев, хотя сам продолжал пользоваться их услугами! Но теперь, когда под царем Василием Шуйским зашатался трон, ему нужно было дистанцироваться и от «немцев», и от поляков с «литвой». Чтобы завоевать симпатии подданных, самозванец стал еще сильнее подчеркивать свое значение христианского государя. Так, он

воспользовался титулом «непобедимого цесаря», который Лжедмитрий I применял в разгар своих самых острых прений с польскими послами, прибывшими на коронацию Марины Мнишек. Оказались забыты и недавние шаги самозванца к сближению с королем Сигизмундом III.

«Немцы» нашли свою заступницу в лице Марины Мнишек. Как свидетельствовал живший в Козельске пастор Мартин Бер (зять Конрада Буссова), только решительное вмешательство «царицы» спасло несколько десятков иноземцев, заподозренных в контактах с королем. Этот невыдуманный эпизод ярко высвечивает роль и положение Марины Мнишек в Калуге. «Царица», к которой обратились за помощью ее немецкие фрейлины, сумела остановить казнь. «Она послала одного из своих коморников, – писал Конрад Буссов, – к кровожадному князю Григорию Шаховскому… и приказала сказать ему, чтобы он под страхом потери жизни и имущества воздержался от выполнения полученного приказания впредь до дальнейшего распоряжения от нее». Другой «коморник» был послан к «царю» с приглашением «прийти к ней на одно слово». «Царь Дмитрий» догадывался, какое слово понадобилось сказать «царице». «Я отлично знаю, что она будет просить за своих поганых немцев, я не пойду. Они сегодня же умрут, не будь я Димитрий, а если она будет слишком досаждать мне из-за них, я прикажу и ее тоже бросить в воду вместе с немцами», – будто бы произнес он. Тогда Марина решила использовать последнее средство: «Вместе с женщинами и девушками она бросилась на колени перед ним и стала с плачем и слезами смиреннейше просить, чтобы он не миловал мерзавцев, воров и изменников, но и в гневе необдуманно не пролил бы невинной крови, дабы не пришлось ему потом раскаиваться». Эта сцена заставила дрогнуть даже такого закоренелого тирана, как «царь Дмитрий»: «Он все же был растроган и смягчен столь взволнованными словами царицы, встал, подошел к ней, сам взял ее за руки и поднял, велел подняться и женщинам… Обратившись к царице, он сказал: “Ну, так и быть. Это твои люди, они помилованы, бери их и делай с ними что хочешь”». Вся эта трагичная история, записанная со слов одного из помилованных, пастора Мартина Бера, сделала из «немцев» самых преданных слуг Марины Мнишек в Калуге: «Ведь царица для немцев не только царица, а и добрая мать, и всем нам, немцам, следует все наши помыслы направить на то, чтобы нас считали верными, покорными и хорошими детьми» [355].

Но все же, понимая, что он не может полностью отказаться от иностранцев-наемников, остававшихся его главной военной силой, Лжедмитрий II продолжал звать их к себе на службу.

Причем влечение было взаимным. 16 (26) мая 1610 года, как записал Иосиф Будило, к «царю в Калугу» было отправлено еще одно посольство от бывшего тушинского войска «с просьбой выдать обещанные деньги». «Царь Дмитрий» теперь сам диктовал условия выдачи жалованья. Он предложил «рыцарству» созвать новую конфедерацию, принести ему присягу и прислать списки тех, кто согласен служить. В этом случае он обещал «прислать через своих бояр» «по 30 злотых на конного, исключая малолетних товарищей» в Прудки и Медынь, где стояло лагерем «воинство». Это было совсем не то, на что рассчитывали тушинские ветераны. Но теперь даже обещание выдавать «всякое продовольствие без затруднения… по числу людей в отряде», а также освобождение «задержанных товарищей» становились привлекательными для наемников. Кроме того, «царь» не отказывался учесть их службу «согласно прежним обязательствам» [356].

Присутствие в калужском лагере «царицы» Марины Мнишек еще более помогало «царику». Без Марины «царю Дмитрию» вряд ли бы удалось быстро договориться о совместных действиях с гетманом Яном Сапегой и «угорским» войском. Гетман недолго пробыл под Смоленском и уехал оттуда к своим солдатам 6 (16) июня 1610 года. По предположению историка А. Гиршберга, он исполнял тайное поручение короля Сигизмунда III. «Царь Дмитрий» лично звал гетмана Яна Сапегу на службу, обещая щедрые награды. Но еще важнее для гетмана было то, что того же желала и «царица». «Дневник Яна Сапеги» сохранил известие о том, что «царица» Марина Мнишек присылала свои листы, «обрадовавшись» приезду «его милости». «Царица» откровенно признавалась гетману, что в Калуге «дела их были почти в упадке», клонились к закату. Возвращение гетмана давало надежду, что не все еще потеряно. «Поистине, не приписываем это ничему иному, – писала Марина в своем письме гетману от 7 (17) июня 1610 года, – как только особому дару, от Бога нам данному, что Он с помощью вашего благородия (чему люди будут удивляться) изволит исправлять, или вернее – благополучно кончать, наши дела. Насколько мы можем быть благодарными желанию и благоволению вашего благородия, желаем объявить об этом в скором времени, что послужит к вечной славе, украшению и пользе вашего благородия, только оставайтесь верными до конца. В нашем сердце запечатлелись доблесть, верность и услуги, которые везде были и будут представляемы за то, что ваше благородие выступили для защиты нашего правого дела» [357].

Слова Марины Мнишек об «особом даре», данном ей «от

Бога», не будут выглядеть претенциозными, если вспомнить, что она могла писать не только о том, что чувствовала в своем сердце, но и о другой, новой жизни, зародившейся под этим сердцем. Будущий ребенок – «божественный дар» – стал для Марины Мнишек знаком еще одного поворота фортуны, на этот раз с опорой на силы гетмана Яна Сапеги. Казалось, судьба наконец-то выводила «императрицу» к своей цели.

Войсковое собрание угорской армии быстро избрало своим гетманом Яна Сапегу. Но, прекрасно изучив самозванца, «угорцы» никуда не хотели двигаться, пока не получат хотя бы обещанные подъемные в 30 злотых. Самозванец, собираясь в новый поход на Москву, дважды лично приезжал договариваться с войском, стоявшим на реке Угре, 1 (11) июня и 24 июня (4 июля) 1610 года. Это «угорское стояние», по свидетельству Иосифа Будило, окончилось тем, что сговорились получить не по 30, а всего лишь «по 6 злотых на конного» [358].

Туго затянувшийся узел противоречий разрубил было своим победоносным походом коронный гетман Станислав Жолкевский, отправленный на помощь «зборовцам» под Царево Займище. 22 мая (1 июня) 1610 года в обозах короля состоялось частное совещание, на котором советники Сигизмунда III настояли на отправке гетмана из-под Смоленска (чтобы не делить с ним славу грядущей победы). Однако противники коронного гетмана просчитались. На совещании у короля было принято решение, чтобы гетман «привел к повиновению то войско (бывших сторонников тушинского царя. – В. К.), установил в нем дисциплину, как было прежде и, соединившись с ним, шел против неприятеля, о котором сделалось известно, что он приготовляется идти на помощь Смоленску» [359]. Все это гетман выполнил блестяще. Больше того, именно он на некоторое время стал самостоятельно определять направление московской политики и начал переговоры с московскими боярами о призвании королевича Владислава на царство.

Марина Мнишек вступила с гетманом Жолкевским в личную переписку, использовав повод – отправку в королевский лагерь «для покупки некоторых надобностей» гонца Мартина Плата (не одного ли из спасенных ею «козельских» немцев?). Обращаясь 28 июня 1610 года к гетману Станиславу Жолкевскому, находившемуся в Можайске, с просьбой выдать гонцу проезжий лист, «царица» не преминула написать несколько учтивых фраз: «За сию услугу вашу, вместе с иными, от давнего времени нашему дому оказанными, я буду стараться отблагодарить, прося вам от Господа Бога здоровья и вожделенных утешений». И подписалась: «Доброжелательная царица Марина» [360]. Гонец Марины Мнишек,

конечно, должен был не только привезти в Калугу «некоторые надобности», но и рассказать, как его приняли, чтобы было понятно, чего ждать «царю» от появления гетмана поблизости от своей калужской столицы.

Гетман Жолкевский решал в то время военные, а не политические задачи. Он одержал самую важную победу для короля Сигизмунда III, разбив 24 июня (4 июля) 1610 года в битве под Клушином армию царя Василия Шуйского и шведских наемников. Клушинское сражение, как это ни удивительно для русского читателя, до сих пор считается одним из величайших в военной истории Польши [361]. «Грех же ради наших, ничтоже нам успеваше», – горько записал автор «Нового летописца». По его мнению, виноват в поражении был бездарный брат царя Василия Шуйского – боярин князь Дмитрий Иванович Шуйский, оттолкнувший от себя шведских наемников. «Немецкие же люди начаша у него просити найму»; боярин же, вместо того чтобы удовлетворить их требования, решил придержать казну и поплатился за это уходом иноземцев со службы: «Нача у них сроку просить, будто у него денег нет, а у него в те поры денег было, что им дати». Иосиф Будило тоже отметил рознь между русскими и немцами в составе правительственных войск во время битвы под Клушином. В отчете о битве, посланном в королевский обоз, виновным в неуплате денег был назван шведский предводитель наемного войска Якоб Делагарди. Так или иначе, но в итоге, по словам автора «Нового летописца», «литовские люди руских людей побита и в табарах многих людей побиша и живых поимаша» [362].

Среди «литовских людей» были и бывшие тушинцы из полка Александра Зборовского, пришедшие к гетману незадолго до клушинской битвы, когда их, по выражению Самуила Маскевича, «больше не просили». Шведские наемники сдались (наемникам легче сдаваться, чем тем, кто воюет на своей земле), но гетман Станислав Жолкевский поступил мудро и сделал все, чтобы превратить врагов в друзей. Он отдал «немцам», не получившим жалованья, захваченные московские обозы. Некоторые из наемников после этого перешли к нему на службу [363].

Московские бояре с остатками войска отошли к Можайску, а гетман стал приступать к Цареву Займищу. «Воеводы же ему говоряху, – писал автор «Нового летописца», – “поди под Москву, будет Москва ваша, а мы будем готови королевския”. Етман же им отказа: “Как де возму я вас, тогда и Москва будет за нами”» [364]. У сидевших в Цареве Займище воевод князя Федора Андреевича Елецкого и Григория Леонтьевича Валуева действительно не оставалось выхода. Они заключили договор с

гетманом и перешли на королевскую сторону. Запись гетмана Станислава Жолкевского, выданная воеводам Царева Займища, повторяла февральские договоренности с королем Сигизмундом III тушинских бояр Михаила Глебовича Салтыкова с товарищами. Воеводам давалось обещание сохранять православную веру в обмен на поддержку ими королевича Владислава в качестве «правителя Российского государства». С калужским «Дмитрием» гетман Станислав Жолкевский не собирался церемониться: «А котори вор называетца царевичевым Дмитриевым имянем, и на того стояти и битися и промышляти над ним заодно; и которые городы за вором, и те городы очищати к Московскому государству» [365].

Еще до этих событий, 5(15) марта 1610 года, Сигизмунду III и королевичу Владиславу присягнули Зубцов и Ржева Владимирова, где сидели воеводы от Вора [366]. После победы гетмана под Клушином наступал черед и других городов, контролировавшихся сторонниками калужского самозванца. Дорога гетману Станиславу Жолкевскому на Москву была расчищена. Он двинулся к столице и 6 (16) июля остановился в Можайске, где ранее пытались отсидеться бояре царя Василия Шуйского, неудачники клушинской битвы.

«Царь Дмитрий» в разгар своего торга с «угорцами» получил «ведомость» из Москвы, что «противоположная сторона» во главе с «патриархом» (митрополитом Филаретом) и боярами выражала ему «большую доброжелательность». Начать заигрывать с бывшим Тушинским вором бояр, сидевших в столице, вынудили известия о поражениях правительственной армии. Для достижения главной цели – свержения царя Василия Шуйского – в тот момент казались хороши все средства. Но, действуя в горячке после ударов гетмана Жолкевского, те, кто обращался к Вору, не до конца понимали, чем они рискуют. То ли это были бывшие тушинцы во главе с «патриархом» Филаретом, то ли недовольная царствованием Василия Шуйского «партия» боярина князя Василия Васильевича Голицына, но всё, чего они достигли своим обращением, – так это укрепления самозванца.

«Царь Дмитрий» во главе угорского войска двинулся на столицу 30 июня (10 июля). Его армия состояла из полков гетмана Яна Сапеги и полковников Хрослинского, Януша Тышкевича и Иосифа Будило. Шляхтич Самуил Маскевич в своих записках писал о тех, кто собирался на реке Угре служить калужскому Вору: «Все сброд, шляхты мало, только была она в гусарских хоругвях, коих считалось также немного, а именно две хоругви самого пана Сапеги, хоругви Каминского, Будилы, Стравинского и Таляфуса. Зато казаков было без числа» [367].

Действительно, по подсчетам Иосифа Будило, на стороне «царя Дмитрия» выступили 1600 гусар, тысяча казаков и еще больше «пятигорцев».

В виду этого войска некоторые города, такие как Медынь, предпочли добровольно подчиниться и присягнуть самозванцу. По свидетельству «Дневника Яна Сапеги», это произошло 27 июня (7 июля) [368]. Но стремление возместить «заслуженное» не исчезало со сдачей городов на милость победителя. С действиями сапежинцев связана одна трагичная страница Смуты. 5 (15) июля они штурмом взяли Пафнутьев-Боровский монастырь, убили в соборной церкви воеводу князя Михаила Волконского, не пощадили ни игумена, ни монахов, ни жителей Боровска, укрывшихся в монастыре [369]. Мародеры, ограбившие раку Пафнутия Боровского и разорившие дотла монастырь, двинулись дальше, но молва об этом преступлении шла впереди них. Если у кого-то и были иллюзии относительно «исправившегося» калужского самозванца, переставшего подчиняться иноземцам, то теперь они исчезли. Наемники во главе с гетманом Яном Сапегой показали, что со времен тушинского террора ничего не изменилось. Разве что он стал еще более жестоким.

Между «царем Дмитрием» и войском гетмана Яна Сапеги не было согласия. Самозванец сделал слабую попытку уйти от обвинений в грабеже русских монастырей. 8 (18) июля Лжедмитрий II оставил свое войско, но на следующий день оно догнало его. В сапежинском войске происходили стремительные изменения. Побывав в деле, гусары и казаки снова вспомнили о старых долгах «царя Дмитрия» и 10 (20) июля 1610 года созвали войсковое собрание, чтобы обсудить, «как получить заслуженное». Им уже было хорошо известно о победах гетмана Станислава Жолкевского, поэтому сапежинцы опять предложили самозванцу начать договариваться с королем Сигизмундом III. План был составлен с солдатской прямолинейностью: «царик» бьет челом королю, король признает его вассалом и выделяет удел в Речи Посполитой. Если в Москве утверждается король Сигизмунд III, то войско получает свои деньги с доходов от удела «царика», если «москва» признает «царя Дмитрия», то он сумеет договориться с королем и расплатиться с сапежинцами. Что оставалось Лжедмитрию II? Он выдавал все новые и новые долговые обязательства и обещал вознаградить солдат сразу же по вступлении в Москву. В «Дневнике Яна Сапеги» записано, что 12 (22) июля гетман самозванческого войска отправил своих послов к гетману Станиславу Жолкевскому в Можайск. Они должны были договориться, чтобы королевские войска не «наступали» на те города, которые «вверили себя царю его милости» или были

«взяты силою» [370].

Гетман Станислав Жолкевский простоял в Можайске две недели. Это время он использовал для того, чтобы договориться с противниками царя Василия Шуйского в столице («не спал в делах его величества короля и Речи Посполитой», по его собственному выражению). Царь Василий Шуйский прибег в это время к последнему средству, «назвав» в Московское государство татар крымского царевича Баты-Гирея, чтобы те помогли воевать с королем и «чариком». Крымских царевичей встретили с почетом в Серпуховском уезде русские бояре князь Иван Михайлович Воротынский, князь Борис Михайлович Лыков и Артемий Васильевич Измайлов. Угорское войско самозванца, свернувшее от Боровска на Серпуховскую и Коломенскую дороги, действительно имело несколько стычек с татарскими отрядами. Один из боев на реке Наре в Боровском уезде, как свидетельствовал автор «Нового летописца», едва не закончился разгромом таборов «царя Дмитрия»: «И бывшу бою тут великому, едва Вор усиде в табарех». Однако не в правилах крымцев было воевать за чужие интересы: «Царевичи же поидоша опять за Оку, а сказаша, что изнел их голод, стоять не мочно. Бояре же отоидоша к Москве, едва снаряд (артиллерию. – В. К.) увезоша от воровских людей» [371]. 16 (26) июля 1610 года войско «царя Дмитрия» снова подошло к столице и, по свидетельству Иосифа Будило, встало «в селе Коломенском» (это подтверждается и современными русскими грамотами) [372]. По сведениям же королевских секретарей, под Смоленском самозванец стоял «на Коломенской дороге» [373], что, конечно, далеко не то же самое. «Новый летописец» писал, что сторонники Вора «ста у Николы на Угреше», то есть в Николо-Угрешском монастыре. Здесь обосновалась с женщинами своей свиты и пришедшая из Калуги «царица» Марина Мнишек.

Новое появление под Москвой полков самозванца подвело черту под царствованием Василия Шуйского. Начав свое правление с переворота в Москве и убийства Лжедмитрия I, Шуйский никак не мог отделаться от «призрака», прикрывавшегося именем мнимого сына Ивана Грозного. За четыре года и два месяца, в течение которых кто только не успел вмешаться в московские дела, стало очевидно, что царю Василию Шуйскому не удается справиться с царским венцом. Так поспешно и самовольно надетую им царскую корону сменил навязанный бывшему царю его противниками монашеский клобук. Выражаясь языком русских летописцев, «на царя Василья пришло мнение великое»: народная молва пересилила легитимность царских клятв в 1606 году, с тех пор неоднократно нарушенных. Точно так

же и остававшиеся в столице подданные царя Василия Шуйского стали считать себя свободными от своих крестоцеловальных записей.

Сведение с престола царя Василия Шуйского было еще и отчаянной попыткой противостоять претензиям бывшего Тушинского вора на престол. Нет сомнений, что главную роль в этом событии играл боярин Василий Васильевич Голицын, при поддержке которого действовали рязанские дворяне братья Прокофий и Захар Ляпуновы. Прокофий Ляпунов давно и открыто призывал к свержению царя Василия, направляя грамоты с царским «именованьем» еще боярину князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому. Захар Ляпунов вместе с ярославским дворянином Федором Хомутовым первым начал дело со свержением царя Василия Шуйского, выйдя на Лобное место. Оттуда, как всего пять лет назад при подходе к Москве войска первого самозванца, прозвучал призыв к москвичам сменить царя. Поднимавшие «мир» дворяне мостили дорогу на царство боярину князю Василию Васильевичу Голицыну. Но они забыли, что этот Гедиминович был не единственным претендентом [374].

Обстоятельства свержения и насильственного пострижения царя Василия Шуйского известны из «Нового летописца», автор которого не очень-то благоволил к мятежникам и называл их «ворами». К призыву Ляпунова и Хомутова «отставить царя Василья», по словам летописца, «приставша многие воры и вся Москва, и внидоша во град и бояр взяша и патриарха Ермогена насильством». Патриарх Гермоген, однако, отказался одобрить свержение царя Василия Шуйского. Бояре же, как видно, испугались за себя: «Немногие постояху за него и те тут же уклонишась». Бывшему государю пришлось пройти через «позор и лай». Его отвезли на «старый двор». Но и этого мятежникам показалось мало. Для того чтобы Василий Шуйский никогда не смог вернуться на трон, его решили постричь в монахи. На следующий день мятежные бояре и дворяне привели к нему «священников и дьяконов» кремлевского Чудова монастыря. Бывший царь уже не мог сопротивляться силе толпы, но тут неожи данно проявил недюжинное присутствие духа: «Он же противу вопросов на постригании ответу не даяше и глаголаше им: “несть моего желанья и обещанья к постриганию”». Положенные клятвы произнес вместо него другой человек, князь Василий Тюфякин. Патриарх Гермоген наотрез отказался признать законность пострига, совершенного помимо воли. По-прежнему он называл царя Василия Шуйского «мирским имянем, царем, а тово князь Василья (Тюфякина. – В. К) проклинаше и называше его иноком» [375].

Марина Мнишек, царица Московская. После 1606 г.

Царь Борис Федорович Годунов. Миниатюра из русской рукописи XVII в.

Царь Федор Борисович Годунов. Миниатюра из русской рукописи. XV II в.

Посольский двор в Москве. С гравюры XVII в.

Патриарх Игнатий. Портрет из «Титулярника» 1672 г.

Вознесенский монастырь. Фото конца XIX в.

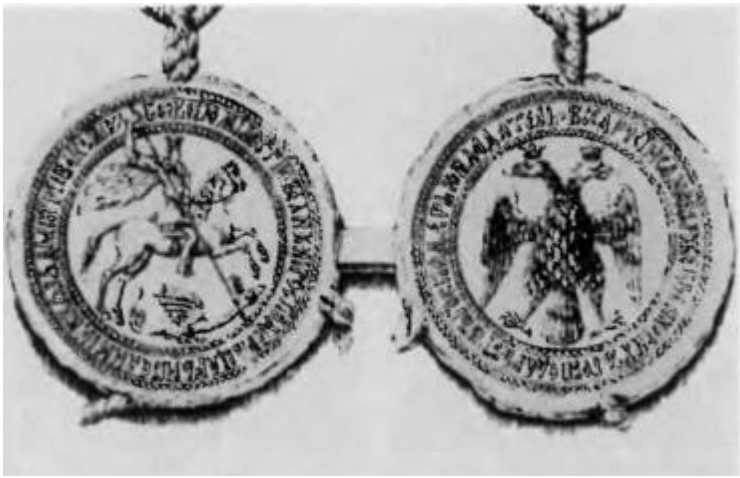
Чудов монастырь. Фото конца XIX в.

Лжедмитрий I. Польская гравюра. После 1606 г.

Медаль с изображением Лжедмитрия I. Москва, весна 1606 г.

Никольские ворота Китай-города.

Венчание Марины Мнишек в Кремле. Картина из Вишневецкого замка Фрагмент.



Малая («кормленная») печать Лжедмитрия.

Венчание Марины Мнишек в Кремле. Картина из Вишневецкого замка. Фрагмент.

Патриарх Гермоген. Портрет из «Титулярника» 1672 г.

Царь Василий Иванович Шуйский. Портрет из «Титулярника» 1672 г.

Спасо-Преображенский собор в Ярославле. XVI век Фото автора.

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Парсуна XVII в.

Николо-Угрешский монастырь. Литография. XIX в.

Лжедмитрий II (Тушинский вор). Польская гравюра конца XVII в.

Полнись и печать Лжедмитрия II на грамоте от 12 апреля 1609 года.

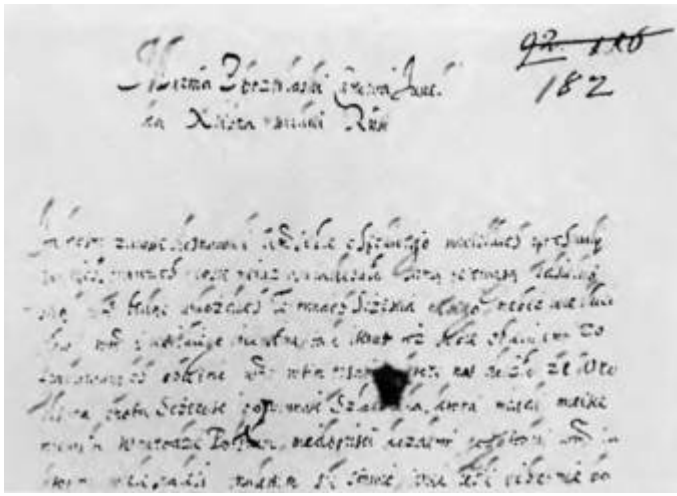
«Второе венчание» Марины Мнишек в Тушинском лагере. Картина из Вишневецкого замка. Атрибуция автора.

Гетман Ям Петр Сапега.

Осада Москвы В 1606 году. Фрагмент карты Исаака Массы. Около 1607 г.

«Царь Дмитрий Иванович», Марина с сыном Иваном на руках и Юрий Мнишек. Польская гравюра. Начало XIX в.

Так называемое «Знамя Сапеги». Начало XVII в.



Письмо Марины Мнишек Я. П. Сапеге. 1611) г. Библиотека Академии наук в Кракове Фрагмент.

Литовский гетман Ян Кард Ходкевич.

Коронный гетман Станислав Жолкевский.

Марина Мнишек возбуждает калужан к мести за смерть Тушинского вора. А. Шарлемань.

«Башня Марины Мнишек» в Коломне. Гравюра XIX в.

Михайловская приказная изба. XVII в. Фото автора.

«Маринкина башня». Коломна. Фото автора.

Информированный автор «Нового летописца» со временем мог внести многие детали, отсутствовавшие в современных источниках. И наоборот, окружные (рассылавшиеся во все города) грамоты и записи разрядов о сведении с престола царя Василия Шуйского позволяют оценить, что потом «забылось» в этой истории. А «забылось» как раз то, что в такие минуты никому доказывать не надо. В 1610 году всем была очевидна неспособность царя Василия Шуйского успокоить страну.

Оказывается, с призывом оставить трон к царю Василию Шуйскому обращались все, в том числе и патриарх Гермоген с Освященным собором, и Боярская дума со служилыми и посадскими людьми. В своей челобитной, обращенной к царю Василию Шуйскому, они писали, «штоб он государство отставил, а при ево государстве смуте не престать и крови крестьянской не унятца, во всех городех всякие люди ему загрубили и служить не хотят» [376]. В окружных грамотах лаконично упоминались лишь основные события – прежде всего оставление царского престола Василием Шуйским 17 июля 1610 года «по челобитью всех людей», указывавших ему на неутихающую «межусобную брань». О Шуйском говорилось скупо: царь «съехал на свой на старой двор и ныне в чернцех». Уже через три дня после этих событий была сформулирована главная идея общей борьбы против Лжедмитрия II: «Что нам всем против воров стояти всем государьством заодно и вора на государьство не хотети». Все города и люди Московского государства призывались быть «в соединенье», «чтоб наша православная крестьянская вера не разорилась, и матери бы наши и жены и дети в латынской вере не были» [377].

Накануне сведения царя Василия Шуйского с престола бояре еще пытались договориться со сторонниками бывшего тушинского «царика». В «Новом летописце» сообщается: «Начаша съезжатися с воровскими полками уговариватца, чтоб они отстали от Тушинсково: "а мы де все отстанем от Московского от царя Василья". Тушинские ж воры лестию им сказаша, что отстанем, а выберем сопча государя». Автор летописи приводил это известие для того, чтобы осудить «изменников» царя Василия, вздумавших договариваться с обманщиками. Начавшие «владети» в столице бояре стали «посылать к тушинским, чтобы оне Тушинсково вора своего поимали: “а мы де уж царя Василья с царства ссадили”». Однако бывшие тушинцы только поглумились над неразумием бояр: «И те посмеяшеся московским людем и позоряху их и глаголаху им: “что вы не помните государева крестново целования; царя своего с царства ссадили; а нам де за своево помереть”» [378].

Но сторонники калужского «царя» недолго были единственной стороной, с кем пытались договориться в Москве. Уже 24 июля (3 августа) под столицу из Можайска подошел гетман Станислав Жолкевский, извещенный о сведении царя Василия Шуйского с престола. В свою очередь, коронный гетман послал донесение об этом королю Сигизмунду III под Смоленск. Жолкевский тоже подтверждал, что в Москве «все поклялись не принимать на царство вора, называющего себя Димитрием, а

напротив биться с ним». Действительно, в крестоцеловальную запись боярскому правительству во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским были включены слова: «Вора, кто называется царевичем Дмитреем, на московское государство не хотети» [379].

Лагерь гетмана был «на Хорошевских лугах на Москве реке», или «в миле» от столицы «против Нехорошева», как переиначил название этого места Иосиф Будило. Очень показательно, что согласно донесению самого гетмана Станислава Жолкевского жители столицы приняли сначала его войско за сторонников Вора и открыли стрельбу. Но как только недоразумение выяснилось, началось братание «русской стражи» и тех «бояр», которые находились с гетманом после присяги под Царевом Займищем («и начали с теми русскими разговаривать, здороваясь и со слезами обнимая друг друга»).

Если поначалу, договариваясь с московскими боярами, тушинцы «рыли яму» царю Василию Шуйскому, то теперь они попали в нее сами. Гетман Жолкевский становился главным арбитром во всех спорах: и между королем и боярами, и между боярами и самозванцем. Боярская дума во главе с боярином князем Федором Ивановичем Мстиславским призывала гетмана к переговорам «о хорошем деле» и просила его помочь в борьбе с Вором или хотя бы не препятствовать ей в этом. Войско «воровского» гетмана Яна Сапеги тоже обратилось к Станиславу Жолкевскому с предложением не воевать друг с другом и просило разрешения на пропуск послов под Смоленск. Жолкевский сделал все, чтобы использовать новую ситуацию и заключить с боярским правительством договор о призвании королевича Владислава на русский престол. Но лучше всех согласию московских бояр помогало присутствие войска самозванца. Правда, плодами его побед должен был воспользоваться сильнейший, то есть «король его милость». Подойдя к Москве, гетман Жолкевский пообещал «уничтожить самозванца, если бы он осмелился оспоривать у короля счастие» [380].

Выбор у московских бояр был не велик. Они могли договариваться либо с гетманом Станиславом Жолкевским о призвании на русский престол королевича Владислава, либо с гетманом Яном Сапегой о «царе Дмитрии». Только за двумя этими кандидатурами была в тот момент сила, зримо представленная войском, стоявшим под Москвой. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. Никто не хотел «изменять родине». Но границы внутренней междоусобицы были очерчены вполне ясно.

В Московском государстве столкнулись интересы богатых и бедных, тех, у кого была власть правительства, и тех, у кого была

сила толпы. О существовавшем в то время выборе хорошее представление дает фраза, сохраненная современником: «Лучше королевичу служить, чем от своих холопов побитым быти». Бояре на начавшихся переговорах с гетманом говорили, «что когда они будут иметь государем королевича Владислава, то им возвратятся золотые времена». Вопрос о крещении королевича в православную веру казался им тогда легко преодолимым, «несущественным недоразумением». Напротив, «царю Дмитрию», демонстрировавшему независимость от иноземцев, явно симпатизировал московский плебс. Но время для нового восстания против поляков и литовцев еще не пришло.

Как уже говорилось, «царица» Марина Мнишек тоже перебралась из Калуги поближе к столице. По-видимому, ей казалось, что судьба дает еще один шанс и возможность триумфально въехать в Москву. Но этого не произошло, несмотря на то, что «царик» был готов в тот момент договариваться с кем угодно и обещать что угодно. 23 июля (2 августа), согласно записи в «Дневнике Яна Сапеги», было созвано «коло генеральное», на котором были избраны послы, чтобы известить короля Сигизмунда III о готовности «царя» к «дружбе» и «союзу» [381]. 24 июля (3 августа) послы от войска уже отправились в королевские обозы. Они везли с собой лист с беспрецедентными предложениями Лжедмитрия II. В этот момент он был готов поступиться всем. Только в обмен на то, что король Сигизмунд III не будет препятствовать сдаче «царю» столицы, самозванец обещал заплатить огромную контрибуцию: «в течение 10 лет давать ежегодно в казну Речи Посполитой 300 000 рублей, королю на стол 10 000». Кроме того, «царь Дмитрий» «обещает заключить с ним (с королем. – В. К.) вечный мир, снесшись с королем уничтожить татар, обещает на свои средства добыть снова и передать королю Швецию и против всякого неприятеля Польского королевства и Великого княжества Литовского давать помощь» [382]. Чтобы сохранить лицо, Лжедмитрий II попытался поставить и свои «условия» королю: о необходимости взаимной помощи, решении судьбы Северской земли путем переговоров сенаторов и думных бояр. Он спешил присягнуть на своих обещаниях – так нужно было «царю Дмитрию», чтобы король не мешал его планам захвата Москвы.

Главная надежда самозванца была на действия его войска под Москвой. Пока гетман Станислав Жолкевский проводил время в «поле» с московскими боярами на переговорах относительно условий призвания королевича Владислава, «царь Дмитрий» силой пытался добыть столицу. В лагере под Смоленском было известно о частых стычках «между войском самозванца и

жителями города». 1 (11) августа в одном из таких боев под Симоновым монастырем ранили гетмана самозванца Яна Сапегу. Тогда «царь Дмитрий» на следующий день 2 (12) августа предпринял попытку решительного штурма столицы. О планах самозванца мы узнаем от служившего у него в войске полковника Иосифа Будило: «Царь, желая ворваться в Москву или зажечь ее, разделил войско на две части, и с одной частью, в которой были и русские, пошел в тыл русским, бывшим в Москве, и стал обходить Москву на далеком расстоянии до Троицкой дороги, чтобы в Москве не заметили его движения». Полку Иосифа Будило была поставлена задача подойти к Серпуховским воротам и поднять там тревогу, «чтобы тем легче можно сделать приступ тому войску, которое было с царем». Но операция не удалась до конца, так как «царик» со своей частью войска не успел завершить маневр под покровом ночи, а подошел к городским стенам, «когда уже совсем рассвело» [383]. Самозванец успел зажечь посад, но неожиданно исполнению его замыслов воспрепятствовали приехавшие из войска гетмана Станислава Жолкевского отряды под командой воеводы Ивана Михайловича Салтыкова (сына того самого боярина Михаила Глебовича Салтыкова, который был в первом посольстве от русских тушинцев к королю Сигизмунду III).

Неожиданный маневр, предпринятый на свой страх и риск воеводой Иваном Салтыковым, лишил «царя Дмитрия» почти состоявшейся победы. Этот маневр оказался очень на руку гетману Станиславу Жолкевскому. И в Москве, и в войске «царика» были уверены, что все совершилось по гетманскому приказу. Королю Сигизмунду III доносили, что московские бояре «были этим весьма довольны и торжественно благодарили гетмана за помощь, и он этим снискал великую расположенность к королю и бояр, и простого народа». Гетману оставалось не разубеждать тех, кто изливал ему свою горячую благодарность. Иначе повели себя обиженные сторонники самозванца, снова пославшие к Станиславу Жолкевскому своих послов. Инструкция послам выражала скорее недоумение «войска его величества царя», чем резкое недовольство. Польские наемники «царя Дмитрия» продолжали настаивать на том, что они воюют здесь за славу короля и Речи Посполитой. В качестве аргументов в «полезности» своих действий они предъявляли «разрушение довольно сильных и вооруженных крепостей и городков», а также победы над татарами («уничтожен также довольно быстрый и осторожный неприятель – татары»). Посылка же гетманом «против нас, на помощь Москве, Салтыкова с русскими» подрывала доверие войска к «расположенности» Станислава

Жолкевского. Вспомнили послы и о Марине Мнишек: «Мы не можем бросить царя и царицу и отойти от них, разве они сами дозволят нам это» [384]. Однако все это было не более чем риторическим оборотом. Из дальнейшего текста инструкции послам становится понятно, что войско заботило только одно: чтобы при любом исходе событий, независимо от того, кому бояре отдадут столицу, гетман письменно подтвердил, что признает их заслуги. Коронного гетмана Станислава Жолкевского просили впредь согласовывать свои действия с гетманом Яном Сапегой.

Отвечая «царскому войску», Станислав Жолкевский полностью признал заслуги воинства, отказался от того, что помогал «москве», когда «царское войско» подступало к столице, более того, извинился за действия Ивана Салтыкова и даже заявил о том, что в другое время готов был бы наказать его. Ответ гетмана был составлен умно и дипломатично, потому что в нем больше говорилось о будущих, чем о текущих делах: «Слава войска не мало зависит также от положения дел царя». Гетман отвечал на те вопросы, ответы на которые от него больше всего ждали. Но это был не конкретный план действий, а скорее демонстрация намерений, в зависимости от того, что решат бояре (как будто они в этот момент ни о чем не договаривались с гетманом Жолкевским): «Если бы столица вскоре сдалась королевскому величеству, то король даст обеспечение его царскому величеству, а если столица сдастся царю, то гетман полагает, что король удовольствуется условиями, посланными к нему царем» [385]. В последней фразе речь шла об обещании «царика» завоевывать Швецию для Сигизмунда III.

Обращает на себя внимание еще один пункт гетманского ответа, показывающий, что могло ждать Московское государство, если бы оно снова стало искать претендента на престол среди русских бояр: «О продолжении этой борьбы, если бы столица стала отбиваться в осаде от обоих государей, гетман королевства желает сноситься с г. гетманом его царского величества». Да, далеко смотрел гетман Станислав Жолкевский, но пока такое развитие событий казалось маловероятным. Посланцы царского войска уехали обнадеженные коронным гетманом, чтобы продолжать войну под столицей.

17 (27) августа 1610 года московские бояре сделали окончательный выбор и присягнули королевичу Владиславу. Сложность состояла в том, что гетман Станислав Жолкевский, находясь под Москвой, действовал в соответствии со складывавшейся ситуацией и не успевал получить одобрение на каждый свой шаг. Так случилось и с кандидатурой королевича Владислава на русский престол. Гетману и боярам это казалось

самым приемлемым компромиссом в отношениях между Московским государством и Речью Посполитой. Они решали своим договором и взаимной присягой многие проблемы, но в будущем устройстве Московского государства, вопреки недавним обещаниям Станислава Жолкевского послам «царского войска», не было никакого места для «царя Дмитрия» и его жены Марины Мнишек. В записи 17 (27) августа, выданной гетманом Станиславом Жолкевским московским боярам, говорилось: «А про вора, что называется царевичем Дмитрем Ивановичем, мне гетману вместе з бояры думати и печаль мети, як бы того вора изымати или убити». В случае скорого убийства самозванца, названного не «царем», а всего лишь претендентом на имя «царевича» Дмитрия, гетман соглашался отвести свое войско от столицы к Можайску и там ждать результатов переговоров московских послов с королем Сигизмундом III. Если же Вор и дальше «против стольного города Москвы похочет якое воровство или насильство чынити», то гетман Станислав Жолкевский обещал «против того вора стояти и бится с ним, а пана Сапегу с польскими и литовскими людьми от того вора отвести». Обе стороны прекрасно понимали, что с одними русскими отрядами самозванец не представлял никакой серьезной угрозы. Договорились совместно преследовать Вора до самого конца: «Штоб крови хрестиянское больш[е] не розливал и земля бы в тишине зостала».

Марина Мнишек тоже удостоилась отдельного упоминания в этой записи. Коронный гетман собирался отвезти ее обратно в Польшу: «А Марыне Мнишковне, которая была за убитым рострыгою Гришком Отрепьевым и з нинешним вором по Московском господарьстве ходит, господаринею московскою не называтися, и смуты никоторое вперед в Московском господарьстве не делати» [386].

Гетман Станислав Жолкевский не замедлил выполнить обещание, данное в записи относительно войска «царика». Он сам в донесении королю под Смоленск считал это единственной оставшейся проблемой после заключения договора с московскими боярами: «Осталось затруднение только с самозванцем и его людьми» [387]. К удивлению гетмана Жолкевского, уговорить соотечественников «вверить себя милости и вниманию короля» оказалось еще сложнее, чем жителей Московского государства. Сразу после присяги московских бояр, 18 (28) августа, Станислав Жолкевский прислал к гетману Яну Сапеге своих послов с предложением привести «обманщика» к «единодушию» с королем, а еще лучше выдать его. Гетман, по записям его секретарей, в тот же день поехал к Марине Мнишек в Николо-Угрешский

монастырь. Был он там, по сведениям его секретарей, и 23 августа (2 сентября). Сапега выступал посредником между «царем», «царицей» и своим воинством, решившим на своем собрании никуда не отходить от столицы и не поддаваться ни на какие уговоры [388]. «Так как они оказались до того упорными, что никакие увещания не действовали на них», с раздражением писал Станислав Жолкевский, он решил перейти от обмена посольствами «к крайним мерам». Коронный гетман предпринял обходной ночной маневр в окрестностях Москвы: в ночь на 26 августа (5 сентября), «спешив войско и оставив повозки, он пошел на них и так скрыл свое намерение, что только в час после рассвета они увидели у своего лагеря в строю войско королевское, с которыми соединились со всеми своими силами и бояре из города». Войско «царя Дмитрия» оказалось, таким образом, перед выбором – принимать бой с объединенным войском короля и московских бояр или, подчинившись демонстрации силы, начать договариваться об условиях своей дальнейшей службы и о судьбе «царика».

Гетман Ян Сапега и его воинство выбрали последнее. Но далось это с большим трудом. Оба гетмана съехались в виду своих войск и, «приветствовав друг друга, сидя верхом, стали переговариваться». В этот момент с обеих сторон начались задоры, смельчаки гарцевали и перестреливались друг с другом. Поняв, что эти «психические атаки» никому не нужны, гетманы приказали отступить своим войскам и еще долго оставались одни и говорили, пока к ним не присоединились другие участники посольств. В неспешной беседе двух гетманов в виду своих войск решалась в том числе и судьба Марины Мнишек. Позицию польских наемников в войске самозванца гетман Станислав Жолкевский передавал в своем донесении королю следующим образом: «Сапега и депутаты настаивали, чтобы их не устраняли от заслуженной награды и чтобы их государь, из-за которого они подъяли столько трудов и которому на конфедерации принесли присягу, что не отступят от него, был удовлетворен от короля каким-нибудь значительным уделом». Жолкевский готов был согласиться на эти условия и ходатайствовал перед королем о том, чтобы приравнять сапежинцев в правах с бывшими тушинцами из полка Александра Зборовского, первыми ушедшими на службу к королю. В отношении «их повелителя» оба гетмана придумали просить короля «о наделении его Самбором или Гродно». Прощание Жолкевского и Сапеги было теплым: они разъехались каждый к своему войску, «учтиво простившись и обнявшись» [389].

Если войско одобрило эти договоренности, то «царь

Дмитрий» и Марина Мнишек восприняли случившееся как предательство – причем не только со стороны своего войска, но и со стороны короля Сигизмунда III. Оба они ответили надменным отказом на предложение участвовать в переговорах с королем. «Я предпочитаю служить у крестьянина и таким образом зарабатывать кусок хлеба, нежели принимать что-либо от его величества короля», – говорил самозванец. Знаменитый ответ Марины Мнишек был язвительнее и точнее попадал в цель. Ее, конечно, не могло не возмутить, что гетманы додумались фактически отнять право управления Самбором у ее отца Юрия Мнишка, по-прежнему носящего звание сандомирского воеводы и сенатора Речи Посполитой, и отдать его в удел «царю Дмитрию». Свой ответ королю она, по выражению Станислава Жолкевского, «пробормотала», но от того он не стал звучать приятнее для короля: «Пусть его величество король отдаст царю Краков, тогда царь отдаст его величеству королю Варшаву» [390]. А ведь когда-то в Кракове Сигизмунд III благословил Марину Мнишек на брак с царевичем Дмитрием. Но теперь уже поздно было думать об этикете и оттачивать красноречие. Лучше было подумать о спасении своих жизней.

Слова, переданные гетману, означали разрыв. «Царица» отказывалась и от короля, и от предавшего ее воинства, выбирая только мужа и «царя». Оставшись без польского войска, ушедшего на службу к королю, «царь» и «царица» решили бежать в Калугу. Сделали это опять тайно. Но, в отличие от бегства из Тушина, они покидали Николо-Угрешский монастырь не поодиночке, а вместе.

По сведениям гетмана Станислава Жолкевского, «царь Дмитрий» прибегнул к хитрости. Он «притворно» согласился со сделанными предложениями, «но думал другое и приготовлял все нужное к побегу». Не доверяя самозванцу и действуя вместе с московскими боярами, гетман попытался захватить «царя» и «царицу» в стенах монастыря. 27 августа (6 сентября), «в час после заката», королевское войско двинулось от места переговоров с гетманом Сапегой к монастырю. Надо было пройти три мили (пятнадцать километров) по «Николаевской дороге». Пока гетман обсуждал со своими русскими советниками план будущего штурма монастырских стен, прибыл перебежчик и донес, что «самозванец, предуведомленный одним русским, бежал, посадив на лошадей свою государыню и других женщин» [391]. Автор «Дневника Яна Сапеги» также подтверждает, что самозванец «утек с царицей ее милостью и всем двором» из Николо-Угрешского монастыря «в ночь» на 6 сентября [392]. Преследовать его казалось поздно, да и не нужно. Ведь главные силы «царика» наконец-то были оторваны от него, причем не

только польско-литовские, но и часть русских. Иосиф Будило записал: «Из бывших при нем русских более знатные присоединились к москвичам, а казачество и меньшие бояре пошли за царем к Калуге. Им дана воля идти. Второй уже раз царь этот бежит от войска» [393]. Но, внимание! Среди безлично упомянутых здесь казаков находился их предводитель – Иван Мартынович Заруцкий. Он, в отличие от других, успел побывать в королевских обозах под Смоленском в мае 1610 года и даже был представлен королю Сигизмунду III. Но предпочел вернуться от короля на службу к «царю Дмитрию». Это был знак того, что не все потеряно.

Так свершился еще один поворот в судьбе Марины Мнишек. Вот только чувствовала ли она, что это поворот в сторону ее трагичного конца?

Окончательного разрыва с гетманом Яном Сапегой все же не произошло. Войско Сапеги попросту удалили от столицы. Местом его пребывания назначили калужские города. Бывшие силы самозванца, двинувшиеся от столицы 17 (27) сентября, стали своеобразным «буфером» между «царем» в Калуге и королевскими обозами под Смоленском. С одной стороны, сапежинцы, расположившись в Мещовске, вели переговоры с королем об уплате «заслуженного». А с другой – их разрыв с «царем» оказался смягчен некоторыми встречными шагами из Калуги. Лжедмитрий II предлагал гетману возвратиться на службу. И Марина Мнишек делала все для того, чтобы заступиться за обвиненных в «измене» сапежинцев перед «царем». Об этом она лично сообщила гетману в большом письме, полученном им 28 сентября (8 октября) 1610 года. «Царица» благодарила его за прошлые благодеяния, но предостерегала от того, чтобы он слушал тех, кто все превратно толкует. (Намек на короля и гетмана Станислава Жолкевского?) Гетман Ян Сапега не оставил надежды еще повлиять на «царя» и «царицу» и «объявил, что если король ему поручит, то он будет стараться, если можно, мягкими средствами склонить того франта вверить себя милости короля, для каковой цели гетман послал в Калугу г. Валевского, которому поручил убеждать самозванца к этому». Валевский стал еще одним, последним гетманом «царя Дмитрия». Действуя по поручению Яна Сапеги, он мог олицетворять определенную преемственность в командовании немногими остававшимися при самозванце польскими наемниками [394].

Триумфальным завершением победоносной миссии коронного гетмана Станислава Жолкевского стала отправка посольства боярского правительства под Смоленск к королю для утверждения состоявшейся присяги королевичу Владиславу 12

(22) сентября 1610 года. За каких-нибудь три месяца гетман смог сделать в Московском государстве то, что не удавалось решить годами. В Москве были готовы признать соединение двух государств, делавшее излишней дальнейшую осаду Смоленска. Для чего она нужна, если в саму Москву русские люди добровольно впустили королевские войска, чтобы они и в дальнейшем помогали оборонять столицу от самозванца? Сторонники калужского Вора были окружены со всех сторон лояльными королю войсками. Оставалось только уговорить Лжедмитрия и Марину Мнишек удовольствоваться каким-нибудь уделом в Польше. Подданные Речи Посполитой, годами воевавшие на стороне самозванцев, стали союзниками Сигизмунда III. Слишком хорошо, чтобы было похоже на правду.

Обеим сторонам нужно было еще хорошо поработать над деталями договора, чтобы закрепить этот, замаячивший в будущем мир. Еще во время переговоров под Москвой Жолкевский на ряд обсуждавшихся статей честно заявлял, что ему о том «от короля науки нет». Собственно, ради заключения мира и должно было отправиться посольство боярина князя Василия Васильевича Голицына и митрополита Филарета к королю под Смоленск. Впрочем, гетман имел еще один резон снарядить столь великолепное посольство к королю. Позднее он ставил себе в заслугу, что ему удалось «выманить» из Москвы обоих «соперников» королевича Владислава.

Условия призвания королевича Владислава на русский престол, которые собирались обсуждать с королем Сигизмундом III московские послы, во многом были продиктованы желанием избежать ошибок предшествующих лет Смуты. Особенно боялось боярское правительство повторения неудачных опытов «Ростриги», открывшего подданным Речи Посполитой свободную дорогу в Московское государство и укрепившего этот союз брачными узами с Мариной Мнишек. Поэтому во все договоренности включали условие крещения королевича Владислава «в нашу православную хрестьянскую веру греческаго закона». В наказе, выданном послам, отправлявшимся под Смоленск, пошли еще дальше и предложили договориться о том, чтобы отступников из числа жителей Московского государства, которые «похотят своим малоумием от греческие веры отступити к римской вере, и государю королевичю Владиславу Жигимонтовичю поволити бояром и всей земле таких казнити смертью». Не могла быть забыта и роль воеводы Юрия Мнишка. Желая сразу же установить пределы влияния панов-рад на московские дела, бояре требовали от пятнадцатилетнего королевича, когда «приспеет время» ему «женитися», чтобы он

вступал в брак «изобрав в Московском государстве православные хрестиянские греческие веры». Предвидя возражение панов-рад «о королевичеве женитве», в наказе боярину князю Василию Васильевичу Голицыну написали: «Только он, государь, женитца, изобрав в Московском государстве, и ему, государю, то будет ко всякому добру, и всем людем Московского государства о том будет радостно; а только ему, государю, женитися в ыном государстве и не из греческие веры, и то будет Московского государства людем сумнительно для крестьянские веры» [395]. Так спустя несколько лет «откликнулась» свадьба царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек, заставившая изменить взгляды московских жителей на браки своих государей с иноземными подданными другой веры.

В случае возникновения на переговорах с панами-радой вопроса «о заплате найму на тех польских и литовских людей, которые были с вором», московские послы не должны были соглашаться на выдачу денег. Наемникам пришла пора отвечать за свои «подвиги», яркий перечень которых был приведен в наказе боярину князю Василию Васильевичу Голицыну: «Сами то можете разсудити – за то ли тем людям наем давати, что они без королевского повеленья и без рады Речи Посполитые пристали к вору и кровь крестьянскую многую пролили, и Московское государство разорили, многие городы и места повоевали и пограбили, и монастыри великие обители выграбили, и раки чюдотворные золотые и серебряные поимали, и оклады от образов золотые и серебряные, и сосуды церковные и казны монастырьские, от многих лет собраные, розграбили и до конца святые места разорили? Такое зло починили, сложася с воры, чего в Росийском государстве искони не бывало. Да сверх того имали они же наем на воре, збирая с Московского государства з городов». Более того, ко времени отправки посольства к королю уже накопились новые случаи бесчинств польских и литовских наемников, оставшихся с гетманом Яном Сапегой: «Да и ныне те польские и литовские люди, которые были с вором, мимо гетманское утверженье, Московского государства многие городы и монастыри разоряют и пустошат, и кровь крестьянскую проливают и в плен Московского государства людей ведут» [396].

Московские бояре то ли побоялись упомянуть, то ли еще не успели получить достаточного представления о начинавшемся хозяйственном терроре королевских людей, налагавших на города, присягнувшие королевичу Владиславу, непосильные контрибуции, напомнившие о тушинских временах. Более того, по прошествии двух лет режим Вора казался даже более щадящим, чем правление оставшегося в Москве «в гетманское место»

Александра Госевского. И так не все были довольны в государстве присягой иноземному королевичу, тем более что детали договора широко не обсуждались. Поэтому еще во времена стояния «царя Дмитрия» под Москвой к нему переходило немало городов, в том числе из Замосковного края, выступавших традиционно на стороне царя Василия Шуйского (например, Владимир и Суздаль). Чем сильнее из Москвы насаждался оккупационный режим фуражиров королевских отрядов, тем больше становилось сторонников у калужского «царя», у которого при всех прочих недостатках было главное преимущество – его «прирожденность» (мнимая, конечно).

Посольство боярина князя Василия Васильевича Голицына под Смоленском складывалось, однако, неудачно. Послам не удавалось добиться утверждения короля на пункты присяги гетмана Станислава Жолкевского. Чем дальше, тем более становилось очевидно, что у короля нет намерения выполнять условия договора, самовольно заключенного гетманом. Не помог и приезд коронного гетмана под Смоленск для личного участия в переговорах с боярами в ноябре 1610 года. Сигизмунд III открыто выражал недовольство его действиями, в результате чего гетман вообще отказался от дальнейшего участия в московских делах. Осада Смоленска, жителей которого польско-литовская сторона обвиняла в намерении перейти к Вору, также продолжалась. Таким образом, посольство боярина князя Василия Васильевича Голицына и митрополита Филарета сделалось бессмысленным, а сами послы превратились из гостей короля в его пленников.

Не были довольны королем и сапежинцы, пытавшиеся договариваться с Сигизмундом III все о том же, о «заслуженном». Вместо денег они получали нравоучения, как, например, в ответе короля, привезенном в Мещовск послами «воинства» 5 декабря 1610 года: «Нужно остерегаться, как бы не вошел в обычай пример столь великой уплаты, которой не только Московская земля, но и великая, полная золота, восточная Индия не могла бы вынести». Ассекурация короля Сигизмунда III хотя и признавала право сапежинцев на возмещение издержек и убытков, но только «в этой стране», на престол которой король сам хотел сесть «с Божьей помощью». Если бы он в полгода после этого крайне гипотетического события не заплатил жалованья войску, тогда оно могло самостоятельно «удовлетворять свои нужды в Рязанской и Северской землях, до тех пор пока не получит полного удовлетворения». Чтобы поставить хоть какой-то предел алчности, король запрещал войску в этом случае «пустошить земли, выводить полону, разрушать церквей, раззорять деревень, мучать подданных» [397]. Надо ли лишний раз подчеркивать, что

все это как раз и происходило в несчастное для Московского государства время в конце 1610 года! Враги и грабители шли отовсюду: и из Москвы, и из-под Смоленска, и из Калуги, и из Мещовска. В самой Москве шел жадный дележ казны, чинов, должностей, поместий и вотчин. Еще царь Василий Шуйский начал «распродажу» золотых статуй апостолов в человеческий рост, изготовленных при Борисе Годунове. Они были переплавлены в золото, пошедшее на уплату «немецкого» наемного войска в Швеции. Набожным защитникам христианской веры из Речи Посполитой досталась в Москве главная статуя «Иисуса из чистого золота, весом, наверное, в тридцать тысяч червонных злотых». Вот что пишет Николай Мархоцкий: «Наши, обуреваемые жадностью, не пощадили и Господа Иисуса, хотя некоторые предлагали отослать его в целости в Краковский замковый костел – в дар на вечные времена. Но, получив Иисуса из московской казны, наши разрубили его на куски и поделили между собой» [398]. А ведь это был не какой-нибудь золотой индейский божок, к которому могли равнодушно отнестись испанские конквистадоры!

Калужский Вор имел основания вдвойне обижаться на своих иноземных сторонников. Конрад Буссов записал: «Димитрию был очень тягостен его позор, а именно то, что поляки вторично ему изменили, а его земляки, русские, ему налгали. Не ожидая больше ничего хорошего ни от тех, ни от других, он сказал себе: “Я должен набрать турок и татар, которые помогут мне вернуть мои наследные владения, иначе я ничего не добьюсь, а уже если я и тогда не получу эти владения, то так разорю и разрушу их, что они немногого будут стоить, и, пока я жив, я Россию в покое не оставлю”» [399].

В этой «речи» самозванца правда лишь то, что к татарской силе прибегали в самую последнюю минуту, как это было в начале лета 1610 года с царем Василием Шуйским, призвавшим на помощь крымских царевичей. Лжедмитрий II пытался укрепиться за счет служилых татар Ногайской орды, кочевавших рядом с Астраханью и приносивших «шерть» (присягу) московским царям. Конрад Буссов сообщает об отсылке самозванцем из Калуги в Астрахань Яна Кернозицкого. Впоследствии, когда Марина Мнишек в самом конце своей жизни окажется в астраханских степях, это сыграет свою роль. «Этот Иоанн, предтеча Дмитрия, – писал Буссов, – должен был проложить ему дорогу в Астрахань через широкие невозделанные степи, передать от него привет и большую милость астраханцам и сказать им, что он со своей царицей приедет к ним и будет держать свой двор у них по той причине, что Московитская и

Северская земли слишком опоганены нехристями». Также были сделаны приготовления на случай отхода самозванца в Воронеже.

Симптоматично и появление в калужском лагере самозванца касимовского царя Ураз-Мухаммеда (Магмета). Касимовские служилые татары во главе со своим царем еще в конце декабря 1608 года перешли на службу «царя Дмитрия». В Тушинском лагере на аудиенции у Дмитрия касимовский царь целовал руку самозванцу и обменялся с ним позолоченными саблями и ножами из чистого золота [400]. После распада Тушинского лагеря царь Ураз-Мухаммед отправился на службу к королю Сигизмунду III под Смоленск, но осенью 1610 года отпросился у гетмана Станислава Жолкевского и поехал в Калугу, где предусмотрительный самозванец давно, еще с тушинских времен, держал жен и детей членов своего «государева двора» [401]. Касимовский царь намеревался забрать у Лжедмитрия своего подросшего сына… Кто мог знать тогда, что эта поездка станет роковой и для него самого, и для Лжедмитрия II?!

Особенности калужского режима, по свидетельству Конрада Буссова, заключались в ненависти к иностранцам, к которым, вслед за немцами, добавились и поляки. Буквально сразу же после того, как «царь Дмитрий» вторично ушел в Калугу, он стал понуждать воевод верных ему городов оказывать сопротивление «литовским людям» гетмана Яна Сапеги, которые «были при нас», а «пошли в свою землю в Литву». Как только войско гетмана Яна Сапеги расположилось в окрестностях Мещовска, самозванец немедленно принял меры, чтобы не допустить сапежинцев в другие калужские города. 2 (12) октября 1610 года он писал в грамоте белевскому воеводе Федору Григорьевичу Желябужскому, чтобы «противу тех литовских людей, с посадцкими и уездными людми стоял крепко, и с ними бился, и над ними промышляли и поиск чинили», не давали им никаких кормов и сели «в осаду» [402].

Марина Мнишек снова выступила посредницей между самозванцем и гетманом. 28 ноября 1610 года «Марина, милостию Божией царица и великая княгиня всея Руси», обратилась с письмом к «любезно нам милому пану Яну Петру гетману московского войска, нам расположенному». Возможно, это был ответ на какое-то послание к ней Яна Сапеги. В письме Марины Мнишек не содержалось ничего, кроме учтивой похвалы действиям гетмана, но и это имело смысл после отказа сапежинцев поддерживать царя Дмитрия и угроз самозванца в их адрес. «Как мы всегда считали вашу милость охочим до больших и достойных похвалы дел, – писала Марина, – что не раз подтверждалось превосходством и храбростью вашей милости,

которые были всякий раз на счастье наше, достигнутое не без великой славы вашей милости и всего рыцарства, так и теперь обещаем себе в высказанных обещаниях в этом послании, которое до нас дошло, что врожденное достоинство, искренность и долг шляхетский, который всегда имеет место в народе польском, не допустит иного…» [403]

В свою очередь попытался привлечь на свою сторону калужан и король. Сигизмунд III обратился к духовенству, дворянам и детям боярским, казакам, черкасам «и всяким служывым и жылецким и посадцким людем» со своим универсалом 3 декабря 1610 года. Он призывал жителей Калуги не отступать от общей присяги Московского государства королевичу Владиславу и не служить Вору, который «православную греческую веру и церкви Божьи и манастыры мечом и огнем и всяким непригожым обычаем поругает, розоряет, пустошит и губит». Выставляя себя защитником православия, король грозился в случае неповиновения послать в Калугу свои войска: «И вас, яко недругов изменников наших, казнити велим» [404].

Ответом на рассылку таких грамот был только новый террор. Конрад Буссов писал, что в Калуге «почти каждое утро находили посреди рынка» от шести до двенадцати «мертвых поляков, убитых ночью» [405]. Это были дворяне, холопы и слуги, купцы, ехавшие с товаром, – все они находили мученическую смерть в Калуге, если попадались людям самозванца. Но известно, что сеющий бурю от нее и погибнет. Так случилось и с Вором. В конце ноября – начале декабря 1610 года «царь Дмитрий» приказал убить касимовского царя Ураз-Мухаммеда, так и не простив ему недавнего ухода на службу к польскому королю. Жена и дети убитого касимовского царя были отданы «за приставы». Это рассорило самозванца с крещеным ногайским князем Петром Урусовым. Тот якобы даже пытался неудачно отомстить сыну погибшего касимовского царя, который и донес Лжедмитрия) об отцовской измене. Князь Петр Урусов попал в тюрьму – правда, за убийство другого человека, – но был прощен «царем Дмитрием» по очередному заступничеству «царицы» Марины Мнишек. Об этом сообщается в «Дневнике» Иосифа Будило. Однако автор «Дневника» ошибочно пишет, что князь Петр Урусов сидел в тюрьме шесть недель – между тем с момента убийства касимовского царя до смерти самозванца прошло не более полумесяца [406].

Марина Мнишек не знала, за кого просила, как не знала и того, что все это обернется бедой для нее самой. 11 (21) декабря 1610 года «царь Дмитрий» выехал на охоту в сопровождении ближних бояр и ногайских татар. Там он и был убит князем

Петром Урусовым, который таким образом отомстил за пережитое им по воле самозванца унижение.

Сохранилось несколько свидетельств, позволяющих восстановить детали произошедшего и узнать, что происходило в это время с Мариной Мнишек. Самым непосредственным откликом стали расспросные речи бежавших от расправы из Калуги романовских татар Чорныша Екбеева и Яна Гурчеева 14 (24) декабря 1610 года. Они ехали к Москве, но, видимо, были перехвачены сторонниками гетмана Яна Сапеги, записавшими всего четыре дня спустя новости о том, что случилось с «царем»: «Выезжал вор из Колуги во вторник, декабря в 11 день, за острог гулять на поле к речке Ячейке, а с ним ездили гулять русские люди, да юртовские тотаровя». Дальше «выходцы» из Калуги рассказали о том, как свита самозванца прибежала «с поля в острог», после чего сразу же в городе распространились слухи о бегстве или гибели царя, «и учали говорить всем людем вслух: вор де побежал, а иные говорили, что вора убил юртовской тотарин». Началась тревога: «и на то смотря, зазвонили в сполошные колокола». Пока что калужский «мир» еще не раскололся и не начал искать виноватых. Сами ногайцы («юртовские» татары) бежали в город, чтобы сообщить о случившемся, после чего «дворяне и дети боярские, и посадцкие, и всякие люди, не поняв тому веры, ездили того воровского тела смотрить, а они Чорныш и Ян ездили с ними ж, и того вора видели они». Перед приехавшими на зимнее поле калужанами предстала картина расправы с самозванцем: «за речкою Ячейкою, на горке, у креста, лежит убит, голова отсечена прочь, да по правой руке сечен саблею». Князя Петра Урусова в это время уже не было под Калугой, поэтому казаки быстро решили отомстить другим ногайским татарам, тем более что они стояли в Калуге в отдельной слободе. Эта была и месть и грабеж одновременно. Теперь все зависело от того, как скоро бояре самозванца справятся с последствиями гибели своего вождя. В первый день казаки нападали еще не на всех татар, ведь Чорныш Екбеев и Ян Гурчеев задержались в Калуге как минимум до вечера среды 12 декабря. Они сообщали и про Марину Мнишек, которая оставалась на «царском» дворе: «А ворова жена при них была на воровском дворе, а где ныне про то не ведают». В Калуге, по их сведениям, остались князь Григорий Шаховской «и все лутчие воровские люди». Якобы «в середу» старый предводитель всех бунтовщиков и зачинатель дела Лжедмитрия II князь Шаховской говорил «миру, чтобы его отпустили из Колуги с повинною к Москве и ему не поверили». Мысль о бегстве была и у предводителя казаков Ивана Заруцкого: «В середу ввечеру, хотел

бежати из острогу Ивашко Зарутцкой, и его изымали миром, а из острогу не упустили» [407].

Неделю спустя после гибели «царя Дмитрия», 18 (28) декабря 1610 года, о случившемся под Калугой стало известно в королевском лагере. Именно запись в дневнике похода короля Сигизмунда III под Смоленск принято считать «канонической», хотя дата убийства Петром Урусовым Лжедмитрия II смещена в ней на один день – 12 (22) декабря. По сведениям королевского информатора, самозванец праздновал в этот день получение какого-то радостного известия из Пскова и поимку «немалого числа пахоликов из королевского войска, пойманных изгоном»: «После обеда он отправился верхом на прогулку, по направлению к столице…» Так начинается запись в дневнике, показывающая, что составитель донесения королю не очень знаком с калужской топографией в отличие от романовских татар Чорныша Екбеева и Яна Гурчеева, точно обозначивших место последней охоты «царя Дмитрия». Дальше описывается предсмертный лукуллов пир: «Самозванец приказал везти за ним двое саней, разных напитков, разного рода медов, водки, которыми он угощал в поле бояр и лучших татар, в особенности вышесказанного Урусова, потому что ему особенно посчастливилось во время того изгона». Как видим, составитель записи намеренно ведет к тому, что убийство самозваного «царя» произошло не без связи с захватом королевских пахоликов. «Самозванец был в поле в хорошем расположении духа. Подле его саней пускали зайцев, травили их, напивались. Урусов задумал со своими единомышленниками иного рода охоту, именно заговор. Среди этого шума он прежде всего направил несколько десятков татар на русских бояр, а сам с другими кинулся на государя, они схватили лошадей и возницу и убили самозванца, сидевшего в санях. Прежде всего один, пролетая на коне, отрубил ему левое плечо вместе с рукой, потом другие, соскочив с коней, страшно изрубили его и сейчас же сорвали с него одежду. Они изрубили немало и русских… Тело убитого лежало в санях в поле, пока за ним не приехали из города». В донесении шла речь и о Марине Мнишек: «Когда об этом известили государыню, то она выбежала из крепости в самый город навстречу покойному, с которого татары сорвали даже рубашку, рвала на себе волосы и вопияла, чтобы и ее также убили, что она не хочет жить без своего друга. Затем ее и тело покойника ввели в крепость» [408].

При всей яркости и убедительности этого рассказа некоторые детали не позволяют полностью принять его на веру. Какой бы шок ни переживала Марина Мнишек, но «царице», всего через месяц после этого родившей сына, трудно было бы бежать из

крепости в город. Представить же ее появление на улицах Калуги в толпе простоволосой, по-бабьи орущей о своем горе – это не про русскую «царицу» и, тем более, не про дочь Мнишков и Тарло. Автор донесения многого не знает, в том числе и того, что в «царицыной» свите уже не оставалось поляков, они давно были заменены немцами. Но королю пишут: «Жена покойного и бывшие при ней поляки остались целы». Их защита приписана действиям «старшего воеводы» князя Григория Петровича Шаховского, больше думавшего в тот момент о собственном спасении. С другой стороны, Марину Мнишек сразу же взяли под охрану донские казаки, подчинявшиеся Ивану Заруцкому. В том же донесении королю сообщалось, что «только одни донцы, которых там 1500, заявили, что останутся при царице» [409]. Вообще кажется, что автор донесения королю вдохновлялся больше литературными образцами, нежели подлинными событиями.

Свой рассказ о событиях в Калуге оставил и Конрад Буссов. В «Московской хронике» он вспоминал и об убийстве Дмитрия, и о несчастной судьбе «царицы» Марины Мнишек, которой он явно симпатизировал после спасения ею «немцев» от расправы. Знает Буссов и о том, что Петр Урусов отрубил самозванцу голову (таков был своеобразный юмор разбойника, якобы крикнувшего в момент убийства самозванца: «Вот теперь я и возложил на тебя ту самую наследственную корону, которая тебе подобает!»), и о том, что «князья, бояре, казаки и местные жители отправились за город, осмотрели место охоты, нашли своего царя, разрубленного надвое и лежащего в одной только рубашке, положили его обратно в сани и отвезли в кремль к царице». Рассказ его, педантичный и точный в страшных деталях, вызывает особое доверие: «Там его (Дмитрия. – В. К.) чистенько вымыли, отнесли в зал, приложили голову снова к туловищу, и каждый, кто хотел, мог прийти и посмотреть на него. Через несколько дней он был похоронен по московитскому обряду в кремлевской церкви в Калуге».

Немецкий хронист единственный нашел слова сочувствия для Марины Мнишек: «Каким печальным и грустным днем этот день 11 декабря был для благочестивой царицы Марины Юрьевны, легко себе представить, так как оба ее супруга на протяжении всего только нескольких лет один за другим так плачевно были умерщвлены: Димитрий I – 17 мая 1606 года в Москве, а Димитрий II – здесь в Калуге 11 декабря 1610 года, когда она была на последних месяцах беременности. Вскоре после этого она родила сына, которого русские вельможи с ее дозволения и согласия взяли у нее и обещали воспитать его в тайне, чтобы он

не был убит преследователями, а если Бог дарует ему жизнь, стал бы в будущем государем на Руси. Ее же, царицу, в то время содержали и почитали по-царски» [410].

Автор донесения королю Сигизмунду III сообщил и о приходе 16 (26) декабря к Калуге гетмана Яна Сапеги «с половиною своего войска». В дневнике королевского похода записали, что гетман хотел «среди этого замешательства овладеть крепостию и городом на имя короля» [411]. Однако гораздо больше доверия вызывает дневник, который вели секретари самого Яна Сапеги. Известие о гибели «царя Дмитрия» дошло до гетмана в самый праздник католического Рождества Христова. Гетману пришлось бросить все рождественские трапезы и спешно выступить к Калуге, у стен которой он действительно оказался уже на следующий день, 16 (26) декабря, и сразу же обратился с посланием к «царице, боярам и миру». Несколько дней продолжалось «стояние» гетмана под стенами Калуги, пока там решали, что делать дальше. Авторы «Дневника Яна Сапеги» сохранили записи о подъезде к городу для переговоров полковников Иосифа Будило, Януша Тышкевича и самого гетмана. Но хотя переговоры продолжались в течение трех дней, 17-19 (27-29) декабря, ни о чем с калужанами договориться не удалось [412].

«Царица», что бы о ней ни говорили, не потеряла в тот момент самообладания и даже придумала, как известить гетмана Яна Сапегу о том, что происходит в Калуге. Она послала ему тайную записку, скрытую в свече. Записка эта содержала мольбу о помощи. «Освободите, освободите ради Бога! – взывала Марина к гетману. – Мне осталось жить всего две недели! Вы пользуетесь доброй славой: сделайте и это! Спасите меня, спасите! Бог будет вам вечной наградой» [413].

Марина не могла в этот момент повлиять на ситуацию в городе. Гетман же, получавший от нее точные известия о происходящем, принял решение об отходе 22 декабря (1 января). Это означало, что к тому времени калужане определились с дальнейшим выбором, а самой Марине перестала грозить явная опасность.

О том, как был совершен этот выбор, позже вспоминал полковник Иосиф Будило, бывший в те дни под Калугой. В течение трех дней калужане съезжались на переговоры с гетманом Сапегой и его посланниками. «На четвертый день, когда Сапега выслал депутатов на переговоры, калужане, устроив засаду, предательски напали на наших; до вчера происходили гарцы». В этот момент 20 (30) декабря некий «мужик», приехавший от «царицы», и принес свечу с запиской Марины

Мнишек. Иосиф Будило хорошо запомнил, что в последний день года, 21 (31) декабря, Калуга окончательно «не поддалась», а калужане сообщили в своем ответе: «Кому Москва поцелует крест, тому и мы поцелуем, если королевичу, то и мы – королевичу». Все, что сделал гетман Ян Сапега, «чтобы труды его не пропали даром», так это захватил другие калужские города. Его власть распространилась, кроме Мещовска, еще на Перемышль и Лихвин [414].

В декабре 1610 года фортуна еще раз сделала крутой поворот в судьбе Марины Мнишек. Оставшейся одной, ей в пору было бы отчаиваться, если бы не ожидание ребенка, появления которого на свет вместе с нею ждали и те, кто претендовал на наследство самозванца. Если бы родилась «царевна», то калужане, по всей вероятности, действительно остались бы верны сыну короля Сигизмунда III. Но уже в середине января 1611 года на свет появился «царевич», которого нарекли грозным именем Иван. И погоня за московским царством возобновилась с новой силой, на этот раз окончательно и бесповоротно увлекая Марину Мнишек в темные провалы вечности.

Глава восьмая «Маринкина башня»

Подводя итог Смуте, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын написал в своем знаменитом «Сказании»: «Царем же играху, яко детищем…» [415] О сыне Марины Мнишек и Тушинского вора – «царевиче» Иване Дмитриевиче – можно сказать, перефразируя эти слова: «Детищем же играху, яко царем…»

«Царевич» Иван Дмитриевич был крещен по православному обряду, что сразу же сняло условие, бывшее камнем преткновения в деле с присягой королевичу Владиславу. Но в династических делах сын даже очень отвечает за отца. На ребенка, не прожившего на свете и четырех лет, перешло отцовское прозвище. Для большинства тех, кто давно уже не поддерживал самозванцев, Марина Мнишек родила «Воренка».

Иначе думали только в Калуге, где разворачивались церемонии представления нового наследника престола. Марина Мнишек, попавшая сразу после гибели «царя Дмитрия» под охрану донцов, стала вместе со своим сыном их знаменем и надеждой на продолжение самостоятельного участия в государственных делах. Отныне имена казачьего предводителя Ивана Мартыновича Заруцкого и Марины Мнишек будут неразрывно связаны друг с другом.

В условиях Смуты лидерами не становятся просто так, но лишь пройдя жестокий отбор. Другое дело, что у предводителей могло быть как положительное, так и отрицательное обаяние. Автор «Пискаревского летописца» так рассказывал об Иване Заруцком, которого считал преступником: «Ивашко Заруцкой от простых людей родился на Москве от выежжего литвина худого. И много времени был в воровстве у литвы и у русских воров…» [416] Более благоприятный отзыв о Заруцком дал ротмистр Николай Мархоцкий: «Родом из Тарнополя, Заруцкий, будучи ребенком, был взят в орду. Там он и научился хорошо понимать татарский язык, а когда подрос, ушел к донским казакам и прятался у них много лет. С Дона, будучи среди казаков уже головой и человеком значительным, он вышел на службу к Дмитрию. К нам он был весьма склонен, пока под Смоленском его так жестоко не оттолкнули. Был он храбрым мужем, наружности красивой и статной» [417]. Говоря об отношении Ивана Заруцкого к полякам, Николай Мархоцкий вспоминает здесь о времени после распада Тушинского лагеря, когда Заруцкий ездил в королевские обозы под Смоленск и даже был представлен королю Сигизмунду III.

Станислав Жолкевский тоже вспоминал о происхождении

Заруцкого из Тарнополя и о его пребывании у татар. «В стане Тушинском, – писал гетман, – достаточно приметна была неусыпность его, ибо, при всегдашней нетрезвости князя Рожинского, он заведывал караулами, подкреплениями и собиранием известий». По сведениям гетмана, предводителя казаков удручало то, что во всем выказывается первенство не ему, бывшему с Жолкевским в Клушинском сражении, а молодому и более знатному Ивану Михайловичу Салтыкову [418]. Однажды изменив королю и уехав 7 августа 1610 года в Калугу, Иван Заруцкий уже ни на что не мог претендовать в Москве, где распоряжались королевские представители.

В Калуге в течение всего 1610 года шел процесс «русификации» власти, связанный с отторжением самозваного «царя» от польских наемников и их гетманов. Поэтому боярин Иван Заруцкий со своим изменившимся мнением о короле и поляках должен был прийтись ко двору.

Присяга «царевичу» Ивану Дмитриевичу, в православии которого не могло быть никакого сомнения, доводила эволюцию бывших русских тушинцев до логического конца. Но не менее важно, что эволюция совершалась и с Мариной Мнишек, позволившей крестить своего первенца не по католическому обряду. Вероятно, это было решено заранее, а не только после смерти «царя Дмитрия». В «Дневнике Яна Сапеги» отмечено известие о приезде от «царицы» из Калуги 18 (28) ноября ксендза Антония Любельчика, одного из львовских бернардинцев, и коморника Заклики [419]. Что заставило Марину Мнишек расстаться с католическим священником в такой ответственный в ее жизни момент? Боязнь за жизнь ксендза Антония? Или, может быть, разрыв с ним из-за споров о крещении будущего младенца? Автор «Нового летописца» завершил рассказ об убийстве Вора в Калуге тем, что «Сердомирсково дочь Маринка, которая была у Вора, родила сына Ивашка. Колужские ж люди все тому обрадовашесь, и называху ево царевичем, и крестиша ево честно» [420].

Биограф Марины Мнишек профессор Александр Гиршберг не удержался от того, чтобы не поспорить с теми, кто продолжал считать русскую «царицу» верной католичкой. Один из аргументов, помещенный, правда, в примечания к его книге и потому оставшийся неизвестным русскому читателю, знакомому с сокращенным переводом, как раз и был связан с тем, что «царица» сама отдала калужанам своего сына, чтобы те крестили его по своей вере [421].

В отчаянной «свечной» записке, отправленной 30 декабря 1610 года гетману Яну Сапеге, Марина Мнишек писала, что ей

«осталось жить всего две недели». Скорее всего, в этот момент она думала о том, что ее убьют сразу же после того, как появится на свет ее ребенок. По существовавшим тогда представлениям (о законах говорить не приходится), беременным преступницам, приговоренным к казни, разрешали родить ребенка, после чего мать сразу же казнили. Ожидала этой участи для себя и Марина. Но, возможно, все это было лишь следствием испуга и неопределенности, наступивших после смерти ее супруга.

Калужане, отказав гетману Сапеге, сделали свой выбор в пользу соединения с Москвой, присягнувшей королевичу. Из столицы приводить калужан к присяге был прислан один из знатных людей и последовательных сторонников польского короля боярин князь Юрий Никитич Трубецкой. Боярин самозванца Иван Заруцкий со своими донцами недаром хотел бежать из города в этот момент. Присяга королевичу Владиславу не сулила ему ничего хорошего. Поэтому, когда князь Юрий Никитич Трубецкой приехал выполнять свою миссию, калужский «мир» и бывшие сторонники «царя Дмитрия» раскололись. «Ко кресту приводим генваря с 3 числа», – писал в своей отписке боярин князь Юрий Никитич Трубецкой гетману Яну Сапеге в ответ на его запрос, для чего он пришел в Калугу с русскими людьми [422]. Гетману стало известно о присяге королевичу в Калуге 5(15) января. На следующий день, как записано в его «Дневнике», он получил лист калужского воеводы [423].

Появление на свет «царевича» Ивана Дмитриевича в середине января 1611 года подсказало Марине выход, а может быть, и вообще спасло ее. В Калуге наступило двоевластие. Во всяком случае, присяга королевичу затягивалась, чего не мог скрыть в своей отписке и боярин князь Юрий Никитич Трубецкой, писавший о крестном целовании не как о свершившемся, но как о продолжающемся деле, используя глагол настоящего времени – «крест целуют». На калужан оказывало давление присутствие рядом сапежинского войска, что создавало немало недоразумений между новым калужским воеводой боярином князем Юрием Никитичем Трубецким и гетманом Яном Сапегой. Калужане боялись, что сапежинцы захотят взять свои «заслуги» на их городе. Но гетман Сапега разубеждал их: «Мы люди волные, королю и королевичу не служим, стоим при своих заслугах, а на вас ни которого лиха не мыслим и заслуг своих на вас не просим, а кто будет на Московском государстве царем, тот нам и заслуги наши заплатит» [424].

Но еще в большей степени на ход событий повлияло начавшееся по инициативе патриарха Гермогена и думного дворянина Прокофия Петровича Ляпунова движение против

короля Сигизмунда III и польско-литовских людей, сидевших в столице. В Москве уже знали, что король не собирался выполнять условий, на которых присягнул гетман Станислав Жолкевский, а хотел сам сесть на царский престол [425]. Последние сомнения развеяла судьба послов под Смоленском, которые по сути превратились в пленников. Король возобновил штурм крепости. Боярская дума была подчинена главе гарнизона польско-литовских войск в Москве Александру Госевскому (тому самому бывшему послу, который сначала приезжал на свадьбу царя Дмитрия Ивановича и Марины Мнишек, а потом договаривался об отпуске домой сандомирского воеводы и его семьи). В Думе распоряжались те временщики из русских людей во главе с изменником «Михалкой» Салтыковым (боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым-Морозовым) и «торговым человеком» Федором Андроновым, которые успели вовремя «добить челом» на верность королю Сигизмунду III.

Хотя имена этих людей и остались в исторической памяти в одном позорном ряду изменников Московского государства, общего между потомком боярского рода и сыном торговца лаптями в Погорелом городище было только то, что они оба видели единственным возможным арбитром во всех делах короля и его сенаторов, в частности литовского канцлера Льва Сапегу, к которому обращались с письмами. Боярин Михаил Салтыков еще пытался соблюсти некую преемственность в деятельности Боярской думы, советуясь с ее главой, боярином князем Федором Ивановичем Мстиславским. Правда, посредничество свое в контактах с королем Сигизмундом III он оценил высоко, захватив вместе с сыном «царскую» по своим богатствам волость Вагу, до этого находившуюся и за Борисом Годуновым, и за князем Михаилом Скопиным-Шуйским. Таким образом были обозначены претензии Салтыковых на первенство в боярской среде, что сразу вызвало недовольство ими и отторжение от них других бояр. Успокаивая литовского канцлера Льва Сапегу, Михаил Салтыков достаточно цинично писал про возникшую по этому поводу «великую смуту и кручину»: «На Москве и не за то смута не будет».

«Торговый человек» Федор Андронов был еще более ненавистен москвичам тем, что, приехав от короля Сигизмунда III из-под Смоленска, просто-напросто захватил казну, прикрываясь данными ему поручениями. Относительно неплохо владевший польской речью (вероятно, из-за своих старых торговых контактов), он сполна использовал это преимущество и стал основным королевским советником в делах по управлению столицей. Федор (или Федька, как его чаще называли,

подчеркивая подлое происхождение) Андронов вольно распоряжался получаемыми доходами. Боярин Михаил Салтыков обвинял его в присвоении сибирской пушной казны – одного из основных источников пополнения казны. Кстати, казначей Андронов враждовал и лично с Иваном Заруцким и даже просил отдать ему земли в Зубцовском уезде, переданные ранее казачьему атаману [426].

Новая власть, стремившаяся управлять страной из-под Смоленска, плохо ориентировалась в московских порядках и стала раздавать «чины» не по породе людей. Особенно возмутил Боярскую думу случай с пожалованием королем в окольничие рязанского дворянина Ивана Ржевского. Николай Мархоцкий, присутствовавший на совете главы московского гарнизона Александра Госевского с Боярской думой, описал появление там новоиспеченного «окольничего» с королевским листом. От всей Думы решился выступить боярин Андрей Васильевич Голицын: «Господа поляки, кривду великую мы от вас терпим. Признали мы королевича государем, а вы его нам не даете и пишете к нам грамоты не его именем, а именем короля, раздавая дани и чины, что и теперь видеть можете. Люди низкого звания с нами, большими, поднимаются будто ровня. Или впредь так не делайте, или нас от крестного целованья освободите, и мы сами о себе помыслим» [427].

Подобные несправедливости, а также бесчинства поляков объединили как тех, кто когда-то был лоялен царю Василию Шуйскому, а потом свел его с трона, так и тех, кто воевал с ним на стороне «царя Дмитрия», не исключая обманутых сторонников призвания королевича Владислава. Даже гетман Сапега, которого уже 14 января 1611 года глава московской Боярской думы князь Федор Иванович Мстиславский известил о выступлении Прокофия Ляпунова, был готов, вопреки просьбам бояр и Александра Госевского, поддержать рязанского воеводу.

Путь к объединению всех антипольских сил открылся после смерти в Калуге «царя Дмитрия». Надо оценить тот внутренний поворот, который приходилось делать служилым людям. Бывшие «тушинцы» должны были теперь сражаться в одних полках со сторонниками свергнутого царя Василия Шуйского, забыв прежние политические счеты.

Но для превращения общего настроения протеста против польско-литовских сил в Московском государстве в народное движение требовались сильная идея и умелые вожди. Главной идеей, способной воодушевить массы, оставалась защита православной веры, и вполне естественно, что духовным вдохновителем так называемого Первого ополчения стал

патриарх Гермоген [428]. Условием же защиты православной веры оказывалось теперь избрание следующим царем непременно кого-либо «из своих прироженных бояр, кого всесилный предержитель Бог изволит и Пречистая Богородица». Так писал патриарх Гермоген. О его письмах в Великий Новгород, Псков, Казань, Нижний Новгород, Вологду, Ярославль, в северские города и в Рязань с призывом «съезжатися к Москве ратным воинским людем и стояти и промышляти единомышленно на литовских людей» упоминал в марте 1611 года игумен Соловецкого монастыря Антоний в листе, отправленном к шведскому королю Карлу IX. По словам игумена Антония, собравшиеся в поход на Москву люди «иных земель иноверцов никого не хотят» [429]. И позднее Авраамий Палицын назвал поднявшееся движение «соединением православных христиан», а князь Семен Шаховской писал, что «воинстии люди… придоша на неправедных римлян», то есть католиков [430].

Во главе движения встал думный дворянин и рязанский воевода Прокофий Петрович Ляпунов. Он оставил яркий след в истории Смуты, успев пройти путь от противника царя Василия Шуйского до его последовательного сторонника. Потом Ляпунов «здоровствовал» на царство князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, а после внезапной гибели молодого боярина и воеводы пытался организовать общее выступление врагов царя Василия Шуйского. Прокофий Ляпунов часто действовал под влиянием порыва, был искренен в проявлении своих симпатий и антипатий, что нередко приводило его к крайним решениям. Так, он не только присягнул королевичу Владиславу, но буквально завалил Москву рязанским хлебом, что должно было упрочить экономическое положение нового правительства. Ляпунов привел к повиновению королевичу Владиславу не только Переславль-Рязанский, но и другие рязанские города, в частности Пронск, державшийся стороны «царя Дмитрия» [431]. Тем сильнее было его отторжение от идеи призвания иноземного королевича, когда выяснилось, что московский гарнизон занят собственным обогащением и грабежами, а не успокоением государства. Главное же, оказалось, что вместо перешедшего в православие королевича (как думали, когда присягали Владиславу) в Московском государстве намеревается воцариться государь-католик Сигизмунд III. С гибелью калужского Вора наступил звездный час рязанского воеводы, увидевшего новую возможность объединения земских сил – но теперь уже не против слабого царя, каким был Шуйский, и не вокруг самозваного царя, каким был Дмитрий, но для защиты православия и избрания своего царя из «прироженных бояр».

В январе-феврале 1611 года была организована агитационная переписка между городами, центром которой стала Рязань. Отсюда от воеводы Прокофия Ляпунова шли горячие призывы к объединению в Нижний Новгород, Ярославль, Владимир и другие города. Далее эти письма расходились повсюду, достигая самых отдаленных городов и волостей Московского государства – Поморья, Вятки и Сибири. В поход на Москву звали всех, кто готов был выступить против короля Сигизмунда III и сидевшего в столице польско-литовского гарнизона. Даже войско гетмана Яна Сапеги, стоявшее в Перемышле, со второй половины января 1611 года тоже участвовало в переговорах (к Сапеге обращались со всех сторон – и из Москвы, и от короля Сигизмунда III) [432]. Прокофий Ляпунов послал к гетману Сапеге своего племянника, чтобы «такие великие люди» не остались «за хребтом» у войска, собиравшегося в поход на Москву. Однако все, что удалось тогда сделать рязанскому воеводе, так это добиться нейтралитета сапежинцев. Это очень помогло в переговорах по созданию Первого ополчения с бывшими «боярами» «царя Дмитрия» князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким в Калуге и Иваном Мартыновичем Заруцким в Туле. Вместе с главным воеводой ополчения Прокофием Ляпуновым они со временем составили своеобразный триумвират, управлявший земскими силами.

В Калуге в этот момент встретились двоюродные братья бояре Трубецкие, один из них – князь Юрий Никитич представлял столичную Боярскую думу и должен был привести город к присяге королевичу Владиславу, другой – князь Дмитрий Тимофеевич стоял во главе бывшей «воровской» Думы и не определившихся русских сторонников самозванца. Боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой в итоге вынудил своего братца бежать из города «к Москве» и встал во главе объединенных калужских сил.

Казачий предводитель Иван Мартынович Заруцкий ушел со своими донцами в Тулу тогда, когда в Калуге еще не сделали окончательного выбора, кому присягать после смерти «царя Дмитрия». Раскол в войске самозванца привел к тому, что сторонникам королевича Владислава и сына Марины Мнишек было опасно находиться рядом. Скорее всего, Заруцкий и намеревался избежать возможных конфликтов. Если верно, что Марина Мнишек с сыном находилась под охраной казаков, то она тоже должна была уехать из присягавшей королевичу Владиславу Калуги в Тулу. А. Гиршберг ссылался на некое известие, полученное в королевском лагере под Смоленском, что прибыл тогда «Ляпунов с несколькими сотнями человек в Калугу и взял к себе этого царевича (сына Марины. – В. К.)» [433]. Однако русские

источники ни о чем подобном не сообщают, хотя они едва ли могли пройти мимо такого примечательного события, как личные переговоры будущих руководителей земского ополчения Прокофия Ляпунова и князя Дмитрия Трубецкого. Кроме того, возникают вопросы: почему Прокофий Ляпунов не оставил «царевича» Ивана в Переславле-Рязанском и как могла Марина Мнишек расстаться с сыном? Почему казаки, под охраной которых находилась «царица», согласились на это? Кажется, нет оснований говорить, что Марина Мнишек и «царевич» Иван стали пленниками. Казаки, поддерживавшие кандидатуру «царевича» Ивана Дмитриевича, должны были выказывать уважение и по отношению к «царице». Правда, вряд ли это было именно то, чего хотела сама Марина Мнишек, мечтавшая о воцарении в Москве. Но она, захваченная новыми материнскими чувствами, могла на это просто не обращать внимания.

Первоначальный сбор сил, шедших на Москву из Рязани с Прокофием Ляпуновым, был назначен в Коломне. Боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой из Калуги и Иван Заруцкий из Тулы должны были сначала идти на Серпухов, а оттуда – на Москву. Но из «Нового летописца» известно, что Марина Мнишек оказалась в Коломне. Об этом же писал и автор «Пискаревского летописца»: «И она с малым пожила немного в Колуге, и перевели ея на Коломну воевода князь Дмитрей Трубецкой, да Ивашка Заруцкой, да Прокопей Ляпунов, по казачему воровскому умышленью» [434].

Когда и почему Марина Мнишек попала в Коломну?

Для коалиции, собравшейся под знамена Первого ополчения, еще не пришло время определяться, «за кого» они.

Пока что было достаточно знать, «против кого» они выступают. Главный вопрос об избрании царя, последний раз неудачно разрешенный во время летнего кризиса 1610 года, даже не поднимался. В крестоцеловальной записи, текст которой был принят ополченцами, говорилось следующее: «Яз имярек целую сей святый и животворящий крест Господень на том, что нам за православную християнскую веру и за Московское государьство стояти и от Московского государьства не отстати, а королю и королевичу полскому и литовскому креста не целовати, и не служити и не прямити ни в чем никоторыми делы, и с городы нам за Московское государьство на полских и на литовских людей стояти за-один» [435]. О кандидатуре сына Марины Мнишек в качестве претендента на русский престол в записи не упоминалось. Если он и мог рассматриваться как будущий «царь», то разве что казаками Заруцкого, под охраной которых находились бывшая тушинская «царица» и ее сын.

По сведениям «Пискаревского летописца», Коломна стала неким удельным центром Марины Мнишек, для чего был создан царицын двор, в состав которого вошли даже русские боярыни: «А была за нею Коломна вся, а чины у ней были царьския все: бояре, и дворяне, и дети боярские, и стольники, чашники и ключники, и всякие дворовые люди. А писалася царицею ко всем бояром и воеводам. А боярыни у нея были многия от радныя, и мать Трубецкого князя Дмитрея была же» [436]. Позднее автор «Нового летописца» прямо обвинял Ивана Заруцкого в том, что его действия в пользу Марины Мнишек стали причиной конфликтов между дворянами и казаками в ополчении: «У Заруцково же с казаками бысть з бояры и з дворяны непрямая мысль: хотяху на Московское государство посадити воренка калужского, Маринкина сына; а Маринка в те поры была на Коломне» [437]. Но одним казакам нельзя было добыть царства. Поэтому, вступив в союз с дворянами и детьми боярскими и посадскими жителями из городов Московского государства, боярин Иван Мартынович Заруцкий должен был поступиться чем-то ради интересов «всей земли». Вряд ли сама Марина Мнишек желала снова оказаться в подмосковных таборах с маленьким сыном. Достаточно было того, что она сделала свой выбор, отдав своего «царевича» на воспитание москвичам, в их вере. Возвратиться в Калугу ей было тяжело по многим причинам, в том числе из-за того, что воеводам Первого ополчения окончательно не удалось договориться с гетманом Сапегой о союзе. Оставаться в Туле – значило дать основание подозревать боярина Ивана Заруцкого в действиях не в интересах «всей земли», а в пользу сына Марины Мнишек.

Коломна, находившаяся на пути из Рязани в Москву и контролировавшаяся главным воеводой Прокофием Ляпуновым, могла быть в этом случае компромиссным вариантом. Этот город одним из первых примкнул к начавшемуся движению и стал местом сбора значительной части ополчения. В середине февраля 1611 года там сидел воевода Иван Васильевич Плещеев «со многими рязанскими и коломенскими людьми и с волными казаки» [438]. В стенах каменного Коломенского кремля под совместной охраной дворянских сотен и казачьих станиц лучше всего можно было сохранить в безопасности жизнь Марины Мнишек и «царевича» до того времени, как ополчение решит свою главную задачу – очищение Москвы. Поэтому, когда 3 марта 1611 года воевода Прокофий Ляпунов готовился выступить из Коломны к Москве, Марина Мнишек, вполне возможно, уже находилась в ставшей впоследствии знаменитой башне Коломенского кремля. Это было не заключение, а то состояние ограниченной свободы при сохранении внешних «царских»

почестей, к которому она уже могла привыкнуть за годы жизни в Московском государстве. Сама Марина могла забыть об оставленном ею мире, пока все ее бытие было сосредоточено в жизни «царевича». Но мир не забывал о ней. Вокруг продолжали бушевать страсти, пока что разбивавшиеся о стены ее добровольного заточения.

Польско-литовский гарнизон в Москве, как и находившиеся в столице русские люди, был хорошо осведомлен о начавшемся земском движении. Одним известия о приближении рати Ляпунова давали надежду на скорую перемену установившихся порядков, другие должны были думать о том, как удержать свою власть. Усиливавшаяся вражда и подозрительность привели в конце концов к страшной трагедии – пожару Москвы, случившемуся во вторник Страстной недели, 19 марта 1611 года. Этот день памятен в русской истории еще и тем, что в ночь на 19 марта, на память мучеников Хрисанфа и Дарии, в 1584 году преставился царь Иван Грозный. Так причудливо повернулась история: спустя двадцать семь лет после смерти тирана на месте столицы оказалось пепелище, а единственной прямой связью с династией грозного царя оказался его мнимый внук Иван – сын Марины Мнишек.

Москва была сожжена поляками намеренно. Они уже готовились к осаде и решили «выкурить неприятеля огнем». Несколько тысяч мирных людей, спокойно торговавших в лавках Китай-города еще утром 19 марта, были перебиты, а Белый город и Замоскворечье выжжены несмотря на сопротивление москвичей, отчаянно сражавшихся за свои дома (в тот день в Москве был убит один из самых родовитых членов Боярской думы боярин князь Андрей Васильевич Голицын и тяжело ранен будущий освободитель Москвы стольник князь Дмитрий Михайлович Пожарский). Посад вокруг Кремля и Китай-города, где сел в осаду польско-литовский гарнизон, перестал существовать. Поляки, полагавшие, что они справились наконец-то с непокорными «москвитянами», организовали новую присягу королевичу Владиславу и заставили присягнувших «носить особые знаки – перепоясаться рушниками» [439].

Позднее в разрядные книги была включена запись о произошедшем «московском разорении»: «И видя, что московские люди почали под Москву збиратца, и на страшной неделе во вторник Москву в Белом городе во многих местех зажгли, а роты стали по воротам и людей почали побивать, а иные грабить учали дворы, и Московское государство все выжгли, и в Китае ряды пограбили, и людей в Китае всех высекли и храмы Божии разорили; а в Кремле городе захватили патриарха Ермогена да

бояр князя Федора Ивановича Мстиславского с товарыщи, а боярина княз Ондрея Васильевича Голицына убили по наученью Михаила Глебова (так уничижительно стали называть боярина М. Г. Салтыкова. – **В. К.)** да Федки Андронова» [440].

Передовые отряды ополчения опоздали на несколько дней и не смогли предотвратить «разорения Московского государства», как стали называть этот пожар современники. Земские войска договорились прийти под Москву после Великого поста, а Пасха в 1611 году пришлась на 24 марта. К этому времени традиционно заканчивался зимний путь. Первая часть собранного земскими силами войска во главе с Андреем Просовецким подошла к Москве в понедельник 25 марта. На подступах к городу ополченцы еще видели всполохи страшных пожарищ. Сидевшим в Москве полякам это войско, остановившееся «за Москвой-рекой, у Симонова монастыря», казалось огромным, чуть ли не «стотысячным». На самом деле главная сила ополчения подошла под стены Белого и Каменного города еще позднее, в начале апреля 1611 года, и расположилась несколькими лагерями. По сообщению «Карамзинского хронографа», воевода Прокофий Ляпунов стоял со своим полком «с резанцы» у Яузских ворот, а воевода князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и «Ивашка Заруцкой, а с ним атаманы и казаки, которые были у Вора в Калуге», – «подле города до Покровских ворот».

Остальные воеводы городовых отрядов попытались перекрыть основные дороги, ведущие из Москвы, встав «у Сретенских ворот», «на Трубе», «у Петровских ворот», «у Тверских ворот» [441]. С. Ф. Платонов справедливо подметил, что «земские дружины таким образом были разрознены и разделены казачьими – ошибка, которой постарались избежать вожди ополчения 1612 года, но которая имела роковое значение для ополчения 1611 года» [442].

Сил ополчения хватило только на то, чтобы стеснить положение находившегося в столице польско-литовского гарнизона. Бои, ведшиеся ополченцами, не могли привести к захвату Москвы без решительного штурма, к которому пришедшие в столицу ратные люди не были готовы. Но опыт Первого ополчения оказался важен, так как под Москвой впервые было создано земское правительство со своей Думой, приказами и даже попытками влиять на посольские отношения Московского государства со Швецией и ногаями.

Естественно, что Коломна, где находилась Марина Мнишек с «царевичем», входила в число городов, подведомственных управлению Первого ополчения. Но отношения внутри подмосковных полков и «таборов» между сторонниками разных политических групп, между дворянами и казаками складывались

сложно. Ситуация в Московском государстве усугубилась еще и тем, что 3 (13) июня 1611 года король Сигизмунд III все-таки захватил Смоленск. Эта победа, безусловно, подняла боевой дух сторонников короля, сидевших в Москве.

Памятником деятельности Первого ополчения остался знаменитый Приговор 30 июня 1611 года. Судя по его тексту (в известных копиях), в нем ничего не было сказано о будущих планах создателей ополчения в отношении царского престола. В преамбуле документа лишь повторялась главная цель ратных людей, собравшихся под Москвой: стоять «за дом Пресвятые Богородицы и за православную христианскую веру, против разорителей веры христианския, польских и литовских людей» [443].

Первое место по «чину» в ополчении занимали тушинские «бояре» князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Иван Мартынович Заруцкий. Фактическим же руководителем движения оставался его организатор думный дворянин Прокофий Петрович Ляпунов. В июне 1611 года Ляпунов вступил в новые переговоры с гетманом Яном Сапегой. В польских архивах сохранилась ранее неизвестная грамота, отправленная главой Первого ополчения гетману Яну Сапеге в ответ на его обращение от 4 июня 1611 года. С бывшим гетманом самозванца разговаривал уже не обычный рязанский воевода, а «приобщитель преже бывших преславных царей преименитого Московского государства, неотклонной их царского величества думной дворенин и воевода Прокофий Ляпунов». (Видимо, все-таки справедливы были упреки автора «Нового летописца» о гордыне, обуявшей земского вождя.) Руководитель ополчения звал гетмана Яна Сапегу ни больше ни меньше как «за православную нашу веру и за правду стояти», но это вряд ли могло привлечь гетмана к союзу. Очень четко Ляпунов обозначил врагов Первого ополчения, которое воевало «против лжесловного неисправления лукавых под присягою старосты Гасевского, и полковников, и ротмистров и всего злопагубново их рыцерства и против московских бояр непостоятелного предания Московского государства и отступления древняго своего благочестия».

Уже в самом начале переговоров Прокофий Ляпунов отдавал «достодолжную честь» гетману Сапеге и приносил «душевную похвалу» его рыцарству. Более того, вопреки первоначальным лозунгам ополчения он не только не отталкивал от себя поляков и литовцев, но и в весьма уважительном тоне говорил о будущем союзе с Речью Посполитой, «еже бы всесилный Бог сподобил твоей ясновелможной державе с нами быти в боголюбезном, в совершенном братолюбстве и в соблюдение правды» [444]. Можно

только предполагать, что сулил в будущем подобный союз с одним из самых последовательных сторонников и помощников Марины Мнишек. Однако переговоры не заладились [445], а вскоре погиб и сам воевода Прокофий Ляпунов.

Глава ополчения пал жертвой непреодолимого социального конфликта между дворянами и казаками. Летописи подробно рассказывают, как все произошло. В ополчении пытались воспрепятствовать бесчинствам казаков, которые с самого начала появления под Москвой «почали воровать по дорогам и по селам и по деревням и торговых и всяких людей грабить и побивать и из животов пытать». Соответствующие нормы о разборе дел о казачьих насильствах и грабежах в создававшихся в ополчении Разбойном и Земском приказах были внесены в Приговор 30 июня 1611 года. За многие преступления казакам стала грозить смертная казнь. Однажды дело едва не дошло до такой казни, когда Матвей Плещеев пытался «посадити в воду» двадцать восемь казаков. Казачьи таборы взбунтовались и созвали свой «круг». По сведениям автора «Нового летописца», воевода Прокофий Ляпунов даже хотел «бежати к Резани», но его остановили под Симоновым монастырем [446]. И все же главному руководителю ополчения суждено было погибнуть именно в казачьем кругу, куда его много раз приглашали и куда он так не хотел являться, справедливо опасаясь убийства.

22 июля 1611 года Ляпунов за чужой порукою согласился прийти в круг «для земского дела». Однако он попал в умело расставленную ловушку. Все случилось, как считал автор «Карамзинского хронографа», «по повеленью вора Ивашка Заруцкого», благоразумно оставшегося за кулисами драмы: «а Заруцкой по своему злодейскому умышленью не приехал же, для того, чтобы на него не молвили, что по ево веленью убили Прокофья». Но кроме казаков, устранения Прокофия Ляпунова, особенно после того как он попытался привлечь на свою сторону гетмана Сапегу, добивались поляки и литовцы в Москве. Интрига, приведшая к гибели Ляпунова, была задумана Александром Госевским. Он приказал подделать грамоты Ляпунова, «будто бы разосланные по всем городам», с приказом побивать казаков: «мол, где ни случится какой-нибудь донской казак, всякого следует убивать и топить» (все это раскрыл в своих записках ротмистр Николай Мархоцкий) [447]. Парадоксальным образом Прокофий Ляпунов пал из-за обвинений в «измене» (безотказно действующее средство устранения политических противников во все времена). В казачьем кругу, как писал автор «Карамзинского хронографа», «Прокофья называли изменником, будто Прокофей пишет в Москву к поляком и к литве, и показали ему грамотку,

будто ево Прокофьева рука». Удивленный Прокофий стал рассматривать «письмо» («грамотка де походила на мою руку, только аз не писывал»), но в это время долго сдерживавшаяся ненависть к воеводе прорвалась наружу, и произошел казачий самосуд: «А оне воры Прокофьеву руку подписали, да оне же говорили и в кругу кричали: “велел де ты нас побивати!” И в кругу Прокофья казаки убили…» Вместе с Ляпуновым погиб и «окольничий» Иван Ржевский, который, несмотря на свою вражду с воеводой, неосторожно высказался о его гибели: «За посмешно де Прокофья убили, Прокофьевы де вины нет».

Смерть Ляпунова поставила ополчение на грань распада. Из-под Москвы стали разъезжаться «столники и дворяне и дети боярские городовые… по городом и по домом своим, бояся от Заруцкаго и от казаков убойства» [448]. Оставались только те, кто раньше служил самозваному «царю Дмитрию» и Марине Мнишек в Тушине и Калуге.

Влияние бывшего боярина Вора Ивана Заруцкого, командовавшего под Москвой казаками, возросло еще больше. Однако оставшимся полкам Первого ополчения по-прежнему недоставало сил, чтобы штурмом решить главную задачу освобождения Москвы, несмотря на то, что в подмосковные таборы продолжали подъезжать новые отряды. Так, значительным событием в истории ополчения стал приход «Понизовой силы», собранной на Волге в казанских городах. Прибывшие привезли с собой список особо почитаемой иконы Казанской Божьей Матери. В ополчении считали, что именно ее заступничество помогло отвоевать у польско-литовских отрядов Новодевичий монастырь. Однако эту «победу» земских сил в Москве попытались дезавуировать, указав на сопровождавшие взятие монастыря грабежи инокинь. В начале 1612 года в грамотах, подписанных членами Боярской думы, писали из Москвы по городам, что казаки «поругались» над ливонской королевой Марией Владимировной (дочерью великого князя старицкого Владимира Андреевича), Ксенией Годуновой (в иночестве Ольгой) и другими инокинями: «А как Ивашко Заруцкий с товарыщи Девич монастырь взяли, и они церковь Божию разорили, и образы обдирали и кололи поганским обычаем, и черниц королеву княжь Володимерову дочь Ондреевича и царя Борисову дочь Ольгу, на которых преже сего и зрети не смели, ограбили до нага, и иных бедных черниц и девиц грабили и на блуд имали; а как пошли из монастыря, и они и досталь погубили и церковь и монастырь выжгли». «Ино то ли крестьянство?» – вопрошали бояре [449]. Автор «Нового летописца» также писал об этом: «Новой Девичей монастырь взяша и инокинь из монастыря выведоша в табары и

монастырь разориша и выжгоша весь, старицы же послаша в монастырь в Володимер». «Дворяне и столники» якобы «искаху сами смерти от казачья насилия и позору». Однако в другом месте тот же летописец совсем по-другому описывал это событие, признавая заступничество Казанской иконы, «что ею помощию под Москвою взяли Новой Девичей монастырь у литовских людей» [450]. Так даже современникам трудно было понять, на добро или на зло остались под Москвой казаки.

Кроме упомянутой «Понизовой силы», под Москву пришли дворяне и дети боярские из Смоленска, Дорогобужа и Вязьмы, лишившиеся своих поместий после взятия королем Сигизмундом III Смоленска. Воеводы ополчения приняли решение испоместить их в Арзамасе и Ярополческой волости (правда, без успеха для смоленских служилых людей), что сыграло свою роль при организации следующего, нижегородского ополчения. Органы управления, созданные в период расцвета деятельности Первого ополчения, также продолжали функционировать. Многие служилые люди уезжали из-под Москвы под предлогом отправки на воеводство и «по приказом». «У Заруцково купя», добавлял автор «Карамзинского хронографа». Так или иначе, но ополчение оставалось под Москвой еще целый год [451].

Когда события под Москвой в какой-то степени зашли в тупик, Иван Заруцкий решился сделать окончательную ставку на сына Марины Мнишек. Вслед за известием об убийстве Прокофия Ляпунова автор «Пискаревского летописца» сообщает о неординарных шагах боярина Ивана Заруцкого, передавая ходившие в то время совершенно невероятные слухи о желании Заруцкого самому стать царем: «Ивашка Заруцкой, умысля своим воровским обычаем, сослався з жонкою с Маринкою, которая была за Ростригою, с Сердомирсковою дочерью, жену свою постриг, а сына своево послал на Коломну к ней, Маринке, в стольники, а хотел на ней женитца, и сести на Московское государьство, и быти царем и великим князем» [452].

Очевидно, именно эта угроза возобновления самозванчества заставила так ярко и страстно выступить патриарха Гермогена. «Второй Златоуст», как называли тогда патриарха, все более проникался ответственностью за происходящее в Московском государстве и тем воздействием, которые оказывали его призывы. По словам автора «Нового летописца», патриарх был стоек в своем неприятии иноземцев. Он был глубоко оскорблен тем, что в самом Кремле, «на старом Борисовом дворе, в полате», был устроен костел и велась латинская служба. Польско-литовские правители в Москве, знавшие о рассылавшихся по стране патриарших грамотах, пытались повлиять на патриарха

Гермогена, хотели заставить его обратиться к людям, собиравшимся под Москву, чтобы остановить их поход. Патриарх же говорил Салтыкову, что, напротив, благословляет «помереть за православную веру»: «Будет ты изменник Михайло Салтыков с литовскими людми из Москвы выдешь вон, и я им не велю ходити к Москве; а будет вам сидеть в Москве, и я их всех благословляю… что уж вижу поругание православной вере и разорение святым Божиим церквам и слышати латынсково пения не могу». Не смирили патриарха и репрессии: изменники и поляки его «позоряху и лаяху», после чего посадили «за приставы», то есть под арест. Бывший в то время в Москве архиепископ грек Арсений Елассонский записал, что с этого времени патриарха «без архиерейского собора» по сути свели с престола и перевели на подворье Кириллова монастыря, сняв с него архиерейские ризы и переодев в монашеское платье [453]. Стойкость патриарха вдохновляла русских людей.

«Что де мне ограживаете, – отвечал патриарх на уговоры, – единаго де я Бога боюся; будет вы пойдете все литовские люди из Московского государства, и яз их (ополченцев. – В. К.) благословляю отойти прочь; а будет вам стояти в Московском государстве, и яз их благословляю всех против вас стояти и помереть за православную християнскую веру» [454].

Отказался патриарх подтвердить своим авторитетом новый политический маневр, придуманный в Москве, – отправить еще одно верноподданническое посольство к королю Сигизмунду III с целью убедить его прислать королевича Владислава на русский трон. Разрядные книги приводят детальный рассказ о том, как к патриарху Гермогену, заключенному на Кирилловском подворье, прислали «полковника Казановского с товарищами, да бояр князь Бориса Михайловича Лыкова, да Михаила Глебова, да дьяка Василия Янова». Но в этот критический момент для всего земского дела патриарх не пошел ни на какие компромиссы, избрав мученическую стезю: «…в том отказал и говорил, что он их (ополченцев. – В. К.) благословляет за Московское государство пострадать не токмо до крове, и до смерти, а их треклатых за неправду проклинает» [455]. Патриарха перевели на еще более строгое содержание в кельи Чудова монастыря, всячески стесняя его в еде и питье. Замученный голодом, он умер в январе 1612 года.

Посольство, о котором пытались договориться с патриархом, все же состоялось. Его возглавили главные сторонники короля в Московском государстве бояре князь Юрий Никитич Трубецкой и Михаил Глебович Салтыков, а также упоминавшийся дьяк Василий Янов. Но их роль оказалась незавидной: им пришлось

подтвердить своим присутствием на варшавском сейме, созванном 26 сентября 1611 года, триумф короля Сигизмунда III – покорителя Смоленска и Московского государства [456].

Когда под Москвой остались только полк боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и казачьи «таборы» под командой Ивана Заруцкого, кольцо осады несколько ослабло. В Москву с запасами продовольствия прорвались отряды гетмана Яна Сапеги. Следом за ними в осажденный город к патриарху Гермогену сумели пробраться «бесстрашные люди» свияженин Родион Моисеев и Ратман Пахомов. Они и вынесли «лист» патриарха, адресованный церковным властям и жителям Нижнего Новгорода и датированный 25 августа 1611 года. Патриарший призыв к нижегородцам имел главной целью воспрепятствовать вступлению на престол сына Марины Мнишек. Для этого патриарх предлагал организовать переписку между городами. «Отнюдь Маринкин на царьство ненадобен: проклят от святого собору и от нас», – анафемствовал патриарх из своего заточения. Он хорошо знал, что под Москвой стоят в основном «вольные казаки» и что их возможным претендентом на царский престол был даже не удостоенный здесь имени сын Марины Мнишек. Со всей силою убеждения патриарх обрушивался с проклятиями на Марину и ее сына, ставших как бы воплощением всех бед и несчастий Московского государства.

Это был отложенный смертный приговор «царевичу» Ивану Дмитриевичу. Новое земское ополчение собиралось в Нижнем Новгороде, уже зная, что ни у Марины Мнишек, ни у того, кто хоть в какой-то мере был связан с поляками и литовцами, не могло быть никаких перспектив в Московском государстве. Как и в начале Первого ополчения, призыв патриарха Гермогена упал на подготовленную почву. Нарушенное казаками равновесие земских сил должно было как-то выправиться, и путь к этому лежал через организацию нового движения, не признающего никаких прав Марины Мнишек и ее сына на русский престол.

Во главе собиравшихся в Нижнем Новгороде сил встали нижегородский земский староста Кузьма Минин и стольник князь Дмитрий Михайлович Пожарский [457]. «Программа» нового ополчения была прямо враждебна Марине Мнишек и ее сыну. Отвечая на призыв патриарха Гермогена, земские силы еще в августе 1611 года договорились «по казачью выбору того проклятаго паньина Маринкина сына на государство не хотети». В грамотах, рассылавшихся нижегородским ополчением по городам, начиная с декабря 1611 года, об этом говорилось еще резче. Глава ополчения князь Дмитрий Михайлович Пожарский и собравшиеся с ним ратные люди приглашали всех «быти в одном

совете и ратным людем на полских и литовских людей идти вместе», чтобы предотвратить казачье «воровство» именем «Маринкина сына». Мотив непризнания сына калужского Вора стал едва ли не главным для объединения земских сил в нижегородских грамотах того времени: «Многие покушаются, чтоб панье Маринке с законопреступным сыном ея быти на Московском государьстве, с ложным вором, антихристовым пред отечем, что им волю отца своего сатаны исполнить и грабежам и блудом и иным неподобным Богом ненавидным делом не престать».

Таких обвинений за время Смуты не удостоился никто. Вся ненависть, накопившаяся со времени появления первого «царевича» Дмитрия, теперь изливалась на последнего «царевича» Ивана. На этом рубеже ополчение, даже еще не выступив из Нижнего Новгорода, уже заявляло о своей готовности к битве, невзирая на заслуги тех, кто находился в этот момент в подмосковных «таборах»: «И которые люди под Москвою или в которых городех похотят какое дурно учинити или Маринкою и сыном ея новую кровь похотят всчать, и мы дурна никакого им учинить не дадим». Наряду с сыном Марины Мнишек в нижегородском ополчении сразу же отвергали («до смерти своей… не хотим») две другие кандидатуры на русский трон – псковского «вора Сидорку» (также именовавшего себя «царем Дмитрием Ивановичем») и короля Сигизмунда III.

Марину Мнишек обвиняли также в посылке из Коломны «со смутными грамотами» в Астрахань и «в Кизылбаши», то есть Персию: «А писала она в Кизылбаши о смуте ж, хотя всчать новую кровь». Списки с этих грамот, перехваченных с гонцами Марины Мнишек, нижегородцы послали в Ярославль и Кострому, но их текст не сохранился. Видимо, настолько сильна была уверенность в жгучем желании Марины Мнишек продолжать Смуту и проливать кровь в Московском государстве, что по всем городам предупреждали: «И вам бы к Москве ко всей земле писати, чтоб они про такие Маринкины воровские заводы сыскали, чтоб в Московском государстве новой крови не всчала. А к вам будут учнут приходить с Коломны от Маринки какие смутные грамоты, и вам бы им однолично не верити и стояти бы вам в твердости разума своего крепко и неподвижно» [458].

Другие грамоты с призывом помочь остававшимся под Москвой ратным силам рассылались из Троице-Сергиева монастыря. Еще С. Ф. Платонов подметил, что по своей тональности они отличались от призывов патриарха Гермогена и звали не на борьбу с казаками Заруцкого, а напротив, к соединению всех земских сил: «чтоб служивые люди безо всякого

мешкания поспешили к Москве, в сход ко всем бояром и воеводам и всему множество народу всего православного християнства» [459].

Изменение роли в подмосковных «таборах» Ивана Мартыновича Заруцкого не осталось незамеченным и для так называемой «семибоярщины» – Боярской думы, действовавшей в Москве под контролем польско-литовской администрации. Бояре князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами направили 25-26 января 1612 года свои агитационные грамоты в Кострому и Ярославль с тем, чтобы вернуть эти города, перешедшие на сторону Первого ополчения, к прежней присяге королевичу Владиславу: чтобы «от воровские смуты от Ивана Заруцкого с товарыши отстали и им ни в чем не помогали, и верити их воровской смуте во всем престали». В Москве не стеснялись намекать на якобы «казачье» происхождение «воренка». «А ныне вновь те же воры Ивашко Заруцкой с товарыши, – говорилось в грамоте бояр в Ярославль 26 января 1612 года, – забыв истинаго Бога и Его святую волю, государей себе обирают по своей по воровской воле таких же воров казаков, называя государьскими детьми Колуского вора сына, о котором и поминати непригоже. Мы и вы сами про него подлинно ведаете и его знаете, какой он вор был» [460]. Отношение московских людей к несчастному сыну Марины Мнишек хорошо передает автор «Пискаревского летописца»: калужский Вор «жил с нею с некрещеною, и родила малого невесть от кого: что многие с нею воровали» [461].

Версия о якобы состоявшейся свадьбе Марины Мнишек с Иваном Заруцким проникла в 1612 году в Польшу (об этом писал один из секретарей коронного канцлера) и даже в «испанские источники», где какое-то известие встречал отец Павел Пирлинг [462]. Шведский дипломат и агент в Москве Петр Петрей датировал эту свадьбу более поздним временем, когда с избранием в 1613 году на русский престол царя Михаила Федоровича Марина Мнишек окончательно потеряла надежду воцариться самой или вместе с сыном. «Это было очень досадно жене Лжедмитрия, Марине Юрьевне, – писал Петр Петрей в «Истории о великом княжестве Московском», – потому что калужане обещали выбрать в великие князья ее сына, когда он придет в возраст и будет в силах править царством. Оттого она и вышла замуж за одного поляка, прежде служившего полковником у Дмитрия, по имени Иван Заруцкий. В качестве опекуна молодого государя он должен был вести войну с москвитянами и силою приводить области к присяге ему» [463]. Однако версия эта представляется совершенно невероятной. Предполагая бракосочетание Марины Мнишек и Ивана Заруцкого, сторонний

наблюдатель, наверное, мог легче всего объяснить себе, почему Марина оставалась рядом с казачьим атаманом. Но подобный мезальянс был совершенно невозможен для польской шляхтенки, отчетливо осознававшей себя «императрицей московской».

Между тем, желая упредить новые земские решения, идущие из Нижнего Новгорода, в подмосковных «таборах» задумали присягнуть своему царю. В этот момент должна была возникнуть кандидатура «царевича» Ивана Дмитриевича, но ему едва исполнился год. Поэтому 2 марта 1612 года Первое ополчение присягнуло уже третьему по счету самозваному царю Дмитрию, находившемуся в Пскове. Лжедмитрий III появился еще в 1611 году в Ивангороде. Как стало известно боярам в Москве, казаки Заруцкого «по иного послали вора подо Псков таких же воров и бездушьников Казарина Бегичева, да Нехорошка Лопухина с товарыщи» [464]. Дьяк Нехороший Лопухин был в числе посланников в Речь Посполитую еще от первого Лжедмитрия; поездка в Псков такого человека должна была стать залогом признания «истинности» очередного самозванца. (Интересно, что в Пскове до сих пор сохранился так называемый «Дом Марины Мнишек»; легенда о ее пребывании там возникла, возможно, не без связи с присягой подмосковных «таборов» псковскому «Дмитрию».) Но насильственное целование креста новому самозванцу только оттолкнуло от остававшихся под столицей «таборов» тех земских людей, кто еще думал о защите государства от иноземцев. По свидетельству «Карамзинского хронографа», «многие боярские дети, и стольники, и стряпчие, и дворяне, и дети боярские, и дьяки, и подьячие, и торговые добрые люди, видя, что под Москвою у казаков учело делаться воровство, целовали крест Псковскому вору Матюшке», ушли «ис-под Москвы ис полков» [465]. Эта же присяга дала прекрасный повод и для агитации боярского правительства в Москве. Сторонники королевича Владислава могли пока сохранять «лицо» даже вопреки очевидным фактам провала этой кандидатуры на русский престол. Фарсовое явление в Ивангороде и Пскове очередного Дмитрия (он же, по словам «Нового летописца», «Сидорка, Псковский вор», он же «из-за Яузы дьякон Матюшка» [466]) показало, что самозванчества, как альтернативы земскому движению, больше не существует. Отныне все стало зависеть от рати, собранной в Нижнем Новгороде зимой 1611/12 года.

Руководители земского ополчения Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович Пожарский продолжали действовать. Они обращались по городам, снова отрекаясь от всех претендентов, особенно от «Маринки и сына ея» [467]. Теперь они могли опереться на новую, адресованную им грамоту из Троице-

Сергиева монастыря, присланную в апреле 1612 года. Троицкий архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын осуждали «казачий завод» с присягой псковскому Вору и объясняли, что «боярин князь Дмитрей Тимофеевич и дворяне и дети боярские целовали (крест. – В. К.) неволею, и нынеча он князь Дмитрей у тех воровских заводцов живет в великом утеснении, а радеет соединенья с вами». Все силы ополчения в троицкой грамоте предлагалось собрать «во едино место», и «стаду» ждать своего «пастыря», то есть нового, избранного царя. Служилые люди, собравшиеся в ополчении, должны были еще раз задуматься: «Какое ныне разорение в Московском государьстве и во всех окрестных странах Росийского государьства без государя царя учинилося? Где святыя Божии церкви, где Божия чудныя образы, где иноки многолетными сединами цветущия и инокини добродетелми украшены, не все ли до конца разорены и обруганы злым обруганием? Где народ общий христьянской, не все ли лютыми горкими смертми скончашася? Где множество безчисленное во градех и в селех работные чади крестьянства, не все ли без пастыря без милости пострадаша и в плен разведены быша… Бога ради, государи, положите подвиг свой во едино избранное место, на благоизбранной земской совет» [468]. Такой призыв никого не мог оставить равнодушным.

Центром дальнейшего сбора земских сил стал Ярославль, стоявший на перекрестке северных и волжских торговых путей и бывший одним из центров так называемого Замосковного края. Передовые отряды нижегородского ополчения вынуждены были подойти туда еще в конце марта 1612 года, чтобы предотвратить захват этого города казаками Ивана Заруцкого. В ополчении теперь были едины в оценке предшествующих событий, считая их наказанием «за умножение грехов всего православного крестьянства». В первой окружной грамоте 7 апреля 1612 года о приходе ополчения в Ярославль и созыве земского «Совета всея земли» напоминали о том, что «из-под Москвы князь Дмитрей Трубецкой да Иван Заруцкий, и атаманы и казаки, к нам и по всем городом писали, за своими руками, что они целовали крест на том, что им без совету всей земли государя не выбирати, а вору, который ныне во Пскове, и Марине и сыну ее не служите». Значит, казаки не просто присягнули «вору Сидорку», а нарушили прежнее крестное целование. «Как сатана омрачи очи их! – восклицали представители «всей земли», – при них Колужской их царь убит и безглавен лежал всем на видение шесть недель» [469]. То же неприятие псковского Вора и «Маринки и ее сына» стольник князь Дмитрий Михайлович Пожарский подтверждал и в переговорах с Новгородом (точнее, с «Новгородским

государством», оказавшимся в это время под шведским протекторатом) [470].

Четыре месяца нижегородское ополчение простояло в Ярославле, продолжая собирать силы и снаряжать ополчение всем необходимым для будущей осады столицы. Нижегородский «совет», превратившийся за это время в общеземское правительство – «Совет всея земли», сумел организовать свои приказы по управлению государством, раздавал поместья, верстал в службу новиков.

Стоявшие под Москвой силы пытались в это время взять город «измором». Сделать это было нетрудно, так как голодное время там наступило уже во второй половине 1611 года. Тогда бояре в Москве умоляли короля Сигизмунда III прислать новых воинских людей, потому что «нам верным вашим подданным и рыцерству польскому и литовскому в Москве в осаде долго сидети будет трудно и нужно, и в своих и в конских кормех недостаток и голод великой» [471]. Но и они не могли представить себе, что ждет их впереди. Впоследствии пережившие московскую осаду писали о самых страшных вещах, до которых доходило дело в Москве, в том числе даже о людоедстве. Как вспоминал Иосиф Будило, им приходилось употреблять в пищу котов и псов, «смаковать» шкуры и ремни, жилы от луков, траву, сено, в общем, все, что мог принять желудок. (Щадя читателей, умолчим о некоторых подробностях позорной трапезы московского гарнизона [472].) Архиепископ Арсений Елассонский тоже сообщал, что «все русские и поляки, находящиеся в Москве, гибли, многие от голода, некоторые ели не только мясо коней, но и собак, и кошек, и мышей, и мясо людей» [473].

Осаждавшие Москву отряды ополченцев уверяли поляков, что им неоткуда ждать помощи. Николай Мархоцкий запомнил издевательские слова москвитян: «Идет к вам литовский гетман с большими силами: а всего-то идет с ним пятьсот человек». «Они уже знали о пане Ходкевиче, который был еще где-то далеко, – продолжает Мархоцкий. – И добавляли: “Больше и не ждите – это вся литва вышла, уже и конец Польши идет, а припасов вам не везет; одни кишки остались”. Так они говорили потому, что в том войске были ротмистры пан Кишка и пан Конецпольский» [474].

Сжалившись, король все же направил на помощь «рыцарству», сидевшему в Москве, литовского гетмана Яна Карла Ходкевича. Дальнейшая судьба московского гарнизона зависела от того, сумеет ли гетман пройти туда с собранными продовольственными запасами.

У Ивана Заруцкого было достаточно времени убедиться в том, что приход земских людей не сулил ничего хорошего ни ему

лично, ни Марине с сыном. По известию «Нового летописца», Заруцкий попытался даже подослать наемных убийц в Ярославль для покушения на князя Дмитрия Пожарского. Эти сведения подтверждает и автор «Пискаревского летописца»: «Ивашка Заруцкой прислал в Ярославль, а велел изпортити князя Дмитрея Пожарского и до нынешняго дни та болезнь в нем» [475]. Глава земского ополчения князь Дмитрий Михайлович Пожарский остался жив, и сбор сил для похода на Москву продолжился.

В конце июля 1612 года Заруцкому стало известно о том, что основная земская рать во главе со стольником князем Дмитрием Михайловичем Пожарским двинулась в Москву. Он покинул подмосковные «таборы» и вместе с казаками ушел в Коломну. 28 июля (7 августа) 1612 года Иосиф Будило записал в своем «Дневнике»: «Заруцкий, боясь бояр из войска Пожарского, которые считали его изменником, ушел от Трубецкого в Коломну и, взяв там царицу – жену Дмитрия, ушел с нею в Михайлов» [476]. Сходное известие о движении Заруцкого в Рязанскую землю содержится в «Новом летописце»: «Заруцкой же, слышав под Москвою с своими советники, что пошол из Ярославля со всею ратью князь Дмитрей и Кузма, и собрався с казаками с ворами мало не половина войска ис под Москвы побегоша. И пришед на Коломну Маринку взяша и с Воренком, с ее сыном, и Коломну град выграбиша. Поидоша в Резанские места и там многу пакость делаша. И пришед, ста на Михайлове городе» [477]. Автор «Пискаревского летописца» писал, что Заруцкий бежал «на Коломну, к жонке, к Маринке» «с невеликими людьми», а оттуда ушел в город Сапожок и Михайлов, «и там стал воровата» [478].

Польские хронисты и русские летописцы знали только общую канву событий. Лишь сравнительно недавно, благодаря разысканиям А. Л. Станиславского, был установлен точный маршрут движения Ивана Заруцкого после ухода от Москвы к Марине Мнишек. А. Л. Станиславский справедливо сомневался в том, что Заруцкий намеревался сам стать царем, впрочем, добавляя при этом: «…хотя кто знает, какие мысли могли появиться у человека, уже сделавшего головокружительное восхождение от казачьего атамана до боярина и фактического руководителя земского правительства» [479].

Первое, что сделали казаки, придя из-под Москвы в Коломну, а их было, по разным подсчетам, около 2500 человек, так это ограбили «удел» Марины Мнишек и ее сына. План боярина Ивана Мартыновича Заруцкого состоял в том, чтобы захватить центр Рязанской земли – богатый Переяславль-Рязанский. Но хотя в Рязани уже не было Прокофия Ляпунова, там оставался его сын Владимир, сумевший предупредить воеводу второго земского

ополчения Мирона Андреевича Вельяминова (в свое время Вельяминов ушел из Первого ополчения, «как вор Ивашко Зарутцкой своим воровским советом почал заводить Вора псковскава»).

А. Л. Станиславскому удалось найти челобитную детей Вельяминова, основанную на послужном списке их отца. Из этого послужного списка выясняется, что события приняли драматичный оборот. Воевода Мирон Андреевич Вельяминов опередил Заруцкого всего на два дня и «сесть в Переславле не дал». Дальше Иван Заруцкий действительно сначала ушел в Сапожок. Но целью его был не этот малоприметный городок, население которого не превышало тогда 200 человек, а более богатые земли Мещерского края. Однако ни Шацк, ни Темников не стали присягать сыну Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Дорога на Касимов и Арзамас, на Оку и далее к Волге оказалась заперта для казаков Заруцкого. Потом «Михайлов город и Пронеск, и Ряской, и Донков, и Епифань своровали и призвали Заруцкого на Михайлов». Туда казаки Заруцкого и Марина Мнишек пришли во вторую годовщину гибели «царя Дмитрия», 11 декабря 1612 года. Встав на зимние квартиры в Михайлове – хорошо укрепленной крепости на границе рязанских и тульских земель, казаки Ивана Заруцкого не оставляли попыток завоевать Переяславль-Рязанский, но воевода Мирон Вельяминов нанес решительное поражение отряду Яктора Рындина под Мервиным острогом (ныне в черте Рязани); казаки потеряли одними пленными 727 человек, не считая «наряда» (артиллерии) и «кошей» (обозов).

От времени пребывания Марины Мнишек в Рязанской земле не сохранилось никаких документов. Однако известно, что сами Мнишки пытались найти свою заблудшую дочь. В августе 1612 года в земском ополчении получили сведения о приезде в Архангельск шотландского наемника Якоба Шава, по расспросным речам которого один «немчин», отпущенный ранее в полки, вез письма Марине Мнишек от родных: «что присланы из Литвы от Сандомирского грамоты к дочере его к Маринке с тем немчином, которого мы к вам отпустили наперед сего с Фрянцыскусом» [480]. Неизвестно, добрался ли в итоге этот Франциск до Марины Мнишек и успела ли она получить вести из дома. Наверное, это было последнее послание ее отца, умершего в начале 1613 года.

Марина Мнишек и боярин Иван Мартынович Заруцкий пытались установить какие-то контакты с сановниками Речи Посполитой, посвященными в московские дела. Марину Мнишек обвиняли в сношениях с Александром Госевским, а Заруцкого – в

переписке с литовским гетманом Яном Карлом Ходкевичем. Не позднее февраля 1613 года были перехвачены целых два послания гетмана к Заруцкому. Московское правительство в грамоте на Дон так передавало их содержание: будто бы король Сигизмунд III призывал Заруцкого «делать смуту», обещая ему за службу дать на выбор Великий Новгород, Псков с пригородами или даже Смоленск, а также «учинить его великим у себя боярином и владетелем». Пункт о переписке Заруцкого с польским королем был включен даже в наказ посланнику Денису Оладьину, отправленному в Речь Посполитую в марте 1613 года от Земского собора. В 1615 году у брата Заруцкого, Захарьяша, были захвачены письма «от короля к Ивашку Заруцкому» и «Олександра Гасевского к Маринке», но точно датировать эти послания по упоминаниям в описи документов Посольского приказа не представляется возможным [481]. Возможно, они относятся к октябрю 1612 года, когда король Сигизмунд III самонадеянно двинулся на Москву, думая, что ему удастся воцариться в русской столице. Король дошел только до Волока, где и узнал о том, что его поход не имеет перспективы. Тогда Марина Мнишек и боярин Иван Заруцкий вполне могли думать о том, чтобы предложить королю свои услуги. А вот к кому «царица» уже не могла обратиться за помощью, как делала много раз в самые критические моменты, – так это к гетману Яну Сапеге, умершему в Москве еще в сентябре 1611 года.

Пора в очередной раз определяться настала для Марины Мнишек и главы ее «правительства» после избрания Земским собором 21 февраля 1613 года на русский престол царя Михаила Федоровича Романова. Присяга новому царю давала повод немногим русским городам, присягнувшим ранее Марине и ее сыну, отказаться от власти воевод, поставленных Иваном Заруцким.

Самой Марине с «царевичем» походная жизнь не могла быть в радость. В декабре 1612 года в Темников даже пришел слух, «что воренок на Михайлове умер» (наверняка поначалу речь шла о какой-нибудь детской простуде, превратившейся по дороге в смертельный недуг). В поисках выхода Марина Мнишек даже рассорилась со своим боярином. По сообщению бежавшего от них к царю Михаилу Федоровичу бывшего сапожковского воеводы Изота Толстого, «Зарутцкой-де будто хочет итги в Кизылбаши, а Маринка-де с ним итти не хочет, а зовет его с собою в Литву». Может быть, следствием этого спора стало обращение Ивана Заруцкого… в Москву. В наказе послам в Англию в июне 1613 года говорилось: «И Зарутцкой при нас прислал к царскому величеству… просить, чтоб царское величество на милость

положил, вину его отдал, а он царскому величеству вину свою принесет и Марину приведет. И, чаем, подлинно добил челом, и не добил челом, и он пойман, а детца ему негде» [482]. Если известие наказа не тенденциозный вымысел, то Марина Мнишек опять попала в тот заколдованный круг, из которого ей никак не удавалось выбраться в Московском государстве. Теперь уже последний ее сторонник также готов был «торговать» ею с московским царем, как ранее это делал гетман Лжедмитрия II князь Роман Ружинский, собиравшийся отправить Марину Мнишек под Смоленск к королю Сигизмунду III. Но на этот раз Марина должна была оставаться на страже интересов не только своего «царского» чина, но и царственного сына. Хотя в Московском государстве с избранием царя Михаила Федоровича «царевич» Иван Дмитриевич окончательно превращался в непризнанного бастарда, опасного своими притязаниями на «царство».

Марина опять подчинилась Заруцкому, ухватившись за совсем уж фантастический проект, начинавшийся когда-то еще в Калуге перепиской «царя Дмитрия» с присягнувшей ему Астраханью. Теснимые воеводой Мироном Андреевичем Вельяминовым казаки Заруцкого и Марина Мнишек поехали 10 апреля 1613 года из Епифани за Дон «на поле». По дороге особенно досталось несчастной Крапивне, которую «Ивашка Зарутцкой с казаки выжгли и высекли», причем были «побиты» крапивенский воевода и «все кропивенские люди», вместе с дворянами, приехавшими туда с грамотами об избрании царя Михаила Федоровича. Правительство нового царя уже 19 апреля 1613 года отправило против Заруцкого рать под командованием воеводы князя Ивана Никитича Одоевского. Он должен был «итти на Коломну, а с Коломны на Резань и на Зарутцкого и на черкас, где скажут»… Но пришедшие от тульского воеводы сведения о том, что Заруцкий «стоит на Кропивне, а хочет со всеми людьми приходить к Туле», заставили правительство изменить планы и отправить князя Ивана Никитича Одоевского в Тулу. Там он получил наказ царя Михаила Федоровича: «Собрався со всеми людьми, итти на воров на Ивашка Зарутцкого и над ним промышлять».

Так началась погоня правительственных сил за казаками Ивана Мартыновича Заруцкого и находившейся при нем «царицей» Мариной Мнишек с сыном. Одновременно были приняты меры, чтобы у отряда Заруцкого не было возможности перебраться в мятежную Северскую землю, откуда удобнее всего было бы пройти в Речь Посполитую. Воеводам в Путивле было велено действовать вместе с отрядами князя Ивана Никитича

Одоевского: «Над Зарутцким промышлять, чтоб Зарутцково с черкасы, которые черкасы в Путивле, сойтися не дать». Указные грамоты «промышлять над литовскими людьми» получили также воеводы Мещовска, которые должны были нейтрализовать еще задержавшиеся «в мещоских местах» и не успевшие вернуться в «Литву» сапежинские отряды. Так получилось, что у Заруцкого остался только один путь отступления – в сторону Дикого поля и Дона. И везде он шел войною, приступая к городам – от Крапивны к Черни и Новосили, оттуда к Ливнам, где «у приступу воров побили многих и языки многие и знамена поимали», а оттуда к Лебедяни. Нашлось время у Заруцкого задуматься и о душе: он дал вклад в лебедянский Троицкий монастырь.

Неутомимый воевода Мирон Андреевич Вельяминов преследовал отряды Ивана Заруцкого буквально по пятам и с небольшим отрядом оказался в Данкове, удержав этот городок от перехода на сторону казаков, как это уже было в конце 1612 года во время михайловского стояния Ивана Заруцкого и Марины Мнишек. Туда же в Данков прибыл из Тулы воевода князь Иван Никитич Одоевский с теми немногими людьми, которых ему удалось собрать на службу. Главный воевода вынужден был даже писать из Данкова царю Михаилу Федоровичу, «что оне по государеву указу пришли в Донков, а Зарутцкой стоит на Лебедяни, а им над ним промышлять не с кем: дворяне и дети боярские на государеву службу к ним не бывали многие». Особые сборщики с наказом высылать на службу в Данков служилые «города» – уездные дворянские корпорации – были посланы в Воронеж, Рязань, Тулу, Серпухов, Тарусу, Алексин, Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Муром, Лух, Гороховец. Эти чрезвычайные меры сделали свое дело. Узнав о готовящемся походе правительственных сил к Лебедяни, Иван Заруцкий отступил к Воронежу. Воевода князь Иван Никитич Одоевский получил новый указ «над Заруцким промышлять, итти за ним к Воронажу».

Иван Заруцкий принял бой под Русским рогом у Воронежа. Вот где, как оказалось, должна была решаться судьба Марины Мнишек! По разысканиям воронежских историков, в XVII веке здесь располагалась одна из «сторож»; теперь это место входит в состав одного из городских районов. Уход на далекую окраину государства сам по себе еще не означал, что для Марины Мнишек все было потеряно. Это подтверждала присяга «усманских и соколовских» атаманов, влившихся в войско Заруцкого и пришедших с ним под Воронеж. Целых пять дней, с 29 июня по 3 июля 1613 года, продолжалось воронежское сражение, и у нынешних историков нет единства в том, кто же все-таки вышел

из него победителем. Если следовать версии официальных разрядных книг-подлинников, основанных на донесениях царю Михаилу Федоровичу, то победа рати воеводы князя Ивана Никитича Одоевского была полной и безоговорочной: «И воров Ивашка Зарутцково и Маринку с казаки сошли у Воронежа, и с Ывашком Зарутцким билися два дни беспрестани, и Божиею милостию и государевым счастьем воров Ивашка Зарутцково и казаков побили наголову, и наряд, и знамена, и языки многие поймал и, и обоз взяли взятьем, и коши все отбили. И с тово бою Ивашко Зарутцкой с невеликими людьми побежал на поле за Дон к Медведицы». Погнавшиеся за Иваном Заруцким дворянские сотни поймать его не могли, а только узнали, «что Ивашко Зарутцкой пошел полем к Астрахани» [483]. Сходная запись была внесена и в «Книгу сеунчей» (от татарского «сеунч» – победная весть). Причем каждый из воевод, участвовавших в сражении, прислал своего сеунщика, и все они получили свою награду. Именно «Книга сеунчей», в отличие от разрядных книг, сообщает о пятидневном сражении, а не только о двух днях самых ожесточенных боев. Сеунщики также рапортовали о захвате знамен, языков, наряда, шатров и кошей. После чего «Ивашка Зарутцкой с воры побежал через Оскольскую дорогу, а иные многие воры перетонули в реке на Дону» [484].

Не так оптимистично, однако, оцениваются результаты воронежского сражения с Заруцким в «Новом летописце»: «Воеводы ничего же ему не зделаша. Он же многих воронежцев побил и перелезе через Дон и с Маринкою и пойде к Астрахани степью». Очевидно, на такую оценку повлияло то, что воевода князь Иван Никитич Одоевский не смог решить главной задачи и захватить самого Ивана Заруцкого и Марину Мнишек с сыном. Вместо этого князь Иван Никитич Одоевский подчинился воле своих воевод, сославшихся на усталость служилых людей («поговоря со всеми ратными людьми, что им на Воронаже стоять не у чево, ратные люди учинилися истомны»), и отошел со своим войском, даже не дождавшись царского указа, назад из Воронежа в Тулу [485].

И все же, даже если Ивану Заруцкому удалось выжечь и разорить Воронеж, его отход под натиском правительственных войск был настоящей победой нового царя Михаила Федоровича. Не случайно вскоре, 6 декабря 1613 года, воевода князь Иван Никитич Одоевский получил боярство. И позднее, когда 18 марта 1614 года в грамоте от Освященного собора и всех сословий напрямую обратились к Ивану Заруцкому, то ему прямо указывали: «И на Воронеже великого государя нашего люди тебя побили» [486].

Можно представить себе этот переход по Дикому полю от Воронежа до Астрахани, переход, осененный невероятно ярким в августе Млечным Путем на звездном небе. Иван Заруцкий и Марина остались уже совсем с немногими верными людьми, так как большая часть войска Заруцкого, 2250 казаков, ушла к царю Михаилу Федоровичу («воротилися с поля», по известию «Нового летописца»). Оставшиеся были изранены и «истомлены» не меньше правительственных войск. 19 августа 1613 года один взятый в плен ногайский татарин рассказывал о том, как наехал в степи на следы («сакму»), оставленные отрядом Ивана Заруцкого: «Переехали они шлях невеликий, от Медведицы пошол шлях к Волге, а по сакме угадывают, что люди с ним невеликие… Да они же на том шляху наехали многих мертвых людей от ран, и лошади и седла по шляху пометаны» [487].

Надо учесть, что Астрахань тогда еще сохраняла живую память о временах бывшего татарского царства. По замечанию С. Ф. Платонова, она была «военным постом, далеко выдвинутым за черту народной русской оседлости», где основное значение имели рыбный и соляной промыслы, а также торговля с купцами из Кизылбаш (Персии) и Средней Азии. При этом «московские люди еще не чувствовали себя хозяевами нижнего Поволжья» [488]. Известия о бурных политических переменах в Москве доходили до Астрахани с большим опозданием. Астраханцы во главе со своим воеводой окольничим князем Иваном Дмитриевичем Хворостининым, посаженным сюда еще первым «царем Дмитрием», восприняли появление у стен города «царицы» Марины Мнишек не без энтузиазма. Ведь они еще не знали, что в этот момент происходило в Москве, и не успели присягнуть царю Михаилу Федоровичу.

Те немногие документы, которые сохранились от времени астраханского стояния Ивана Заруцкого и Марины Мнишек, были составлены от имени «царя Дмитрия Ивановича», «царицы Марины Юрьевны» и «царевича Ивана Дмитриевича» [489]. А это значит, что астраханцы присягнули именно «царю Дмитрию». С. М. Соловьев даже предположил в этой связи, что «Заруцкий выдавал себя в Астрахани за Димитрия». Конечно, это маловероятно: донские и волжские казаки в округе Астрахани слишком хорошо знали самого Заруцкого. Но тем самым в Астрахани как бы возвращались времена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, о которых хорошо помнили астраханский воевода окольничий Иван Дмитриевич Хворостинин (ему суждено было трагически погибнуть от рук Заруцкого) и ногаи, «шертовавшие» (то есть приносившие присягу) этим самозваным государям. Скорее, Иван Заруцкий убеждал казаков в том, что Дмитрий

Иванович жив и находится в Персии. Во всяком случае, слух об этом достиг Дона уже в сентябре 1613 года.

Парадоксальная догадка С. М. Соловьева имеет под собой еще одно документальное основание. Глава Больших Ногаев бий Иштерек рассказывал в 1617 году, как астраханцы убедили его, что Заруцкий и есть новый государь. Поэтому Иштерек со своими мирзами послал в Астрахань своих сыновей, а казачий предводитель («вор, необрезаник, свинья Заруцкой») взял их в заложники («посадил… в оманаты»). Ранее же Иштерек писал царю Михаилу Федоровичу, что Заруцкий убедил его, будто «Московским государством завладела всеми городами Литва… и мы де пойдем очищать Москву». Позиция ногаев и бия Иштерека была вполне определенной: в условиях Смуты в Московском государстве они прежде всего поддерживали того правителя, который владел Астраханью и контролировал яицких казаков, нападавших на их кочевья [490].

Во время астраханского стояния зимой 1613/14 года Иван Заруцкий действительно не останавливался ни перед какими средствами, чтобы собрать силы для похода на Москву. Только так мог родиться фантастический проект союза с ногаями, который предполагалось скрепить не только присутствием аманатов в Астрахани, но еще и браком Марины Мнишек с одним из высших сановников Большой орды – кековатом (главой одного из двух кочевых ногайских улусов) мурзой Яштереком. Делалось это, видимо, для того, чтобы привлечь поссорившихся друг с другом как раз из-за «кековатства» ногайского князя Иштерека и мурзу Яштерека [491]. Но брак с кековатом! Известно ли было что-нибудь Марине Мнишек о той участи, которую готовил ей Иван Заруцкий?! И как это могло соотноситься со слухами о женитьбе самого Заруцкого на «царице»?!

В контексте взаимоотношений с ногаями следует рассматривать самостоятельные действия Ивана Заруцкого и Марины Мнишек, отправивших с посланником Иваном Хохловым грамоты к персидскому шаху Аббасу I [492]. Как пишет современный исследователь истории Ногайской Орды В. В. Трепавлов, «шах Аббас представлялся Иштереку одним из монархов, под чью опеку можно было перейти после разрыва с Москвой в 1610-х годах. Стороны обменивались посольствами, шли переговоры о браке дочери бия с Аббасом, славшим в степь щедрые подарки» [493]. Таким образом, Иван Заруцкий и Марина Мнишек вторгались своими действиями в интересы не одного Московского государства, но и кочевавших там ногаев, враждовавших между собою иранцев и османов. Можно прибавить к этому осознававших себя не зависимыми ни от кого донских и

волжских казаков, живших особенным бытом в своих городках. Что из такого столкновения интересов разнообразных и разноязычных сил могло последовать в дальнейшем, не вмешайся в события царские войска, трудно представить.

Если Ивану Заруцкому удалось привлечь на свою сторону казаков и ногаев, то с астраханскими жителями он не мог справиться иначе как посредством террора. Подробности известны из царской грамоты, отправленной в Астрахань 18 марта 1614 года, когда шла решительная подготовка к походу против Заруцкого. Грамота была обращена к «дворяном и детем боярским, головам стрелецким, и сотником, и атаманом, и казаком, и стрелцам, и посадским, и всяким служилым людем, и гостем, и всяким астараханским жилецким людем». Призывая астраханцев «отстать» от «Ивашка Заруцкого и от Маринкина злого заводу», им напоминали, что происходило в самой Астрахани по воле Ивана Заруцкого, убившего воеводу окольничего князя Ивана Дмитриевича Хворостинина «и иных многих, с пять сот человек» [494]. Стрелецкого голову Ивана Чуркина «посадили в воду» [495]. Только пытки и казни обеспечивали видимую лояльность жителей Астрахани действиям Ивана Заруцкого, когда в начале декабря, перед Николиным днем, «миру» выслали какую-то грамоту и духовенство вместе с разными людьми должно было прикладывать свои руки к этому документу, даже не зная, о чем идет речь. Астраханцев вынудили согласиться и на запрет раннего благовеста к заутреням, введенный под предлогом того, что этот звон пугает маленького «царевича» Ивана Дмитриевича. На всю жизнь запомнила Марина Мнишек колокольные звоны, которыми начинались московские бунты. По астраханским вестям, полученным 30 марта 1614 года, «Маринка ж деи к завтреням… благовестить и звонить не велела, боится приходу, а говорит деи она от звону деи сын полошается» [496]. Не укрылось от астраханцев и святотатство Ивана Заруцкого, изготовившего себе серебряные стремена из кадила, взятого из Троицкого монастыря.

Среди испуганных террором астраханцев пошли даже слухи, что на Пасху готовится общее побоище всех подозрительных Заруцкому людей от казаков (по другим сведениям, «на Велик день» готовился поход под крепость Терки, чтобы расправиться с тамошним воеводой Петром Головиным). Дело дошло до открытого столкновения, когда в среду на Страстной неделе, то есть 20 апреля, Иван Заруцкий с казаками был осажден астраханцами в Кремле. Не приходится сомневаться, что это стало следствием агитационных грамот, отправленных из Москвы 12 и 18 марта полковыми воеводами царя Михаила Федоровича.

Боярин Иван Никитич Одоевский и окольничий Семен Васильевич Головин обращались со своими призывами к волжским и донским казакам, ногайскому «князю» Иштереку и самим астраханцам.

Главная надежда Ивана Заруцкого была все-таки на казаков и ногаев. Это с ними он пировал всю зиму, готовя будущий поход весною 1614 года вверх по Волге к Самаре. «Знаю я московские наряды, – бахвалился Иван Заруцкий, – покамест люди с Москвы пойдут, я до той поры Самару возьму, да и над Казанью промысл учиню». Этим он привлекал и самую отчаянную вольницу из молодых казаков, заявлявших более благоразумным «товарищам», готовым присягнуть царю Михаилу Федоровичу: «Нам все равно, где бы ни добыть себе зипунов, а то почему нам и под Самарский не идти с Заруцким» [497]. Набрав до 20 тысяч ногаев и 560 казаков, Иван Заруцкий был готов начать военные действия. Правда, конница, посланная Иштереком к Алатырю, где собирались войска московского правительства, тихо разбежалась по дороге, и до цели добралось не более пяти сотен.

Иван Заруцкий явно не учел того, с какой серьезностью отнеслось правительство царя Михаила Федоровича к поимке своего главного врага. В Москве готовы были даже простить Ивана Заруцкого (но не Марину Мнишек с ее «царевичем»!), если он решится «добить челом». С этой целью к Ивану Заруцкому окольными путями, через донских атаманов, специально посылали грамоты от царя, а также Освященного и, возможно, всего Земского собора (в Москве понимали, что любого другого, не казачьего, гонца к этому мятежнику ждала бы незавидная участь). В царской опасной грамоте перечислялись недавние преступления Ивана Заруцкого после того, как он в Первом ополчении дал клятву «полским и литовским людем их неправды мстити и царьствующий град Москву от них очистити». Бывшего предводителя земского ополчения обвиняли в нарушении крестного целования, что он «из-под Москвы побежал и пришед на Коломну пристал еси к прежних воров к жене к Маринке, воеводы Сендомирского дочери, ***от который все зло Росийскому государьству учинилося*** (выделено мной. – В. К.), о чем сам подлинно ведаешь». Иными словами, обвиняя во «всем зле» Марину Мнишек, Заруцкому давали шанс на спасение. «И тое Маринку и сына ее взял с собою, – продолжали внушать Ивану Заруцкому, – и идучи еси Московским государьством, многие наши городы выжег и высек, и невинную крестьянскую многую кровь пролил; а ныне прибежал в нашу отчину в Астрахань, с Маринкою, и будучи в Астрахани потому ж воровским имянем простых людей в смуту приводишь, называешь воровского сына государьским сыном». Еще подробнее о преступлениях Ивана

Заруцкого и Марины Мнишек говорилось в соборной грамоте, направленной в Астрахань в подтверждение желания царя Михаила Федоровича «покрыть вины» казачьего вождя «своим царьским милосердием». Духовенство и представители всех сословий обещали Ивану Заруцкому, что эти вины «николи воспомяновенны не будут» или царь прикажет «над вами своим ратем промышляти». «А то тебе и Маринке подлинно ведомо, – писалось в соборной грамоте 18 марта 1614 года, – и сам ты, и Маринка тут были, как прежней вор ростригa Гришка Отрепьев, на Москве, за свои злые богомерские дела скончался, и как другаго вора, родом жидовина, который был в Тушине и в Колуге, за злые его дела и за богоотступленье князь Петр Урусов убил, голову отсек, ты и Маринка его в Калуге и хоронили; а ныне сызнова в Московском государьстве смуту всчинаешь, в чем тебя твоя совесть обличит…» В грамоте прибегали к самым последним аргументам, показывая, что от Заруцкого в его делах отвернулся Бог: «А Бог тебе терпети за то не учнет, и сам ты то видишь и ведаешь, что нигде Бог неправде твоей не пособствует, а помогает правде, и злой совет твой и умысл обличает, а ты от прежнего своего злого умышленья отстати не хочешь» [498].

В этом и была та правота, которую не успели или не смогли почувствовать в своих затянувшихся скитаниях в Московском государстве Иван Заруцкий и Марина Мнишек: их время безвозвратно ушло, а агония астраханских казней была предвестием их собственной гибели. Вопреки надеждам Ивана Заруцкого, рать на него собралась очень быстро, да еще не одна, а целых две: «судовая» во главе с боярином князем Иваном Никитичем Одоевским и окольничим Семеном Васильевичем Головиным и «конная», «на Алатаре», под началом воевод стольника князя Юрия Яншеевича Сулешева и князя Никиты Петровича Барятинского.

В наказе «как им промышлять над Зарутцким», выданном воеводам, говорилось о том, что в Москве прежде всего хотели защититься от походов из Астрахани к Казани, а также «к украинным городам к Темникову или к Шатцкому… чтоб им промыслом своим и раденьем государевых украинных городов вором и воровским людем воевать не дать и над воры поиск учинить». Последние слова – это явное воспоминание об угрозе Ивана Заруцкого, наступавшего на Шацк и Темников в 1612 году. Но со стороны Астрахани такой поход было совершить много сложнее, чем со стороны Коломны.

Воеводы правительственной армии действовали основательно. Помимо сбора сил они организовали посылку в Астрахань лазутчиков, разведывавших там обо всех делах: «про

Ивашка Зарутпкого и про Маринку и про сына ее, и про астараханских всяких людей; где ныне вор Ивашко Зарутцкой и Маринка с сыном в Астарахани? И будет в Астарахани, и астараханские люди им прямят ли? И будет прямят, и сколько ныне в Астарахани всяких ратных людей всякого ратного бойца и сколько юртовских татар? И что у Ивашка Зарутцкого и у Маринки и у астараханских людей умышленье?» Помимо всего прочего лазутчики должны были разузнать и доставить в Алатырь точные сведения о количестве волжских, терских и яицких атаманов и казаков и о том, кому они «прямят» – царю Михаилу Федоровичу или «Зарутцкому и Маринке». Царские воеводы интересовались внутренними делами и позицией ногаев во главе с Иштереком – «нет ли у него в Астарахань к вору Ивашку Зарутцкому на государя какой ссылки»? «Прикормленные» царскими воеводами посланцы из числа проверенных местных жителей пытались вызнать и про «ссылку» Ивана Заруцкого с «Кизылбаши», то есть с Персией. Одновременно и из московских приказов и от полковых воевод рассылались грамоты, чтобы любым способом заставить людей «отстать» от «Ивашки черкашенина, безверника» и «Маринки люторки еретицы» и перейти на царскую службу [499].

Конец Ивана Заруцкого и Марины Мнишек был предопределен. Терский воевода Петр Головин откликнулся на обращение из Астрахани и не стал дожидаться, пока казаки Ивана Заруцкого расправятся с ним, как с астраханским воеводой. Он послал в Астрахань, «по прошенью астороханъских людей, чтоб их выручил от Ивашка Заруцкова и от воров, что им стало от них не в мочь», отряд из 500 стрельцов и казаков во главе со стрелецким головой Василием Хохловым. Этого оказалось достаточно. Когда служилые люди из Терки подошли к Астрахани, астраханцы уже самостоятельно начали вести военные действия против Заруцкого и осадили его в кремле. Но одно дело держать мирных жителей в страхе под прицелом орудий на крепостной стене, и другое – видеть себя осажденным умелыми воинами. К тому же Василий Хохлов сразу же привел к присяге царю Михаилу Федоровичу главного союзника Ивана Заруцкого – ногайского бия Иштерека. После этого казакам Заруцкого не было смысла отсиживаться за стенами астраханского кремля и дожидаться подхода туда царских «ратей» из Казани и Алатыря. В ночь на 12 мая 1614 года Иван Заруцкий, опять захватив с собою Марину Мнишек и ее сына, а также прикрываясь «аманатами»-заложниками, бежал из Астрахани, намереваясь уйти «морем на Яик» [500].

Сотник Василий Данилович Хохлов «украл» победу над «мятежником» у боярина князя Ивана Никитича Одоевского,

спешно выступившего в Астрахань с Казанской иконой Божьей Матери [501] – той самой, с которой освобождали от поляков Москву. Показательно, что в «Книге сеунчей» нет записи о посылке с победной вестью о последних боях с Заруцким от боярина князя Ивана Никитича Одоевского. Хотя, по сведениям «Карамзинского хронографа», сам сотник Василий Хохлов сначала послал от себя с сеунчем, «что Астрахань государю добила челом». Но потом субординация была соблюдена, и получивший от сотника Василия Хохлова ключи от Астрахани боярин князь Иван Никитич Одоевский уже сам послал этого малоприметного казанского сына боярского в сеунщиках к царю Михаилу Федоровичу. В Москве его приняли и, по обычаю, щедро одарили: «И государь Василья Хохлова за его астраханскую службу и за сеунч пожаловал шубу отлас золотной на соболех, да придачи в четверть пятьдесят рублев» [502].

От Астрахани Заруцкий ушел сначала вверх по Волге и встал «на Нагайской стороне, на Малой Бодце». Рано утром 14 мая войско Заруцкого внезапно возвратилось к Астрахани, чтобы пройти «на Низ», на море. Во время этого прорыва, дорого стоившего и ему, и свите Марины Мнишек, его войско было наголову разбито. Попала в плен даже старая Барбара Казановская («и Варку Козоновскую бабу взяли» [503]).

Дальнейшие события связаны уже с действиями утвердившегося в Астрахани царского воеводы боярина князя Ивана Никитича Одоевского. Узнав об уходе Ивана Заруцкого на Яик, он организовал преследование и 6 июня 1614 года направил вслед за беглецами отряд стрельцов под командованием голов Гордея Пальчикова и Савостьяна Онучина «с литвою и немцы». Им и суждено было поставить точку в истории Марины Мнишек. К этому времени Иван Заруцкий и Марина Мнишек с сыном Иваном уже не были хозяевами своей судьбы, а полностью зависели от атаманов волжских казаков Трени Уса и Верзиги [504]. 24 июня 1614 года правительственные отряды настигли беглецов на Яике, на Медвежьем острове. Через пару дней все было кончено, казачий эскорт разбежался. Уже 5 июля 1614 года Гордей Пальчиков и Савостьян Онучин сообщали в Астрахань о поимке Ивана Заруцкого и Марины Мнишек: «И ведем их к вам в Асторохань связанных с собою вместе» [505]. Привезенных вскоре в Астрахань пленников не смели держать там долго «для смуты и шатости». 13 июля 1614 года боярин князь Иван Никитич Одоевский переправил Заруцкого и Марину Мнишек в Казань под охраной отрядов стрелецких голов Михаила Соловцова и Баима Голчина («Карамзинский хронограф» ошибочно приписал «честь» поимки государевых изменников их действиям). Пленников везли

«скованными», причем в случае какого-нибудь нападения у Соловцова и Голчина был наказ: «Маринку с выбледком и Ивашка Заруцково побить до смерти» [506]. Так, закованных в железо, их и доставили в Москву.

Автор «Нового летописца» так описывал захват Заруцкого и Марины ратными людьми, посланными боярином князем Иваном Никитичем Одоевским: «Они же ево снидоша на Еике на острову и туто ево побиша и Маринку и воренка живых поимаша и многую с ними казну взяша и послаша его к Москве к государю» [507]. И двадцать лет спустя, подавая челобитную о поместье, двоюродный брат стрелецкого головы болховского дворянина Гордея Пальчикова писал о заслугах родственника: «И Гардей тебе, государю, служил и прямил – вора Ивашку Заруцкова и Маринку с сынам взял, и к тебе, государю к Москве привол» [508].

Развязка для Марины Мнишек оказалась ужасной. Еще 12 ноября 1614 года она была жива. Когда принимали персидского посла, в наказ для его встречи записали такие слова: «Ивашка Заруцкого и Маринку с сыном, для обличенья их воровства привезли к Москве, и в животе их волен Бог, да государь. Живот ли им велит дати, или по их злым делом, велит казнити». Что произошло затем? Вся боль последних месяцев первой русской императрицы уместилась в одной летописной строке: «На Москве же тово Заруцково посадиша на кол, а Воренка… повесиша, а Маринка умре на Москве». Автор «Карамзинского хронографа» уточнял, что место казни было «за Москвою рекою» [509]. Арсений Елассонский записал, что Марина Мнишек «спустя несколько дней» после казни сына была предана «неизвестной смерти» [510].

Была ли Марина убита или умерла своей смертью? Правы ли польские авторы, сообщавшие, что ее утопили, «посадили под лед» [511]? В точности неизвестно. Зная порядки того времени, можно предположить, что скорее всего Марине Мнишек помогли умереть, заключив ее в темницу и моря голодом и холодом. А у нее уже не было сил сопротивляться и цепляться за жизнь.

Рассказы о смерти Марины Мнишек в «Маринкиной башне» в Коломне – всего лишь легенда. Зная слепую привязанность московских людей того времени к традиции и прецеденту, можно предположить, что Марина провела свои последние дни в московском Ивановском монастыре – там же, где и другая царица – Мария Петровна, бывшая жена царя Василия Шуйского, насильно постриженная в монахини и отправленная сюда «под начал». В Ивановском монастыре умерла и одна из жен царевича Ивана Ивановича (сына Ивана Грозного) Прасковья Михайловна из рода Соловых. Не случайно и самую большую злодейку следующего, XVIII столетия – ужасную Салтычиху посадят в

какую-то специальную пристройку («застенок») к соборному каменному храму Усекновения главы Иоанна Предтечи, существовавшую и во времена Марины Мнишек [512].

От самой дочери сандомирского воеводы и русской «царицы» в источниках осталась только кинутая вслед мертвому телу злая фраза, озвученная в 1615 году послом в Речь Посполитую Федором Григорьевичем Желябужским (когда-то подданным Марины Мнишек, городовым воеводой калужского «царя Дмитрия Ивановича»): «И Ивашко за свои злые дела и Маринкин сын кажнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла; а государю было и бояром для обличенья ваших неправд надобна она жива». Но ни для кого не была секретом истинная причина смерти Марины Мнишек, больше всего убивавшейся о своем несчастном сыне («с тоски по своем выбледке умерла», – уже не стесняясь, отредактировали наказ следующему гонцу в Речь Посполитую, включив эту ругань в адрес «ворухи» и казненного «воренка») [513].

Этой истории еще раз суждено было мелькнуть во взаимоотношениях Речи Посполитой и Московского государства, когда до Москвы дошли слухи о чудесно спасшемся сыне Марины Мнишек, якобы жившем на дворе литовского канцлера. Но «дело» Ивана Лубы (так звали несчастного малого), хотя и было серьезно воспринято дипломатами царя Михаила Федоровича в 1640-х годах, не имело никаких реальных последствий. Повторения истории с самозваным московским «царевичем» не случилось. [514]

Голландский поэт Элиас Геркман, собирая свидетельства современников, описал в 1625 году страшную сцену казни малолетнего сына Марины Мнишек: «Затем публично повесили Димитриева сына, которому было около 7 лет (на самом деле всего около четырех. – В. К.). Многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место казни]. Так как в это время была метель и снег бил мальчика по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: “Куда вы несете меня?”… Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из мочал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел и полуживого ребенка оставили умирать на виселице».

История «царевича» Дмитрия, когда-то казавшаяся канцлеру Яну Замойскому списанной из комедии Теренция или Плавта,

завершалась, на взгляд других современников, сюжетом, достойным древнегреческой трагедии. Архиепископ Арсений Елассонский писал о «царице Марии», что она «и послужила причиною всех бед, как некогда Елена для великого города Трои». Элиас Геркман, говоря о казни сына Марины Мнишек «царевича» Ивана Дмитриевича и о ее судьбе в Московском государстве, вспомнил стихи Еврипида:

> Во мне возбуждает тоску страдание матери,
> но еще более во мне возбуждают тоску страдания
> матерей гречанок, на несчастие которых он бы вырос [515].

Несчастьем было то, что Марина Мнишек оказалась не мифической героиней времен покорения Трои, а реальным историческим лицом. Русские источники называют ее главной причиной всего того зла, которое произошло в Русском государстве за годы Смуты. Но можно и по-другому взглянуть на нее – как на жертву обстоятельств. Своей трагичной судьбой она если и не отменила сделанных ею ошибок, то во всяком случае искупила их.

Эпилог

Марина Мнишек осталась в русской истории одной из тех героинь, чье имя через века обладает притягательностью тайны и неразгаданностью судьбы. Отсюда мифология, сопутствующая уже не имени, а понятию – «Маринка»; мифология, многократно усиленная драматическими и оперными версиями пушкинского «Бориса Годунова». Везде, где она побывала или даже где только могла побывать – в Москве, Ярославле, Пскове, Калуге, Коломне, Астрахани, – есть свои достопримечательности, свои «дома Марины Мнишек». Но к кому они имеют больше отношения – к судьбе ли несчастной иностранки, вовлеченной в вихрь жестокой русской Смуты, или к особенностям национального восприятия истории?

В глухую осеннюю пору, где-то в начале 1990-х годов, я приехал в Коломну ради того, чтобы разыскать и увидеть знаменитую «Маринкину башню». Завороженному легендами об этой башне, ставшей «тюрьмой» Марины Мнишек в Коломенском кремле, мне хотелось самому увидеть узкие бойницы, через которые когда-то могла в последний раз видеть белый свет «Маринка», жена Вора и мать «Воренка». Узнать, откуда она «выпорхнула» сорокой, пугая коломчан и весь русский свет своей несуразной, колдовской судьбой. Башню я разыскал по старой фотографии, помещенной в дореволюционном издании биографии Марины Мнишек. Величественный и загадочный силуэт ее остался не поколеблен временем. Но меня интересовало, что там, внутри… Сегодня трудно поверить, насколько легко и просто – при желании, конечно, – можно было тогда осматривать «достопримечательности», представлявшие сплошную «мерзость запустения». Я оказался на территории детских игр, среди разбросанных досок, кирпича и хлама, заполнявшего эту башню внутри. Встретив двух ребят, я разговорился с ними и захотел узнать, что они знают о Марине Мнишек. Ответ одного из мальчишек, побойчее, удивил меня причудливостью детского восприятия истории. Он, с той непередаваемой радостью, когда ученик точно знает ответ, вспомнил: «А, да, это была украинская царица». Так вместо легенды остался ответ этого юного современника новейшей истории России, по-своему связавшего с «Маринкиной башней» поляков и казаков, Московское царство и саму Марину Мнишек [516].

Ей не повезло не только в русской, но и в польской историографии. Достаточно вспомнить приведенные в книге

основанные на солдатских байках обвинения историка середины XVII века Кобержицкого или упреки профессора Александра Гиршберга, обвинявшего дочь Мнишков в безмерной гордыне и честолюбии. Менее заметны на этом фоне попытки действительно разобраться, что же происходило с Мариной Мнишек «от Самбора до Астрахани». Уже говорилось о том, что отец Павел Пирлинг оказался едва ли не единственным, кто увидел в Марине живой человеческий характер, а не средоточие всех пороков. «Надо заметить, – размышлял он, – что история была столь же беспощадна к Марине, как и сама действительность. Как польские, так и русские писатели осыпали ее самыми тяжкими обвинениями. В глазах этих судей детище самборских бернардинцев оказывается существом без стыда и совести. Самый патриотизм Марины подвергается сомнению. Зато ей приписывается необузданное честолюбие, готовое на всевозможные жертвы во имя миража царской власти, предназначенной ее сыну…» Нет, отец Павел Пирлинг вовсе не пытается идеализировать ее: «Говоря по правде, действия Марины свидетельствуют скорее против нее, нежели в ее пользу. Так ясно мы представляем себе эту наездницу в мужском платье, со свитой из лихих казаков. Героиня больших дорог, она бешено скачет, собирая вокруг себя темных искателей приключений…» Но он задает главные вопросы, которые хотелось бы адресовать и читателям этой книги: **«Но кто скажет, в какой мере Марина была свободна или, напротив, связана чужой волей в своих поступках? Являлась ли она жертвой собственных страстей или же ее просто подхватил и унес вихрь событий?»** [517]

Вот в чем, наверное, ключ к пониманию судеб «царевича» Дмитрия и Марины Мнишек. Вместе они привнесли в русскую историю совсем другое, страстное, отношение к переживаниям вокруг выбора царских избранниц. Какими пресными на их фоне выглядят все семь знаменитых браков царя Ивана Грозного! Хотя, конечно, как и для многого другого в истории России Нового времени, путь был показан именно этим самодержцем. Вспомним: поведение Федора Писемского, отправленного послом к британской королеве в 1582-1583 годах в связи с предполагаемым сватовством царя к леди Мэри Гастингс, оставило такое же впечатление, как и раболепное по отношению к Марине Мнишек (даже имена невест созвучны!) поведение посла Афанасия Власьева два десятилетия спустя.

Английский купец и дипломат Джером Горсей описывал представление посла Федора Писемского леди Мэри Гастингс: «Посол… поклонился, пал ниц к ее ногам, затем поднялся, отбежал назад, не поворачиваясь спиной, что очень удивило ее и

всех ее спутников. Потом он сказал через переводчика, что для него достаточно лишь взглянуть на этого ангела, который, он надеется, станет супругой его господина, он хвалил ее ангельскую наружность, сложение и необыкновенную красоту. Впоследствии ее близкие друзья при дворе прозвали ее царицей Московии». Сам посол Федор Писемский так передавал Ивану Грозному свое впечатление об увиденной им будущей царице: «Ростом высока, тонка, лицом бела, очи серы, волосом руса, нос прям, у рук пальцы тонки и долги» [518]. Да, это, конечно, не сонет Шекспира. Похоже на описание холопа в кабальной записи, но таковы были тогдашние представления русских людей о женской красоте. Они были готовы принять «царицу» или «царевича» из других государств, в которых никогда не бывали их цари. Но не Мэри Гастингс, а Марине Мнишек досталась печальная слава первой коронованной «царицы Московии» из иноземок. И вместе с ее приездом в Москву открылась неготовность москвичей мириться с вторжением чужого, иноземного опыта в уклад частной жизни русских царей, с тем, что иностранная «царица» посмеет остаться самой собой, не станет менять свое европейское платье и вести себя, как все прежние русские государыни.

До Марины Мнишек у женщины на русском троне могла существовать только одна добродетель – рождение наследника престола. Соединить, как это сделала она, освященную высокими религиозными идеалами истовость в движении к своей цели с земными страстями казалось кощунственным. Только католичка из Речи Посполитой смогла показать русскому царскому двору, верящему в колдовские наговоры, как может церемония бракосочетания сочетаться с куртуазностью.

Марине не простили ее свободы, разрушавшей домашние устои жителей Московского государства. Оказалось, что «царевич», уговоривший в Речи Посполитой ее отца, сандомирского воеводу Юрия Мнишка, дать согласие на брак, не сумел объяснить своей невесте того, что ждали от нее в чужой стране. Да и сам он смог до конца понять это, только воцарившись в Москве. Отсюда его известные распоряжения о наблюдении за поведением Марины Мнишек после заочного венчания в Кракове («волосов бы не наряжала… не ела ни с кем, толко особно»). В столице царю Дмитрию Ивановичу уже не было дано времени, чтобы исподволь приучать своих подданных к мысли о том, что православная царица не обязана следовать веками заведенному ритуалу еще великокняжеских свадеб, где невесте отведена роль неподвижного истукана со скрытым покровом лицом. Своим гостям из Речи Посполитой ему хотелось показать, что и русская царица теперь может быть общим

предметом восхищения и хозяйкой бала. Самозваный «царь Дмитрий» не отличался терпением и тактом – впрочем, как и более поздний поклонник «вестернизации» страны, тоже не смутившийся браком с иноземкой, царь Петр Великий. Но легко было появиться русской императрице Екатерине I через сто с лишним лет после того, как была уже императрица Мария I (Марина Мнишек).

Нетерпение «императора» Дмитрия, решительно порывавшего со смешными, но дорогими москвичам обычаями родной старины во время свадьбы с Мариной Мнишек, стоило в итоге жизни «царю» и сломало судьбу «царицы». И только пройдя через опыт ссылки и тяжелые сцены Тушинского лагеря, Марина окончательно убедилась в том, что если она хочет быть русской царицей, то ей нужно подчиниться представлениям и верованиям этой страны. Ее выбор 1610 года в пользу ухода в Калугу ко второму Лжедмитрию показал готовность новой царской четы следовать порядкам «прежних государей». Главным шагом на этом пути стало крещение сына калужского «царя Дмитрия» и Марины Мнишек по греческому обряду (известия об этом дошли даже до Рима). Но было уже поздно. И пока «царица» Марина Мнишек пребывала в уверенности, что дважды присягавший ей народ, короновавший ее в своей главной святыне – Успенском соборе, останется верным и преданным ей, появились другие, более сильные претенденты на царский трон, не считавшиеся ни с ее претензиями, ни с ее сыном.

В России к концу Смутного времени все беды связывали с иноземным нашествием. Марина, первой пришедшая из Речи Посполитой, более всех вызывала ненависть. Ее соотечественники тоже прошли своеобразную эволюцию: когда-то они восхищались и завидовали ее судьбе, потом защищали «царицу» в Москве и воевали во имя освобождения дочери сандомирского воеводы из русского плена, а еще позже были готовы разменять ее в Тушине на деньги самозванца или короля.

Сама Марина никого не казнила и не грабила. Даже наоборот, спасала от гибели. Она много размышляла о своем долге (как она его понимала) и следовала внушенным ей с детства христианским добродетелям. Ненависть к ней современников и потомков во многом несправедлива. Эта ненависть основана не на ее личных качествах, а на чем-то другом – на неприятии чужой гордыни, на нарушении привычных устоев. Но все ее преступления лишь воображаемые, а упреки в недостойном поведении не выдерживают критики. Ей нечего приписать, кроме того, что она попыталась занять место в русской истории.

От Самбора до Калуги ее путь прослеживается лишь пунктиром. О дороге же от Коломны до Астрахани можно с уверенностью сказать только одно: это было падение. Вообще, весь ее путь, так ярко начинавшийся в Кракове в обществе короля Сигизмунда III, королевны Анны, канцлера Льва Сапеги, нунция Клавдия Рангони и кардинала Бернарда Мацеевского, напутствовавших ее перед отъездом в Москву, завершался ужасно и поучительно в астраханских степях в окружении каких-то Трени Уса, Верзиги, Истомы Железное Копыто, Борова и Лысого – атаманов волжских казаков. Она пала в самую бездну, в пучину. В этот момент она и ведет себя как загнанный человек, не сдерживая эмоций: рвет зубами на клочки грамоты, запрещает ненавистный колокольный звон, в котором ей чудится всполох московского бунта 17 мая 1606 года, убившего ее надежды. Все, что придумывала себе Марина Мнишек о России и о себе как русской «царице», разбилось о непонимание традиционного в своих основаниях московского общества. Слишком рано она пришла в русскую жизнь, слишком экзотическим цветком оказалась в ней. Поистине «розой в снегах».

Не случайно спустя столетия возникнет перекличка с ее судьбой у ее тезки и «наследницы» по линии страшной ломки судьбы – Марины Цветаевой. «Если бы я писала ее историю, – говорила она, -…то написала бы себя – любящую и себя – мать». Ничего подобного о любой другой русской царице XVII века сказать невозможно.

Очутившись в России, Марина Мнишек пропала, непонятая и отторгнутая людьми и временем. Только в облике колдуньи она стала близкой и понятной своему новому народу, и он тут же заточил ее навеки в Коломенскую башню. Но осталось присутствие Марины Мнишек в русской истории, осталось связанное с нею чувство пережитой трагедии Смуты. В «Позднем ответе» Анны Ахматовой, побывавшей рядом с «Маринкиной башней» в Коломне (с думой о той и другой Марине), для судьбы нашей героини найден более подходящий образ: пугливого пересмешника, а не наглой сороки из народных песен:

Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни
«Я сегодня вернулась домой
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной

Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом». [519]

В том-то и состоит прелесть уроков истории, которые никому не хочется учить, что ничего в нашей жизни не пропадает и все связаны со всеми. Далекая история далекого века продолжает манить и притягивать, и нам самим себе не объяснить почему. И даже когда мы вскользь, ненароком, пролистываем историю Марины Мнишек, не надеясь узнать ничего нового о ней, давно уже прописанной по разряду исторических злодеек, она вдруг напомнит о себе шелестом крыльев пролетающей птицы.

Основные даты жизни Марины Мнишек

1588/89 - Марина родилась в семье сандомирского воеводы Юрия Мнишка и Ядвиги, урожденной Тарло.

1604, 25 мая – заключен брачный договор в Самборе о женитьбе московского царевича Дмитрия Ивановича, по достижении им московского престола, на Марине Мнишек.

1605, 21 июля – коронация царя Дмитрия Ивановича в Москве.

9 ноября – приезд в Краков московского посла Афанасия Власьева.

18 ноября – Афанасий Власьев передает устную просьбу царя Дмитрия Ивановича королю Сигизмунду III о разрешении на брак с Мариной Мнишек.

19 ноября – приезд Марины Мнишек в Краков.

22 ноября обручение (свадьба) царицы Марины Мнишек per procura (по доверенности) с царем Дмитрием Ивановичем в Кракове.

Ноябрь – инструкции царя Дмитрия Ивановича, выданные секретарю Яну Бучинскому, о порядке обращения с царицей Мариной Мнишек после обручения и о церемониале ее встречи в Московском государстве.

2 декабря – отъезд царицы Марины Мнишек из Кракова в Прондик.

1606, 21 января-11 февраля – переезд царицы Марины Мнишек из Прондика в Самбор.

22 февраля – приезд в Самбор посла Афанасия Власьева, передавшего упреки царя Дмитрия Ивановича в связи с задержкой отъезда Марины Мнишек в Москву.

2 марта – отъезд царицы Марины Мнишек вместе с отцом Юрием Мнишком и свитой из Самбора в Москву в сопровождении посла Афанасия Власьева.

3 (18) апреля – встреча царицы Марины Мнишек на границе Московского государства и Речи Посполитой.

2 (12) мая – торжественный въезд царицы Марины Мнишек в Москву.

8 (18) мая – коронация царицы Марины Мнишек в Успенском соборе в Кремле патриархом Игнатием, свадьба с царем Дмитрием Ивановичем.

1 (27) мая – восстание в Москве против самозваного «царя Дмитрия Ивановича», захват в плен царицы Марины Мнишек и ее

отца вместе с другими родственниками.

12 (29) мая – избрание царем князя Василия Ивановича Шуйского.

23 мая (2 июня) – лишение царицы Марины Мнишек ее привилегий и имущества, перевод на двор сандомирского воеводы Юрия Мнишка (бывший двор Бориса Годунова).

18 июня (8 июля) – перевод Мнишков на двор Афанасия Власьева, отправленного в опалу.

10 (20) июля – объявление сандомирскому воеводе Юрию Мнишку и Марине Мнишек об отсылке их в Ярославль.

12 (26) июля – 25 августа (4 сентября) – воевода Юрий Мнишек, Марина Мнишек и их свита в составе 375 человек переезжают из Москвы в Ярославль.

1606, 25 августа (4 сентября) – 1608, 15 (25) мая – пребывание Марины Мнишек с отцом и свитой в ссылке в Ярославле.

1608, 15 июля – заключение перемирия с Речью Посполитой, отпуск Марины Мнишек с отцом сандомирским воеводой Юрием Мнишком на родину.

23 июля (2 августа) – выезд Марины Мнишек из Москвы.

16 (26) августа – переход воеводы Юрия Мнишка и посла Николая Олесницкого под охрану отряда, присланного Лжедмитрием II.

19 (29) августа – встреча Марины Мнишек с гетманом Яном Сапегой, смотр его войска.

17 (31) августа – переход Марины Мнишек из Царева Займища в Тушино.

6(16) сентября – первая встреча Марины Мнишек с Лжедмитрием II.

1 (20) сентября – предполагаемая присяга тушинского воинства Марине Мнишек.

1609, 7 (17) января – огьезд сандомирского воеводы Юрия Мнишка из Тушина на родину.

Январь, 23 марта, 10 августа – даты сохранившихся писем Марины Мнишек отцу.

19 (29) сентября - прибытие короля Сигизмунда III с войском под Смоленск.

Ноябрь-декабрь – переговоры тушинского воинства с королем Сигизмундом III об условиях перехода к нему на службу и дальнейшей судьбе Лжедмитрия II и Марины Мнишек.

27 декабря (6 января 1610) – бегство Лжедмитрия II из Тушина.

1610, 15 января – письмо Марины Мнишек королю Сигизмунду III с просьбой о помощи.

13 (23) февраля – отъезд Марины Мнишек из Тушина в Дмитров к гетману Яну Сапеге.

25 февраля (7 марта) – отъезд Марины Мнишек из Дмитрова, через Иосифо-Волоколамский монастырь, в Калугу.

Не позднее 16 (26) апреля – венчание Марины Мнишек и Лжедмитрия II в Калуге.

Конец августа – начало сентября – пребывание Марины Мнишек в Николо-Угрешском монастыре под Москвой, возвращение в Калугу после присяги московских бояр польскому королевичу Владиславу.

2 (21) декабря – убийство Лжедмитрия II в Калуге.

1611, январь – рождение сына, «царевича» Ивана Дмитриевича.

1611, март – 1612, июль – пребывание в Коломне во время действий под Москвой сил Первого ополчения и казачьих «таборов» Ивана Заруцкого.

1612, конец июля – начало августа – уход с Иваном Заруцким из Коломны.

1612/13, зима – стояние в Михайлове и Епифани.

1613, 21 февраля – избрание Земским собором на царство царя Михаила Федоровича Романова.

10 апреля – поход Ивана Заруцкого и Марины Мнишек на Дедилов и Крапивну.

19 июня – 3 июля – бои правительственной рати князя Ивана Никитича Одоевского с отрядом Ивана Заруцкого под Воронежем.

1613, август 1613 – 1614, 2 мая – пребывание Марины Мнишек с сыном «царевичем» Иваном Дмитриевичем под охраной казаков Ивана Заруцкого в Астрахани.

1614, 12 мая – бегство из Астрахани на Яик.

24-26 июня – поимка Ивана Заруцкого и Марины Мнишек на Медвежьем острове на Яике.

Июль-август – пленных Ивана Заруцкого и Марину с сыном перевозят из Астрахани через Казань в Москву.

Конец года – казнь Ивана Заруцкого и «царевича» Ивана Дмитриевича.

1611, конец года – 1615, начало года – смерть Марины Мнишек в заключении.

notes

Примечания

1

[1] Сказания современников о Димитрии самозванце Ч 4 Дневник Марины Мнишек и послов польских СПб, 1834.

2

[2] Niemcewicz J. V. Dzieje panowama Zygmunta III Wroclaw, 1836 T 2.

3

[3] Хмыров М Марина Мнишек СПб, 1862, Костомаров Н. И. Марина Мнишек – В кн Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей СПб, 1874 Отд 1 Вып 3 С 633-661.

4

[4] См напр, одну из первых биографий Марины Мнишек, написанную классиком польской историографии профессором Юзефом Шуйским Szujski J. Maryna Mniszchowna i obaj samozwance // Dziela Jozefa Szujskiego W Krakowie 1885 Ser 11 T 5 S 219-297.

5

[5] Гиршберг А Марина Мнишек / Русский перевод с предисл А Титова М, 1908 Hirschberg A. Maryna Mmszchowna Lwow, 1927.

6

[6] Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время) М, 1937.

7

[7] Пирлинг П. Димитрий Самозванец М, 1912.

8

[8] Синюхаев Г. Т. Башня Марины Мнишек//Русская старина 1903 Т 3 С 635-639 См также прибавление о Павла Пирлинга Русская старина 1903 Т 4 С 272.

9

[9] Линдеман И К Маринкина башня в Коломне и вопрос о смерти Марины Мнишек М, 1910.

10

[10] Булгакова Е. И. Марина Мнишек, или От царского дворца до мрачного подземелья М, 1913.

11

[11] Сандомирский М. Марина Мнишек Стихи / Предисл Арсения Альвинга М, 1914.

12

[12] См Дракохруст Е. И. Иконографические источники, освещающие польскую интервенцию начала XVII века //Труды ГИМ М, 1941 Вып 14 С 29-72, Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606-1607 М, 1951, Маковский Д. П. Первая крестьянская война в России Смоленск, 1967.

13

[13] Ульяновский В И Мнишки Указатель архивных материалов и библиографии Киев, 1989, Он же Россия в начале Смуты очерки социально-политической истории и источниковедения Киев, 1993, Он же Российские самозванцы Лжедмитрий I Киев, 1993, Тюменцев И О Смута в России в начале XVII столетия движение Лжедмитрия II Волгоград, 1999, Тюменцев И. О., Тюменцева Н. Е. Русский архив гетмана Яна Сапеги 1606-1611 гг Опыт реконструкции (в печати).

14

[14] Лаврентьев А В Царевич – царь – цесарь Лжедмитрий I, его государственные печати, наградные знаки и медали 1604-1606 гг СПб, 2001, Успенский Б. А. Свадьба Лжедмитрия// Он же Этюды о русской истории СПб, 2002 С 197-228, Флоря Б. Н. Русское общество и Смутное время//Исторические записки Вып 6 (124) 2003 С 17-38.

[15] Dziegielewski J Maryna Mniszchowna // Polski Slownik Biograficzny 1975 T 20/1 S 111-114.

16

[16] Бородин Л. Царица Смуты // Москва 1996 N° 5 Еще одна писательская биография Марины Мнишек принадлежит перу Н. М. Молевой (Молева Н. Марина Мнишек М, 2001) В самое недавнее время и совсем неожиданно Марина Мнишек стала одной из героинь "Детской книги" – нового литературного проекта Бориса Акунина.

17

[17] Пирлинг П. Димитрий Самозванец С 455.

18

[18] Polski Slownik Biograficzny. 1975. T. XX/I; 1976. T. XXI/3; Мнишки: Указатель архивных материалов и библиографии / Сост. В. И. Ульяновский. Киев, 1989. С. 127-136.

19

[19] Гиршберг А. Марина Мнишек. М., 1908. С. 5.

[20] Пирлинг П. Димитрий Самозванец. М., 1912. С. 78.

21

[21] См.: Hirschberg A. Dymitr Samozwaniec. Lwow, 1898; Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия //Собрание сочинений Н. И. Костомарова. СПб., 1904. Кн. 2. Т. 4. С. 52-55; Пирлинг П. Димитрий Самозванец… С. 70-72; Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. Л., 1985. С. 113-115, 150-151; Он же. Самозванцы в России в начале XVII столетия. Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1987. С. 35-37; Ульяновский В. И. Российские самозванцы. Лжедмитрий I. Киев, 1993; Czerska D. Dymitr Samozwaniec. Wroclaw, 1995. S. 20-25; Andrusiewicz A. Dzieje wielkiej smuty. Katowice, 1999.

22

[22] Костомаров Н. И. Кто был первый Лжедмитрий? Историческое исследование. СПб., 1864; Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 4. История России с древнейших времен. Т. 7-8. М., 1989. С. 678-680.

23

[23] Пирлинг П. Димитрий Самозванец. С. 485-488; см. также: Голубцов И. А. "Измена" смольнян при Борисе Годунове и "Извет" Варлаама// Ученые записки Института истории РАНИОН. 1928, Т. 5. С. 240-241.

24

[24] Новый летописец // Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 14. С. 59.

25

[25] Памятники дипломатических сношений Московского государства с польско-литовским государством. Т. 4 (1598-1608) / Изд. С. А. Белокурова // Сборник Русского исторического общества (далее – Сб. РИО). М., 1912. Т. 137. С. 58-73.

26

[26] См.: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук (далее – ААЭ). СПб., 1836. Т. 2. № 64. С. 141-144.

27

[27] См.: Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба… С. 103; Лжедмитрий I и Украина: Указатель архивных источников и материалов / Сост. В. И. Ульяновский. Киев, 1990. С. 7-9.

[28] Новый летописец. С. 59-60.

29

[29] Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 гг.). М., 1907. С. 1.

30

[30] См.: Ульяновский В. И. Россия в начале Смуты: очерки социально-политической истории и источниковедения. Киев, 1993. Ч. 1. С. 64-105.

31

[31] Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Вып. 3. С. 610.

32

[32] Сб. РИО. Т. 137. С. 176.

[33] ААЭ. Т. 2. № 64. С. 143.

34

[34] См.: Пирлинг П. Димитрий Самозванец. С. 63-64; Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба… С. 150.

35

[35] Цит. по: Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба… С. 155.

36

[36] Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею (далее – РИБ). СПб., 1872. Т. 1. Стб. 16.

37

[37] Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета (далее – Записки капитана Маржерета). М., 1982. С. 203; Записки Станислава Немоевского (1606-1608) // Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. М., 1907. Вып. 6. Отд. 2. С. 118. С этими описаниями можно сравнить нелицеприятный портрет, сохранившийся в "Повести князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского: "Рострига же возрастом (ростом. – В. К.) мал, груди имея широкы, мышцы толсты; лице же свое имея не царсково достояния, препростое обличие имея, и все тело его велми помраченно…" (РИБ. СПб., 1909. Т. 13. Стб. 621-622).

[38] Пирлинг П. Димитрий Самозванец. С. 83-85.

39

[39] Пташицкий Ст. Л. Письмо первого самозванца к папе Клименту VIII от 24 апреля 1604. СПб., 1899.

[40] Сб. РИО. М., 1912. Т. 137. С. 200.

41

[41] Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 149. "Дела о самозванцах". Содержание архива раскрыто также в указателе В. И. Ульяновского: Мнишки… С. 25-32.

42

[42] Жупа – округ, жупник – старшина, начальник округа.

43

[43] Собрание государственных грамот и договоров (далее – СГГиД). Т. 2. № 76. С. 159-162.

[44] ААЭ. Т. 2. № 64. С. 144.

[45] Ульяновский В. И. Россия в начале Смуты… С. 83.

46

[46] Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. СПб., 1871. Прил. № 10. Стб. 23-24.

47

[47] См.: Акты Западной России. СПб., 1851. Т. 4. № 161. С. 248; Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба… С. 168-169; Ульяновский В. И. Россия в начале Смуты… С. 84-85.

48

[48] РИБ. Т. 1. Стб. 367.

49

[49] Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве… М., 1937. С. 191.

[50] Белокуров С. А. Разрядные записи… С. 2.

51

[51] РИБ. Т. 1. Стб. 39-40.

52

[52] Ульяновский В. И. Россия в начале Смутного времени… С. 91-92.

53

[53] Александренко В. Н. Материалы по смутному времени на Руси // Старина и новизна. 1911. Т. 14. С. 390-392; Пирлинг П. Димитрий Самозванец… С. 172-201, 254-260.

[54] СГГиД. Ч. 2. № 87-88. С. 196-199.

55

[55] Новый летописец. С. 65; Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты… С. 217.

[56] РИБ. Т. 13. С. 47, 577.

57

[57] См.: СГГиД. Ч. 2. № 112. С. 243; РИБ. Т. 13. Стб. 578-579; Варенцова Л. Ю. Царевна Ксения Годунова // Вопросы истории. 2005. № 1. С. 131 – 136. См. также: Разрядная книга 1475-1605. Т. 4. Ч. 2. М., 2003. С. 98.

[58] Сб. РИО. Т. 137. С. 183-192.

59

[59] См.: Ульяновский В. И. Царское венчание Лжедмитрия I: между Западом и Востоком? // Россия XV-XVIII столетий. Сб. научных статей. Юбилейное издание. Волгоград, 2001. С. 76-92.

[60] СГГиД. Т. 2. № 95. С. 212-213.

61

[61] Лаврентьев А. В. Царевич – царь – цесарь. Лжедмитрий I, его государственные печати, наградные знаки и медали. 1604-1606 гг. СПб., 2001. С. 105-108.

[62] СГГиД. Т. 2. № 105. С. 228-229.

[63] См.: Пирлинг П. Димитрий Самозванец… С. 284-290.

[64] См.: Успенский Б. А. Свадьба Лжедмитрия // Он же. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 197-228.

65

[65] СГГиД. Т. 2. № 105. С. 229.

66

[66] РИБ Т 1 Стб 48-50.

[67] Czerska D Dymitr Samozwamec S 134-135.

68

[68] РИБ Т 1 Стб 51-72.

69

[69] [Чиямпи С.] Критический разбор неизданных документов, относящихся до истории Димитрия // Архив исторических и практических сведений, относящихся до России СПб, 1860 Кн I С 458-460.

70

[70] «Пришел Создатель» *(лат.)*.

71

[71] Эта, почти протокольная, запись ответов русского посла сохранилась в современных польских рукописях и, несомненно, достоверно отражает детали поведения посла Афанасия Власьева на церемонии краковского венчания РИБ Т I Стб 57-58.

72

[72] Там же Стб 60 В современных польских описаниях содержались даже иллюстрации в виде схематических рисунков, объяснявшие, кто с какой стороны сидел за столом См подобную иллюстрацию из рукописи № 102 (л 294) Библиотеки Ягеллонского университета в Кракове См также Hirshberg A Polska a Moskwa S 16-17.

73

[73] РИБ Т 1 Стб 60-69.

[74] Дневник Марины Мнишек С 32.

75

[75] Записки гетмана Жолкевского Прил 44 С 134-140.

[76] Дневник Марины Мнишек С 32.

77

[77] [Чиямпи С.] Критический разбор С 458-460.

[78] Лаврентьев А В Царевич – царь – цесарь С 98-100.

[79] СПГиД Ч 2 № 110 С 237-238.

80

[80] Дневник Марины Мнишек С 33.

81

[81] СГГиД Ч 2 № 112 С 243-244.

[82] Там же № 113 С 247.

83

[83] Записки гетмана Жолкевского С 10. Этот сюжет возникал также позднее в дипломатических спорах между представителями двух стран.

[84] СГГиД № 117 С 252-253.

[85] Там же № 120 С 257.

86

[86] Там же № 122 С 263 В опубликованном переводе сказано «радость украсити хочет».

87

[87] Записки гетмана Жолкевского Прил С 122-134, Пирлинг П. Мнишки и Бернардины – В кн Пирлинг П. Из Смутного времени Статьи и заметки СПб, 1902 С 39-53.

88

[88] Дневник Марины Мнишек С 34.

[89] Там же С 34-35.

[90] Там же № 129 С 278-279.

[91] Там же № 129 С 278-279.

[92] Там же № 131 С 281-282.

93

[93] Записки гетмана Жолкевского Прил С 144.

[94] СГГиД Ч 2 № 133 С 284.

95

[95] См. Дневник Марины Мнишек С 35.

[96] СПГиД Ч 2 № 132 С 282-283.

97

[97] Записки гетмана Жолкевского Прил С 144-149.

98

[98] Дневник Марины Мнишек С 36, Записки Станислава Немоевского С 19.

99

[99] См Дневник Марины Мнишек С 35-37, Записки Станислава Немоевского С 20-26.

100

[100] Дневник Марины Мнишек С 37.

101

[101] Там же С 37-38, Записки Станислава Немоевского С 27-28.

102

[102] Дневник Марины Мнишек С 39.

103

[103] Там же С 40-44, Записки Станислава Немоевского.

104

[104] См недавно осуществленное Я Былиньским научное издание отчета послов Н. Олесницкого и А. Госевского – важнейшего памятника, свидетельствующего об обстоятельствах приезда Марины Мнишек в Москву, ее коронации и последовавших затем событиях Poselstwo od Zygmunta III, krola polskiego, do Dymitra Iwanowicza, cara moskiewskiego (Samozwanca), z okazyi jego zaslubin z Maryna Mmszchowna (далее – Poselstwo od Zygmunta III) / Opracowal 1 wstepem pern poprzedzil Janusz Byhnski Wroclaw, 2002.

105

[105] Записки капитана Маржерета С 200.

106

[106] Записки гетмана Жолкевского С 150-151, Пирлинг П. Димитрий Самозванец С 342-343.

107

[107] См. Масса И. Краткое известие о Московии С 108-110, Устрялов Н. Г. Сказания современников о Димитрии Самозванце СПб, 1834. Ч 4 С 110-157.

108

[108] Сб РИО Т 137 С 610, Записки Станислава Немоевского С 33-34.

109

[109] Дневник Марины Мнишек С 46-47 См также Стадницкий М. История Димитрия, царя московского и Марины Мнишек, дочери Сендомирского воеводы, царицы московской // Русский архив 1906 № 10 С 129-174.

110

[110] См. Дневник Марины Мнишек С 47-52, Poselstwo od Zygmun ta III S 62-66.

111

[111] Дневник Марины Мнишек С 52, Записки капитана Маржерета С 201.

112

[112] Успенский Б А Свадьба Лжедмитрия С 197-228.

113

[113] Poselstwo od Zygmunta III S 29-31, Записки Станислава Немоевского С 57.

114

[114] СГГиД Т 2 № 138 С 291.

115

[115] Записки Станислава Немоевского С 56-60.

116

[116] Записки гетмана Жолкевского С 169.

117

[117] От польского majestat – величество.

118

[118] СГГиД Т 2 № 138 С 291-293.

119

[119] Аксиос (гр.) – достойный; песнопение, подтверждающее согласие с достоинством рукоположенного в священническом, архиерейском и царском чине.

120

[120] Арсений Елассонский Мемуары из русской истории // Хроники Смутного времени М, 1998 С 181-182.

121

[121] Успенский Б А Царь и патриарх Харизма власти в России (византийская модель и ее русское переосмысление) М, 1998 С 136-143, Ульяновский В И Царское венчание Лжедмитрия I С 76-92.

122

[122] ААЭ Т 2 № 58 С 129, Новый летописец С 68.

123

[123] Записки капитана Маржерета С 201.

124

[124] Записки Станислава Немоевского С 56-60.

125

[125] Записки капитана Маржерета С 198.

126

[126] Буссов К. Московская хроника // Хроники Смутного времени М, 1998 С 60.

3 Масса И. Краткое известие о Московии // О начале войн и смут в Московии М, 1997 С 113.

128

[127] Цит по Крестьянская война и польско-шведская интервенция в начале XVII века Материалы и документы М, 1939 С 50-51.

[128] Буссов К Московская хроника С 60.

[129] Дневник Марины Мнишек С 53.

[130] Масса И. Краткое известие о Московии С 114.

[131] См Wolff J Kmazowie htewsko-ruscy od konca cztemastego wieku Warszawa, 1895, Chrzanowska P Katalog portretow ksiazat Sanguszkow w zbiorach Museum Okiagowego w Tamowie Tamow, 1994 № 7 S 20-21, Poselstwo Zygmunta III S 116.

[132] Дневник Марины Мнишек С 54.

[133] Буссов К Московская хроника С 60.

[134] Буссов К Московская хроника С 60.

[135] Буссов К. Московская хроника С 60-61.

137

[136] А следовательно, и не истинный Димитрий (дат.). Там же С 61.

[137] Дневник Марины Мнишек С 54-55.

139

[138] Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время С 8.

[139] Дневник Марины Мнишек С 55.

[140] Новый летописец С 69.

142

[141] Акты исторические, относящиеся к истории России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А И Тургеневым // Historica Russiae Monumenta СПб, 1842 Т 2 № CI С 173, Костомаров Н. И. Названый Димитрий // Он же Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей СПб, 1874 Вып 3 С 627-628, Соловьев С М Сочинения Кн 4 История России с древнейших времен Т 7-8 М, 1989 С 440-442.

143

[142] Poselstwo Zygmunta III S 70, Biblioteka PAN w Krakowie № 1047 Л 197o6.

[143] Дневник Марины Мнишек С 56.

145

[144] 21 См Poselstwo Zygmunta III S 71, 117, Дневник Марины Мнишек С 56 В публикации отчета польских послов Н. Олесницкого и А. Госевского Ян Осмольский назван старшим из "пахолят" (пажей?), а его имя передано иначе – Матеуш Осмальский Фамилия "охмистрины" царицы также несколько отличается от варианта "Дневника Марины Мнишек" – Хмелецкая.

[145] Буссов К. Московская хроника С 64.

[146] Сб РИО Т 137 С 255.

[147] Poselstwo Zygmunta III S 71.

[148] Новый летописец С 69.

[149] Записки капитана Маржерета С 215.

[150] Дневник Марины Мнишек С 56-57.

[151] Там же С 61-62.

[152] Там же С 62-63.

[153] Там же С 63-66.

[154] Сб РИО Т 137 С 205.

[155] Записки капитана Маржерета С 205.

[156] Дневник Марины Мнишек С 71.

[157] Новый летописец С 70.

[158] Дневник Марины Мнишек С 74.

[159] Там же С 74-81.

[160] Там же С 81-100.

[161] Biblioteka PAN w Krakowie № 1047 Л 151.

[162] Сб РИО Т 137 С 197.

[163] Там же С 238-280.

[164] Там же С 345-346.

[165] Там же С 366-368.

[166] Скрынников Р. Г. Спорные проблемы восстания Болотникова // История СССР 1989 № 5 С 92-110.

[167] См Скрынников Р. Г. Смута в России в начале XVII в Иван Болотников Л, 1988 С 190-196, Тюменцев И. О. Смута в России в начале XVII столетия Движение Лжедмитрия II Волгоград, 1999 С 68-76, Памятники Смутного времени Тушинский вор личность, окружение, время Документы и материалы / Сост В И Кузнецов, И. П. Кулакова М, 2001.

[168] Новый летописец С 76.

[169] РИБ Т 1 Стб 123-124, Budzilo Jozef Woina moskiewska wzmecona i prowadzona z okazji falszywych Dymitrow od 1603 do 1612 r. Opracowanie Janusz Bylinski i Jozef Dlugosz Wroclaw, 1995 S 70.

[170] Тюменцев И. О. Смута в России С 78.

[171] Дневник Марины Мнишек С 89-90.

173

[172] Мархоцкий Н. История Московской войны / Подг текста Е. Куксиной М, 2000 С 27-28.

[173] Буссов К. Московская хроника С 96.

[174] Записки гетмана Жолкевского Прил С 191-192.

[175] Мархоцкий Н. История Московской войны С 35.

[176] Берх В. Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междуцарствие СПб, 1832 Ч 1 С 129, 133.

[177] Скрынников Р. Г. Смута в России С 201-202 Версию Р. Г. Скрынникова поддерживает также И. О. Тюменцев. Тюменцев И. О. Смута в России С 75-76. Компромиссный, но такой же малоубедительный вариант считать Лжедмитрия II еретиком, исповедующим взгляды "жидовствующих", предлагает английская исследовательница профессор Морин Перри Perre M. Pretenders and popular monarchism in early modem Russia The False the Time of Troubles Cambridge, 1995 P 158-159.

[178] ААЭ Т 2 № 91 С 186-187, № 94 С 191-192.

[179] Буссов К. Московская хроника С 97.

181

[180] Pamietmki Samuela i Boguslawa Maskiewiczow (wiek XVII) / Opracowal, wstepem i przypisami opartrzyl A Sajkowski Redakcja i slowo wstepne W Czaplinski Wroclaw, 1961 S 118.

[181] Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты С 267-268.

[182] Сб РИО Т 137 С 420.

[183] Новый летописец С 76.

[184] Сб РИО Т 137 С 398.

[185] Там же С 456.

[186] Дневник Марины Мнишек С 101-102.

[187] Сб РИО Т 137 С 483.

[188] См Флоря Б. Н. Три письма о событиях Смуты //Архив русской истории Вып 3 М, 1993 С 161-176.

[189] Сб РИО Т 137 С 427-456.

[190] Дневник Марины Мнишек С 104.

[191] Сб РИО Т 137 С 535.

[192] Там же С 562.

[193] Там же С 636-656.

195

[194] В общем (лат.).

[195] Дневник Марины Мнишек С 111-112.

[196] Там же С 113-114.

[197] Сб РИО Т 137 С 656-668,674-692.

[198] См Biblioteka Muzeum Narodowego im Ksiazat Czartoryskich w Krakowie № 2101 S 70-105, Сб РИО Т 137 С 698-719, Тюменцев И О Смута в России С 183.

[199] Сб РИО Т 137 С 719.

[200] Там же С 719-725.

[201] Теннади Г. Н. Портреты Лжедмитрия I и Марины Мнишек // Русская старина 1876 Кн 15 С 873-874 См также Ровинский Д. А. Материалы для русской иконографии Т 4 С 124-130.

203

[202] Дракохруст Е. И. Иконографические источники, освещающие польскую интервенцию начала XVII века//Труды Государственного исторического музея (далее – ГИМ) 1941 Вып 14 С 41-42.

[203] См Sprawozdama Komisji Histom Sztuki 1903 T VII S CXVI-CXX, Kopera F Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku Krakow, 1926 S 196, Mankowski T Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku Lwow, 1936 S 56, Gebarowicz M Poczatki malarstwa historycznego w Polsce Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, 1981 S 56-57.

[204] См Gebarowicz M Poczatki malarstwa historycznego S 55.

[205] Воспроизводятся все особенности написания, например «V» в значении «и».

[206] Соловьев С. М. История России С 481, Пирлинг П. Димитрий Самозванец С 415.

[207] Сравним изображение на картине с посольским отчетом и записками других очевидцев. Описание начала церемонии совпадает и в отчете послов, и в «Дневнике Марины Мнишек», и в «Записках» Станислава Немое вс кого: «Впереди шли полторы сотни дворян в парчовой одежде» («Дневник»); «впереди шли, парами, человек сто, нечто вроде дворян (их они называют “боярскими сыновьями”), а за ними около шестидесяти думных бояр, все в парчовых армяках, вложивши руки в рукава…» (Немоевский). Действительно, на полотне знатные люди в богатой московской одежде и шапках возглавляют процессию. «За ними шли приближенные с бердышами, четыре дворянина, которые находились при царе, а пятый с мечом» («Дневник»); «за боярами шли четверо в белом бархате… с широкими секирами на плечах, а перед самым великим князем мечник Михайло Шуйский» (Немоевский). Послы Николай Олесницкий и Александр Госевский также сообщают имя мечника – эту должность, как известно и по русским источникам, занимал в царствование самозванца знаменитый князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. А дальше – самое интересное, триумф не только Мнишков, но и посла Николая Олесницкого, который провожал по правую руку царя, шедшего «в короне и богатой одежде». По левую руку изображен глава Боярской думы князь Федор Иванович Мстиславский (Станислав Немоевский ошибочно посчитал, что это «дядя» царя Михаил Нагой) – как и положено, в московской одежде, в отличие от посла, шедшего, естественно, в польском костюме. «Царицу» Марину Мнишек, «одетую по-московски, в парчовом, вышитом жемчугом платье по лодыжки, в подкованных червонных сапожках» (Немоевский), провожали отец, «пан воевода», по правую руку и княгиня Прасковья Ивановна Мстиславская по левую. Это соответствовало и коронационному церемониалу, выработанному канцелярией царя. Но есть в этой части картины и такие детали, о которых можно прочитать только у послов. Это стоявшие в отдалении в рыцарских доспехах «немцы» и польская рота в своей униформе. Кроме того, послы описали иноземную охрану – восемь человек с бердышами, шедшими по краям ковровой дорожки, по которой вели в Успенский храм царя и царицу (Станислав Немоевский тоже упоминал «немцев-алебардников», шедших «по сторонам» процессии).

В центральной части «коронационного» полотна – полное соответствие описанию посла Николая Олесницкого, который, в

отличие от многих других поляков, действительно был в Успенском храме. Выстроенный помост, устланный коврами, расположение персонажей, московское платье царицы Марины Мнишек, известная симметричность представительства «со стороны» жениха и невесты (за спиной жениха – боярин князь Федор Иванович Мстиславский и мечник князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, а рядом с невестой – посол Николай Олесницкий и ее отец сандомирский воевода Юрий Мнишек со знаменем Речи Посполитой – двуглавыми черными орлами с геральдическими щитами, помешенными на красном и белом фоне).

[208] Лукомские В. и Г. Вишневецкий замок // Старые годы 1912 Февраль-март С 10.

[209] Дракохруст Е. И. Иконографические источники С 46-47.

211

[210] Guagnim A Kromka Sarmacyey Europskiey Krakow, 1611 Kn 7 S 74-85, русский перевод Гваньини А Описание Московии / Пер Г. Г. Козловой М, 1997.

[211] Цит по Соловьев С. М. История России С 481-486 См также Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия// Собр соч СПб, 1904 Кн 2 С 323-325, Hirschberg A. Maryna Mniszchowna S 61, Тюменцев И О Смута в России С 143, 169-170.

213

[212] Сб РИО Т 137 С 669-674.

214

[213] СГГиД Ч 2 № 156 С 327-328, Тюменцев И О Смута в России С 143.

[214] Белокуров С А Разрядные записи С 48, 95-96.

[215] Новый летописец С 81.

[216] Записки гетмана Жолкевского Прил С 201-202.

[217] Белокуров С. А. Разрядные записи С 48, 253.

219

[218] Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею (далее – АИ) СПб, 1841 Т 2 № 90 С 121.

[219] Вельский летописец // ПСРЛ М, 1978 Т 34 С 248.

221

[220] АИ Т 2 № 93 С 124.

[221] Новый летописец С 81.

[222] Мархоцкий Н. История Московской войны С 45.

[223] Biblioteka PAU i PAN № 345 S 111.

[224] См Тюменцев И О Смута в России С 181-182, 187-188.

[225] ПСРЛ Т 34 С 248-249.

[226] Буссов К Московская хроника С 106.

[227] См Sapieha J. P. Dziennik // Hirschberg A Polska a Moskwa w pierwszej potowie wieku XVII Lwow, 1901 S 181-182.

[228] СГГиД Т 2 № 162 С 338-339, № 163 С 339-340.

[229] Sobieski W Zabiegi Dymitra Samozwanca o Korona Polska W Krakowie, 1908 S 52-60, Bytinski J Sejm z roku 1611 Wroclaw, 1970.

231

[230] ПСРЛ Т 34 С 249.

[231] Sapieha J. P. Dziennik S 184-185.

[232] Буссов К. Московская хроника С 106.

[233] Мархоцкий Н. История Московской войны С 45.

235

[234] Сборник Муханова СПб, 1866 № 97 С 171, Sapieha J. P. Dziennik S 185.

[235] Масса И. Краткое известие о Московии С 121.

[236] См Гиршберг А. Марина Мнишек С 179-181.

[237] Tomkiewicz W Czy Szymon Boguszowicz? // Sztuka i historia Warszawa, 1966 S 106-113, Gebarowicz M Poczatki malarstwa historycznego S 42-55 Вавельский портрет куплен у потомков Мнишков в 1948 году.

[238] Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego W Lipsku, 1841 T 6 S 433-440, T 7 S 302, T 8 S 468-469, 1842 T 9 S 17.

[239] См Лаврентьев А. В. Царевич-царь-цесарь С 174-197.

[240] Истинный Димитрий (лат.).

[241] Буссов К. Московская хроника С 107.

[242] Мархоцкий Н. История Московской войны С 46.

[243] Пирлинг П. Димитрий Самозванец С 410.

[244] Немоевский С. Записки С 281-282.

[245] См Бутурлин Д. П. История Смутного времени в России в начале XVII века СПб, 1841 Ч 2 Прил № 9 С 71.

[246] Там же № 10 С 72.

[247] Буссов К. Московская хроника С 115.

[248] Пирлинг П. Димитрий Самозванец С 412.

[249] Polak W. O. Kremli Smolenszczyzne Politika Rzeczpospolitey wobec Moskwy w latach 1607-1612 Torun, 1995 S 56.

[250] Тюменцев И. О. Смута в России С 194.

[251] Пирлинг П. Димитрий Самозванец С 412.

253

[252] Дневник Марины Мнишек С 129-130.

[253] Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века / Сост А. В. Антонов М, 2002 Т 3 № 115 С 99-100.

[254] См Тюменцев И. О. Смута в России С 337.

[255] АИ Т 2 № 128 С 154.

[256] Дневник Марины Мнишек С 133.

[257] См Тюменцев И. О. Смута в России С 407-408.

[258] Гиршберг А. Марина Мнишек С 124-125.

[259] АИ Т 2 № 174 С 202.

[260] Дневник Марины Мнишек С 133.

[261] СГГиД Ч 2 № 171 С 351-352.

[262] Гиршберг А. Марина Мнишек С 119-120.

[263] Там же С 120-122.

[264] СГГиД Ч 2 № 173 С 353-354.

[265] Там же № 178 С 359-360.

[266] Там же № 179 С 360.

[267] Там же № 187 С 373-374.

[268] Буссов К. Московская хроника С 111.

[269] АИ Т 2 № 174 С 201.

[270] Мархоцкий Н. История Московской войны С 47.

[271] Там же С 48, Тюменцев И. О. Смута в России С 221.

[272] Мархоцкий Н. История Московской войны С 48-49.

[273] Дневник Марины Мнишек С 129.

[274] Мархоцкий Н. История Московской войны С 51.

[275] Дневник Марины Мнишек С 133.

[276] РИБ Т 1 Стб 149-150.

[277] АИ Т 2 № 174 С 200, 202.

[278] См Maciszewski J. Polska a Moskwa, 1603-1618 Opinie i stanowiska szlachty polskiej Warszawa, 1968 S 162-165.

[279] РИБ Т 1 Ct 143-150, Мархоцкий Н. История Московской войны С 50.

[280] Шепелев И. С. Освободительная и классовая борьба в Русском государстве в 1608-1610 гг Пятигорск, 1957 С 445-446, Тюменцев И. О. Смута в России С 195-198.

[281] Буссов К. Московская хроника С 113.

[282] См Тюменцев И. О. Очерки по истории обороны Троице-Сергиевой лавры Волгоград, 1995.

[283] Буссов К. Московская хроника С 115.

[284] Мархоцкий Н. История Московской войны С 56.

[285] Цит по Тюменцев И. О. Смута в России С 456.

[286] Приношу искреннюю благодарность Н. Е. и И. О. Тюменцевым за предоставленную возможность использовать текст переводов этого и других документов, связанных с Мариной Мнишек, подготовленных ими к печати в издании "Русский архив гетмана Сапеги".

[287] Sapieha J. Dziennik S 247, Тюменцев И. О. Смута в России С 458-460.

[288] Мархоцкий Н. История Московской войны С 56-57.

290

[289] РИБ Т 1 Стб 486-487, Diariusz drogi Krola JMci Zygmunta III od szczeshwego wyjazdu z Wilna pod Smolensk w roku 1609 a die 18 Augusta i fortunnego powodzenia przez lat dwie do wziecia zamku Smolenska w roku 1611/ Opracowal Janusz Bylinski Wroclaw, 1999.

291

[290] Сб РИО М, 1913 Т 142 С 38-40, Мархоцкий Н. История Московской войны С 108-111.

292

[291] Сб РИО Т 142 С 42-47, Мархоцкий Н. История Московской войны С 57.

[292] Сб РИО Т 142 С 48-58.

[293] Мархоцкий Н. История Московской войны С 57-58.

[294] Гиршберг Л. Марина Мнишек С 177.

[295] Мархоцкий Н. История Московской войны С 58.

[296] Без всякого уважения (лат.).

[297] РИБ Т 1 Ст 501-504.

[298] Гиршберг Л. Марина Мнишек С 167, Тюменцев И. О. Смута в России С 467.

[299] Мархоцкий Н. История Московской войны С 58.

301

[300] Буссов К. Московская хроника С 118.

[301] РИБ Т 1 Ст 507-515.

[302] Буссов К. Московская хроника С 118-119.

[303] Бахмат – ногайская лошадь.

[304] РИБ Т 1 Ст 516.

[305] Мархоцкий Н. История Московской войны С 58.

[306] Приношу благодарность Н. Е. и И. О. Тюменцевым за предоставленную возможность ознакомить читателей книги с текстом сделанного ими перевода.

[307] Буссов К. Московская хроника С 120.

309

[308] РИБ Т 1 Стб 522.

[309] Сб РИО Т 142 С 48-58.

311

[310] РИБ Т 1 Стб 525.

[311] Сб РИО Т 142 С 56-58.

[312] Гиршберг А. Марина Мнишек С 179.

[313] Там же С 180-181.

315

[314] РИБ Т 1 Стб 527.

[315] Там же Стб 179.

[316] Там же Стб 546.

[317] Тюменцев И. О. Смута в России С 471.

[318] Мархоцкий Н. История Московской войны С 60.

320

[319] Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta III Vol 2 S 281-282, Гиршберг А. Марина Мнишек С 184-185.

321

[320] Костомаров Н. И. Марина Мнишек С 651.

322

[321] РИБ Т 1 Стб 165.

[322] Новый летописец С 94-95.

[323] Sapieha J. Dzienmk S 250.

[324] Буссов К. Московская хроника С 122.

[325] РИБ Т 1 Стб 547-548.

327

[326] Niemcewicz J. U. Dzieje panowama Zygmunta III Vol 2 S 266, Бутурлин Д. П. История Смутного времени СПб, 1841 Т 3 Прил № 11 С 27-28, Гиршберг А. Марина Мнишек С 193.

[327] Мархоцкий Н. История Московской войны С 59.

[328] Biblioteka PAU i PAN № 345 S 167.

[329] АИ Т 2 № 279 С 338.

331

[330] РИБ Т 1 Стб 165.

[331] Буссов К. Московская хроника С 122.

333

[332] РИБ Т 1 Стб 552.

[333] Мархоцкий Н. История Московской войны С 62.

[334] Там же С 64.

[335] Бутурлин Д. П. История Смутного времени СПб, 1841 Т 3 Прил № 11 С 27-28.

337

[336] РИБ Т 1 Стб 166-178.

[337] Сб РИО Т 142 С 58-75.

339

[338] РИБ Т 1 Стб 179-184.

[339] Мархоцкий Н. История Московской войны С 61-62.

341

[340] РИБ Т 1 Стб 184-186.

[341] Мархоцкий Н. История Московской войны С 64.

343

[342] РИБ Т 1 Стб 552.

[343] Буссов К. Московская хроника С 122.

345

[344] РИБ Т 1 Стб 553.

[345] Elementa ad fontium editiones Res Polomcae ex archiwo Mediceo Florentino II Pars Romae, 1972 S 327, РИБ Т 1 Стб 562-563, Мархоцкий Н. История Московской войны С 64.

347

[346] РИБ Т 1 Стб 577.

[347] Там же Стб 186-188.

[348] Мархоцкий Н. История Московской войны С 64-65.

[349] РИБ Т 1 Стб 187-188,562-563,568.

[350] Там же Стб 556.

[351] Там же Стб 568, 574-575.

[352] Гиршберг А. Марина Мнишек С 208.

[353] Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты С 334.

[354] Буссов К. Московская хроника С 127-131.

356

[355] РИБ Т 1 Стб 193-194.

[356] Гиршберг А. Марина Мнишек С 206-207.

358

[357] РИБ Т 1 Стб 195.

359

[358] См Niemcewicz J. U. Dzieje panowama Zygmunta III Vol 2 S 395-397, РИБ Т 1 Crf 593-594.

[359] Муханов П. Подлинные свидетельства о самозванцах СПб, 1834 С 245-246.

361

[360] Szczesniak Robert Kluszyn, 1610 Warszawa, 2004.

362

[361] Новый летописец С 97-98, РИБ Т 1 Стб 196-197, 624-626, Жолкевский С. История Московской войны С 44-64.

[362] Жолкевский С. История Московской войны Прил № 27 С 75-82, РИБ Т 1 Стб 604-612, 615, 617-630, Сборник Муханова № 199 С 342-347.

[363] Новый летописец С 98.

[364] Сб РИО Т 142 С 90.

[365] Там же С 76-82.

[366] Устрялов Н. Г. Сказания современников о Димитрии самозванце СПб, 1834 Ч 5 С 31.

[367] Sapieha J. Dziennik S 257.

[368] См Тюменцев И. О. Смута в России С 498.

[369] Sapieha J. Dziennik S 260.

[370] Новый летописец С 98.

[371] РИБ Т 1 Стб 201, ААЭ Т 2 N° 162 С 277.

[372] РИБ Т 1 Стб 542.

[373] См Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты С 337-338.

[374] Новый летописец С 100.

[375] Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время С 19.

[376] ААЭ Т 2 № 162 С 277-278.

[377] Новый летописец С 99-100.

[378] АИ Т 2 № 287 С 349.

[379] РИБ Т 1 Стб 643.

[380] Sapieha J. Dziennik S 264.

[381] РИБ Т 1 Стб 202-203.

[382] Там же Стб 203-205.

[383] Там же Стб 205-206.

[384] Там же Стб 207-208.

[385] Сб РИО Т 147 С 93-101.

387

[386] РИБ Т 1 Стб 668

[387] Sapieha J. Dziennik S 270-272.

389

[388] РИБ Т 1 Стб 669-670, Sapieha J. Dziennik S 273-274.

[389] Жолкевский С. История Московской войны С 68-83.

391

[390] РИБ Т 1 Стб 668-671.

[391] Sapieha J. Dziennik S 275.

393

[392] РИБ Т 1 С 210-211.

[393] Тюменцев И. О. К истории калужского периода движения Лжедмитрия II // Россия XV-XVIII столетий Сб научных статей Юбилейное издание Волгоград, 2001 С 118-119.

[394] Сб РИО Т 142 С 147, 156-157.

[395] Там же С 158-159.

397

[396] РИБ Т 1 Стб 219-220.

[397] Мархоцкий Н. История Московской войны С 87.

[398] Буссов К. Московская хроника С 138.

[399] Дневник Марины Мнишек С 131.

401

[400] Мархоцкий И. История Московской войны С 84, Тюменцев И О Смута в России С 514.

402

[401] АИ Т 2 № 302 С 358.

[402] Biblioteka PAU i PAN № 345 S 182. Благодарю Н. Е. и И. О. Тюменцевых за предоставленную возможность использовать перевод этого документа.

404

[403] Сборник князя Хилкова СПб, 1879 № 45 С 124-126.

[404] Буссов К. Московская хроника С 139.

[405] РИБ Т 1 Стб 221, АИ Т 2 № 307 С 365.

407

[406] АИ Т 2 №307 С 364-365.

[407] РИБ Т 1 Стб 709-711.

[408] Там же Стб 713.

[409] Буссов К. Московская хроника С 140-141.

411

[410] РИБ Т 1 Стб 712-713.

[411] Sapieha J. Dziennik S 292-293.

413

[412] Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta III Vol 2 S 336-337, Гиршберг А. Марина Мнишек С 264.

[413] РИБ Т 1 Стб 223-224.

415

[414] РИБ Т 13 Стб 506, см также Сказание Авраамия Палицына / Подг текста и ком мент О. А. Державина, Е. В. Колосова М, Л, 1955.

[415] ПСРЛ Т 34 С 218.

[416] Мархоцкий Н. История Московской войны С 86.

[417] См Записки гетмана Жолкевского С 116.

[418] Sapieha J. Dzienmk S 289-290.

[419] Новый летописец С 105.

[420] См Hirschberg A. Maryna Mniszchowna S 339.

[421] АИ Т 2 № 313 С 371.

423

[422] Sapieha J. Dzienmk S 294.

[423] ААЭ Т 2 № 182 С 310, Гиршберг А. Марина Мнишек С 269-273.

[424] См Записки гетмана Жолкевского С 113-123.

[425] См АИ Т 2 № 299 С 355-357, № 306 С 360-364, Сухотин Л. М. Земельные пожалования в Московском государстве при царе Владиславе 1610-1611 гг М, 1911, Готье Ю. В. Памятники обороны Смоленска // Чтения в обществе истории и древностей российских при имп Московском университете 1912 Т 1 С 253-254.

[426] Мархоцкий Н. История Московской войны С 88.

[427] См Корецкий В. И. Послание патриарха Гермогена// Памятники культуры Новые открытия Письменность Искусство Археология Ежегодник 1975 М, 1976 С 22-26.

429

[428] ААЭ Т 2 № 180 С 308.

[429] Сказание Авраамия Палицына С 217, РИБ Т 13 Стб 609.

431

[430] РИБ Т I Стб 695.

432

[431] СГГиД Т 2 № 237 С 507-508, Сборник Муханова СПб, 1866 № 110 С 184-185, Записки гетмана Жолкевского Прил № 40 Стб 109-110.

[432] Гиршберг А. Марина Мнишек С 337.

[433] ААЭ Т 2 № 182 С 312, ПСРЛ Т 34 С 216.

435

[434] ААЭ Т 2 № 188 С 320.

[435] ПСРЛ Т 34 С 216.

[436] Новый летописец С 112.

[437] ААЭ Т 2 № 182 С 312.

439

[438] Мархоцкий Н. История Московской войны С 89-90, Новый летописец С 108-109.

[439] Белокуров С А Разрядные записи С 22.

441

[440] Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции (далее – Изборник) М, 1869 С 351-352, СГГиД Т 2 № 251 С 536, ААЭ Т 2 № 185 С 315-316, Новый летописец С 109.

[441] Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты С 378.

[442] Цит по Платонов С. Ф. Социальный кризис Смутного времени Л, 1924 С 41.

444

[443] Bibhoteka PAU i PAN № 360 S 627 Документ подготовлен к публикации Н. Е. и И. О. Тюменцевыми в издании "Русский архив гетмана Сапеги".

[444] Sapieha J. Dzienmk S 310.

[445] Новый летописец С 112-113.

[446] Мархоцкий Н. История Московской войны С 94-95.

[447] Изборник С 351-352.

449

[448] Сб РИО Т 142 С 295.

[449] Новый летописец С 113, 132-133.

[450] Долинин Н. П. Подмосковные полки (казацкие "таборы") в национально-освободительном движении 1611-1612 гг Харьков, 1958.

[451] ПСРЛ Т 34 С 217.

453

[452] Арсений Елассонский Мемуары из русской истории С 190.

[453] Новый летописец С 107, 110.

[454] Белокуров С А Разрядные записи С 22.

[455] Материалы их посольства см Сб РИО Т 142 С 266-289.

[456] Любомиров П. Г. Очерк истории нижегородского ополчения 1611-1613 гг. М, 1939, Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский хроника Смутного времени М, 1981 (серия "Жизнь замечательных людей").

[457] ААЭ Т 2 № 201 С 248-251, Любомиров П. Г. Очерк истории нижегородского ополчения Прил С 233-236.

[458] ААЭ Т 2 N° 190 С 239, Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты С 399-400.

[459] Сб РИО Т 142 С 295.

461

[460] ПСРЛ Т 34 С 216.

[461] Hirschberg A. Maryna Mniszchowna S 327.

[462] Петрей П. История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии / Исаак Масса Петр Петрей М. 1997 С 360.

[463] Сб РИО Т 142 С 295.

[464] Изборник С 354.

[465] Новый летописец С 115.

[466] ААЭ Т 2 № 201 С 250.

[467] Там же № 202 С 252.

469

[468] Кстати, эта деталь, неожиданно возникшая больше года спустя после смерти калужского «царя Дмитрия», находит соответствие в «Дневнике Яна Сапеги», где запись о «царском» погребении датируется, со слов очевидца, приехавшего из Калуги к гетману, 19 (29) января 1611 года.

[469] ААЭ Т 2 № 203 С 253-257, № 208 С 262-266, № 210 С 266-270.

[470] Сб РИО Т 142 С 274.

[471] Malewska H. Listy staropolskie z epoki Wazow Warszawa, 1959 S 136.

473

[472] Арсений Елассонский Мемуары из русской истории С 196.

[473] Мархоцкии Н. История Московской войны С 99.

[474] Новый летописец С 121-122, ПСРЛ Т 34 С 217-218.

[475] РИБ Т 1 Стб 316-317.

[476] Новый летописец С 123.

[477] ПСРЛ Т 34 С 218.

[478] Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в Казачество на переломе истории М, 1990 С 48.

[479] Богоявленский С. К. Рябинин И. С. Акты времени междуцарствия (1610 г 17 июля – 1613) М, 1915 С 51.

481

[480] Сб РИО Т 142 С 4, 341-342 О "ссылке" Ивана Заруцкого и Марины Мнишек с польским королем Сигизмундом III извещали персидского шаха Аббаса I с гонцом Иваном Бреховым в 1614 году (РГАДА Ф 77 Сношения с Персией Оп 2 Д 10 Л 4).

[481] Цит по Станиславский А. Л. Гражданская война С 65, 67-68.

483

[482] Разрядная книга 1613-1614 гг // Разрядные книги 1598-1638 гг / Сост В. И. Буганов, Л. Ф. Кузьмина М, 1974 С 243-250.

[483] Книга сеунчей 1613-1619 гг / Подг к печати А. Л.Станиславский, С. П. Мордовина // Памятники истории Восточной Европы Источники XV-XVII вв М, Варшава, 1995 С 20.

485

[484] Новый летописец С 130, Разрядная книга 1613-1614 гг С 249-250.

[485] ААЭ СПб, 1836 Т 3 № 29 С 67.

[486] Цит по Станиславский А. Л. Гражданская война С 76.

[487] Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты С 86.

489

[488] АИ Т 3 N° 263 С 429-430, Станиславский А. Л. Гражданская война С 78.

[489] С 394-398. Трепавлов В. В. История Ногайской Орды М, 2002.

491

[490] Богоявленский С. К., Рябинин И. С. Акты времени междуцарствия С 8, 30, 36, Трепавлов В. В. История Ногайской Орды С 397.

492

[491] РГАДА Ф 77 Оп 2 Д 10, Рогожин Н. М. Посольский приказ Колыбель российской дипломатии М, 2003 С 30.

493

[492] Трепавлов В. В. История Ногайской Орды М, 2002 С 422.

[493] ААЭ Т 3 № 27 С 61-64.

[494] Изборник С 361.

[495] АИ Т 3 № 248 С 412.

[496] Цит по Соловьев С. М. Сочинения Т 9 С 24.

[497] См ААЭ Т 3 № 18-29 С 21-68.

499

[498] Разрядная книга 1613-1614 гг С 267-277.

500

[499] АИ СПб, 1841 Т 3 № 18 С 17-19, Изборник С 360-361, Новый летописец С 134.

501

[500] АИ Т 3 № 280 С 446.

502

[501] Изборник С 361.

503

[502] АИ Т 3 № 279 С 445.

[503] Там же № 18 С 17-19.

[504] Там же № 32 С 32.

[505] Там же No 36 C 34.

507

[506] Новый летописец С 134.

[507] Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века 1601-1608 Сб документов М, 2003 № 191 С 331.

509

[508] Изборник С 362, Новый летописец С 134.

510

[509] Арсений Елассонский Мемуары из русской истории С 204.

511

[510] Niemcemcz J. Dzieje panowama Zygmunta III Vol 3 S 41, Kronika Pawla Piaseckiego, biscupa przemyslskiego Krakow, 1870 S 249.

[511] Ивановский монастырь в Москве // Есипов Г. Русские достопамятности Вып 5 М, 1864.

[512] Сб РИО Т 142 С 527-528, 629.

[513] Niemcewicz J. Dzieje panowama Zygmunta HI Vol 3 S 41-42, Соловьев С. М. Сочинения Т 9 С 238-241.

515

[514] Геркман Э. Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском // Хроники Смутного времени С 259-260.

516

[515] В начале XX века память о Марине Мнишек в Коломне была более прочной, но такой же причудливой. Г. Т. Синюхаев писал: «В Коломне чуть ли не каждый встречный мальчуган охотно укажет башню, где спасалась Мария Мнишек. Так, по крайней мере, выразился наш малолетний чичероне». Синюхаев Г. Т. Башня Марины Мнишек С 635.

517

[516] Пирлинг П. Димитрий Самозванец С 454-455.

[517] Горсей Д. Записки о России XVI – начала XVII в / Пер и сост А А Севастьяновой М, 1990 С 81, 188.

519

[518] Ахматова А. А. Сочинения В 2т М, 1997 Т 1 С 251 См также Прохоров С. М. Наблюдения над бытованием коломенских легенд о Марине Мнишек (http //kolomnaonline narod ru/ articles-2004-01-26 – prohorov-marina httm).